ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

4

ОКТЯБРЬ

1955

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

МЕЧИСЛАВ ЯСТРУН — Два стихотворения 3
РОБЕР МЕРЛЬ — Сизиф и смерть *(фантазия)* 4
Из поэзии народов Югославии 17
ЧЖАО ШУ-ЛИ — В деревне Саньливань *(Роман. Продолжение)* 19
СИЛЬВИЯ-МАДЖИ БОНФАНТИ — Сперанца *(Роман. Окончание)* 39
РОЖЕ ВАЙЯН — Пьеретта Ажабль *(Роман. Окончание)* . 114

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ АДАМА МИЦКЕВИЧА

Б. СТАХЕЕВ — Среди русских друзей 182
АРАГОН — Да здравствует Польша, сударь! 191

КРИТИКА

Б. СУЧКОВ — Книга, которая судит 201
Т. МОТЫЛЕВА — О творчестве Синклера Льюиса 209

РЕЦЕНЗИИ

Любовь РУДНЕВА — Новые материалы о Вапцарове . . 220
Г. РАБИНОВИЧ — Однотомник произведений Софьи Налковской 223
Василий СМУРОВ — Современная хроника 226
Р. ОРЛОВА — Лучом прожектора 229

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

ТОМАС МАНН — Слово о Шиллере 232
САРДАР ДЖАФРИ — Поэт и его аудитория 238

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕМИЙ МИРА

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ — У Эдуарда Эррио 243

4

1955

ОКТЯБРЬ

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВ ИВАЩКЕВИЧ — Письма из Южной Америки . 246

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ЛЕОНИЯ ЯБЛОНКУВНА — „Выпускники" в варшавском театре „Атенеум" 254
НИКОЛАЙ ПАРУШЕВ — „Вера" в софийском филиале Народного театра 256
РУДОЛЬФ МРЛИАН — „Кристина" в братиславском Национальном театре 259

НА КИНОЭКРАНАХ

КАРЛО ЛИДЗАНИ — На пути к реализму 262

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Собрание современной польской графики 269

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (ХРОНИКА) . . . 273

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

Мечислав Яструн

Два стихотворения

ЧТЕНИЕ ГОМЕРА

Лишь после тяжких бед, изведав бури, грозы
И словно в отчий дом вернувшись из могилы,
Я понял вас, людей простых и полных силы,
Стремительных мужей, в печали ливших слезы.
Мы также горькие узнали испытанья
И мщенья жаждали, и помощи от брата,
Боялись вымолвить, прощаясь «до свиданья»...
Но разве не рыдал сам Ахиллес когда-то?
Враг был свирепее, чем греки Илиады,
Но тот же свет светил нам, ратоборцам Трои.
Во прахе родина, не знает смерть пощады,
И, гибели страшась, бледнеют и герои!
Гомера лишь теперь поймете вы впервые,
Троянцы новые, защитники Варшавы, —
Вы победили смерть, чтобы свои живые
Найти сердца, как стих, достойный вечной славы.

Перевод с польского В. Левика.

ОРЕШНИК

Орешник. Предрассветный ветер.
В лесу пернатых шумный спор.
Взгляни: как юн, как свеж, как светел
Зеленого листа узор!
К стволам прибрежным жались тесно
Кувшинки желтые. Кругом
Метались в листьях птичьи песни,
Сшивая кроны блестким швом.
Рассвет клевал неудержимо
Стеклянной выси синеву,
И зернами с руки незримой
Спадал осколков тонкий звук.
В лесной влюбленности мальчишьей
Я тот же, хоть года не те:
Склоняю голову и слышу —
Щебечет птица, лист слетел.

Перевод с польского Наталии Модзелевской.

Робер Мерль

Сизиф и смерть

Фантазия в одном действии

Перевод с французского Н. Каринцева и Е. Тяпкиной

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сизиф, хозяин постоялого двора.
Аристея, его жена.
Журналист, молодой человек.
Смерть.
Арес, бог войны.
Первый, Второй, Третий } представители коринфской знати.

Сцена представляет террасу небольшого постоялого двора в окрестностях Коринфа. Столики и стулья для посетителей. При поднятии занавеса на сцене молодой человек. Все его поведение выдает страх и любопытство. Он смотрит в окно, потом в широко открытую дверь, возвращается, снова подходит к окну и двери. Затем он решительно садится за один из столиков. Сидит он, правда, на самом краешке стула, готовый при первой необходимости сбежать.

Журналист *(робким голосом)*. Есть кто-нибудь? *(Молчание. Более твердо.)* Есть кто-нибудь? *(Громко.)* Есть кто-нибудь?

Голос из-за дверей. Есть! Есть!

Молодой человек не спускает глаз с двери. От страха он готов бежать. Но в это время появляется Аристея. Это высокая, дородная матрона. Журналист облегченно вздыхает и снова опускается на стул. Молчание.

Аристея. В чем дело?

Журналист. Добрый день, сударыня.

Аристея *(вежливо, но сухо)*. Добрый день.

Молчание.

Журналист. Если не ошибаюсь, я у Сизифа?

Аристея. Да.

Журналист. А вы, должно быть, Аристея?

Аристея *(сухо)*. Именно так.

Молчание.

Журналист. Мне... мне хотелось бы чего-нибудь выпить.

Аристея. Что вам предложить?

Журналист. Стакан вина.

Аристея. Хорошо. *(Уходит.)*

Журналист *(ей вслед)*. Только коринфского.

Аристея *(не оборачиваясь)*. У нас другого нет. *(Уходит. Журналист встает и снова начинает осматриваться. В то время как он стоит у окна и что-то высматривает, появляется Аристея с бутылкой вина и стаканом. Строго.)* Что вы там делаете?

Журналист. Я... я смотрел.

Аристея *(сухо)*. Тут нечего смотреть. Садитесь.

Он повинуется. Она подает вино.

Журналист. Мерси. *(Пьет.)* Превосходное вино, сударыня.

Аристея. Приятно слышать.

Поворачивается и идет к выходу.

Журналист. Сударыня!

Аристея *(через плечо)*. Что вам еще надо?

Журналист. Осмелюсь ли я, сударыня... Осмелюсь ли я задать вам несколько вопросов? Можно?

Аристея *(возвращается и становится перед ним)*. Я вас слушаю. *(Пауза.)* Вы журналист?

Журналист. Да.

Аристея. Предъявите ваше удостоверение.

Журналист. Пожалуйста.

Аристея *(разглядывая бумагу)*. Если это фальшивка, то превосходная — ничего не скажешь.

Журналист *(горячо)*. Нет, это не фальшивка, сударыня, можете мне поверить.

Аристея. Я теперь никому не верю. Для какой газеты вы пишете?

Журналист. Для «Голоса Фив».

Аристея. Можете это доказать?

Журналист. Конечно. *(Протягивает ей газетный лист, который Аристея внимательно рассматривает.)*

Аристея *(возвращая газету)*. Все в порядке. Я вам верю. Вы меня извините, но после того, что произошло с Сизифом, надо знать, с кем имеешь дело. *(Пауза.)* Значит, вы из Фив?

Журналист. Да, сударыня.

Аристея. Когда вы прибыли в Коринф?

Журналист. Вчера вечером.

Аристея. Вчера вечером? У кого же вы остановились?

Журналист. У Фриноса.

Аристея. У Фриноса! Нашли у кого! Самый грязный трактир во всей Греции. Это знают даже в Фивах. Его постели — просто клоповники. Кто вам порекомендовал остановиться именно у него? Разве вы не знали, что можно найти приют у Сизифа?

Журналист. По правде говоря, знал.

Аристея. Так в чем же дело?

Журналист *(смущенно)*. Видите ли сударыня... Сказать по правде, из-за...

Останавливается.

Аристея. Из-за чего?

Журналист. Из-за... Ну, вы сами знаете... из-за *нее.*

Аристея. Из-за кого?

Журналист. Из-за *нее*... Вы прекрасно понимаете... из-за кого.

Жестом имитирует косу смерти.

Аристея *(глядя на него)*. А, вот из-за кого! Все ясно. *(Вздыхает.)* Бедный Сизиф! Из-за нее он потеряет всех своих клиентов. Но... что вы хотите? Сизиф бессилен. Она не желает уходить отсюда.

Журналист *(крайне возбужденный)*. Значит, это правда? Она здесь?

Аристея. Ну да...

Журналист. Ну и статью же я теперь закачу! Значит, правду говорят, что Сизиф ее держит на цепи?

Аристея. На цепи? Откуда вы это взяли? Ничуть не на цепи. Она ходит совершенно свободно, как вы и я.

Журналист *(вскакивая со стула)*. Свободно?

Аристея. Ну, конечно! Ведь я же вам говорю, что она сама не хочет уходить отсюда.

Журналист. Неслыханно! А что Зевс?

Аристея. Что Зевс? Он теперь, наверное, начинает раскаиваться в том, что похитил маленькую Эгину.

Журналист. Эгину?

Аристея. Как? Вы не знаете этой истории с маленькой Эгиной? Нет, в Фивах решительно ничего не знают.

Журналист. Именно поэтому я и приехал сюда.

Аристея. В таком случае слушайте! Маленькая Эгина... *(останавливается)*. Нет, нет, сначала я должна знать, что вы думаете о Зевсе.

Журналист *(осторожно)*. Сударыня, это очень щекотливый вопрос.

Аристея. Я вас понимаю. Я сама очень набожна. Я хорошо помню, что Зевс — бог, всемогущий царь богов, властелин высокого Олимпа. *(Встает.)* О! Я его чту и преклоняюсь перед ним.

Журналист. *(Встает.)* Мы все его чтим и преклоняемся перед ним.

Аристея. Отныне и во-веки веков.

Журналист. Воистину так!

Снова садятся.

Аристея. Но, с другой стороны, что можно сказать о боге, который пользуется своим положением для обольщения всех девушек, попадающихся ему на пути? Я сказала «для обольщения»! Вернее было бы сказать: для насилия над всеми девушками.

Журналист. Это, конечно, прискорбно, сударыня.

Аристея. Да, очень прискорбно. И особенно прискорбно то, что это должно было произойти именно с маленькой Эгиной. Она переходила луг, не думая ни о чем дурном. Ее замечает Зевс. Она ему нравится. Он ее похищает. К несчастью, при этом был очевидец — Сизиф. И он счел своим долгом рассказать обо всем отцу малютки, Асопу...

Журналист. Речному богу?

Аристея. Ну, если вы знаете Асопа, вам должно быть известно, что он при всей своей благодушной внешности бывает неукротим. Это очень злой и жестокий бог. Можете вообразить, в какую он пришел ярость! Он хотел затопить весь Олимп. Вы представляете себе, какой бы тут получился скандал! Зевсу стоило величайших усилий успокоить его.

Журналист. А дальше?

Аристея. Дальше? По-моему, Зевс немного переборщил. Он смирил оскорбленного отца. Девочку оставил при себе. На этом, казалось бы, он должен был успокоиться. Ничего подобного! Он решил отомстить Сизифу за донос и послал к нему Смерть.

Журналист *(очень взволнованно)*. Что же дальше?

Аристея. Ничего. Сизиф попрежнему жив и здоров. Вот и все.

Журналист. Просто чудо. Как ему это удалось?

Аристея. Ну, об этом вы спросите его сами. Я могу сказать только одно: с тех пор как Смерть явилась сюда, прошел уже целый месяц, она и не думает уходить отсюда. Вы понимаете, что это начинает становиться обременительным. Лишние расходы!

Журналист *(сгорая от любопытства)*. А что она собой представляет?

Аристея. По правде сказать, это очень приличная особа. Немного педантичная, но вполне благопристойная.

Журналист. Я имел в виду: с чисто внешней стороны.

Аристея. С внешней стороны? *(Презрительно.)* По правде сказать, в этом отношении она меня несколько разочаровала. Ну, как вы себе ее представляете? Нет, нет, не трудитесь. Все равно не угадаете. Это совсем не то, что обычно думают. Впрочем, вы сами удостоверитесь. Я сейчас ее позову.

Журналист. Позвать Смерть? О сударыня, как вы можете даже подумать об этом!

Аристея. Не бойтесь. Сизифу она не сделала ничего дурного. Тем более безопасна она для вас.

Журналист. Ничего нельзя знать наперед. А вдруг на нее найдет каприз?

Аристея. Каприз? *(Смеется.)* Когда вы ее увидите, вы поймете, что эта особа без капризов. *(Зовет.)* Смерть!

Из-за кулис доносится мужской голос: В чем дело?

Журналист. Но это мужчина!

Аристея. Это вас разочаровывает? *(Зовет.)* Смерть! Здесь вас спрашивает один молодой человек.

Журналист. И не думал спрашивать!

Тот же голос из-за кулис: «Сейчас иду!»

Молчание. Журналист прячется за Аристею. Звук шагов. Общее напряжение. Наконец появляется Смерть. Это типичный чиновник-бюрократ, лысый, одетый во все черное, с люстриновыми нарукавниками. Под мышкой у него огромная регистрационная книга.

Смерть. Кто меня спрашивает?

Аристея *(указывая на Журналиста)*. Вот он.

Смерть. Вы?

Журналист *(отступая)*. Я очень польщен, сударь. Но уточним суть вопроса: я хотел бы с вами побеседовать, но в ваших услугах я пока не нуждаюсь.

Смерть *(садясь)*. Успокойтесь, молодой человек. *(С горечью.)* Даже если бы вы потребовали от меня услуг, я — увы! — был бы бессилен что-либо сделать. Сизиф похитил у меня всю мою власть.

Журналист *(подойдя ближе)*. Правда?

Аристея *(Журналисту)*. Ну, у меня много работы, я вас покидаю.

Журналист *(обеспокоенно)*. Вы уходите?

Аристея. Не беспокойтесь. Вы в надежных руках.

Журналист. Конечно, конечно. *(Садится на приличном расстоянии от Смерти.)* Разрешите вас спросить, вот эта книга, что лежит перед вами, это...

Смерть. Книга смертных.

Журналист. Всех смертных? Без исключения? *(Смерть кивает утвердительно головой.)* В таком случае и я... я тоже там... в ней?

Смерть. Смотря по обстоятельствам. Вы мужчина?

Журналист. Определенно.

Смерть. Сын мужчины и женщины?

Журналист. Безусловно.

Смерть. Если вы мужчина, сын мужчины и женщины, то вы занесены в силу статьи шестой в категорию Б, то есть в рубрику смертных.

Журналист. Благодарю вас, сударь. Я всегда знал, что я смертный, но я не знал, что в силу статьи шестой...

Смерть. Не забывайте этого впредь. Ах, это совсем не то, что представляют себе смертные. Существует порядок. Существуют законы.

Куча законов. *(Потирает руки.)* И каждый день издаются все новые и новые.

Журналист *(нерешительно)*. Осмелюсь ли вас спросить, если вы разрешите, сударь?.. Значится ли в вашей книге *(он понижает голос)* также и дата моей...

Смерть. Вашей смерти? Нет, и я могу даже сказать вам, что об этом я знаю не больше, чем вы.

Журналист. Как? Вы этого не знаете?

Смерть. Нет, молодой человек. Вас это удивляет? Но подумайте сами. Я — Смерть, я — не Судьба. Не надо смешивать. Судьба — это совсем другое ведомство. Этого люди никогда не могут понять. Я не принимаю решений, я их выполняю.

Журналист. А! Вы их выполняете... А можно спросить, сударь, как вы это делаете?

Смерть. Очень просто. Я получаю приказ. Письменный, имейте в виду. Я являюсь к заинтересованному...

Журналист. О! К заинтересованному...

Смерть. Согласен, что выражение не совсем удачно. Скажем, к пациенту, если вам это больше нравится. Я проверяю его личность, после чего в силу статьи шестой заношу его в свою книгу... и он умирает. Вот как это происходит. *(Вздыхает.)* Или, вернее, как это происходило до сих пор. Потому что теперь...

Журналист. Теперь?

Смерть. Увы!

Журналист. Так это верно, сударь, что Сизиф похитил вашу власть?

Смерть. Да, верно...

Журналист. Невероятно! Как он это сделал?

Смерть. А! Без всякого труда. С того дня, как я прибыл сюда, молодой человек, прошел целый месяц. Нет, будем точны, месяц исполнится завтра. Этот день останется навсегда выжженным в моей памяти. Я сидел вот за этим самым столиком. Я открыл книгу, положил справа мое золотое перо, надел нарукавники, позвал Сизифа, удостоверил его личность. И тогда, слушайте, как это случилось, Сизиф с самым невинным видом спросил меня, не желаю ли я чего-нибудь выпить? А меня, действительно, мучила жажда. «Пожалуй!» — согласился я. Сизиф приносит мне стакан вина и ставит его рядом с моим золотым пером. Я поднимаю стакан, осушаю его, и когда ставлю его на место, моего золотого пера уже нет.

Журналист. Это сделал Сизиф?

Смерть. Конечно. Когда же я поднял глаза и взглянул на него, он иронически обмахивался салфеткой.

Журналист. Сударь, а разве вы не могли взять другое перо?

Смерть. Невозможно. Статья двадцать пятая. Это золотое перо единственное и незаменимое.

Журналист. И что же, сударь, вы сделали тогда?

Смерть. Послал донесение.

Журналист. И это все?

Смерть. А что я, по-вашему, должен был сделать?

Журналист. Право, не знаю. Отобрали бы перо силой.

Смерть. Знайте, молодой человек, что бог может поднять руку на смертного только для того, чтобы соблазнить или убить его. И потом, заметьте. Если соблазнить, это его личное дело. Но если убить, то это должно пройти через меня. *(Молчание.)* Вы видите, мне остается только ждать.

Журналист. Ждать? Чего?

Смерть. Решения Зевса.

Входит Сизиф. Это мужчина лет пятидесяти, здоровый, крепкий, с открытым лицом. Он в одной рубашке, в сандалиях и в поношенных светлых брюках. Во рту у него трубка, в руках газета.

Смерть *(с горечью)*. По крайней мере, до тех пор, пока вот этот господин *(показывает на Сизифа)* не соизволит вернуть мне мое перо.

Сизиф *(добродушно)*. На это не рассчитывайте! *(Садится за стол. К Журналисту)*. Это вы из Фив?

Журналист. Да, сударь.

Сизиф. Это вы остановились у Фриноса?

Журналист. Да.

Сизиф. Вам, наверно, пришлось здорово почесаться.

Журналист. Да, немного.

Сизиф смеется и погружается в чтение газеты. Молчание.

Смерть *(робко)*. Господин Сизиф?

Сизиф *(не поднимая головы)*. Да?

Смерть. Вы не вернете мне моего пера?

Сизиф *(все так же)*. Нет.

Смерть. Но ведь это случай доказать свою добродетель!

Сизиф. Послушайте, я честный человек, я не люблю причинять людям неприятности, и все, чего я хочу,— это быть добродетельным. Но когда я подумаю, что этот добродетельный поступок будет и моим последним поступком, я не могу не призадуматься.

Смерть. Для чего упрямиться? Вы прекрасно знаете: решение Зевса останется в силе.

Сизиф. Как знать?!

Смерть. Как знать? Неужели вы думаете, что каждый смертный может по своему усмотрению переходить из категории Б в категорию А и что Зевс потерпит такое вопиющее нарушение статьи шестой? В самом лучшем для вас случае вам удастся продлить вашу жизнь еще на несколько дней.

Сизиф. Уже не плохо!

Смерть. Уже не плохо? Неужели жизнь для вас так уж драгоценна?

Сизиф. По правде говоря, нет. Иногда она мне даже противна.

Смерть. В чем же дело?

Сизиф. Да, бывает противна, но я держусь за нее. Почему? Тысяча самых мелких причин! Что вы хотите? Такова жизнь. И знаете, одна из этих мелких причин — то, что я могу после завтрака прийти сюда, на эту террасу, почитать спокойно газету, выкурить мою трубку. И, между прочим, именно поэтому я просил бы вас немного помолчать.

Смерть. Господин Сизиф!

Сизиф. Учтите, я не такой, как вы: я не бессмертен. Времени у меня в обрез. По крайней мере, до получения нового приказа я не более как скромный смертный, минуты которого строго сочтены. И поэтому во время краткого часа отдыха *(повышая тон)* я прошу меня не беспокоить! *(К Журналисту.)* А вы что здесь делаете?

Журналист. Делаю заметки для газеты.

Сизиф. Пожалуйста! Только не шумите. Я не выношу громко скрипящих перьев.

Смерть. Но, сударь, вы не можете не предвидеть неисчислимых последствий вашего бунта.

Сизиф. Последствий? Каких последствий?

Смерть *(встав со стула)*. Вот уже целый месяц, сударь, с того самого дня, как я прибыл сюда и вы хитростью и вероломством лишили

меня моей власти, мир является свидетелем неслыханного скандала. На всей поверхности земного шара, на всех океанах и морях происходит нечто ужасное: люди перестали умирать. Умирающие, для которых уже готовили саван, оживают. Утопающие не утопают. Воины не могут убивать друг друга. Осужденные, которых бросали живьем в огонь, выходят оттуда невредимыми. Яд потерял свою силу. Кинжал не может больше настигнуть свою жертву. Сама чума отныне бессильна. Повешенные своими веселыми шутками приводят в восторг чернь, толпящуюся вокруг виселиц. Оружейное производство в опасности. Цена на порох падает. Наемные убийцы шатаются без работы. Они доведены до отчаяния. Еще немного, и они покончат с собой. Увы! Им отказано даже в этом. Их отчаяние тщетно. Вода, железо, огонь и бездна отказываются прийти им на помощь. И вот — невероятный парадокс! — даже те из смертных, для которых я сохранял еще некоторое обаяние, обмануты в своих надеждах. Я уже не говорю о самом себе, о том, каково мне было видеть в течение целого месяца, как падала моя статистика до нуля и как непристойно размножалось все живое на земле. Я говорю о мире, о том широком мире, где теперь, благодаря вашему проступку, Сизиф, царит смута без конца и без предела. Страх, священный страх, более не существует. Я бы сказал — он умер, если бы не злая ирония этих слов. Но ведь это факт: ад становится мифом, смертные более не боятся богов. Более того: они сами себя считают богами. Человек — сам себе бог! Человеческое общество поколеблено в своей основе: армия, полиция, лишенные авторитета, который им обеспечивала моя власть, становятся предметом насмешки. Последствия не заставят себя долго ждать. Недалеко то время, когда раб восстанет против своего господина, бедный против богатого, чернь против знати. Словом, сударь, вашим дерзким и, я смею полагать, необдуманным поступком вы перевернули вверх дном весь мировой порядок.

Сизиф. Садитесь, не то вы очень устанете. И разрешите мне сказать вам, что он мне совсем не нравится, ваш мировой порядок! Этот порядок покоится на смерти и, как вы очень хорошо сказали, на страхе. Я этот порядок не принимаю. И если бы мне удалось освободить от него человечество, я был бы счастлив.

Смерть. Но большинство людей его прекрасно принимает, уверяю вас.

Сизиф. Вы полагаете? Что ж! *(Указывая на Журналиста.)* Спросим этого молодого человека. *(Журналисту.)* Скажите мне...

Журналист. Да, сударь?

Сизиф. Ваше мнение?

Журналист. Мое мнение?

Сизиф. Да.

Журналист *(вежливо, но твердо)*. Простите, но я думаю, что в этом вопросе прав скорее *(указывая на Смерть)* этот высокоуважаемый господин.

Смерть. Вот видите!

Сизиф *(пораженный)*. Вы действительно так думаете?

Журналист. Да, сударь.

Сизиф. Значит, вы согласны умереть?

Журналист. Да, поскольку это неизбежно.

Сизиф. Но это совсем не неизбежно. Доказательство налицо — я еще жив.

Журналист. Не хочу огорчать вас, сударь, но, по-моему, вы долго не протянете.

Сизиф. Почему же?

Журналист. Они сильнее нас.

Сизиф. Но именно в этом-то и весь вопрос. Надо знать, удастся ли нам их победить. Да или нет?

Журналист. Нет, не удастся.

Сизиф. А почему?

Журналист. Да потому что до сих пор все люди умирали.

Сизиф. Неслыханно! *(Пауза.)* Скажите, вы все еще продолжаете делать ваши заметки?

Журналист. Да, сударь.

Сизиф. Тогда запишите: «Я — молодой идиот».

Входит Арес. Это молодой красавец атлетического сложения. На нем черная военная форма и сапоги. Рукава мундира усыпаны дюжиной серебряных звезд, грудь украшена орденами.

Арес *(щелкая каблуками, громовым голосом)*. Разрешите представиться! Арес, бог войны!

Сизиф погружается в газету. Журналист поднимается со стула.

Смерть *(бежит навстречу вошедшему)*. Арес!

Арес *(так же, как и раньше)*. А! Мой дорогой друг! Мой старый, верный товарищ! Как я счастлив, что снова вижу вас!

Смерть. И я, мой верный Арес! И я! Скажите, вам очень меня недоставало?

Арес. Страшно!

Обнимаются.

Сизиф *(сквозь зубы)*. Очень трогательно!

Арес *(указывая на Журналиста)*. Это — Сизиф?

Смерть. Нет, это журналист.

Арес. А! Вы — журналист?

Журналист *(берет на караул)*. Да, мой генерал.

Арес. Очень хорошо! У вас благородная миссия: создавать общественное мнение.

Журналист. Да, мой генерал.

Арес. Отлично. Создавайте.

Журналист. Да, мой генерал.

Арес. Отлично. Сейчас я вам скажу три слова. Только три слова. Три великих слова. Три слова, которые помогут вам в вашей задаче.

Журналист *(горячо)*. Да, мой генерал.

Арес. Отлично. Вот вам эти три слова! *(Громоподобным голосом.)* Армия! Отечество! Война! И *(подымая указательный палец)* Зевс!

Он щелкает каблуками.

Сизиф. Получается четыре слова.

Арес *(оборачиваясь к нему)*. Простите?

Сизиф. Это уже четыре слова. *(Считает по пальцам.)* Армия, Отечество, Война, Зевс. Это четыре слова.

Арес *(к Смерти)*. Кто это?

Смерть. Сизиф.

Арес. А! Это вы, старый плут? *(Садится.)* Ну что ж, мой мальчик, сейчас вам станет жарко!

Сизиф. Арес, вы здесь у меня! На моей террасе. Я для вас не мальчик и не плут, и я запрещаю вам оскорблять меня. Если вы хотите мне что-то сказать, говорите, но будьте вежливы.

Арес. Гм! Смерть, а?

Смерть. Статья шестнадцатая. Он в своем праве.

Арес. Хорошо. *(Встает.)* Верховный глава высокого Олимпа, Зевс *(щелкает каблуками)*, доверил мне, Сизиф, священную миссию — прекратить скандал, поднятый вами. И эту миссию я выполню до конца.

Сизиф *(подражая ему)*. Отлично.

Арес. Объявляю вам приказ, Сизиф: следуйте за мною в ад!

Сизиф. Не будем зря тратить время. Скажите мне, что будет со мной, если я откажусь.

Арес. Зевс *(он щелкает каблуками)* предвидел и этот случай. Если вы откажетесь, Сизиф, вас постигнет страшная кара. Вас силой низвергнут в ад и заставят там изо дня в день, всю вечность, толкать перед собой огромный камень на вершину высокой горы. Когда же вам покажется, что вы уже достигли, наконец, цели, камень остановится и непреодолимо свергнется вниз, в долину. Назавтра вы начнете работу снова, и так каждый день всю вечность.

Сизиф. Это все?

Арес. Да.

Сизиф. Ну что ж! Это совсем не так страшно, как вы говорите. И разрешите вам сказать, что это не очень-то изменит мою жизнь. То, что я делаю здесь уже в течение многих лет, почти то же самое. И сейчас каждое утро я подымаюсь в шесть часов, подметаю полы, варю кофе, мою стаканы, выношу на террасу столы, обслуживаю клиентов. Целый день я на ногах. Вечером я снова вношу столы обратно, а назавтра выношу их опять на террасу и опять варю кофе и подметаю полы, мою стаканы. И так без конца, изо дня в день! Вот это и есть мой Сизифов труд! *(Пауза.)* Можете рассказать об этом Зевсу! *(Арес щелкает каблуками.)* Любопытно! *(Подымает палец.)* Зевс! *(Арес щелкает каблуками.)* Удивительно, чего только не придумают.

Садится и снова берется за газету.

Арес. Я ничего не понял из ваших слов, Сизиф, и к тому же, благодарение богу, не очень старался понять. Я передал вам приказ следовать за мной и хочу знать только одно: хотите вы следовать за мной? Да или нет?

Сизиф *(не подымая глаз)*. Нет.

Арес. В таком случае я знаю, что мне остается делать.

Он вынимает револьвер и направляет его на Сизифа. Сизиф продолжает читать. Смерть бросается вперед.

Смерть. Нет, Арес, нет! Это не по правилам! И к тому же это ни к чему не приведет!

Арес. Ни к чему не приведет? Увидим.

Разряжает в Сизифа свой револьвер. Сизиф невозмутимо перелистывает газету.

Смерть. Что я вам сказал?

Сизиф. Арес, если бы вы так же усердно упражняли ваши мозги, как ваши каблуки, вы бы поняли, что нечего вам зря тратить боевые припасы, раз Смерть еще не сумела вернуть себе золотое перо.

Он встает и отряхивается: пули дождем сыплются на пол.

Смерть. Послушайте, Сизиф, будьте благоразумны. Еще раз прошу, отдайте то, что принадлежит мне. Вы же понимаете, что так продолжаться не может.

Сизиф. Почему? Почему не может продолжаться? Благодаря мне на всем земном шаре убийцы остались без работы. Вы сами признали это. Яд потерял свою силу. Кинжал не достигает более своей цели. Вы сказали также, что я приравнял людей к богам. Это не совсем точно. Ибо до сих пор боги убивали людей для своего удовольствия. А люди убивали людей, чтобы уподобиться богам. Отныне ни люди, ни боги не могут больше убивать. Я вовсе не уподобил людей богам. И тех и других я лишил возможности делать зло. Царство Смерти окончено. Наста-

нет новый мир, мир Справедливости. Сами боги будут лишены возможности грешить. *(Пауза.)* Вот почему, несмотря на все ваши мольбы, я не верну вам вашу собственность. Ваше золотое перо у меня вот тут в кармане. Вы можете завладеть им только силой. А силу вы не можете применить, вы это хорошо знаете.

Арес. Вы так думаете? Мы не можем применить силу? Посмотрим!

Смерть. Нет, нет, Арес! Не горячитесь! Вы хорошо знаете, что боги могут поднять руку на смертного только в двух случаях: чтобы обольстить его или чтобы убить. Но мы же не можем его убить!

Сизиф *(со смехом)*. Думаю, что и первая возможность тоже исключена.

Арес *(яростно рвется вперед)*. Пустите меня! Пустите, я вам говорю!

Вырывается и бросается на Сизифа. Сизиф подымает палец:

Сизиф. Зевс! *(Арес застывает на месте и щелкает каблуками, затем снова бросается вперед.)* Зевс! *(Повторяется та же игра.)* Зевс! *(Все скорее и скорее.)* Зевс! Зевс! Зевс! Зевс! Зевс! Зевс! Зевс!.. Стоп!

Арес, измученный, опускается на стул. Сизиф снова принимается за чтение газеты. В это мгновение на сцену врываются три представителя местной знати. Все трое одеты во все черное. Они одинаково лысы, и на их круглые животики спускаются совершенно одинаковые золотые цепи. Если бы не золотые цепи, они были бы немного похожи на Смерть. Сейчас они очень возбуждены и кричат все трое: «Сизиф! Сизиф! Сизиф!»

Сизиф *(сердито откладывает газету)*. Буду ли я иметь когда-нибудь спокойную минуту, Зевс Громовержец! *(Арес автоматически встает и слабо щелкает каблуками.)*

Сизиф *(который забыл о нем)*. Спокойно! Спокойно! *(К знатным.)* Что вам надо?

Знатные люди *(кланяясь Аресу и Смерти)*. Сударь, сударь, сударь!..

Сизиф. Что вам от меня надо?

Первый знатный представитель. Сизиф, мы пришли к тебе от имени всей знати Коринфа.

Второй. В некотором роде делегация...

Третий. Сизиф, мы к тебе с важным делом.

Сизиф. С каким делом?

Первый. Слушай, Сизиф... Но, прежде всего, не сердись.

Сизиф. Я не сержусь.

Второй. Слушай, Сизиф.

Третий. Слушай! Такое положение далее нетерпимо.

Сизиф. Какое положение?

Второй. Какое ты создал.

Третий. Нет, Сизиф, дальше так жить нельзя.

Первый. Из-за твоего проступка нам угрожают страшные бедствия.

Второй. Неисчислимые бедствия.

Сизиф. Какие бедствия?

Первый. Ах, Сизиф, это ужасно! Со дня своего основания Коринф не видел ничего более ужасного.

Второй. Да, безусловно. С этим не могут сравняться ни война, ни засуха...

Третий. ...ни пожары...

Первый. ...ни голод...

Второй. ...ни чума!..

Сизиф. В чем дело? Скажите!
Первый. Чернь, Сизиф...
Второй. Увы! Сизиф, чернь...
Третий. Чернь, Сизиф, требует раздела земли!
Все трое. О Сизиф! Раздела земли!
Сизиф. Ну и что же?
Первый. Как «ну и что же»!
Второй *(двум другим)*. Это неслыханно. Он сказал: «Ну и что же»!
Третий. На него это не производит никакого впечатления.
Сизиф. Ну и что же! Да, да, «ну и что же!» Продолжайте.
Первый. Полиция совершенно бессильна, Сизиф!
Второй. И армия!..
Третий. И жандармерия!
Сизиф. Почему?
Первый *(оскорбленный)*. Почему?
Второй. Почему? Да из-за твоего проступка!
Третий. Из-за твоего проступка!
Первый. Что может внушить черни страх, Сизиф...
Второй. ...если полиция не может больше убивать...
Третий. ...вешать...
Первый. ...четвертовать...
Второй. ...колесовать...
Третий. ...сжигать живьем...
Первый. ...избивать дубинкой...
Второй. ...топить...
Сизиф. Ну и дальше?
Первый. Дальше? *(Двум другим.)* Он говорит: «Ну и дальше»!
Второй. Это все, что он может сказать.
Третий. А дальше, Сизиф, мы и пришли к тебе...
Все трое. ...мы пришли...
Первый. Во имя общего блага...
Второй. ...во имя интересов Государства и Морали...
Третий. ...во имя святой Религии...
Первый. ...ради блага всего Коринфа...
Второй. ...ради сохранения цвета общества...
Третий. ...ради процветания Отечества...
Первый *(тише)*. ...и Торговли...
Все трое. ...мы пришли...
Первый. ...просить тебя...
Второй. ...просить тебя настоятельно...
Третий. ...и в некотором роде умолять тебя...

Молчание.

Сизиф. О чем?
Первый *(стремительно)*. ...вернуть Смерти...
Второй *(тем же тоном)*. ...то, что ты взял у нее.
Сизиф *(кричит)*. Что-о?

Знатные люди в испуге отступают.

Смерть. Вот видите! Я вас предупреждал, что он вас не послушает! *(Смотрит на представителей знати.)* Да! Вот настоящие честные граждане! Мне просто доставляет удовольствие смотреть на вас! Да! Вы порядочные смертные! Добродетельные смертные! Смертные, сознающие свой долг! Настоящие смертные! Как я люблю ваши лица и ваши души, столь похожие на мою!

Сизиф *(к Журналисту)*. Почему вы молчите, сударь? Что вы обо всем этом думаете?

Журналист. Я думаю, что моя статья вызовет сенсацию!

Сизиф. Сенсацию! *(Представителям знати)*. Итак, вы предпочитаете лучше умереть, чем потерять ваши богатства?

Первый. Что делать, Сизиф! Такова жизнь!

Сизиф. Что делать? Да очень просто... Отдать черни то, что она требует...

Представители знати *(все вместе)*. О!

Сизиф. Что «О!»?

Первый. Но чем мы будем жить?

Сизиф. А чернь? Чем живет она?

Первый. О! Это далеко не одно и то же!

Второй. Это совсем разные вещи!

Третий. Подумать только! Равнять нас с чернью!

Первый. Благодарение богу, у нас другие потребности...

Второй. ...и другие вкусы...

Третий. ...и другие чувства...

Первый. ...которых у черни нет...

Все трое *(одну руку поднимая к небу, другой побрякивая серебром в карманах.)* Духовные ценности!

Сизиф. Но разве вы не понимаете, что моя борьба — это и ваша борьба? Что, спасая себя, я спасаю и вас? Разве вам так уж хочется умирать?

Первый. О нет, Сизиф, совсем не хочется.

Второй. Конечно, твоя попытка очень благородна...

Третий. ...благородна и прекрасна...

Первый. И мы аплодируем тебе от всего сердца.

Второй *(аплодируя кончиками пальцев)*. Браво! Браво!

Третий. Но мы думаем, что она безумна...

Первый. ...несбыточна...

Второй *(осторожно)* ...или, по крайней мере, преждевременна...

Первый. ...и что она осуждена...

Второй. ...благодаря этому...

Третий. ...на полное крушение...

Первый. Определенно!

Второй. Ибо Олимп всесилен, Сизиф!

Третий. Олимп всемогущ! И всегда и везде Олимп торжествовал победу!

Сизиф *(кричит)*. Довольно! *(Знатные люди отступают.)* Вы слышите, довольно! *(Та же игра.)* Вы мне отвратительны, слышите! Довольно! Убирайтесь!

Молчание.

Первый *(осторожно подходит)*. Но ведь нам нужен ответ, Сизиф!

Сизиф. Ответ один: нет!

Представители знати снова отступают. Сизиф садится и охватывает голову руками. Молчание.

Смерть *(тихо к представителям знати)*. Друзья мои... *(Они приближаются)*. Друзья мои...

Смерть отводит их в сторону.

Первый. Сударь?

Смерть. Золотое перо, похищение которого сделало меня бессильным... да, бессильным...

Первый. Это очень прискорбно, сударь.

Смерть. Да, очень... Так о чем же я говорил?
Второй. О золотом пере, сударь?
Смерть. Оно у него в кармане.
Первый. Оно у него в кармане?

Молчание. Представители знати переглядываются.

Второй. Но скажите, сударь...
Третий. Не смогли бы вы?..
Смерть. Увы! Нет! Нет, мои друзья... Я не могу. Я ведь тоже принадлежу к сонму богов... Я не могу, но...

Он не заканчивает.

Первый. А мы, мы могли бы?
Смерть. Как сказать. Законом это строго запрещено. Закон есть закон, не правда ли? Ни один смертный не имеет права вернуть силой то, чем завладел другой... За исключением...
Второй. ...За исключением...
Смерть. За исключением случая, когда это происходит во время игры. Вот когда это просто игра, шутка, — тогда пожалуйста...
Третий. Значит, если это шутка, тогда можно?
Смерть. О да! *(Смеется.)* Маленькая дружеская шутка! *(Серьезно.)* А я могу вам сказать... *(Останавливается.)*
Первый. Вы можете нам сказать...
Смерть. Что там, наверху, это будет вам зачтено.

Представители знати обмениваются взглядами.

Первый *(обращаясь к двум другим)*. Идем. *(Они подходят к Сизифу, окружают его и затем набрасываются на него.)* Мы только немного поиграем с тобой, Сизиф!
Сизиф. Вы с ума сошли!
Второй. Только маленькая шутка!

Выхватывает перо и протягивает его Смерти.

Сизиф. Несчастные, вы всех нас погубили!

Смерть пишет в своей книге.

Смерть. Теперь, Сизиф, ты только тень самого себя.

Представители знати боязливо отстраняются от Сизифа. Сизиф поднимает руки ко лбу.

Сизиф. Никогда не думал, что смертные заключат союз со Смертью.

Арес и Смерть хватают его с обеих сторон за руки.
Сизиф закрывает глаза, голова его падает на грудь.

Занавес.

Из поэзии

НАРОДОВ ЮГОСЛАВИИ

ДЕВУШКА И КОНЬ

Где вчера мы на ночевке были,
Сладко ели, еще слаще пили,
Любовались девушкой красоткой.
Мать сидела с ней все время рядом
Так с девицей разговор не вышел.
Мы коня ей дали на проминку
Поводить немного перед домом,
И с конем девица говорила.

«Воронок мой, воронок любезный!
Я спрошу, а ты скажи мне правду:
Твой хозяин холост иль женатый?»

Воронок ей правду отвечает:
«Нет, пока хозяин неженатый,
Но задумал на тебе жениться».

«Если б знала я, что это правда,
Развязала б с шеи ожерелье
И в твою вплела густую гриву;
Растопила б кольца и браслеты
И узду сковала б золотую!»

ПРИМОРСКАЯ

Ах ты, сокол мой, ты сокол!
Что ты вьешься под окошком,
Что ты милого мне будишь?
Милый сильно уморился!
Как мой миленький проснется,
Попрошу его, мой сокол,
Чтобы взял меня с собою:

Днем я буду за матроса,
За дружка милого ночью.
Если руль ему изменит —
Мои рученьки помогут;
Если парус разорвется —
Шаль моя заменит парус;
А не выдержат канаты —
Так коса поправит дело;
Ну а если мачта рухнет —
Стройный стан мой крепче мачты!

Ах ты, сокол мой, ты сокол!
Не буди дружка милого!

ЧУДО

Первый раз видала в жизни чудо:
Рыба речку носит в синем море,
А свекровь целуется с невесткой.
Но недолго чудо продолжалось:
Снова речка рыбу носит в море,
А свекровь ругается с невесткой.

ЖЕНАТЫЙ И ХОЛОСТОЙ

Разве трудно узнать женатого?
Черный ус у него позапутан,
Черный чуб подгорел посредине.
Как гуляет широкой улицей,
Как гуляет — все под ноги смотрит,
Словно перстень свой ищет венчальный.
Разве трудно узнать холостого?
Черный ус у него позакручен,
Черный чуб дотянулся до шеи.
Как гуляет широкой улицей,
Как гуляет — глазами стреляет
По окошкам направо-налево,
Словно сокол по горным вершинам:
Нет ли там ему чем поживиться.

Перевод с сербско-хорватского П. Э.

Чжао Шу-ли

В деревне Саньливанъ

(РОМАН)

(Продолжение)

Перевод с китайского В. Смирнова и А. Тишкова

12. НА ОГОРОДАХ

Когда Цзинь-шэн вернулся домой, товарищ Хэ из округа прежде всего заговорил о жалобе жены «Бестолочи», а потом сказал, что хотел бы подробно ознакомиться с обстановкой в деревне,— но хорошо бы это сделать по плану, не тратя лишнего времени, и осмотреть как можно больше.

— Маршрут наметить — пустяки, а вот где взять провожатого? Ведущих работников послать нельзя, все заняты на уборке, а рядовой член кооператива не все сможет объяснить, — говорит Цзинь-шэн.

— А провожатого нам и не надо, — говорит заместитель начальника района Чжан Синь. — Я сам его поведу.

Обсудили всё втроем и решили: первую половину дня они проведут в поле, после полудня посмотрят, как идет распределение доходов, а вечером потолкуют об организационной и хозяйственной работе. Как раз в это время пришел мальчик, посланный хозяином, у которого они столовались, и позвал Чжан Синя и товарища Хэ завтракать.

После завтрака Чжан Синь повел товарища Хэ в поле. Миновав овраг, они идут берегом реки, вдоль каменной дамбы. На ходу Чжан Синь дает объяснения начальству:

— Место к северу от Песчаного оврага называется Верхней отмелью, а к югу — Нижней отмелью. Бо́льшая часть кооперативной земли — на Нижней отмели, немного — на холме и несколько участков — на Верхней отмели. Рабочая сила в кооперативе, за исключением нескольких человек, которые ходят за мулами, ослами, пасут буйволов, работают на мельнице и в свинарнике, разбита на четыре бригады. В деревне Саньливанъ любят давать прозвища, поэтому даже бригады имеют свои прозвища. Сейчас мы идем туда, где находится третья бригада, она работает на огородах и продает овощи, ее бригадир — отец секретаря партийной организации Ван Бао-цюань. В этой бригаде самая высокая техника, поэтому членов этой бригады прозвали «Агротехники». К западу от этого участка, у водочерпалки, жнет вторая бригада, ее бригадир — заместитель старосты Чжан Юн-цин — любит поговорить о политике; выражается он, правда, иногда грубовато, но говорит складно и без устали, — эту бригаду называют «Политиками». К югу от ивовой рощи, прилегающей к устью Песчаного оврага, вон там, где вяжут снопы, и рядом, где жнут женщины, — работает первая бригада. Большая ее часть — бойцы отрядов самообороны, там организованность и дисциплина получше, чем у других, поэтому их и прозвали «Вояками». Сначала ее людей хотели было распределить по другим бригадам, чтобы поднять организованность и дисциплину. Но несколько лет назад

этот участок во время разлива занесло песком и камнями и, чтобы восстановить его, работать пришлось очень напряженно, так что пока бригаду решили не распускать. Четвертая бригада сегодня работает на Песчаном овраге, сейчас ее нам не видно, там бригадиром Ню Сы-ван; поля на холме тоже находятся в ведении этой бригады, поэтому их и прозвали «Горцами».

Так, разговаривая, они приближаются к огородам.

Этот небольшой участок называется «Пристань»; с восточной стороны тянется дамба, сложенная из больших камней, она защищает возделанную землю от разливов реки; по ту сторону дамбы уровень почвы на пять-шесть чи* ниже огородов, там растут ивы, за ними уровень понижается все более и более и шагов через сто — причал, где привязаны лодки. От дамбы до самой воды — выложенная дорожка, по которой можно пройти на огороды; по ней ходят покупатели, прибывающие за овощами с другого берега. Вдоль дамбы — ряды жердей, по ним вьются чечевица и фасоль. На грядках растут тыквы, кабачки, баклажаны, перец, капуста, свекла, брюква и другие овощи. У дамбы стоит домик, днем здесь продают овощи, а с вечера до утра находится сторож.

На водочерпалке мул крутит колесо — идет поливка и подкормка капусты, огородники собирают в корзины баклажаны.

Старик Ван Син подходит к гостям, Чжан Синь знакомит его с товарищами.

— Отдохните немножко в тени, — предлагает Ван Син, пожимая ему руку.

Он ведет их в тень, под одну из ив. Там стоит деревянное блюдо — на таких блюдах продают дыни и арбузы ломтями. Старик говорит:

— Вы тут посидите, а я принесу дыни, отведайте!

Товарищ Хэ отказывается, но старик хочет непременно угостить их.

— Вон там работает молодежь, крикни, чтобы кто-нибудь из них принес дыню, — говорит Чжан Синь.

— Они еще только первый год тут работают и не понимают, какая дыня хороша, какая плоха, — отвечает Ван Син и уходит.

— Этот старик, — говорит Чжан Синь, — свекор заместительницы председателя кооператива Цинь Сяо-фын, в этом году ему уже стукнуло шестьдесят пять лет, когда-то он работал на огородах семьи Лю.

— Вот это порядок! — говорит товарищ Хэ, показывая на аккуратные ряды жердей для фасоли и подставок для тыквы, на ровные гряды капусты. — И все под руководством двух стариков. Хорошо! Правильно их прозвали «Агротехники»!

Старик несет уже несколько дынь, кладет их на блюдо, приговаривая:

— Неспелые, несочные, несладкие, недушистые можно обменять.— Потом, закинув голову, зовет: — Товарищ художник! Иди-ка поешь дыньки, потом снова малюй!

Чжан Синь и товарищ Хэ с удивлением смотрят вверх.

— Куда это он забрался? — спрашивает Чжан Синь.

— Спасибо! Сейчас слезу! — кричит с дерева художник и, обращаясь к гостям, говорит: — Извините, я с вами не поздоровался!

— Ничего! — смеется товарищ Хэ. — Это мы тебе помешали! Ваш брат художник не любит, когда ему мешают.

Художник слезает с дерева, все садятся и принимаются за дыни, завязывается разговор. Товарищ Хэ спрашивает, сколько дохода дают огороды, Чжан Синь отвечает:

---

* Чи — китайская мера длины, равная 0,32 метра.

— По первоначальным расчетам огороды должны были дать 15 миллионов доходу, сейчас говорят, что будет больше, а на сколько — не знаю. — И, обращаясь к старику Ван Сину, спрашивает: — Миллионов до двадцати, наверное, дотянете?

— Когда составляли смету, я говорил, что цифры неправильные,— отвечает старик. — Сейчас уже продали овощей на 15 миллионов, а после продажи брюквы и капусты еще выручим столько же, если не больше.

— С какой площади? — спрашивает товарищ Хэ.

— Всего под огородами у нас двадцать му, да еще на двух му — просо. Участок небольшой, а работать приходится много. Недаром говорят: «Огород в му все равно, что поле в десять!»

— Значит, сейчас вы с одного му огорода можете получать дохода столько же, сколько дают десять му зерновых? — спрашивает товарищ Хэ.

— Сейчас стали больше собирать зерна, — отвечает старик, — сейчас так не получится, а если сравнить с прошлым, то так оно и есть. Вот у нас, например, раньше с одного му земли собирали два даня *, с двадцати му — сорок даней; по нынешним ценам один дань зерна стоит восемьдесят тысяч юаней, а сорок даней стоят три миллиона двести тысяч. А если сейчас эти восемнадцать му засадить только одной капустой, то это даст тридцать миллионов. В общем, так и получается, что один му огорода приносит дохода, как десять му зерновых.

— А те два му почему не под капустой? — спрашивает товарищ Хэ.

— Там опытный участок кооператива, им распоряжается Юй-шэн. Хотите посмотреть? — говорит старик.

— После расширения кооператива, наверно, можно будет засадить капустой и пятьдесят му? — спрашивает художник.

— Нет, нельзя, — говорит старик. — Мы далековато от города, мы продаем только жителям деревень, у которых нет поливных земель, и столько мы не сбудем.

Затем товарищ Хэ спрашивает об уходе за овощами, но тут на дорожке, выложенной камнями, показывается покупатель с корзинкой.

— Пойдем поглядим другие гряды, — говорит Чжан Синь, обращаясь к товарищу Хэ, — а старик пусть идет отвешивать капусту.

Он поднимается, за ним встают и остальные.

— Вы походите, посмотрите, — говорит старик, — и если будут какие-нибудь вопросы, то потолкуем еще, вот только отпущу покупателя.

Чжан Синь и товарищ Хэ идут дальше осматривать огород, старик отправляется отпускать капусту, художник снова лезет на дерево.

Товарищ Хэ интересуется каждой культурой, подходит поближе, рассматривает, хвалит: промежутки между растениями, междурядья, подпорки — все словно размерено по линейке; на прорыхленной, разровненной земле ни одной лишней травинки, кажется даже, что количество листьев на каждом растении строго определено.

— Сколько у них человек в бригаде? — спрашивает товарищ Хэ.

— Двенадцать, в том числе те двое, что работают на переправе,— отвечает Чжан Синь. — Перевоз покупателей через реку — их побочный промысел.

— В среднем, значит, на каждого приходится около двух му, — говорит товарищ Хэ. — Вообще-то немного, но так обработать даже один му — дело нелегкое. Такой порядок я видел только в садах, а на огородах не видывал. И не удивительно, что с восемнадцати му они

---

* Дань — мера объема, равная 10 доу или около 103,6 литра.

хотят получить тридцать миллионов дохода. Они действительно хорошо потрудились!

Довольные осмотром, они подходят к опытному участку, находящемуся в ведении Юй-шэна. На этом участке межей нет, он разбит на две части: та, что прилегает к огородам, засеяна шестью различными по высоте и внешнему виду сортами проса, другая часть засеяна только тем сортом проса, который называется «волчий хвост».

— Сюда не доходит вода с огородов? — спрашивает товарищ Хэ.— Почему здесь даже нет межей?

— Все земли кооператива не поливные, — отвечает Чжан Синь,— и опыты, производимые на поливных землях, сюда не перенесешь, поэтому здесь нарочно не поливают землю. На этом участке, прилегающем к огородам, посеяны шесть наиболее урожайных сортов проса, но какой из этих шести самый выгодный для этой местности — мнения расходятся. Вот Юй-шэн и сделал тут шесть делянок, по одной на каждый сорт, — одинаково удобряет, оставил одинаковое количество всходов, одинаково ухаживает за каждой делянкой, чтобы определить, какой сорт даст больший урожай. А на второй половине участка испытывают плотность посева. В прошлом году в областном центре, после того как произвели опыты, советовали высевать на каждый му поля двенадцать тысяч семян, в нашем кооперативе так и сделали, урожайность повысилась. Но Юй-шэн усумнился, самое ли это выгодное соотношение для здешних мест, и предложил испытать. Он разделил участок на несколько делянок и засеял их просом «волчий хвост», но на одной делянке оставил девятьсот всходов, на другой — тысячу, на третьей — тысячу сто, на четвертой — тысячу двести и так далее, чтобы узнать, на какой из них при прочих равных условиях будет лучший урожай. Все согласились дать ему для опытов эти два му, вот он здесь и хозяйничает.

На вопрос товарища Хэ, кто подал ему эту мысль, Чжан Синь ответил, что Юй-шэн все это придумал сам.

— У этого парня голова неплохо работает, — говорит товарищ Хэ,— многое у него делается по-научному. Потом можно будет посылать ему на подмогу товарищей с уездной станции, пусть работают вместе. Агрономы в своих опытах тоже часто прибегают к таким способам, только у них знаний больше и приборы поточнее.

Осмотрев опытный участок, они решают идти к бригаде «Политиков» и кричат старику:

— Дед! Мы пошли!

Старик, окруженный корзинами, взвешивает кочны, проводить гостей у него нет времени, он только высоко поднимает безмен и кричит:

— До свиданья, до свиданья! Не могу вас проводить! Заходите завтра, если будет досуг.

13. ПЕРЕКУР

Чжан Синь и товарищ Хэ идут дальше; миновав хлопковые поля, они вступают на узенькую тропинку, уходящую в посевы кукурузы; кукуруза стоит высоко — выше человеческого роста. Чжан Синь объясняет:

— Это тоже участок «Политиков».

Подняв руки над головой, они ощупывают початки величиной с добрую скалку; стебли гнутся и ломаются под тяжестью этих огромных початков, самые спелые из них иногда вдруг обрываются и, если зазеваешься, хлопают тебя по темени. Поэтому Чжан Синь и товарищ Хэ здесь не задерживаются и спешат миновать опасное место.

Пробравшись сквозь заросли кукурузы, они выходят к огородам Лао-у. Издавна деревня Саньливань снабжала овощами деревни, расположенные к востоку и западу от горы, и огороды, принадлежавшие предателю Лю Лао-у, находились именно здесь. В прежние времена Лю был всесилен, и крестьянам, через чью землю проходила дорога от пристани до огородов Лю, приходилось скрепя сердце мириться с тем, что мулы и лошади перекупщиков овощей изо дня в день топчут посевы; после суда над Лю Лао-у огороды его поделили между крестьянами и дорогу сделали уже. Земля эта отошла к беднякам, которым не хватало зерна, и все они стали сеять просо, а не сажать овощи. И хотя позднее на участках по обе стороны колодца были организованы две бригады взаимопомощи и ворот, которым поднимали воду, заменили водоналивным колесом,— овощей все равно не сажали. Когда в 1951 году организовали сельскохозяйственный кооператив, бригада взаимопомощи, участки которой находились к северу от колодца, вступила в кооператив, а другая бригада, работавшая к югу от колодца, в кооператив не вступила.

К этому участку и подходят начальник района Хэ и Чжан Синь, но там сейчас как раз перекур. Бригада «Политиков» и бригада взаимопомощи вместе отдыхают около водоналивного колеса. Бригадир у «Политиков» — заместитель старосты Чжан Юн-цин, во главе бригады взаимопомощи — Ван Цзе-си, сын того самого Ван Шэня, что ковал железо вместе со стариком Бао-цюанем, «мастером на все руки». Увидев товарища Хэ, Чжан Юн-цин сразу вспоминает о жене «Бестолочи». Раз начальник района Хэ поселился у нее в доме, она непременно станет жаловаться — с тех пор как несколько месяцев назад он отклонил ее жалобу, она непрестанно обращалась к любому начальству, заезжавшему в деревню, включая даже приезжего ветеринара.

— Хозяйка, у которой вы живете, ни на что не жаловалась? — спрашивает Чжан Юн-цин.

— Еще бы не жаловалась! — восклицают все, не дожидаясь ответа товарища Хэ.

— И жаловалась, должно быть, преподло? — говорит Ван Цзе-си.

— Моя хозяйка, конечно, глуповата, — отвечает товарищ Хэ, — но боюсь, что и товарищ Чжан Юн-цин тоже не совсем прав.

И, обращаясь к Чжан Юн-цину:

— Я слышал, что вы сказали ей: «Через твой участок пророют канал, согласна ты или не согласна! И никакие жалобы тебе не помогут. Подавай на нас в суд, а мы пока что будем рыть. И хоть жалуйся председателю Мао — ничто тебе не поможет!» — Если это правда, то не удивительно, что она на вас жалуется.

Чжан Юн-цин смеется:

— Верно, я говорил. А вот рассказала она вам, сколько мы ее уговаривали?

— Но если вы все-таки так сказали, то ваши уговоры ничего не стоят, — говорит товарищ Хэ.

— Товарищ Хэ, — вмешивается кто-то из бригады Ван Цзе-си. — Не разобравшись в том, что было, по-моему, незачем обвинять Юн-цина. До того как Юн-цин сказал эти слова, мы сделали все, чтобы уговорить ее добром, — предлагали обменять ее поле, взять в аренду, но она ото всего отказывается, не дает рыть канал через свою землю — и все. Тут всякий потеряет терпение. Если бы все были такими, как она, то ни железных дорог, ни шоссе не было бы. По-моему, она просто дрянь, а характерец ее может сломить только такая пушка, как Юн-цин!

— Этим выстрелом ее не только не прошибли, а, наоборот, сделали еще упрямей — вот в чем беда, — говорит товарищ Хэ. — Ради общего

дела, конечно, нужно просить ее продать эту землю, но если идти против человека из своей же деревни, то потом неприятностей не оберешься. Один сын у нее — коммунист, другой — доброволец, разве ей не по пути вместе с нами — к социализму? Если все вы настроитесь против нее, то что будете делать с нею в будущем? Канал — каналом, но кроме того надо вести разъяснительную работу. А из пушки палить больше не надо.

— Что верно, то верно, — говорит Чжан Юн-цин. — Больше палить не буду!

— Значит, будем считать, что пушка выстрелила нечаянно, — говорит какой-то простоватый парень.

Никто из присутствующих еще не слышал, чтобы пушка могла выстрелить нечаянно, поэтому все снова смеются.

— Цзе-си, — говорит парень из бригады взаимопомощи, на вид ровесник Цзе-си, — вот бы в твоего отца тоже пальнуть из пушки дяди Юн-цина, он у тебя такой же.

— Если старуху не удалось прошибить, — говорит другой парень,— то как же прошибить его отца?

Народ расшумелся, а товарищ Хэ начал считать, сколько человек в бригаде, и насчитал человек двадцать.

— Не слишком ли большая у вас бригада? — спрашивает он.

— Здесь две бригады, — объясняет ему Чжан Синь. — Одна кооперативная, другая — бригада взаимопомощи.

— На будущий год мы все вместе вступим в кооператив, — говорит один из бригады взаимопомощи.

— Всей бригадой хотите? — спрашивает товарищ Хэ.

— Всей, только вот отец нашего бригадира не хочет.

— Да это же вторая «Бестолочь»! — говорит тот парень, что предлагал пальнуть в отца Цзе-си.

— Нет, они не одно и то же, — говорит Чжан Юн-цин. — «Бестолочь» — хапуга, а старик Ван Шэнь — нет. Когда кооператив будет расширяться — ручаюсь, мне удастся уговорить его!

Взглянув на тень от водоналивного колеса, Чжан Юн-цин объявляет:

— За работу!

— У «Вояк» и «Техников» у всех есть часы, — говорит один из парней. — А у нас ни у кого.

— Ну так что же, — говорит бригадир. — Не все сразу. Вот добьемся высоких урожаев, тогда каждый обзаведется часами, а пока можно и без них обойтись.

Обе бригады принимаются за работу. Посмотрев, как они жнут, товарищ Хэ и Чжан Синь направляются к Песчаному оврагу.

14. У ПЕСЧАНОГО ОВРАГА

Начальник района товарищ Хэ, увидев, что на участке, называемом Песчаным оврагом, никто не перетаскивает на ток просо и лишь один человек, погоняя пару волов, боронит землю, спрашивает у Чжан Синя:

— Почему же это так — просо еще не убрано, а уже боронят?

— Дальние участки боронят лишь после того, как перетаскают все на ток, а на ближних как уберут ряд — можно и бороновать. Боронуют и перетаскивают, так и поспевают друг за дружкой, — говорит Чжан Синь.

— Во время уборки работают не сдельно?

— На участках под просом сдельно. Пахота, боронованье, сев — все сдельно; в каждой бригаде назначены люди; как начинается уборка, они ничем другим не занимаются, а лишь боронят и пашут.

В это время человек десять из бригады «Вояк» с шестами на плечах возвращаются с тока на участок. Они рассыпаются по межам и, словно делая упражнения с пикой, сначала накалывают на шест один сноп, поднимают его как флаг — сноп соскальзывает по шесту до руки, потом накалывают другой, третий — сколько кто может унести, и бегут обратно.

Слышится пение: это девушки, работающие на участке около ив, поют популярную в этих местах песенку; парнишка лет пятнадцати-шестнадцати вторит им, подражая звукам гонга и барабана. Завидев гостей, парнишка что-то говорит девушкам, те прерывают работу и выстраиваются в ряд. Хлопая в ладоши, они кричат:

— Приветствуем вас, товарищ на-чаль-ник!

Товарищ Хэ здоровается с ними, и все опять принимаются за работу.

Снова прибегают с тока парни с шестами. Поздоровавшись с товарищем Хэ, они рассыпаются по участку; бригадир Вэй Чжань-куй вместе с товарищем Хэ и Чжан Синем подходят к большим кучам песку у ив.

— Этот песок выбран с пяти-шести му здешней земли, — говорит бригадир, показывая на большие, выше человеческого роста, кучи песку, наваленные на протяжении нескольких десятков шагов. — В прошлом году, когда организовали кооператив, эти пять му земли были под песком, с каждого му собирали только три доу зерна, сеять можно было только коноплю, да и она росла плохо, а сейчас с этих пяти му соберем больше сорока даней проса.

Вода с гор, стекая по оврагу и разливаясь во время дождей, заносила поля песком. Среди песчаных холмов находилось устье оврага.

— А не боитесь, что участки снова занесет песком? — спрашивает товарищ Хэ.

— Песок задерживается ивовыми плетнями,— отвечает Чжан Синь.

Они поднимаются наверх — посмотреть плетни. Костяк каждого плетня состоит из ивовых стволов, а промежутки между ними заплетены тонкими ветками, которые продолжают зеленеть и расти.

— Это Юй-шэн придумал живые изгороди, — говорит бригадир.

— Вот как? Я читал об этом в газете, — говорит товарищ Хэ, — в первый свой приезд я их не видел. Хорошо придумано! Посмотрите, как хорошо принялись ветви в первом ряду — настоящие большие деревья!

— Они посажены в 1949 году, — говорит бригадир. — А другие плетни сделали после — каждый год по ряду, один выше другого. Видите, сейчас песок порос терновником и травой, на поля он уже больше не придет.

— С этой стороны пески задержали, — говорит Чжан Синь, — но если не придумать чего-нибудь посущественнее, то через несколько лет песку скопится столько, что он двинется в другую сторону. В этом году на главном русле поставили два ряда плетней, и песок уже поднимается выше. Вот если бы вся деревня вступила в кооператив и на всем протяжении оврага сделать плетни, — тогда дело другое.

— Конечно, — соглашается бригадир.

Потом он прощается с товарищем Хэ и присоединяется к своей бригаде.

— А в какой же бригаде Юй-шэн? — спрашивает товарищ Хэ. — И на огородах видна его работа, и здесь, как же так?

— Он работает не сдельно, поэтому и не числится ни в одной бригаде, — отвечает Чжан Синь. — В кооперативе много людей, которые не работают в бригадах, — пастухи, конюхи, счетовод. Но если у них

остается свободное время, то в кооперативе работы хватает — прополка, расчистка и тому подобное.

— Должно быть, в кооперативе есть несколько техников?

— В каждой бригаде по одному, а Юй-шэн главный.

— В обычное время он чем занимается?

— А он все может. Он и лекарственные растения разводит, и протраву заготовляет, и с машинами возится, и сроки посева определяет... В общем, не только вся техника на нем; надо ли деревья насадить, величину тока вычислить, что ни случись — бегут к нему. Он толковый парень, способный, сколько нового придумал...

Так, разговаривая о Юй-шэне, они проходят сквозь заросли ив и оказываются около устья Песчаного оврага.

15. С ГОРЫ

За деревьями на северном краю Песчаного оврага виднеются крыши домов. Под высоким ясенем спит большая пестрая собака; услышав шаги в овраге, она поднимает голову, смотрит на проходящих и засыпает снова.

— Здесь живет более десятка семей, — говорит Чжан Синь, — участки эти были освоены еще предыдущим поколением, переселенцами из других мест. Они арендовали землю у семьи Лю, и лишь только после того, как Лю Лао-у был расстрелян, она отошла к арендаторам.

Дорога, постепенно поднимаясь, ведет в деревню, расположенную по ту сторону горы.

Товарищ Хэ и Чжан Синь, взобравшись на гору, слышат звон колокольчиков — черные и рыжие буйволы с блестящей шерстью разбрелись среди терновника и щиплют траву. Их «начальник» Ма Жу-лун, у которого одна рука искалечена, сидит на камне и покуривает трубочку; завидев товарища Хэ и Чжан Синя, пастух приветствует их.

— Вот он тебе и расскажет, как здесь обстоят дела, — говорит Чжан Синь, обращаясь к товарищу Хэ. — Он это умеет получше меня.

Гости подсаживаются к Ма Жу-луну, и тот начинает объяснять:

— Земли на горе и над оврагом всего сто двадцать му. Есть еще и песчаные земли, да родится на них плохо. Здесь растет, главным образом, грецкий орех и хурма, но всё это принадлежит хозяевам, потому что при вступлении в кооператив плодоносящие деревья остаются в частном владении. Вон на том жнивье видите, сколько хурмы? Это тоже все частные сады. А пониже, где лежит куча бобов, видите, деревца, маленькие, как дикие жужубы *? Это кооперативные черные финики, их пересадили в прошлом году, а в этом году посадили хурму, плоды же будут только лет через пять. Отсюда нам не видны саженцы ореха вдоль дамбы — они за кукурузным полем. В кооперативных планах предусмотрено увеличение посадок фруктовых деревьев; вот когда все вступят в кооператив, то постепенно эти сто двадцать му земли полностью отведем под фруктовые деревья.

— Правильно,— замечает товарищ Хэ.— Тогда и пески задержатся.

— Это еще не все, — говорит Ма Жу-лун. — На обработку одного му земли на горе или у оврага в среднем в год требуется двадцать два дня, на обработку одного му в долине — только двенадцать, а когда прорoют канал и вся деревня вступит в кооператив, то для ухода за садами потребуется очень мало людей, а освободившуюся рабочую силу можно будет перебросить на поля по обоим берегам реки — там свыше

* Жужуб — китайский финик.

двух тысяч му, зерна на этих землях соберем куда больше, чем на этих ста двадцати му.

Товарищ Хэ спрашивает у Ма Жу-луна, как исчисляется его заработок.

— Я уже выработал свыше трехсот шестидесяти пяти дней, — отвечает тот. — За одного вола в год начисляют двадцать рабочих дней, а я пасу двадцать одного, всего, значит, получится четыреста двадцать дней.

— Членам кооператива, которые пасут волов и овец, мелют зерно, ходят за свиньями, — говорит Чжан Синь, — также начисляют трудодни.

Поговорив еще немного, товарищ Хэ и Чжан Синь взбираются на самую вершину горы.

С вершины горы открывается вид на реку, которая полукольцом, с севера на юг, охватывает противоположную гору; на западном, ближайшем берегу раскинулись земли деревни Саньливань, их пересекает безводный Песчаный овраг. Одна треть этих земель находится к северу от оврага, остальные две трети — к югу от него; в углу, между оврагом и горой, приютилась деревня Саньливань. Под полуденным солнцем дома кажутся новенькими игрушками, расставленными среди деревьев; хотя от вершины горы до деревни более ли пути, все отчетливо видно: мельница, катки, взрослые, детишки, мулы, ослы, куры, собаки.

Чжан Синь ведет товарища Хэ к старому кипарису, они садятся под деревом, и Чжан Синь начинает неторопливо и подробно рассказывать о землях, расположенных к северу и югу от оврага.

— То место, где ты сидишь, называется Спина черного дракона. Если пойдешь отсюда прямо на северо-восток, то скоро доберешься до спуска к реке; это место называется Загривок дракона. К северу от Загривка дракона — излучина, которая называется Излучина дракона. К югу от Загривка дракона место называется...

— Почему так много названий? Их и не запомнить, — говорит товарищ Хэ.

— Я и то называю не все. Вот, например, если идти отсюда к Загривку дракона, то надо миновать Впадину хурмы, Ворота овечьего загона, Красный склон, Храм горного духа... В здешних местах в любой деревне разных названий больше, чем людей, я тоже не мог сразу запомнить их, а потом ничего, привык и уже знаю их все наперечет.

— В нашей деревне названий, пожалуй, меньше... Хотя тоже не мало, не мало, — смеется товарищ Хэ.

— Ты сказал, что здесь спина дракона, там — загривок дракона, а где же его голова?

— Вон там, к северо-востоку, напротив Излучины дракона, видишь небольшую скалу? Это и есть Голова черного дракона.

— Значит, черный дракон что-то выискивал на том берегу, — говорит товарищ Хэ — Но все это не имеет отношения к деревне Саньливань, поговорим-ка о ней.

— Нет, — говорит Чжан Синь, — имеет отношение. Кооператив решил провести канал, который пойдет от Головы черного дракона к Излучине дракона, мимо западного склона горы. Русло реки оттуда до Загривка дракона скалистое, и оно несколько выше Загривка дракона. Только оттуда можно отвести воду, чтобы оросить поля, лежащие к югу от Песчаного оврага. Видишь — на расстоянии сорока-пятидесяти чжанов * от берега реки воткнута жердь? Вот в этом месте и будут делать выемку, потому что там самый тонкий каменный пласт.

---

* Чжан — 3,2 метра.

— А по-моему, он шириной чжанов в сорок-пятьдесят, — замечает товарищ Хэ.

— Уже все обследовано, камня там только чжана три, а дальше земля. Видишь поле, вытянутое в длину, — в северной части оно совсем узкое, а к югу расширяется? Это место называют Ножом. Вот хозяйка тебе пожаловалась, что у нее хотят отнять землю — этот самый клочок, что под кукурузой, так сказать, Рукоятку ножа. Это и есть ее участок.

— А к северу от оврага землю, наверно, нельзя будет оросить? — спрашивает товарищ Хэ.

— От деревни надо отвести канавку в северо-восточном направлении — тогда часть тех земель можно будет поливать. По плану Юй-шэна, если перебросить водоналивные колеса с южного берега оврага на этот участок, то семи колес хватит, чтобы оросить все земли к северу от оврага.

— Так почему же хозяева этих полей не согласны на прорытие канала? — спрашивает товарищ Хэ.

— По правде говоря, — отвечает Чжан Синь, — не согласен только Ма До-шоу да еще один-два хозяина, но главный тут — Ма До-шоу.

— Разве его землю нельзя будет оросить?

— Он себе на уме. Посмотри! Видишь то место к югу от ножа, недалеко от водоналивного колеса? Это место называется Тридцать му — там бóльшая часть земли принадлежит Ма До-шоу, а колесо куплено их бригадой взаимопомощи. Формально колесо принадлежит бригаде, а фактически оно орошает землю Ма До-шоу, потому что земли у остальных четырех членов этой бригады меньше, чем у него одного, и прорoют канал или нет, на землях Ма До-шоу будет вода. А если канал пройдет недалеко от их водоналивного колеса да если туда перенесут семь других колес, то вся бригада Ма До-шоу захочет вступить в кооператив, и он лишится рабочей силы. Сам в кооператив он не вступит, потому что у него много земли, а в бригаде взаимопомощи он за плату имеет рабочую силу — это почти одно и то же, что нанимать работников.

— Что же сделает Ма До-шоу, если прорoют канал и остальные члены его бригады вступят в кооператив?

— Одно из двух: или наймет работников, или тоже вступит в кооператив.

Близится время обеда. Люди потянулись по тропинкам к деревне. Бао-цюань и Юй-шэн уже обтесали катки и ушли домой; те, что должны ворошить подсыхающие колосья, пообедали раньше и орудуют на току маленькими деревянными вилами; старик Фан, который ходит за скотиной кооператива, направляется к мельнице и выпрягает осла.

Товарищ Хэ видит, что у мельницы поднялся спор, и говорит:

— Погляди-ка, что там случилось?

— Пустяки, обойдется. Просто старик Фан любит порядок и никогда от него не отступает! В кооперативе так заведено: в определенное время кооперативную скотину, где бы она ни работала, полагается выпрягать. Приходит это время — старик Фан тут как тут и выпрягает осла, хотя бы оставалось домолоть одну горсть зерна. Вот и сейчас он, наверно, увел осла и не дал домолоть жене Цзинь-шэна ее зерно.

— Значит, у него есть часы? — спрашивает товарищ Хэ.

— Нет, Юй-шэн сделал ему самые простые часы — вбил гвоздь в подоконник, рядом положил кирпич, а на кирпиче провел черту. Как только тень от гвоздя дойдет до этой черты — значит пора выпрягать скотину.

— А как быть в дождливый день?

— В дождливый день никто не станет молоть зерно.

Товарищ Хэ смеется выдумке Юй-шэна.

— Уже полдень, — говорит он, — и мы многое посмотрели, пошли в деревню!

И оба начинают спускаться по горной тропинке.

16. СЕТОВАНИЯ ЦЗЮЙ-ИН

От дома Цзинь-шэна до мельницы недалеко. Когда утром жена его пришла туда, там на вторых жерновах уже работала Чэнь Цзюй-ин. Пшеницу пропускают через жернова дважды, и когда зерно засыпают второй раз, выдается время поболтать. И женщины начинают судачить о своих домашних делах, о разводе Юй-шэна, о семье Ма До-шоу. Цзюй-ин говорит:

— Сестрица! По-моему, Сяо-цзюнь могла бы найти счастье в вашей семье. Все вы всегда живете дружно — и мужчины, и женщины, и дети делают свое дело и никто никому не мешает. Как хорошо, наверно, жить в вашей семье. Удивительно, что она у вас не ужилась.

— А что тут удивительного, — отвечает жена Цзинь-шэна. — В нашей семье и, правда, хорошо, только одна Сяо-цзюнь вносила раздор. Но в какой семье не бывает неурядиц? В вашей семье тоже немало хороших людей: и уездные партийные работники, и члены союза молодежи...

— Никто из них не имеет веса в семье, а те, кто ею управляют, делают все по-старинке. У нас в семье по давно заведенному обычаю мне выдают пять цзиней хлопка, и все.

— А как со старшей невесткой обходятся?

— Внешне так же, только ведь с некоторыми мужьями в семье считаются, а с другими — нет, поэтому и к женам отношение разное.

— А ты не говорила с ней об этом?

— С ней поговоришь, когда она все время ищет повода для скандала! Стоит мне сесть за станок — она не даст мне ткать. Сама весь день будет возиться со своим ребенком, а на меня свалит все хозяйство — помол зерна, стряпню, уборку. Да что говорить о тканье — новую обувь и ту не сошьешь, если не уедешь к отцу с матерью; постирать, заплату положить — и то некогда. Зимой и летом, когда я гощу у своих, каждый раз привожу новую обувь свекру и его четвертому сыну. И для них сошью обувь и кое-что себе и дочке сделаю, постираю, подлатаю старье — и опять возвращаюсь сюда. А мне тут еще говорят: «Так и норовит не в дом, а из дому!»

— Значит, одевают тебя твои старики?

— А как же? Кто заставит родственников мужа дать мне денег? А они этого, ох, как не любят делать. Свекровь всегда говорит посторонним, чтобы уколоть меня: «Обижают ее — и поделом! Кто ей велел отпускать своего мужа?»

— А! Я тоже что-то слышала про твоего мужа. Как же это у вас получилось?

— Когда он ушел, я осталась в его семье — таково было его желание. Тогда я была не очень-то развитая и не уговаривала его, как другие, передовые женщины, идти в добровольцы, но я и не удерживала его, как это делали отсталые женщины. А его родня ненавидит меня, ненавидит за то, что я недостаточно отсталая.

— Так кто же в конце концов повлиял на Ю-си?

— Все его родные во главе с отцом были против. А я чувствовала, что он поступает правильно!

— Что же говорил людям старый дурак, когда не хотел отпускать сына?

— Если начать об этом рассказывать — то и конца не будет. Мы поженились с Ю-си в 1948 году, когда мне было восемнадцать лет, а ему двадцать один год. В пятнадцать лет он окончил начальную школу и хотел учиться дальше, но отец сказал: «Твой брат окончил среднюю школу и уехал работать в город — только его и видели. Ты тоже хочешь удрать? Незачем учиться! Работа найдется и дома!» Когда через год после свадьбы у меня родилась девочка, Лин-лин, то отец вдруг захотел, чтобы мой муж пошел учиться дальше...

— Все говорят, что старик боялся, как бы его сыновья не ушли в армию.

— Да, он именно этого и боялся. Ведь весной сорок девятого года многие ушли в армию. На собрания, где записывались добровольцы, он сыновей не пускал и вообще никуда из дому не выпускал. А летом отправил их в уезд учиться. Мужу тогда было уже двадцать два года, и он был на голову выше других учеников, его прозвали верзилой, а за спиной смеялись, что он боится идти в армию. В пятидесятом году американцы напали на Корею, в школе на несколько дней прервали занятия, и ученики вместе с учителями поехали по деревням, агитируя за оказание помощи Корее, призывали записываться в добровольцы. В некоторых деревнях люди говорили, указывая на моего мужа: «Ишь какой здоровенный, а прячется среди ребятишек, сам в добровольцы не записывается — как ему не стыдно агитировать других?» Он рассказывал, что с этого времени его стали презирать в школе; где бы он ни появился, его встречали насмешками и бранью, стыдно было людям в глаза глядеть. Так он провел в школе год, а прошлой осенью, когда американцы начали готовить наступление, школьники опять поехали по деревням агитировать, а мужа отказались взять с собой — он остался один. Вернувшись, товарищи опять стали насмехаться над ним. Тогда он решил идти в добровольцы, но слышал, как другие ученики говорили, что для этого необходимо согласие родственников. Как ты думаешь, согласились на это его родственники? Наступила зима, и он, стыдясь своего положения, отпросился на два дня, чтобы съездить домой, примчался ко мне — в то время я жила у своих родителей. Он долго мне все объяснял и спрашивал, одобряю я или нет его решение идти добровольцем. Ты подумай: если бы я сказала, что не одобряю, он, наверно, умер бы от огорчения. Я скажу тебе правду, только ты никому не говори — я одобрила его намерение. Он пробыл у меня два дня, я справила ему одежду и проводила его. Его родные узнали об этом, свекровь устроила скандал в школе, там ей сказали, что он отправился домой и показали ей его заявление; она стала спрашивать Ю-и, Ю-и сказал, что так оно и было, и только после этого она угомонилась и уехала. Это все рассказал Ю-и. Из школы она приехала к нам, и, ты думаешь, я осмелилась сказать ей правду? Я сказала: «Он приехал, но был один день и вернулся в школу». Тогда она ничего не говорила, только потом стала твердить, что я подговорила ее сына идти в добровольцы. А свекор нынешней весной отозвал Ю-и из школы — не дал ему доучиться каких-нибудь полгода. Свекровь и свекор — воистину два сапога пара! Да еще старшая невестка...

Цзюй-ин вдруг умолкает — к ним подходит ее свекровь — жена «Бестолочи», ведя на поводу осленка. Старуха бросает взгляд на жернова и спрашивает:

— Что же, ты все еще не смолола зерно?

— Осталось только то, что на жерновах, — отвечает Цзюй-ин.

— Мула надо сменить, он с самого утра работал, а осленок еле тянет, на нем не домелешь.

Жена Цзинь-шэна вступается за Цзюй-ин:

— Мамаша, вы не беспокойтесь, с осленком тоже можно управиться.

Свекровь молча, сердито хмурясь, выпрягает мула, Цзюй-ин на его место впрягает осленка. После того как осленок бодро сделал два круга, старуха уходит, таща за собой мула, и на ходу приказывает невестке:

— Гоняй его хорошенько! В полдень еще надо молотить!

— К полудню ей не управиться. У меня меньше осталось, и то боюсь, что к полудню не поспею. Ведь полдень-то уж скоро, мамаша! — говорит жена Цзинь-шэна.

Старуха сама знает, что к полудню невестка не управится, но не может утерпеть, чтобы хоть чем-нибудь не досадить ей; однако заметив, что жена Цзинь-шэна это понимает, она спохватывается:

— Сколько намелешь — и ладно. Ничего, если немного останется.

После этого она удаляется.

— Слышала? — говорит Цзюй-ин. — Скотина устанет, так ее сменяют, а люди разве из железа сделаны? С самого утра съела только чашку риса, что прислал Ю-и; есть хочется, а в полдень отдыха тоже не будет — разве можно так обращаться с человеком?

— А почему не смолоть пшеницы поменьше за один раз? — спрашивает жена Цзинь-шэна.

— Это все штучки старшей невестки. Она да свекровь, если днем не устроят скандала, — так ночью спать не будут. Придираются ко всякой мелочи, лишь бы обидеть меня. Когда я дома, они только о том и говорят, что рис кончился, мука кончилась и чуть не каждые три дня заставляют меня молоть зерно. Рис и муку, заготовленные впрок, они зимой съели; когда я вернулась, уж почти ничего не оставалось. Да что уж говорить! Всего и не расскажешь...

Приходит жена Бао-цюаня, она ищет свою невестку, чтобы сказать ей, что Сяо-цзюнь унесла с собой большой узел, а что в нем — неизвестно.

— А ты не ходила на ток, не говорила Юй-шэну? — спрашивает жена Цзинь-шэна.

— Ходила, — отвечает свекровь, — да ему до этого нет дела. Он говорит: «Пусть хоть все унесет, лишь бы оставила меня в покое!» Ему-то хорошо так говорить, а если она взяла и его одежду, что тогда Юй-шэн носить будет?

— По-моему, она решила развестись с Юй-шэном и его вещи она не возьмет — побоится, — говорит жена Цзинь-шэна. — И Юй-шэн прав; если она в самом деле совсем ушла, то любой пропажи не жалко. А пропало что-нибудь или нет, мы скоро узнаем. Придет Юй-шэн домой в полдень и сам посмотрит. Поживем — увидим. Зачем заранее горевать!

Свекровь уходит, и обе женщины снова принимаются за работу.

17. НА ТОКАХ

После обеда на кооперативном току началось испытание трех новых каменных катков, уже должным образом подтесанных. Раньше всех прибежали взглянуть на результаты своей работы ее непосредственные исполнители Бао-цюань, Ван Шэнь, Юй-шэн и Лин-чжи. Кроме них, пришли также и все те, кто, как и они, был заинтересован в успехе дела.

Трое мужчин ведут по току трех рослых, дюжих мулов, запряженных в катки. Катки идут легко, мулам, как Юй-шэн и рассчитывал, не приходится силком доворачивать их до нужного положения — они вполне свободно описывают по току правильные круги. Погонщики

весело помахивают кнутами и не выпускают из рук вожжей; глаза их неотступно следят за мулами. Довольны и зрители, собравшиеся вокруг: вид мулов, легко и размеренно ступающих по слою колосьев, гораздо приятнее зрелища, которое являют собой на единоличном току два мохнатых осла, впряженных в один каток и натужно перебирающих всеми четырьмя парами ног. «Любо-дорого глядеть, — говорит кто-то, — как работается на таком большом току да с такой крепкой скотиной!» Посмотрев еще немного работу катков, зрители расходятся.

Члены кооператива, назначенные на ток, тотчас же приступили к обмолоту, остальные заспешили каждый по своим делам; Цзинь-шэн вместе с Лин-чжи и счетоводом Ли Ши-цзе вернулись в дом с флагштоками и занялись подготовкой к распределению доходов кооператива, Юй-шэн также направился в дом с флагштоками — комиссия по разбору жалоб вызывала его по возбужденному им делу о разводе.

Между тем на боковых токах Ма Ю-юй только еще переворачивал колосья. Полагается переворошить зерно на току до полудня — тогда за время обеда оно успевает хорошо просохнуть на солнце и после обеда уже готово к обмолоту. Однако до полудня Ма Ю-юй со своей бригадой убирал хлеб на своем участке и приступил к ворошению только теперь, когда другие уже начали обмолот. А тут еще подходят Ю-и с Мань-си и заявляют, что оба их осла молотить не смогут: большой осел все утро работал на помоле и еще не кормлен, а тот, что поменьше, занят на помоле. Ма Ю-юй мысленно обругал своих домашних за нераспорядительность, но чем помочь делу, придумать не мог. Тогда Мань-си предложил взять взаймы у Дэн-гао мула, с утра простаивавшего без работы. Дэн-гао — их бригадир, и раз мул стоит у него дома, то нет ничего проще, как взять его. Ю-юй тотчас же послал Ю-и к Дэн-гао.

Возвращаясь от Дэн-гао с мулом, Ю-и встретил Юй-мэй, и они вместе пошли на ток. Мань-си впряг мула в каток и начал обмолот зерна, большую часть которого уже переворошили; Ю-и и Юй-мэй вооружились граблями и стали помогать Ю-юю ворошить зерно. Ю-и проучился в школе на несколько лет дольше, чем Юй-мэй, и поэтому по части работы на току был слаб, с граблями управлялся плохо, чем вызывал смех Юй-мэй и замечания Мань-си в том духе, что этой премудрости ему еще придется поучиться у людей.

— Поди лучше отдохни! — сказал ему Ю-юй. — Глянь-ка, как ты неровно кладешь зерно — то ниже, то выше, для катка так нельзя.

Ю-и посмотрел на свою работу — действительно, гордиться нечем, скорее наоборот; прикинул, что ворошение скоро закончится, и, послушавшись совета старшего брата, бросил грабли и отошел в угол тока к куче соломы, для сохранности обмазанной глиной. Юй-мэй, видя, что вдвоем с Ю-юем им уже негде развернуться с граблями, тоже бросила грабли, прошлась разок с метлой на току и отошла к той же соломенной куче. Когда, наконец, Ю-юй, закончив работу, увидел, что единственное прохладное и тенистое местечко уже занято молодыми людьми, он отошел к восточному краю тока и стал наблюдать за обмолотом хлеба на кооперативном току.

— Можно ли сосчитать все китайские иероглифы? — неожиданным вопросом начинает разговор Юй-мэй.

— Можно, — отвечает Ю-и. — Учитель говорил, что всех иероглифов восемь тысяч, но из них лишь четыре тысячи употребляются более или менее часто.

— Почему же надо учиться столько лет? Разве нельзя их выучить за год?

— Ты ведь училась в школе. Разве иероглифы — это все, чему там учат?

— Нет, еще учат — как ее... арифметике и еще многому, чего я не знаю, но только когда я училась в школе, было военное время, так толком ничему и не выучилась. Запомнила лишь, будто самое главное — знать как можно больше иероглифов.

— В начальной школе, действительно, каждый день приходится запоминать новые иероглифы, но чем дальше, тем все меньше, зато прибавляются новые предметы.

Юй-мэй спрашивает, какие именно, и Ю-и, не переводя дыхания, перечисляет предметы, преподаваемые в школе: история, география, алгебра, геометрия, разные там биологии, зоологии, минералогии, физика, химия, политучеба и так далее и тому подобное — и затем начинает объяснять, что все это значит. Юй-мэй слышит слова «Китай», «заграница», «древность», «современность», потом какие-то «корни», «стебли», «головы», «груди», «брюшки», «пласты», «кристаллы», «движения воздуха», «дождь», «капитализм», «социализм», но они ничего ей не говорят, и, замахав руками, она перебивает Ю-и:

— Довольно, довольно! Уж видно, мне на роду написано быть дурочкой!

Как она жалеет, что сделала когда-то неверный выбор и не пошла учиться вместе с Ю-и и Лин-чжи!

— Зачем ты так говоришь? — возражает Ю-и. Он видит, что Юй-мэй огорчена, и, чтобы утешить ее, рассказывает о решении правительства после ликвидации неграмотности повсюду открыть постоянные общедоступные школы, потому что только так и можно закрепить достигнутые успехи и поднять культурный уровень народа.

— Что же, и такие, как я, смогут окончить среднюю школу? — спрашивает Юй-мэй.

— Ну, конечно! Но к тому времени мы с Лин-чжи уже будем опытные преподаватели и еще пополним свои знания.

— Еще бы! Вы с Лин-чжи к тому времени, конечно, сможете показать себя еще лучше.

Обычно в разговорах с Юй-мэй Ю-и старается избегать упоминания имени Лин-чжи, однако то и дело проговаривается. Спохватившись, он спешит переменить разговор.

На кооперативном току уже успели сгрести зерно в кучи, один раз провеять его и обмолотить все зерно семьи Ма, когда на боковой ток пришли Хуан Да-нянь с Юань Дин-вэем и «Бестолочь».

А к тому времени, когда бригада Ма Ю-юя сгребла зерно в кучи, на кооперативном току его уже успели дважды провеять. Видя, как там спорится работа, и вспомнив к тому же, что с одних только огородов каждый двор, входящий в кооператив, получит около миллиона юаней дохода, Юань Дин-вэй даже крякнул от зависти:

— А что, глядишь, и впрямь в кооперативе работать сподручней? В будущем году обязательно вступаю!

— Ну, у них там некому будет доглядывать за тобой! — насмехается один парень.

И действительно, за Юань Дин-вэем нужен глаз да глаз — как останется в поле один, непременно заснет.

— А начнут делить доходы, — подхватывает другой, — так ты сию же минуту побежишь из кооператива, если тебе не довесят самую малость.

Хотя это были отнюдь не безобидные шутки, Юань Дин-вэй промолчал. Так он всегда поступал: когда его за что-нибудь ругали, он только отмалчивался и продолжал делать по-своему.

На ток возвращаются Мань-си и Ю-и, ходившие в деревню за веялкой.

— Дядюшка До-шоу! — говорит Мань-си старому Ма. — Беги домой — свекровь с невесткой скандалят!

Старик До-шоу и Ма Ю-юй, услышав эту новость, так и застыли на месте.

— Из-за чего? — спрашивает, наконец, До-шоу.

— Да беги скорей, — торопит его Мань-си, — не то быть беде!

Старик До-шоу по тону Мань-си понимает, что дело нешуточное, и, ни о чем уже не спрашивая, опрометью бежит домой.

Хотя работы на току хватало на всех и ни у кого не было и минуты свободного времени, Ма Ю-и попрежнему не находил себе дела; за что только он не брался — вплоть до вил и метлы, — но по-настоящему приложить к чему-нибудь руки так и не мог.

— Ю-юй! — донеслось с третьего тока, — дал бы мне человека в подмогу.

Ю-юй остановился и посмотрел в сторону, откуда кричали. Это был Юань Тянь-чэн.

— Иди, Ю-и, подсоби дяде, — сказал Ю-юй.

Когда Ю-и проходил по кооперативному току, за которым находился маленький ток Юань Тянь-чэна, кто-то из членов кооператива насмешливо крикнул, обращаясь к Юань Тянь-чэну: «Может, дать тебе в помощники кого-нибудь из наших?», но старик Тянь-чэн ничего не ответил.

Старик Тянь-чэн — член кооператива, однако земли в личном пользовании у него больше, чем участок, который он внес в качестве пая при вступлении в кооператив. Когда наступает страдная пора, он знать ничего не хочет, кроме работы на своей земле, и для кооператива он уже не работник. Этим, естественно, возмущаются все члены кооператива, и вот почему ему в насмешку предложили общественную помощь.

Это «Проныра», жена Тянь-чэна, подала мужу такую коварную мысль — при вступлении в кооператив оставить себе побольше земли в личном пользовании. Согласно уставу, площадь земли, остающейся в личном пользовании у члена кооператива, должна составлять не свыше двадцати процентов от всей площади его земли. Однако у Юань Тянь-чэна был младший брат, уже давно служивший в армии, и «Проныра» решила воспользоваться этим обстоятельством, чтобы оставить себе возможно больше земли.

Она разыскала в Линьхэчжэне своего старшего брата, и тот состряпал ей фиктивный договор о разделе семьи, согласно которому младший брат Юань Тянь-чэна перед уходом в армию якобы отделился от него вместе с дядей Юань Тянь-чэна по матери; дядя умер, и узнать, был ли действительно такой договор и так ли в нем все записано, было не у кого. «Проныра» учила Юань Тянь-чэна, что надо заявить, будто он не берется решать вопрос о кооперативе за семью младшего брата и внести за брата его землю в качестве вступительного пая не может. Что же касается земли, записанной на его имя, то он, пожалуйста, готов оставить у себя в личном пользовании всего лишь двадцать процентов. Некоторые члены кооператива сразу раскусили, к чему он клонит, и не хотели принимать его, но, взвесив все за и против, все-таки приняли, и произошло это следующим образом.

Юань Тянь-чэн — член партии еще с 1938 года, со времен войны с японцами; в период борьбы за снижение арендной платы за землю ему прирезали хорошей земли больше, чем другим, а после ухода брата в армию он взял на себя и его хозяйство. Юань Тянь-чэна наградили кличкой «Два надела», и в записной книжке Ван Цзинь-шэна он числился в рубрике хозяев, получивших во время земельной реформы льготы. В 1951 году, когда в деревне был организован кооператив и ему

предложили вступить в него, он отговорился несознательностью своей жены. В нынешний же, 1952 год, когда кооператив решили расширить и Цзинь-шэн стал убеждать Юань Тянь-чэна, что долг члена партии обязывает его вступить в кооператив, Тянь-чэн уже никак не мог отвертеться и пошел на обман, как научила его «Проныра». Когда это раскусили и уже хотели было отказать ему в приеме, Цзинь-шэн сказал: «Лишний му хорошей земли в кооперативе не помешает. Конечно, раз у него остается много земли, он не сможет уделять достаточно времени работе в кооперативе. Конечно, раз он будет работать в кооперативе меньше других, другие будут работать больше его, но тем самым увеличится и их доля дохода, и поживиться за счет кооператива ему никак не удастся. Как мы ни бились, он до сих пор не поверил нам,— посмотрим, как он заговорит через год». Крестьяне подумали, подумали и решили, что, пожалуй, убытку им действительно не будет; вот так и получилось, что при вступлении в кооператив Юань Тянь-чэну позволили оставить за собой в личном пользовании земли больше, чем полагалось по уставу. Однако «Проныра» предусмотрела все, кроме одной мелочи: она не подумала о том, кто будет помогать мужу в работе на току и в поле. До того, как была организована бригада взаимопомощи, старик Тянь-чэн в страдную пору нанимал работника. Впоследствии, когда была создана бригада, управлялся с ее помощью. Но теперь он был уже членом кооператива, крестьяне всей деревни были организованы либо в бригады взаимопомощи, либо также состояли в кооперативе; свободных работников, которых можно бы нанять на короткое время, не было. Однако «Проныра» упорно не желала вносить какие-либо изменения в свои планы, и теперь Юань Тянь-чэн никак уже не мог управиться один со всей землей, оставшейся в его личном пользовании.

18. БЫЛА ЛИ ЛАПША В ЧАШКЕ

«Бестолочь», прибежав домой, не застал Цзюй-ин: дома были только его жена и старшая невестка. Жена сидела на скамеечке возле очага, невестка устроилась на ступеньках крыльца напротив нее.

— Где Цзюй-ин? — спросил «Бестолочь».

— А что, мы сторожим ее, что ли? Небось, пошла жаловаться! — ответила «Всегда права».

— Из-за чего вы повздорили?

— Зажралась на простых харчах, подавай ей теперь разносолов!

— Ну, говори толком! — настаивал «Бестолочь», не на шутку встревоженный.

— Да какого тебе еще толку надо? Нынче женщина свободна — захочет ссору затеять, кто ей помешает?

«Бестолочь» совсем упал духом. От жены ничего не добьешься, а тем временем Цзюй-ин, чего доброго, пойдет в женский комитет и нажалуется.

— Уж не могли попридержать языки, — злобно бросил он жене и невестке. — И так у нас дела из рук вон плохи, никто на деревне и разговаривать с нами не хочет!..

И он побежал искать Цзюй-ин.

По опыту прошлого «Бестолочь» решил, что Цзюй-ин прежде всего нужно искать в доме Цинь Сяо-фын, председательницы женского комитета. Однако там ее не оказалось. Тогда он решил, что она у старосты Фань Дэн-гао, но и там он не нашел ее.

Ни Цинь Сяо-фын, ни Фань Дэн-гао он дома не застал и, решив,

что они наверняка сейчас в доме с флагштоками по делу Юй-шэна и Сяо-цзюнь, он и сам отправился туда.

Подходя к дому, он уже издали завидел толпу людей, теснившихся в дверях комнаты в первом дворике. Среди них было много молодых, вооруженных решетами, мешками и прочим сельскохозяйственным инвентарем. Видимо, они зашли сюда по дороге на ток, чтобы узнать, чем кончится дело — ведь молодежь живо интересуется всем, что имеет отношение к браку. «Бестолочи» стоило большого труда протиснуться внутрь, где народ стоял еще плотнее, чем снаружи. Он не стал проталкиваться к столу, а остановился посреди комнаты и внимательно оглядел лица присутствующих — Цзюй-ин здесь не было. Он повернулся и уже пошел было к выходу, когда его окликнула Цинь Сяо-фын, сидевшая за столом.

— Дядюшка До-шоу! Погоди немного. Вот напишем свидетельство Юй-шэну и сразу займемся вашим делом!

Из этих слов «Бестолочь» понял, что Цзюй-ин уже приходила сюда с жалобой, и стал расспрашивать у окружающих, куда она делась. Ему сказали, что она пошла поесть. — Как, не домой? — всполошился «Бестолочь».—Что зазорного в том, чтобы покушать у людей?—ответили ему.

После того как комиссия приняла решение по делу Юй-шэна — написать в район письмо, подтверждающее невозможность помирить супругов и необходимость официального оформления развода, люди уже стали было расходиться, но, услышав, что будет разбираться еще одна жалоба, многие остались.

С Цзюй-ин дело было так. Когда она пришла к Сяо-фын и та узнала, что Цзюй-ин с утра еще ничего не ела, Сяо-фын первым долгом отвела ее вместе с Лин-лин к бабке с заднего двора, заняла у бабки рису, накормила Цзюй-ин и только после этого отпустила ее. Все это было хорошо известно людям, собравшимся здесь, знали все и то, где находится сейчас Цзюй-ин. Однако недоброе чувство вызывали в людях «Всегда права» и «Опасно тронуть», так бесчеловечно помыкавшие невесткой, и никто не был расположен разговаривать с «Бестолочью». Старик понял, что все расспросы бесполезны, а искать Цзюй-ин наугад по всей деревне вряд ли имеет смысл. Ему оставалось лишь ждать, что будет. Однако его так толкали и теснили со всех сторон, что он едва мог устоять на ногах. На счастье, Цинь Сяо-фын заметила это и, обращаясь к собравшимся, сказала:

— А ну-ка, пропустите его! Идите сюда, дядюшка До-шоу, сядьте, отдохните!

Перед ним расступились, и «Бестолочь» прошел к столу и опустился на стул, который ему подставил Юй-шэн.

Наконец, письмо в район написано, и Юй-шэн с Сяо-цзюнь уходят. Народу поубавилось почти на одну треть, и в комнате стало гораздо свободнее.

— Ну, рассказывай, что там у вас случилось? — обращается председатель комиссии Фань Дэн-гао к «Бестолочи».

— Да я сам ничего толком не знаю! — отвечает тот.

— А зачем же пришел сюда, если ничего не знаешь? — язвительно спрашивает его пожилой крестьянин. — Вот уж истинно «Бестолочь».

Все так и покатились со смеху. Наконец, смех утихает, и «Бестолочь» объясняет, что он сам только-только с тока. Цинь Сяо-фын предлагает послать за его женой и невесткой, и дежурный с наказом немедленно вызвать их в комиссию тотчас же отправлен.

Вскоре приходит Цзюй-ин, за ней являются и «Всегда права» и «Опасно тронуть».

— Ну, теперь все в сборе, — говорит Фань Дэн-гао. — Пусть сперва

каждый расскажет о том, что случилось, а уж потом мы все вместе рассудим, кто прав, кто виноват. Начинай-ка, Цзюй-ин!

— Да сколько ж раз можно рассказывать? — спрашивает Цзюй-ин.

— Расскажи опять все, как было, — отвечает Дэн-гао. — Пусть и они обе послушают: это надо для того, чтобы установить, одинаково ли обе стороны излагают факты.

— Все было очень просто, — начинает Цзюй-ин. — Я спозаранку вскочила — и прямо на мельницу, на завтрак успела выпить всего лишь чашку жидкой размазни. А как пришло время обеда — не разрешили выпрягать ослов из колеса, так и работала до вечера. К этому времени все в доме уже давно отобедали, а нам с Лин-лин оставили на донышке ствара от лапши...

— И все-то ты врешь, типун тебе на язык! — перебивает ее «Опасно тронуть». — Уж будто я не оставила тебе лапши?

— Что все едят, то и ты должна есть! — тараторит «Всегда права». — Подумаешь, королевна, побыла один день на мельнице! А у меня нет печений да варений ублажать тебя!

— Тише, тише! — останавливает их Фань Дэн-гао. — Пусть говорит кто-нибудь один! Продолжай, Цзюй-ин.

— У меня все, только я не видела лапши, о которой она тут толкует.

— Предлагаю принести котел и всем посмотреть, есть ли там лапша или нет, — говорит Цинь Сяо-фын.

— Да что вы! — восклицает Цзюй-ин. — Да она давно уже вывалила все ослу в корыто! А была лапша или нет — спросите у Ю-и и Мань-си, они приходили, видели. Мало ли что она скажет!

— Тебе наложили лапши, а ты не стала жрать — что же, мне дотемна дожидаться, что ли? — опять вмешивается в разговор «Опасно тронуть».

— Ну вот, теперь можешь говорить, — обращается к ней Фань Дэн-гао. — Цзюй-ин уже кончила.

— Я тоже кончила, — отвечает «Опасно тронуть».

Дэн-гао предлагает также высказаться жене «Бестолочи», и «Всегда права» вопреки ожиданиям стала объяснять все очень степенно и последовательно.

— Все дети в семье — мои дети, все невестки, понятно, жены моих сыновей, и все они, как пальцы моей руки, — моя плоть и кровь, и я никогда не отдавала предпочтения одним перед другими. Однако все в нашей семье, если только нет большого праздника или встречи Нового года, изо дня в день едят обычную домашнюю пищу. И я ела всю жизнь эту пищу и дожила до своих лет, но не ропщу, что она плоха. А раз все едят одно и то же, то, понятно, и нет причин готовить невестке отдельный стол. Отец моих детей и я дожили до таких лет, а не было еще такого, чтобы мы хоть что-нибудь приготовили себе отдельно от других. Сегодня на обед у нас были пампушки и отварная лапша. Мужчины, которые работали в поле и делали тяжелую работу, получили по две пампушки и отварную лапшу. Женщины, которые делали легкую работу по дому, пообедали полегче — одной лапшой — и все были довольны. Мы со старшей невесткой обе ели этот обед и не жалуемся, а вот чего хочет на обед наша третья невестка — этого я уж не знаю. Если между двумя людьми нет согласия, то один из них всегда найдет к чему придраться. И можно ли жить вместе, вот так цапаясь друг с другом? Я не стану ничего говорить от себя, а пусть нас люди рассудят.

Дэн-гао спрашивает Цзюй-ин, что она может сказать на все это.

— У мамаши выходит, — отвечает Цзюй-ин, — словно я отказывалась от лапши, а я лапши и в глаза не видела. Если хотят посадить

меня на отруби — ну, что ж, согласна, и такое приходилось есть, но тогда давайте хоть отруби.

Чжан Юн-цин, видя, что каждая сторона по-своему объясняет причину ссоры, предлагает:

— Так мы ничего не выясним. Цзюй-ин сказала, что при ссоре присутствовали Мань-си и Ю-и, и я предлагаю позвать кого-нибудь из них в свидетели.

Все члены комиссии и все, кто слушал разбирательство, соглашаются с этим, и несколько человек из толпы сами вызвались сходить за Мань-си или Ю-и.

Услыхав, что речь зашла о свидетелях, «Опасно тронуть» несколько смутилась.

— Они пришли за веялкой и тут же ушли, — говорит она, — откуда им знать все, как было? Уж если вы не верите, что я рассказываю все по совести, то звать кого другого и подавно напрасно! Почем знать, будут ли другие рассказывать все по совести?

— Э-э нет, голубушка, — перебивает ее Сяо-фын, — так не пойдет! Уж будто все на деревне в раздоре с тобой?

— Пусть, пусть придут оба! — говорит Дэн-гао. — Что видели, то и покажут, а не смогут ничего объяснить — этим дела не испортим!

Решение принято, и несколько человек отправляются искать Ю-и и Мань-си.

Когда те, наконец, приходят, Дэн-гао вкратце излагает им обстоятельства дела, а затем предлагает Мань-си первому выступить в качестве свидетеля.

Мань-си еще не совсем отошел после вчерашней стычки с «Опасно тронуть» и решает устроить так, чтобы его самого вызвали на разговор об этом.

— Видеть-то видел, — начинает он, — но быть свидетелем не могу, поскольку сам не беспристрастен в этом деле.

— Выкладывай все начистоту, — говорит Дэн-гао, — почему это ты пристрастен?

— Я говорю не о сегодняшнем деле с обедом,— речь идет о добром имени жены бойца Народно-освободительной армии! — продолжает Мань-си. — Я не признаю за собой никакой вины.

(Окончание следует.)

Сильвия-Маджи Бонфанти

СПЕРАНЦА

(РОМАН)

Перевод с итальянского К. Наумова

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Сперанца навсегда сохранила воспоминание об этом лете. Солнце, казалось, опрокинулось в долину. Шла жатва, и повсюду, куда ни кинешь взгляд, золотом пламенели хлеба. Даже небо отражало эту слепящую желтизну, и глаз отдыхал лишь на маячивших вдали рядах тополей и извилистой ленте дамб — единственных зеленых оазисах в этой раскаленной равнине.

Сперанца вместе со всеми работала на солнцепеке. Она была счастлива, и даже когда и небо и земля дышали палящей жарой, ее, усталую от непосильного труда, до того переполняло счастье, что она вдруг начинала петь.

В сентябре Сперанца должна была выйти замуж.

Она уже вычистила и обила изнутри холстиной старый сосновый сундук и сложила в него те немногие еще не ношенные, но пожелтевшие от времени вещи, которые оставались от приданого матери, предварительно выстирав их, как водилось в долине, в росную ночь при луне, и теперь собиралась прикупить кое-что из самого необходимого.

Таго занимался домом: не могли же они жить вдвоем в каморке Сперанцы или в закутке кухни, где спала Минга. После смерти Джузеппе и Цвана Таго перебрался было в долину, сняв комнату в самом поселке. Но теперь он снова переселился в старую хибарку, чтобы отремонтировать ее, сделать пригодной для жилья. Работы по осушке болота к тому времени уже значительно продвинулись, и хибарка стояла теперь недалеко от зоны мелиорации.

— Когда до нее доберутся совсем близко, ее снесут...— замечали люди.

— Что ж! Мне помогут ее перенести на другое место,— отвечал Таго. — Ведь дом-то разборный. Вытащил гвозди — и готово!

Он любил в шутку называть свою хибарку «особняком» и охотно посмеивался над этим вместе со всеми.

— Проходил здесь один человек, — шутил кто-нибудь, — и спрашивает: «Что это за чудеса у вас творятся? Там, на болоте я видел какого-то парня, который возводит стены с помощью рубанка».

— Плохо же он видел! У меня и рубанка-то нет! Одним топором приходится орудовать!

Сперанца не знала, как у него подвигается дело. Она еще не видела хибарки, потому что у них был такой уговор: она пойдет туда, только когда Таго закончит всю работу.

Но она открыла, что с высокого тополя на изгибе дамбы видно гребень крыши и угол хибарки. Частенько к вечеру она влезала на него

Окончание. См. начало в номерах 2 и 3.

и, примостившись на суке, глядела, болтая ногами, на этот деревянный домишко, в котором ей предстояло поселиться, и думала о занавесках, которые она видела на рынке и которые ей так нравились, о горшках с геранью, которые она расставит на подоконниках, и о сверкающей медной кухонной утвари...

«А как быть с мебелью?— размышляла она.— У обоих вместе кое-что наберется, но ведь этого так мало...»

Не хватало еще очень много. Но, мечтая то об одной, то о другой покупке, Сперанца не забывала старой привычки перемежать мечты подсчетами.

Вечерами Таго приезжал в Красный дом и вместе со всеми его обитателями подолгу сидел на лавочке, толкуя с Надаленом и другими мужчинами.

Теперь, когда Сперанца вот-вот должна была выйти замуж, Эмилия подобрела и время от времени вмешивалась в разговор, подавая советы.

Когда Таго приезжал, у него всегда была прикручена к раме велосипеда какая-нибудь дощечка.

— Что это?

— Кусочек особняка!

Но когда Таго не приезжал, Сперанца сразу исчезала, и вскоре ее можно было видеть на вершине ее любимого тополя.

Ночью, даже при полной луне, трудно было что-нибудь разглядеть вдали, и Сперанца не столько видела, сколько угадывала угол хибарки, выдававшийся из камышей.

— Что она там делает на дереве?

— Испытания проводит... Весной особняк у Таго пустит почки и листья. Вот она и пробует, каково ей будет во втором этаже. А неплохо придумано: дом-то у них сам собой будет расти, никаких пристроек не надо!

— Сперанца, как ты себя чувствуешь в гнезде?

Она слышала все это, но молчала. Над крышей хибарки сверкала звездочка, и Сперанца, улыбаясь, смотрела на нее.

— Чего ты не отвечаешь? Уж не заснула ли ты там наверху?

Однажды вечером Таго приехал, когда никто его не ждал, и Сперанца сидела на тополе.

— Где она?

— Практикуется... Говорит, что уже привыкла гнездиться на ветках Теперь ей только надо научиться кричать «куку», и можно выходить замуж.

Таго покачивал головой и улыбался. Ну и женушку он себе выбрал!

— Она малость придурковата, но в общем девка не плохая... Э! да что говорить! Я знавал похуже...

Эмилия молча поднималась и уходила.

— Что я такого сказал?— недоумевал Надален.— Я же ни на кого не указывал. Я только сказал, что бывают и похуже... И потом, если бы Таго хотел, чтобы в его дом привалила целая куча родни, он бы не женился на девушке из своей семьи... Правильно, Таго?

Таго со смехом соглашался.

Надален жевал окурок и время от времени сплевывал.

У ребятишек слипались глаза, но они, как зачарованные, следили за этими мастерскими плевками, и когда попадание оказывалось таким дальним, что даже не было видно, то они сползали с материнских колен и бежали определить его.

— Вот куда доплюнул сейчас!

Взрослые, включая и самого Надалена, не обращали на них внима-

ния. Разговор неизменно вертелся вокруг особняка Таго и тополя Сперанцы.

— Надо будет все-таки подложить соломки под этот тополь,— говорил старик.— Чего доброго, Сперанца свалится с него раньше, чем научится летать...

В воскресенье утром Сперанца с подругами ходила в селение, якобы в церковь.

— С чего бы эти сороки отправились в церковь?— говорила Эмилия.— Они сами кого хочешь и окрестят и отпоют не хуже священника... Кто их знает, куда они ходят!

На самом деле они ходили на рынок.

Заработная плата выдавалась раз в две недели, и потому они тратили одно воскресенье на обход ларьков, приценивались к разложенным на прилавках товарам, а в следующее воскресенье покупали то, что им приглянулось.

Ирма, Элена и Джулия принимали такое горячее участие в хлопотах Сперанцы, словно речь шла об их собственном приданом.

Элена стояла за кружева.

— Нижнее белье должно быть с кружевами.

— А надолго ли их хватит? Они рвутся при первой же стирке!

У Сперанцы глаза разбегались от множества вещей, которые ей хотелось бы купить, но она умела не поддаваться соблазнам. Однажды она увидела на рынке маленького ослика и внезапно вспомнила о Сером, спутнике ее детства. Бабушка столько раз рассказывала ей, как Цван купил этого ослика вопреки всякому здравому смыслу, просто потому, что иногда человеку нужно удовлетворить свою прихоть.

В тот день Сперанца купила муслиновые занавески, цветочную вазочку голубого стекла и пестренькую скатертку.

— А стол ты обмерила?— спросила Ирма.

— Ой, господи, я совсем забыла, что у меня и стола-то нет...— пробормотала Сперанца, сразу пожалев о покупке.

— Тем лучше!— изрекла Элена.— Вы сделаете себе стол по скатертке.

Иногда они встречали Отелло.

— Эй, всадники!

— Он просто помешанный!— смеялась Джулия.

— Ну, как ваше кропило, Отелло?— Все уже знали историю с флягой, и Отелло больше не запирался.

— Да так... Дон Терцо потерял кропило, ангел его нашел, а Отелло отвечай...

— Отелло, в ближайшую пасху вам придется прогуляться на болото. Сперанца выходит замуж и будет жить там в хибарке Мори...

— А накормят хорошо?

— Отлично, Отелло, отлично... Представьте себе, там есть кукушки, и они каждое утро кладут яйца на крышу дома. Вот несколько крашеных вам и поднесут... До свиданья, Отелло!

— Прощайте, чума вас возьми...

Где бы девушки ни проходили, им все улыбались.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Уборка кончилась, и все золото долины растащили по гумнам.

По спаленным солнцем и опустошенным полям сновали проворные сухонькие старушки, собирая в мешки забытые колосья. Даже Мингу инстинктивно потянуло на жнивье.

Между тем в долину въезжали гигантские паровые молотилки, воз-

вещая о себе оглушительными свистками, напоминающими свистки локомотивов. За ними с гумна на гумно переходили трудившиеся без отдыха партии рабочих. Молотилки работали день и ночь с коротким перерывом на обед, перекликаясь свистками по всей долине.

Сперанца уже много дней не виделась с Таго.

Девушки работали на обмолоте, еле успевая подставлять мешки. Они потеряли всякую охоту к болтовне. Взрослые посмеивались над ними, спрашивая, куда девался их задор, но они даже не отвечали. К концу дня они были без сил.

Поздно вечером, уже при лунном свете, после смены, с ног до головы в мякинной пыли, от которой невыносимо зудела кожа и першило в горле, они устало направлялись к реке, спускались на белевшие возле берега камни и, отыскав место поглубже, погружались в воду.

Только освежившись немного, они начинали разговаривать.

— Вы видели, какой у меня нос?— спрашивала Элена.

Нос у нее облупился, несмотря на все предосторожности, принятые, чтобы уберечь его от солнца, и она была этим очень огорчена.

— Лучше бы и у меня нос облупился, чем так все кости болели,— сказала Сперанца.

— В том-то и беда, что у меня и кости болят и нос облупился.

Покупавшись еще, они нехотя выходили из воды и, переодевшись в чистое платье, которое захватывали на работу, шли домой. По дороге они не раз присаживались отдохнуть и когда, наконец, добирались до дому, на сон им оставались считаные часы.

— И это жизнь?— возмущалась Элена.

— Спокойной ночи,— коротко отрезали подруги.

Сперанца вспоминала о Таго. Но только на минуту. На большее ее не хватало. Едва добравшись до постели, она засыпала.

Таго работал на осушке болота и не позволял себе ходить в Красный дом, зная, что Сперанца для свидания с ним урывала бы время от сна, а ей и без того оставалось отдыхать всего несколько часов до рассвета. Думая о Сперанце, Таго улыбался. Ему все не удавалось определить свои собственные чувства.

Он испытывал к ней глубокую и сильную привязанность. Однако, когда Сперанцы не было рядом или когда они встречались на людях, он был склонен смотреть на нее, как на девочку, и спрашивал себя, не безумие ли этот брак.

Но едва Сперанца оставалась с ним наедине, ее покидали скованность, робость и смущение, нападавшие на нее в присутствии посторонних, Таго чувствовал, что она женщина, — вполне и во всем. И часто он испытывал от этого непонятную ревность. Ну, да ладно, думал он тогда, сентябрь не за горами.

Его радовала мысль, что зимой полевые работы кончаются и Сперанца на долгие месяцы останется с ним вдвоем в затерянной посреди болота хибарке.

Молотьба кончилась праздником.

Самое просторное гумно подмели, и от навеса к навесу, от тополя к тополю протянули веревки, чтобы подвесить на них бумажные фонарики и разноцветные гирлянды. В качестве музыкантов на гулянье были приглашены двое слепых, игравших на фисгармонии.

Девушки были в восторге.

— Кому это охота танцевать?— с деланным пренебрежением спрашивала Элена. Но она же первая напудрила нос и надела свое лучшее платье. Джулия на паях с Ирмой приобрели баночку с каким-то таин-

ственным приторно пахнущим кремом и до того густо смазали им свои волосы, что сами задыхались от его нестерпимого аромата.

Сперанца надела легкую белую блузку. Юбка была старая, новой купить не удалось. Все четверо обули башмаки, хотя танцевать собирались босиком.

Было известно, что на праздник приедут руководители профсоюза и что кто-то из них даже скажет речь.

Сперанце все было интересно. Она еще не очень хорошо разбиралась в происходящем, но ею руководил верный инстинкт и ранний опыт. И потом, говорила она себе, ей многое объяснит Таго. А пока ей достаточно было видеть, что в кооперативе ее труд оплачивается — частично деньгами, частично долей урожая. Кусок хлеба был обеспечен. Больше не приходилось дрожать над каждым килограммом муки и ночи напролет высчитывать, удастся ли дотянуть до новой...

В этот вечер ей не терпелось послушать обещанную речь. Она вспоминала о своей встрече с человеком, который руководил ими в самом начале, и ей хотелось его снова увидеть. Правда, она встретилась с ним еще раз на похоронах дедушки Цвана и Джузеппе, но была тогда в таком состоянии, что не могла ни разглядывать, ни слушать его.

Наконец девушки были готовы.

Перед тем как идти на гулянье, Сперанца вымыла голову, и теперь у нее не держалась прическа. Поэтому она туго повязалась платком, чтобы волосы улеглись дорогой. Этот платок — белый с желтыми цветами — она нашла в сундуке матери. Повязывая им голову, она даже не подозревала, что когда-то была завернута в него сама, вся целиком, едва появилась на свет, когда мать ее умирала.

Все четверо, веселые и возбужденные, шли по дамбе.

По всем дорогам народ стекался в Бручату, выбранную для гулянья потому, что там было самое большое гумно, находившееся притом почти на равном расстоянии от остальных поселков.

Надален целый день свозил туда соломенные стулья, собранные изо всех домов долины, большие, оплетенные бутыли вина и бутылочки с шипучкой («для сосунков», как он говорил), закупоренные стеклянными пробками.

Придя на гумно, девушки сразу загляделись на разноцветные фонарики. Потом они двинулись дальше, через толпу женщин, занятых приготовлениями к празднику. На краю гумна стояло много столов, сдвинутых вместе, а на них ряды *буссилани,* приготовленных опытными хозяйками. Тут была и Тина, деловито вынимавшая из корзин посуду и провизию, покрикивая на державшихся кучками парeньков, чтобы они поскорее расставляли стулья.

— Смотри, какое платье!— шепнула Ирма.— Прямо как шелковое!

Сперанца помрачнела. Она никак не могла поговорить с Таго о Тине. Один-единственный раз она попробовала было о ней заикнуться, но Таго мигом вскипел.

— Я хочу, чтобы мне верили. Ты должна верить мне, а не тому, что болтают люди. Тина умеет себя вести, и у нее ума больше, чем у вас всех взятых вместе. Она славная девушка, и я не могу позволить, чтобы о ней сплетничали — по крайней мере, при мне.

Сперанца, боясь снова рассердить Таго, больше об этом не заговаривала.

Но теперь, увидев Тину перед собой, она почувствовала обиду.

— Видала, как она хозяйничает?— спросила Элена.

Сперанца повернулась спиной к Тине и столкнулась лицом к лицу с каким-то парнем, которого она еще до того приметила и на которого

ей указывали подруги, тоже не знавшие, кто он такой. Не успела Сперанца прийти на гумно, как он уставился на нее и уже не сводил больше глаз, следя за каждым ее шагом.

Теперь он стоял перед ней и улыбался.

— Тебя зовут Сперанца?— спросил он.

Девушка с удивлением посмотрела на него, потом кивнула головой.

— Ты меня не узнаешь? Я Роберто. Помнишь тот день, когда убили твоего дедушку? Мы с тобой бежали через болото, а потом еще переправлялись на лодке...

— А!— вспомнила Сперанца.— Я с тех пор тебя ни разу не видела...

— Мы сразу после этого уехали. Я со своими жил все это время во Франции и только два месяца как вернулся. Несколько дней назад я видел, как ты работала на обмолоте, и сразу тебя узнал. Таких голубых глаз, как у тебя, Сперанца, не сыщешь.

— Я помолвлена,— предусмотрительно сказала она.— Помнишь, в тот день я сказала тебе, чтобы ты взял дощаник и поскорее плыл к Таго?

— К Таго?

— Да, к моему брату, который был на дамбах, что по левую сторону...

— А, да...

— Ну вот. С ним я и помолвлена. В сентябре мы поженимся.

— Как, с братом?

— Да какая же он мне родня! Это ведь наши дедушки были двоюродными братьями...

— Но он, должно быть, уже старый...— заметил Роберто.

— По-твоему, выходит, мужчина в тридцать лет — старик?— обиделась Сперанца.— Или ты хочешь, чтобы я вышла за молокососа? Обзаводиться своим хозяйством нужно с мужчиной, а не с мальчишкой...

Тут она заметила Тину, проходившую мимо них, и добавила:

— Вот женщина в тридцать лет — это уж, правда, старая.

— ...Прости, я не хотел тебя обидеть...

Заиграла музыка, и Роберто спросил:

— Станцуем?

Сперанца улыбнулась.

— Я жду Таго...— сказала она, страстно желая, чтобы ее услышала стоявшая неподалеку Тина.— Он должен был бы уже прийти, но что-то запаздывает... Вот мои подруги, наверное, не прочь потанцевать...

Она обернулась поискать их и увидела, что Ирма уже на средине гумна с машинистом молотилки, а Джулия выходит танцевать с каким-то толстым и шумным человеком, явно разгорячившимся от вина.

Тогда она кивнула на Элену, как раз подошедшую в эту минуту.

Скоро Роберто и девушка тоже смешались с танцующими, и Сперанца осталась одна.

В шумной толпе Сперанца чувствовала себя как-то неловко, и потому, заметив Надалена, она поспешила подойти к нему.

Надален был одет по-праздничному, в пиджаке и в шляпе, но в засученных брюках и босиком.

— Надален,— засмеялась Сперанца,— вы что, собираетесь давить виноград?

— Я собираюсь, моя милая, всего-навсего танцевать,— ответил Надален.

Старик был весел, и девушка сразу поняла, что он уже выпил.

— Тогда вы, может быть, потанцуете со мной?

— А почему бы нет?

— А Эмилия?

— А Таго?

— О! Таго не ревнив...

И как раз в эту минуту в вихре вальса пронесся Таго, держа в объятиях именно Тину.

Сперанца оцепенела.

— Так как же, потанцуем или нет?

— Нет,— сказала она сухо.— Поищу другого.

Надален с удивлением уставился на нее, потом подхватил дородную крестьянку, проходившую мимо, и пустился с ней в пляс. На середине гумна яблоку негде было упасть, но Надален расчищал себе дорогу, нисколько не заботясь о своих ближних.

— Сперанца,— послышался голос за спиною девушки.— Сперанца, ты танцуешь этот вальс?

Она сделала вид, что не слышит, и пошла дальше, проталкиваясь сквозь толпу.

— Сперанца, потанцуешь со мной?

Оставалось пробраться еще через одну живую изгородь.

Знакомый парень преградил ей путь.

— Послушай, твой красавец веселится в свое удовольствие. Не станешь же ты дожидаться, пока он кончит?

Сперанца злобно покосилась на него.

Наконец, она выбралась из толпы и обернулась. Встав на цыпочки, она стала следить за Тиной, вернее за мельканием ее красного платья. Больше она ничего не могла разобрать.

Вальс кончился, и скоро сквозь общий шум и смех собравшихся до нее донеслось:

— Спере... Спере...

Она направилась нарочно в противоположную сторону и встретила Роберто и Элену.

— Теперь я потанцую с тобой, если ты не передумал...

— Что ты!— улыбнулся паренек.

Мимо проходил Надален с бутылкой и стаканом в руках.

— Надален,— окликнула его Сперанца,— себе все, а друзьям ничего?

Он налил ей вина, и она выпила его залпом, как будто ее сжигала невыносимая жажда.

Опять заиграла музыка, и Роберто обхватил ее за талию.

Когда он повел ее, она заметила пробиравшегося к ней Таго. Но она не раскаялась. Чаша была переполнена.

Она танцевала рассеянно, едва слушая, что говорит Роберто. Не подавая виду, она все время искала взглядом Таго.

Голова ее слегка кружилась от выпитого вина. Постепенно Сперанца разгорячилась, и ее раздражало, что еще не высохшие волосы то и дело падали ей на глаза. Роберто говорил ей о Франции, о французских девушках, но она искала Таго.

Потом она увидела, что Тина танцует с другим, и немного успокоилась.

Кончив танцевать, она опять повстречала Надалена с бутылкой в руке.

— Вы что же, всех угощаете?

— Нет, только тех, кто мне нравится...

— А я вам нравлюсь?

Она еще раз с жадностью выпила вина и, возвращая стакан, увидела Таго, пристально смотревшего на Роберто.

— Таго,— сказала она,— разве ты не помнишь того паренька, которого в день забастовки я послала к тебе на дощанике дяди Джузеппе?

Тогда Таго улыбнулся Роберто и протянул ему руку.

Надален взял у Сперанцы пустой стакан и сказал ей:

— Так как же, потанцуем или нет? Неужели ни одна девушка не захочет со мной потанцевать?

Сперанца засмеялась и подала ему руку.

— Надален! Как это вы самую красивую подцепили?— крикнул им вслед какой-то парень.

— То-то, я их умею выбирать...

— Надален,— сказала Сперанца,— может, вы хоть сейчас не будете жевать окурок? А то из-за вас и я плохо выгляжу...

— Когда девушка танцует вальс со мной, она не может плохо выглядеть...— ответил Надален.— И если даже, моя милая,— добавил он, помолчав,— ты из-за меня плохо выглядишь, то уж других неприятностей я тебе не доставлю... Со мной ты можешь танцевать спокойно, Таго не приревнует. Но смотри не вертись с молодыми. Не понравилось мне, как он пялил на тебя глаза.

— А мне не понравилось, что он танцует с другими...

— Брось. Он мужчина. В таких случаях всегда расплачиваются женщины.

— И по-вашему, это правильно?

— А как же?

— Скотина,— сказала Сперанца.

У нее все больше кружилась голова. Она не привыкла к вину и к тому же из-за праздничных треволнений даже не поужинала в тот вечер.

Ей казалось, что фонарики танцуют вместе с ней. Танец кончился, и она прислонилась к Надалену.

— Мне плохо от вина...— прошептала она.

— Так я и знал... Поглядеть, как ты пьешь, сразу видно, что без привычки... Ты дула его, как воду. Пойдем-ка сюда... Присядь под навесом.

В тени, за расставленными в ряд стульями было накидано сено. Сперанца свалилась на него.

— Это пройдет,— сказал старик.— Собственно говоря, ты ведь немного выпила... Но оно с подвохом, это винишко...

У Сперанцы разбегались мысли, в голове стоял какой-то туман. Ей было грустно и хотелось плакать.

Она не заметила, как к ней подошел Таго, и невольно вскрикнула, вдруг увидев его возле себя.

— Ой, Таго!

Он наклонился и она обняла его за шею.

— Я так долго тебя искала...

Таго молча сел рядом с ней.

— Ты не потанцуешь со мной?

— Не люблю пьяных девушек...

Сперанца пристально посмотрела на него, потом вскочила на ноги.

— Только Тина всегда хороша, хоть и пьет, как мужчина, хоть и танцует и шутит со всеми...

— Тина не моя невеста...

— И поэтому ты с ней первой танцуешь... А я должна тебя ждать и танцевать со стариком или мальчишкой... Что же ты мне прямо не сказал, чтобы я взяла четки и богу молилась, пока ты за другими ухаживаешь?

Она отвернулась вне себя от негодования, но Таго схватил ее за край юбки и потянул к себе.

У Сперанцы сверкали глаза от гнева и набежавших слез. Но губы

Таго уже нашли ее губы, и тогда все, что накипело у нее за этот вечер, вылилось в плач.

— Ты не должна ревновать меня, Спере...

— Я не ревную,— рыдая отвечала она.— Но некоторые вещи только слепой не увидит!

Потом она успокоилась от ласк Таго, охваченная внезапной нежностью.

— Я хочу посмотреть на звезды,— сказала она вдруг.

Таго помог ей подняться и провел ее на лужайку позади навеса.

Звезды были яркие и дождем сыпались с неба в долину.

Сперанца села на траву, неотрывно глядя на небо.

— Смотри! Звезда падает... Скорей загадай желание... Я хочу, чтобы ты поскорее женился на мне!

Таго, стоя рядом, смотрел не на звезды, а на нее

— Вот еще одна, Таго... Что же, у тебя нет никаких желаний?

— Ты чертовски красивая...— проговорил он вместо ответа.— Прямо нет терпенья...

Надален, бродивший поблизости в поисках укромного местечка для известной надобности, натолкнулся на них, когда они, обнявшись, лежали на траве.

— С вашего позволенья,— сказал он, перешагивая через них. Потом обернулся и, присмотревшись, узнал их.

— Женись на ней поскорее, Таго, не то упустишь ее... Женись поскорее, по дружбе тебе советую... Ты видел, как бабочки кружат вокруг фонариков? Ну, так вот: имей в виду, что глаза у нее, как фонарики. Только кружатся вокруг нее не бабочки, а молодые люди.

Он скрылся в тени ближних деревьев, и Сперанца почувствовала враждебность в молчании Таго.

— Но я же тебя так люблю... Очень, очень люблю, и только тебя,— прошептала она ему на ухо.

Таго молча прижал ее к себе.

— Теперь я провожу тебя домой,— проговорил он.

— Но я хотела потанцевать с тобой...— жалобным голосом протянула Сперанца.

— Тебе правда очень хочется?

— Да. И потом все должны видеть, что ты танцуешь со мной...— откровенно сказала она.

— Ладно, тогда потанцуем,— засмеялся Таго и опять прижал ее к себе.

— С вашего позволения,— сказал возвращавшийся на гумно Надален, снова перешагивая через них.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

После полуночи внезапно разразилась гроза. При первых порывах ветра загорелись бумажные фонарики и девушки подняли визг. Гумно быстро опустело, и через минуту все веселыми ватагами бежали по дамбам, прикрывая головы пиджаками, шалями и мешками от первых крупных капель дождя, падавших все чаще и чаще. Повсюду слышались оклики, визг, шутки...

На каждой развилке кто-нибудь отделялся от толпы, стремясь как можно быстрее попасть к себе домой.

Надален, загребая руками, как пловец, несся впереди всех. Девушки, задыхаясь от бега, едва поспевали за ним.

— Ну и кавалер!— возмущалась Элена.

— Разве у вас не было своих кавалеров? Куда же они делись? При первой молнии и след простыл...

— Где Сперанца?— спрашивала Джулия.

— Не знаю. Она была с Таго, а больше я ее не видела...

— Может, она отстала?

— Не беспокойтесь, она давно уже дома,— сказал Надален,— ее с полчаса назад Таго увез на велосипеде.

Красный дом был на самом краю долины, и теперь они остались одни на дамбе.

Дождь лил как из ведра. В воздухе посвежело, но с земли клубом поднимались теплые испарения.

Девушки бежали во весь дух, чтобы не отстать от Надалена.

— Подождите, не оставляйте нас одних, нам страшно!

— Это вам-то страшно? Не смешите меня...

Не замедляя бега, они свернули на стежку, которая вела к дому. Молния на секунду осветила блестящие от воды стены сарая и фасад дома с наглухо закрытыми окнами.

— А Сперанца уже в постели...

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Двери закрылись, и в доме воцарилась тишина. Слышно было только, как барабанил дождь да где-то вдалеке лаяла собака.

Сперанца между тем, примостившись на дне лодки и запрокинув голову, смотрела в небо, не пытаясь укрыться от дождя.

Еще до того, как кончилось гулянье, Таго посадил ее на велосипед, и они потихоньку уехали, ни с кем не попрощавшись, в надежде, что никто их не заметит.

Когда они проезжали мимо дороги, которая вела к Красному дому, Сперанца, думая, что Таго не сворачивает на нее по рассеянности, сказала ему:

— Нам сюда... Теперь ты проехал тропинку...

Но Таго, ничего не отвечая, ехал дальше.

Только минуту спустя, когда Сперанца, подняв голову, вопросительно посмотрела на него, он пробормотал:

— Ты не хочешь поехать в нашу хибарку?

Сперанца на миг окаменела, как бы подчинившись инстинкту самозащиты, но тут же преодолела его.

— Хочу,— ласково прошептала она.

Там, где раньше были затоны и камыши, теперь тянулись дамбы, окаймленные каналами. Сперанца думала, что узнает то место, где всего несколько лет назад была привязана лодка, но теперь там только высились огромные насыпи белого гравия...

Когда пошел дождь, они уже доехали до болота и сели в лодку; Таго, отталкиваясь шестом, быстро отчалил от берега.

Он уверенно пробирался через камыши, хлеставшие его по лицу, и Сперанца спросила:

— Как это ты видишь, куда плыть?

Он даже не ответил. Но Сперанцу и не интересовало то, о чем она спрашивала. Ей только хотелось прервать молчание, преодолеть владевшее ею волнение. Съежившись на дне лодки, она подставляла лицо дождю и ветру. То где-то совсем рядом, то поодаль квакала лягушка, и больше ни одного живого голоса. Ветер свистел в камышах.

Длинные листья болотника, холодные и осклизлые, хлестали ее то по шее, то по лицу; она вздрагивала, но молчала.

Время от времени болото освещалось вспышками молний. Тогда пламенела вода и пламенело небо, и на мгновение на этом огненном

фоне вырисовывались, как тонкие, извивающиеся змеи, черные арабески кустов, и ивы походили на спрутов с тысячами щупальцев.

При ослепительном блеске молний все вокруг казалось нереальным и чудовищным, и Сперанца тоскливо озиралась по сторонам.

На мгновение она закрыла глаза и представила себе свою каморку с косыми балками под потолком, узкую кровать, пахнущий смолой сундук, оконце с белой занавеской и веточкой майорана на подоконнике, младенца Иисуса в голубом одеянии, зеркальце на стене, отражавшее ее тревоги и радости...

Эта каморка, в которой вешалками служили вбитые в стену гвозди и из-под кровати выкатывалась под ноги сваленная в кучу картошка, была самой жалкой дырой, какую только можно представить. Но теперь Сперанца мысленно возвращалась в нее и укрывалась там, как в своей крепости, заперев за собой дверь и захлопнув окно. А лодка между тем плыла и плыла.

Когда они пристали к берегу, Сперанца очнулась от резкого толчка.

Она промокла до нитки и окоченела. Ей понадобилось сделать над собой усилие, чтобы подняться и выйти из лодки. Она оперлась на руку Таго и пошла с ним по узкой тропинке под нависавшими над головой мокрыми от дождя ветвями деревьев.

Неожиданно она оказалась в нескольких метрах от хибарки, выросшей перед ней в багровом от варниц просвете.

Таго толкнул дверь и она вошла.

В хибарке было тепло и стоял острый запах свежеобструганного дерева.

— Подожди, сейчас я разожгу огонь,— сказал Таго.

Он вышел и тут же вернулся с большой охапкой хвороста.

Через минуту в очаге, потрескивая сухими ветками, высоко взметнулось пламя, и его отсветы длинными язычками заплясали на стенах.

Стоя посреди комнаты, Сперанца внимательно осматривалась. Постепенно к ней вернулась прежняя бодрость.

Это была все та же комната, что и прежде, но стены были заново обшиты тесом, а вместо утоптанной земли под ногами был настоящий пол из красных кирпичей еще со следами извести. Новая печь была сложена у самой стены.

Но попрежнему одна против другой на голых стенах висели две старые двустволки, и, увидев их, Сперанца слегка вздрогнула.

— Мне их недавно вернули,— сказал Таго, перехватив ее взгляд,— еле добился...

Ничто более не напоминало о прошлом, но и этого было достаточно. Сперанца закрыла глаза, и ей почудилось, будто она снова видит, как плывут в тишине лодки с двумя мертвецами... Они были завернуты в парусину, и возле них лежали двустволки. Лодки медленно скользили по неподвижной воде, и Сперанца, сидевшая в одной из них, услышала, как у нее за спиной застучал топор, и поняла, что кто-то водружает кресты...

Ей опять стало тоскливо, и Таго, казалось, поняв ее состояние, подтолкнул ее к очагу.

Сперанца потянулась к огню, и живительное тепло помогло ей понемногу снова оправиться.

Некоторое время они пребывали в полном молчании. Оно становилось тягостным, и Сперанца почувствовала растущую неловкость. Она попыталась найти тему для разговора, но ей ничего не приходило в голову.

Таго стоял теперь у нее за спиной, и только дыхание выдавало его присутствие.

Тогда Сперанца, наклонившись к очагу, пододвинула в жар головешки и опустилась на колени раздуть угасавший огонь.

Это был инстинктивный жест, унаследованный от многих поколений женщин, которые до нее делали то же самое с той же простотой и естественностью, но этого было достаточно, чтобы растрогать Таго.

Он приблизился к Сперанце и погладил ее по голове.

— У тебя волосы мокрые...— сказал он и поворошил их пальцами, чтобы они рассыпались и поскорее просохли. Потом он сел на камень возле нее и обнял ее за плечи.

— Я уж почти пожалел, что привез тебя сюда,— прошептал он.

Сперанца, обернувшись, посмотрела на него, и пламя осветило ее улыбку. Один жест и одна сердечная фраза рассеяли всякое недоверие.

Уже ни о чем не тревожась, она положила голову на плечо Таго, и они стали вместе следить, как угасает огонь, пока на поду не остались только красные угольки.

За окном монотонно шумел дождь, падая в камыши, на ветки ив, на крышу... и на кресты на берегу затона... Ветер завывал на болоте.

Таго вдруг наклонился и в приливе нежности поцеловал руку Сперанцы. Она посмотрела на него с удивлением, потом приникла к нему и прошептала:

— Вон там мы должны повесить зеркало. Мне оно часто будет нужно, потому что я люблю смотреть на себя, когда я счастлива.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

— ...и тогда он оставил ее умирать с голоду,— рассказывала Элена Надалену, сидя рядом с ним на лавочке перед домом, возле кустов розмарина. Надален слушал ее, пожевывая табак.

Эмилия, проходившая мимо в эту минуту, с живостью повернула к ним голову.

— Кто это умер с голоду?

— Никто... Это мы так... про животных...— нехотя пробурчал Надален.

— Про животных? Про каких животных?

— Да вот, про стрекозу и муравья. Это она басню такую учила в школе.

— А ты и рад слушать всякие басни... Эх ты, дурень!

— Ну, это не простая басня... Хоть она и басня, а в ней урок.

— Да?

— Да, представь себе. Потому что из нее видно, что если хочешь есть, надо работать...

— А мы и не знали!..

— Дай сказать... К примеру, один работает, все силы кладет, это будет муравей, понимаешь? А другой живет припеваючи, не сеет, не жнет, а потом хочет, чтобы тот, который работал, кормил его зимой. Это будет стрекоза.

— Бессмыслица, — сразу сказала Эмилия. — Уж не говоря обо всем прочем, зимой стрекоз не бывает.

— Да ты оставь в покое настоящих стрекоз и муравьев, они тут только так — не о них речь. Ты пойми, в чем суть. Муравей — это значит такой человек, как ты, как Минга, как все женщины и мужчины, которые работают и приносят домой пшеницу, картошку, кукурузу, бобы... А который сам палец о палец не ударил, а потом приходит к тебе и говорит, чтобы ты ему дала поесть, это будет как бы сказать...

— Дон Терцо,— сразу нашлась Эмилия.

— Оставь сейчас в покое священника, потому что хоть мы с тобой и знаем, что он за птица, но тут речь не только о нем...

— А о ком же?

— Обо всех стрекозах... О стрекозьей породе. Иначе сказать, обо всех, кто не работает...

Эмилия задумчиво почесала подбородок, потом покачала головой.

— Таких людей у нас нет. Тут все работают. И никогда еще не было, чтобы кто-нибудь просил есть у других, потому что если время голодное, то голодают все. Правда, иногда делали сборы, но только в случае какого-нибудь несчастья или болезни, а не потому, чтобы человек не хотел работать.

— А все-таки, моя милая, есть люди, которые всю жизнь не работают... — торжественно изрек Надален.

— Конечно... Но они к тебе не приходят за милостыней, простофиля ты этакий!

И Эмилия ушла, сокрушенно покачивая головой.

— Хорошая была басня,— вздохнул Надален,— она мне ужасно нравилась... Но так уж всегда: куда бы старуха ни сунула нос, все испортит.

— Надален,— шепнула Элена.

— Ну?

— Если бы вы были муравьем и к вам пришла бы стрекоза, точь в точь как в басне, у вас хватило бы духа оставить ее умирать с голоду?

— А как же?

Элена была, повидимому, разочарована.

— А у меня нет,— помолчав, сказала она решительно.

— Ну и дура!— ответил Надален и смачным плевком прочертил в воздухе четкую длинную дугу.

В эту минуту из дому вышла Сперанца с корзиной белья на голове.

— Битый час толкуете об одной басне, и даже не досказали ее,— бросила она и со смехом прошла мимо них прямо к навесу.

— Видишь ее?— сказал Надален Элене.— Вот она из породы муравьев. Да что там муравьев, — муравьищ!.. Из тех, знаешь, которым, стоит только глянуть,— от них и зернышко не укроется, будь оно за целую милю... Из породы Минги!

— Но у Сперанцы доброе сердце, и она с кем хочешь поделится...— возразила Элена.

— Сердце оставь в покое. Посмотри лучше, сколько она заработала да сколько Минга собрала на жниве. Старуха хоть с виду и скелет, а руки что грабли. Всегда что-нибудь да подцепит. Сперанца на первый взгляд совсем другая — веселая, песенница. Но присмотрись повнимательнее и увидишь, что она из того же теста. Я это не в укор ей говорю, боже упаси. Наоборот. Она работает, и крепко работает, да при том не дуется, как Эмилия, не ворчит и не скулит, как ты! Потому что, видишь ли, девочка, можно работать и быть довольным...— Надален говорил теперь тоном проповедника.— Посмотри на меня! Стаканчик вина, немножко табаку, и я самый счастливый человек на свете и пою, как скворец, даже когда работаю...

— Да разве вы работаете?

— Ах, собачья дочь! Еще спрашивает, работаю я или нет! Часто ты видела, чтобы я лежал на брюхе и мух считал?

— Нет. Но вы возчик, а погонять волов еще не значит работать, как вол. Это волы работают, а вы сидите на возу, и все тут. Потому-то вы и поете. Выходит, вы тоже вроде стрекозы, Надален,— сказала она и отскочила в сторону, чтобы увернуться от башмака, которым он запустил в нее.

Подошла Сперанца, размахивая пустой корзиной.

— Теперь я вам расскажу конец,— сказала она улыбаясь.— Стрекоза поет и ничего не делает, зато услаждает муравья. Но муравей забывает об этом, потому что ему так выгодно. Поняли?

— Ну, ну, не надо тут ничего накручивать. В басне все было просто и ясно. Муравьи — это порядочные люди, а стрекозы — бездельники. Пусть так и остается.

— Пусть так,— засмеялась Сперанца и повернулась к Элене.— А ты моли бога, чтобы тебе не попался стрекотун вроде моего. Посмотри на меня. Разве скажешь, что я помолвлена? Он вот уже десять дней носу не кажет... Ему, видите ли вы, надо ходить по собраниям, а я здесь свисти в кулак. Можно подумать, что на нем весь свет держится, только и слышишь: занят по горло. Враки это все... Враки...

— Наверное, он малость подвирает для пущей важности, известно, молодые люди любят набивать себе цену. Но ведь он и в самом деле работает в Союзе не за страх, а за совесть. Верно? Это все говорят. А сейчас такое время, что это нужнее всего, потому что в воздухе пахнет бурей.

— Бросьте вы толковать про бури, они уже позади. Что же он всегда должен работать за всех? Пусть подумает немножко и о своих делах! Хибарка-то еще недоделана, а сентябрь на исходе. О чем тут говорить!

И Сперанца повернулась и пошла.

— Видите?— вполголоса сказала Элена.— Она из-за этого прямо сохнет. Худая стала, как щепка.

— Жаль,— пробормотал Надален.— В самом деле жаль. Но сейчас трудное время, и у Таго много работы.

— Надален,— сказала Элена, присев на корточки возле старика.— Объясните мне немножко, что делается на свете?

— Мало ли что делается...

— Не говорите глупости. Я хочу сказать, что сейчас происходит. Почему вы устраиваете столько собраний и говорите, что надо защищать кооператив?.. Почему все такие озабоченные?

— Некоторым людям пришла дурь в голову; смех, да и только,— сказал Надален, но при этом вовсе не засмеялся, а помрачнел.— Им все мало. Они хотели бы отнять у нас все, что мы заработали своим горбом.

— А где эти люди?

— Да не здесь.

— Так где же?

— А я почем знаю? Главное, чтобы они не пришли в долину. Но, если они сюда сунутся, им всыплют по первое число! Представляю, как они будут улепетывать!

— Надален, почему нам ничего не объясняют?

— А что тебе объяснять? Разве ты что-нибудь понимаешь в политике, в законах, в партиях?

— Я — нет. А вы?

— Я тоже.

— Значит, мы одного поля ягода. Но вас вот зовут на собрания, а нас нет. Почему?

— Потому что в твои годы у человека мозгов всего-ничего, а язык длинный. А старые люди, наоборот, мозговитые, а болтают мало...

— Зато я знаю кое-кого с такими мозгами,— послышался вдруг у них за спиной голос Эмилии,— которые похожи на яйца. Случалось вам когда-нибудь смотреть яйца на свет? Чем больше они лежат, тем больше усыхают.

Эмилия вошла в дом, а Надален все смотрел ей вслед, не зная, что ответить. Элена тихо смеялась.

В эту минуту с дамбы донесся громкий вопль.

Элена обернулась и побежала вверх по склону посмотреть, что случилось. К дому с криком и плачем подходили женщины.

— Что случилось?— спросил Надален.

Все высыпали из дому. Скоро выяснилось, что произошло. Не доходя до селения, на краю долины на одного мужчину напали неизвестные и избили его до полусмерти.

— Это наш!— все еще кричала одна из женщин.

— Кто?— спросила Эмилия.

— Старший Ферри. Тот, который недавно женился. Каково жене-то...

— А известно, кто его избил?

— Нет. Никого там не было. Видели только, как он незадолго до того проезжал на велосипеде и поздоровался с бригадой, что работала внизу. Потом проехала машина, на которую все обратили внимание: к чему бы это она завернула сюда? Потом машина проехала обратно, и сразу после этого паренек, который нес людям пить, нашел его там в луже крови.

— Он умер?

— Нет, еще дышит, но голова у него проломлена. С такой раной не выживешь.

— За что же его избили?

— Кто его знает? Может, потому, что он работает в профсоюзе...

— Тихо,— властно сказала Эмилия.— Не говорите об этом при Сперанце.

Все обернулись и увидели бежавшую к ним Сперанцу.

Надален, понурив голову, молча теребил свою шляпу.

— Надален,— испуганно прошептала Элена.— Скажите, это они и есть? Они пришли в долину?

Надален выпрямился.

— Но сюда они не придут,— сказал он уверенно.

— Дурак!— прошипела Эмилия.

Надален сразу отошел, понурив голову. Вид у старика был грустный и обескураженный. Элена опять подошла к нему.

— Надален...

— Плохо дело,— признался он наконец. Потом сорвал с головы шляпу и, с ожесточением скомкав ее, крикнул:— Но пусть только попробуют сунуться в Красный дом! Я их вилами встречу... Бандиты, убийцы... Вилами...

— Надален, раз они приходят в долину, значит, придут и сюда. Но зачем они это делают? Чего они хотят?

— А я разве знаю? У нас все речи говорят, а лучше бы выйти всем вместе на дамбы и сказать: «Вон отсюда! Первого, кто к нам сунется, сотрем в порошок!» Вот это было бы ясно и понятно. А пока что они одного уже угробили.

— Поменьше ори и старайся говорить поменьше глупостей,— сдавленным голосом посоветовала Эмилия.

Она вошла в дом и тут же опять показалась в дверях, крича:— Женщины, кто здесь есть? Давайте сразу устроим сбор в пользу жены и матери Ферри.

«Вон как,— невольно подумал Надален.— Она уже сообразила, что нужно сделать прежде всего».

Он остался с Эленой. Девушка была бледна и дрожала.

— Мой отец еще не вернулся, боюсь, как бы и с ним чего не случилось...

— Господи, что же теперь, по-твоему, они всех перебьют?

— Не бойся,— проронила у них за спиной Сперанца. Они с удивлением обернулись.

— Не бойся. Известно, на кого они зубы точат. Не случайно они выбрали Ферри. Это товарищ Таго.

Глаза у нее, казалось, стали еще больше, а губы побелели.

— Но, может быть, у них были с ним какие-нибудь счеты...— проговорил старик.

— Да, у них были с ним счеты,— прошептала Сперанца,— и все мы знаем, какие.

Она ушла одна к дамбам, и никто не решился ее удерживать.

Ферри не умер, но был надолго прикован к больничной койке и не мог сказать, кто на него напал.

Происшествие осталось единичным. Начали поговаривать, что Ферри избили по ошибке, приняв его за кого-то другого.

— Ну да, по ошибке,— бормотал Надален.— Хороша отговорка! Этак удобно калечить людей: извините, ошибся.

С каждым днем Сперанца бледнела все больше и больше. Она извелась в ожидании Таго, который не появлялся вот уже много дней.

Живя в постоянном страхе за жизнь Таго, Сперанца стала подконец довольствоваться малейшими сведениями о нем (кто-то видел его вчера, кто-то сегодня, и она успокаивалась).

Из молодежи только она одна понимала, что избиение Ферри означало угрозу.

«Подумать только,— говорила она себе,— что как раз перед этим я острила насчет болтунов, которые умеют лишь трещать, как стрекозы». Ее мучили угрызения совести.

Элена скоро забыла о печальном происшествии и снова принялась за свои обычные шуточки.

Мингу несколько дней не выпускали из дому, но потом опять предоставили ей бродить, где вздумается.— Разве кто-нибудь тронет такую старуху,— говорили все в один голос.

Потом пошли новые слухи: говорили, что один торговец скотом, находившийся в селении в день нападения на Ферри и теперь снова приехавший туда ради какой-то сделки, вспомнил, что видел в тот день машину, в которой ехало пять человек, и что на краю селения они остановились переговорить о чем-то с кривым, который их, видимо, поджидал. Словно в подтверждение этих слухов, Лоренцо исчез из селения.

Это был реванш Надалена. Целый месяц от него только и было слышно:

— Ну, что я говорил? Бог шельму метит! Говорил я вам это или не говорил?

Потом жизнь вошла в обычную колею, по крайней мере внешне.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Минга умерла в начале осени.

День был дождливый, и, вернувшись домой после полудня со своей обычной ношей — хворостом и сухими листьями, она разожгла огонь.

Немного погодя одна женщина, заглянув в дверь кухни, увидела, что старуха, свернувшись клубком, лежит на земле возле очага, уронив голову на камень.

Она тут же подняла на ноги всех обитателей Красного дома. Один парнишка был послан на велосипеде за Сперанцей, работавшей на дальнем поле.

В тот день бригадам несколько раз приходилось прерывать работу,

из-за непогоды. Когда пришло известие о смерти Минги, женщины стояли возле сарая для инструмента, укрываясь от дождя под застрехами, и устало переговаривались, вглядываясь в обложенное тучами небо.

Сперанца, сидя на пороге сарая, с грустью смотрела на тонкую и частую сетку дождя и слушала, как он шуршит по листве деревьев.

Парнишка примчался во весь дух. Не доставая с седла до педалей, он сидел прямо на раме, извиваясь, как червяк.

— Сперанца,— крикнул он,— иди скорей домой, Минга умерла!

Он так внезапно, с налета выпалил это, что женщины вздрогнули.

Сперанца, подняв голову, на мгновение застыла, потом молча вскочила на ноги. Женщины сразу окружили ее.

— Простите,— сказала она, отстраняя их вежливо, но решительно.— Простите, я хочу идти одна.

И она направилась к дому. Остальные, держась поодаль, кучкой пошли за ней.

Минге было восемьдесят два года, и все же ее смерть всех ошеломляла. С ней уходило из жизни нечто такое, к чему искони все привыкли. Так, проснувшись утром, человек вдруг не нашел бы перед домом старого тополя, от которого ложилась тень на гумно, — такого старого, что никто уже не помнил, как и когда он был посажен.

Сперанца быстро шла по мокрой от дождя дамбе.

— Вот это и случилось,— говорила она себе.

Сколько раз она думала о том, что бабушка умрет. И вот она действительно умерла. Больше не придется Минге, одержимой бог весть какой тоской, бродить, не зная покоя, по всем тропинкам долины, как душа грешника... Больше не нужно будет оставлять дверь открытой и днем и ночью, чтобы она могла входить и выходить в любое время.

От этой мысли о двери, которую отныне можно будет запирать, у Сперанцы сжалось сердце и к горлу подкатил ком.

Она бросилась бежать. Дамба бесконечной лентой развертывалась перед ней, теряясь в легком тумане.

Сперанца невольно пригляделась к широким изгибам и извилинам земляной насыпи, оценила ее высоту и прочность.

Минга видела, как она возникла и росла пядь за пядью с каждой новой тачкой перегноя, и сама насыпала не одну тачку. Минга видела, как ее трамбовали ручными катками, и ей самой приходилось их толкать. По этой дамбе она потом ходила всю жизнь; нужно годы и годы шагать, чтобы столько пройти. Она защищала ее от разливов и паводков, не уставая таскать песок, чтобы заполнить бреши и укрепить насыпь в тех местах, где ей угрожал разбушевавшийся поток.

По ту сторону дамбы... По эту сторону дамбы...

Для Минги не существовало никаких частей света. Для нее мир делился просто: по эту сторону дамбы и по ту сторону дамбы...

Сперанца подумала о Берто и о других преждевременно умерших сыновьях Минги. У Минги не было родни, не было и своего дома. Но у нее было прочное и определенное достояние — дамба. Та самая дамба, по которой теперь ходила Сперанца и все бедняки долины. Она была наследством Минги и всех подобных ей людей.

Сперанца бежала: она хотела сама обмыть и обрядить бабушку. Это было единственное, что она могла еще сделать для матери Берто.

«Бабушка, бабушка, — думала она, — прости меня, что я не плачу. Я не могу плакать, могу только думать».

Первый, кто вышел ей навстречу, был Надален. Шляпа у него была низко надвинута на лоб, как будто ему нужно было защитить глаза от слишком яркого света. Он откашлялся и пробормотал:

— Крепись, Сперанца. Отмучилась бедняжка.

Сколько раз потом в ближайшие часы и дни Сперанце приходилось выслушивать эту фразу.

Отмучилась!

Вот что означала для Минги смерть! Кончилось хождение по мукам.

Сперанца попыталась мысленно воссоздать жизнь бабушки — по разговорам, слышанным в детстве, по рассказам дедушки Цвана и воспоминаниям старших. Попыталась представить себе ее молоденькой, невестой... Но и в ту далекую пору, затерянная на болоте, Минга была лишена всего, лишена даже мечты. И вот теперь, наконец, ей суждено было получить успокоение в том топком, илистом уголке долины, который служил кладбищем...

В дождливое время здесь была грязь по колено, а летом белесоватая почва пересыхала и покрывалась трещинами, похожими на рваные раны; в них бегали юркие ящерицы. Кресты здесь были не все одинаковые. Лишь по их цвету можно было определить, какие из них старше: те, что потемнее, были поставлены много лет назад, светлые — недавно. Но все они были деревянные и все вытесаны топором. На каждом большими неровными буквами были написаны имя и фамилия умершего.

Когда кто-нибудь останавливался и читал по складам эти надписи, покойники, погребенные под ними, поражались, слыша чуждые для них имена, которыми их никогда не называли при жизни.

Лишь в одном углу кладбища два креста сверкали мрамором на двух расположенных вплотную друг к другу могилах. Они были поставлены профсоюзом, и на них можно было прочесть имена *Джованни Мори* и *Джузеппе Мори.*

Каждый раз, как Сперанца видела эти кресты, она улыбалась, и веселый огонек блестел в ее голубых глазах.

«Просто стыд, — говорила она себе, — думать о таких вещах». Но ничего не могла с собою поделать. Ей казалось, будто она слышит голос дедушки:

«Не хочу хвалиться, но во всей долине нет других таких крестов, как у Мори».

Потому-то, быть может, ей и захотелось заказать для бабушки мраморный крест.

Чтобы пойти на такой расход, ей нужно было отказаться от покупок, которыми она собиралась пополнить приданое. Но она с этим не считалась, тем более, что Таго теперь все реже бывал в Красном доме и о свадьбе не было разговора. А они так дорого стоили, эти два перекрещивающихся мраморных бруска с надписью *Доменика Мори!*

Кто-то сказал, что могилу для Минги вырыли на другой стороне кладбища, как раз в противоположном углу от могилы Цвана. Но Цван, говорила себе Сперанца, будет окликать ее: «Минга! Эй, Минга!», и Минга узнает его голос.

Когда Сперанца приходила на кладбище, она задумывалась над тем, что сказали бы мертвые, если бы могли говорить между собой.

«Если не перестанут лить дожди, все погниет».

«С каких это пор вы сырости боитесь? У нас в домах и не то еще делалось...»

«Выдержит ли дамба? Позаботились ли ребята укрепить ее на повороте у Мертвой дыры?»

«Чорт возьми! Как будто они не знают, что это самое опасное место».

В марте плетни вокруг могил опять начинали зеленеть, тополи у ограды кладбища пускали почки, и кто-нибудь, наверное, прислушавшись, спрашивал: «Никак кукушка кукует?»

«Да, да, она самая».

«Весна на дворе. Чувствуете, как земля прогревается?»

Здесь все знали друг друга, все были среди своих на кладбище бедняков. Здесь не существовало тайн, потому что здесь все жили одной общей жизнью.

«Да, если бы мертвые могли говорить,— думала Сперанца,— они продолжали бы здесь те беседы, какие вели летними вечерами на гумне, перед домом или зимой на посиделках.

И услышав, как в сумерках ухнул филин или летней ночью в кустах залился соловей, кто-нибудь из них, зевнув, обронил бы: «Поздно. Пора спать».

Обо всем этом думала Сперанца, глядя на бабушку, которую скоро должны были отнести на кладбище.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Минга уже лежала на столе. На том самом столе, на котором остались метки от ножа дедушки Цвана и у которого ножки были изгрызены молодыми охотничьими собаками.

Руки старухи, сложенные на груди, были похожи на свернувшиеся осенние листья, темные, прозрачные, в сплошных прожилках... Щеки ввалились, нос и подбородок заострились. Глубоко запавшие глаза исчезли под опущенными веками. Больше не суждено было им смотреть на долину, больше не суждено было видеть убегавшую вдаль дамбу. Для Минги уже не существовало ни дней, ни слез.

Пришел человек, который должен был сделать гроб, и стал ходить вокруг стола, снимая мерку и размышляя с озадаченным видом.

— Как тут быть? Гроб я смогу сделать, но она в нем не поместится. Как же быть?

Эти слова пробудили у Сперанцы воспоминания о давно минувшем.

«...Как же это ее положат в гроб, когда она помрет?»

Она устало подняла голову.

— Сделайте как можете.

— Постараемся, чтобы вышло получше. Крест на крышке сделать?

— Она такой крест несла всю свою жизнь, что уж этот-то не будет ей в тягость.

— Иди отдыхать,— то и дело повторяла Эмилия.— Минге уже ничего не нужно, да и мы здесь. Пойди приляг, ведь ты нездорова.

— Нет, я себя чувствую хорошо,— упорствовала Сперанца.

Наконец, Эмилия подошла к ней и сказала властным тоном:

— Я давно за тобой смотрю. Ты нездорова.

Сперанца подняла голову, и во взгляде ее вдруг проскользнуло смущение. Эмилия стояла над ней и смотрела на нее со странным выражением лица.

С того раза, как ты вернулась на рассвете после праздника урожая, ты изменилась. Да, я видела, как ты пришла на рассвете в тот раз: я была в это время под навесом. Я об этом никому не сказала, но с тех пор присматривалась к тебе и все поняла. Ты должна подумать о нем, о ребенке. Потому что ты носишь ребенка, тут и сомневаться нечего.

Сперанца смотрела на нее, широко раскрыв глаза.

Она прекрасно знала, что носит ребенка, и у нее не было на этот счет никаких сомнений, но она думала, что только она одна это и знает. Даже с Таго она не говорила об этом! У него, казалось, больше не было для нее ни минуты времени, и ее признание походило бы на вымогательство. Она готова была скорее умереть, чем принудить Таго к браку во искупление его вины!

И вот Сперанца с ужасом увидела, что Эмилия знает о ее состоянии.

— В постель!

Сперанца была больше не в силах отнекиваться. Она дала увести себя в свою каморку и бросилась на топчан.

Укрывая ей ноги одеялом, Эмилия продолжала говорить:

— Мертвым ничего не нужно. Надо думать о живых... Это счастье — иметь ребенка. Что ты думаешь? Если бы только у меня был сын, я была бы сама себе госпожа. Думаешь, я хоть на один день осталась бы прислуживать этому лоботрясу, моему муженьку? Да я его давно послала бы ко всем чертям... Что в них толку, в мужьях, скажи на милость? Вся суть в детях.

Сперанца понимала, чем вызваны эти слова. Эмилия догадалась, в каком она положении, и старалась по-своему помочь ей; испытав крушение любви, по крайней мере сохранить гордость. Только это могло заставить так говорить Эмилию, на самом деле горячо любившую мужа.

Сперанца сочла необходимым защитить Таго от несправедливого осуждения.

— Он не знает...— устало промолвила она.

— О чем он не знает?

— О ребенке... Я ему не хотела говорить. Вы знаете, какой он... Ему могло показаться, что я хочу заставить его жениться на мне, и я решила лучше молчать. Он ничего не заметил. Ему не до меня...

Она уронила голову на подушку и безутешно разрыдалась, как обиженная девочка, какой она в сущности и была.

— С ума сойти! Ну и дурочка... Неужели правда? Ладно, не плачь... Все исправится, не беспокойся... Я сама займусь Таго.

— Ради бога, Эмилия! — чуть не закричав, перебила ее Сперанца.— Выбросьте это из головы! Я бы скорее умерла...

— Небось, не умрешь! Все это глупости. Говорю тебе, что я им займусь. Хоть он и занят по горло, не спорю, но дать имя своему сыну он у меня найдет время, будь я не я.

— Имя? Так все дело в имени? Бросьте, Эмилия... На что оно, собственно говоря?

И в памяти Сперанцы вдруг всплыла вереница имен, по-детски неумело, большими неровными буквами написанных на могильных крестах.

И эти имена, почерпнутые из метрик, путали живых и ставили в тупик мертвых.

Джованни Мори. Но он всегда был Цваном.

Джертруда Банти. Кто догадается, что это Тудо?

Теперь там появится и Доменика Мори. А она была Мингой.

— На что оно, имя?

— Чтобы знать про человека, кто он родом — вот на что! А теперь молчи.

И Эмилия, ринувшись с развернутым одеялом на привставшую было Сперанцу, силком уложила ее в постель.

Раз Эмилия решила вмешаться, никакая сила в мире не могла заставить ее отказаться от своего намерения.

«Бедный Таго!» — напоследок подумала Сперанца и, обессиленная, заснула.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Таго не приехал проститься с Мингой, не было его и на похоронах. Это вызвало негодование у обитателей Красного дома.

Больше всех был раздосадован Надален. Он безоговорочно верил в Таго, но теперь почти раскаивался в этом.

— Чорт возьми! Умерла старшая женщина в доме, а он даже не показался, оставил свою невесту одну при таких обстоятельствах.

— Уж не стал ли он министром!

— Подумаешь, Де-Амбрис!— бормотал старик.

Он начал уж больно много о себе воображать, этот мальчишка! И потом толком не поймешь, что он затевает: день и ночь колесит по всей округе, бывает в таких местах, что и в голову не придет...

— В деда пошел!.. Все у них сумасшедшие...— заключил Надален, покачивая головой.— Жаль, что вскружил голову девчонке. Хоть бы этот случай, по крайней мере, открыл ей глаза!

Хоронили Мингу под дождем. Над головами людей, растянувшихся по дороге, покачивались зеленые клеенчатые зонтики.

Впереди шел Дон Терцо, которого Эмилия после долгих препирательств заставила явиться к выносу тела. Он хотел ждать гроб по выходе из долины, на главной дамбе, но Эмилия добилась своего, и он все-таки пришел в высоких, до колен резиновых сапогах, в сопровождении Отелло и двух охотничьих собак, по самые уши забрызганных грязью.

Добравшись до Красного дома, собаки принялись гоняться за курами, подняв изрядный переполох, и Надален, к возмущению Отелло, вслух высказал предположение, что их умышленно к этому приучили. Наконец, собак прогнали, куры были спасены, и процессия тронулась.

Сперанца в черном платке шла за гробом и думала:

«Бабушка, бабушка... Как раз сейчас я не могу плакать... Когда убили дедушку Цвана, я все глаза выплакала. Но сейчас не могу. У меня такое чувство, как будто ты умерла уже давно... Когда я девочкой рассталась с тобой, уезжая из дому, ты стояла как раз здесь, на этом повороте дамбы, и все смотрела мне вслед, а я оборачивалась и махала тебе рукой. Вернувшись, я тебя уже не нашла... Ты уже отправилась в странный, нелепый мир, куда никто не мог проникнуть за тобой, и тогда я оплакала тебя. А теперь не могу: теперь это было бы все равно, что плакать по умершему много лет назад».

Дон Терцо громко тянул литании, останавливаясь на полуслове у каждой лужи, чтобы примериться и неуклюже прыгнуть через нее, обрызгивая грязью соседей.

Отелло, рискуя свернуть себе шею, на ходу всматривался в хвост процессии и, наклонясь к парнишке, который шел рядом с ним, шептал:

— Ты лучше меня видишь, посмотри-ка, кто там последний...

Парнишка оглядывался, изо всех сил вытягивая шею, с тем единственным результатом, что задние наступали ему на ноги.

— Не видно

— А интересно было бы знать,— усмехаясь с таинственным видом заметил Отелло. — Мой дедушка всегда говорил: «Обрати внимание, что на похоронах и в любой процессии позади всех идет или хромой, или завзятая шлюха». На первый взгляд это кажется выдумкой, верно? А на самом деле так оно и есть. Я уже проверял!

Затем Отелло присоединился к Дону Терцо и, казалось, всецело сосредоточился на литаниях, но парнишка, снедаемый любопытством, замедлил шаг, отстал и дождался последних.

Скоро он бегом нагнал Отелло и с огорчением объявил:

— В хвосте идет Рика.

— Кто это?— подняв брови, спросил Отелло, стараясь, видимо, вспомнить женщину, носившую это имя.

— Старуха Банти. Та, что живет возле тополей... Такая маленькая, горбатая. Она всякие травы знает и заговаривает от болезней... Ей лет сто будет, не меньше... Но она вовсе не хромая!

Парнишка с беспокойством смотрел на Отелло, думая о предложенной им альтернативе.

Отелло вздохнул, но ничего не сказал, только возвел глаза к небу с таким выражением, словно хотел сказать: «Смотри-ка! Кто бы мог подумать?»

Парнишка еще ближе придвинулся к нему и прошептал:

— Но она честная женщина... Это все говорят в долине. И всегда говорили.

Он попрежнему беспокойно смотрел на Отелло в ожидании объяснения.

— Сто лет...— сказал, наконец, Отелло.— Сто лет — срок немалый... Многие пороки со временем пропадают и многие вещи забываются... Что тут говорить!

И он опять принялся подтягивать Дону Терцо. Паренек смотрел на него, разинув рот.

На каждой неровности почвы Сперанца поднимала глаза и смотрела на гроб, слегка сотрясавшийся на плечах у мужчин. «Как пустое гнездо,— думала она.— Одно из тех потемневших от времени гнезд, которые при каждом порыве ветра подскакивают и качаются из стороны в сторону, словно непогода старается их вырвать из камышей».

Подошли к кладбищу. Отелло услужливо кинулся вперед открыть калитку.

Сперанца отыскала взглядом в глубине погоста два белых мраморных креста, блестящих от дождя.

— Так-то, дедушка,— мысленно сказала она.— Мы принесли Мингу. Я и для нее заказала мраморный крест. Он дорого стоит, но... Что скажешь, ворчать будет старая?»

И ответила за Цвана: «Ты хорошо сделала... Чорт возьми! Умирают-то ведь только раз...»

Кто-то тронул Сперанцу за руку, и она встряхнулась.

Гроб уже был опущен в могилу, и, казалось, все чего-то ждали от Сперанцы, вопросительно глядя на нее.

Она наклонилась, взяла горсть земли и, бросив ее на гроб, прошептала:— Прощай, Минга!

— Прощай, Минга!— повторила она громко, а про себя подумала: «Почему я назвала ее Мингой, а не бабушкой?»

Она оглянулась на окружавших ее людей, но никого, повидимому, не покоробило и не удивило это обращение. Всем оно показалось естественным.

Уже вокруг заголосили женщины, а Сперанца все размышляла. Слово «бабушка» означало лишь родственную связь между ней и покойницей, которую засыпали землей. Имя «Минга» говорило много больше. Минга была жена старика Мори, полвека с лишним работавшая рядом с мужчинами, даже больше мужчин, пядь за пядью отвоевывая землю у болота. Минга была самая упрямая женщина в долине, снова и снова рожавшая сыновей по мере того, как их уносила малярия, чтобы спасти хотя бы одного, чтобы оставить потомство, которое продолжало бы трудиться в долине.

Минга была землей, принесенной на дамбы, рекой, обузданной в своем течении, верой, одушевляющей людей.

Она была ветераном стольких битв с голодом и нищетой, столько раз встречала смерть на своем пути и спокойно смотрела ей в глаза без вызова и без страха, что стала с нею запанибрата...

Все это была Минга.

Отныне ей суждено было стать Доменикой Мори и получить мра-

морный крест, обращенный к востоку, чтобы его озаряло солнце, когда оно всходит над долиной, и обдавал ветер запахом сена.

— Доменика Мори,— прочтет по складам какой-нибудь мальчишка, шатаясь по кладбищу. И Минга под своим крестом услышит это и скажет: «Так и в пенсионной книжке написано».

Но она не увидит креста и не будет поэтому сердиться, что Сперанца пошла на такой расход.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Таго приехал в Красный дом десять дней спустя, радуясь свободному вечеру и далеко не представляя себе, какие тучи сгустились над его головой.

Он, конечно, отдавал себе отчет в том, что долго был в отсутствии, но думал, что ему это легко простят, как только узнают причину его занятости.

Он быстро ехал, насвистывая какой-то мотив и придерживая большой сверток, обшитый мешковиной.

Осень уже потихоньку прокралась в долину, окрасив жухлыми красками опавших листьев откосы дамб, пустынные берега каналов, заросшие травою тропинки.

С гумен доносился терпкий запах выжимок винограда, и над крышами стлались дымки, будто придавленные низко нависшим небом.

Кукушки, в последнее время куковавшие уже редко и лениво, совсем умолкли, и теперь в небе слышался только хриплый крик перелетных птиц, тянувшихся на юг среди гонимых ветром туч.

Глядя на пасмурное небо, дождившее изморосью, Таго думал о близкой зиме. Он обещал Сперанце, что они поженятся осенью, но сознавал, что это было легкомысленное обещание и что, быть может, было бы лучше подождать. Он знал, что в ненастное время часто не сможет к вечеру возвращаться домой, и ему не хотелось, чтобы Сперанца оставалась одна в заброшенной хибарке на болоте. Она девушка рассудительная, говорил себе Таго, и подождет до весны.

Он спустился по откосу дамбы и свернул на тропинку, которая вела прямо к гумну.

Под навесом две женщины набивали тюфяки свежими листьями кукурузы и несколько мужчин мирно беседовали, стоя возле дома и укрываясь от дождя под карнизами.

— Эй, люди!— крикнул Таго, придерживая колесо ногой, чтобы затормозить.

— Смотри, кто приехал...— вскрикнула Элена и осеклась. Это был единственный голос, прозвучавший ему в ответ.

Таго не обратил внимания на тишину, внезапно воцарившуюся на гумне при его появлении, и спокойно спрыгнул с седла, сбросив на землю тючок, который он держал на руле велосипеда.

— Все здоровы?— громко спросил он с дружеской сердечностью.

— Все... или вроде того!— серьезно ответил Надален.

— Что это значит?

— Это значит, что живые здоровы, а кто умер, тот почти здоров, потому что перестал болеть...

Таго наморщил лоб, стараясь понять, что он хотел сказать, потом улыбнулся.

— Я вас понимаю. Я в самом деле не мог приехать ни в тот день, ни потом. И не думайте, что мне это не было тяжело. Но когда ты так занят, то в конце концов начинаешь рассуждать по-другому. На первый взгляд это нехорошо, но на поверку выходит — правильно. Чтобы при-

ехать проститься с покойницей, для которой я уже ничего не мог сделать, я должен был бросить срочную работу, важную для многих живых. Вы, может быть, меня не понимаете, но Минга — она, уверяю вас, меня бы поняла.

Надален, сложив руки на груди, покачал головой, демонстративно посмотрел в небо и сплюнул.

— Хорошо,— оборвал разговор Таго.— Я вижу, у вас еще хватает слюны. Добрый знак!

Он с раздражением повернулся, чтобы направиться к двери Сперанцы, но столкнулся с Эмилией, уже стоявшей у него за спиной, приготовившись к схватке.

— Ах, Эмилия, извините, я вас не видел!

Рукава у Эмилии были засучены, а руки по локоть — в виноградной «подливе», которую она замешивала, когда приехал Таго.

Он протянул ей руку, но встретил только деревянный половник, который она впопыхах позабыла оставить на кухне.

Эмилия молча смотрела на Таго и нервно притоптывала ногой, как застоявшийся конь, которому не терпится пуститься в галоп.

Она много раз искала этой встречи, но ей все не удавалось перехватить Таго. Три вечера кряду она ждала его под дождем на развилке дамбы, думая, что он проедет там, возвращаясь домой, но Таго, видимо, выбирал кратчайшую дорогу или оставался где-нибудь ночевать, потому что он не проезжал. А она между тем простудилась, да так, что даже потеряла голос, и ей пришлось сносить веселые замечания соседей, радовавшихся вместе с Надаленом вынужденному молчанию его жены.

И за это тоже она затаила досаду на Таго.

— В чем дело?— спросил он недоумевая.

— А в том, что мы, наконец, встретились лицом к лицу,— ответила она.

— Ну что ж,— сказал Таго и пожал плечами,— будем надеяться, что мы понравимся друг другу. Если бы я раньше знал, я бы даже отпустил себе бороду.

Смешки присутствующих подсказали Эмилии, что вести разговор здесь было бы неосторожно.

— Не зайдешь ли ты ко мне? Нам бы надо кое о чем поговорить.

— Отчего же! Но сперва я забегу к Сперe...

Эмилия обернулась и показала на закрытую дверь.

— Видишь? Что же ты думаешь, она не слышала, как ты приехал? Не знает, что ты здесь? Но дверь заперта, Таго, и останется запертой, пока мы не переговорим начистоту.

Надален, который до сих пор выказывал Таго презрительное равнодушие, с тревогой подошел к нему, забыв все свое негодование.

— Берегись, Таго!— крикнул он нежданной жертве своей жены.— Берегись, она кого хочешь обведет вокруг пальца. Не давай задурить себе голову. Ступай лучше к Сперанце и поговори с ней.

Таго нерешительно смотрел то на Эмилию, то на Надалена, и ему хотелось прервать поскорее этот бессмысленный разговор, чтобы побежать к двери каморки и удостовериться, действительно ли она для него закрыта. Сперанца, должно быть, всерьез сердится на него, думал он, раз она до сих пор не вышла ему навстречу.

— Ну, так как же? Войдем?

Таго пошел за Эмилией к дому и, прислонив велосипед к стене, оглянулся на Надалена, который простирал к нему руки, как бы пытаясь его удержать. Он с минуту поколебался, потом положил на эти протянутые руки сверток, который он привез, и следом за Эмилией

вошел в дом, закрыв за собой двери.

Сперанца услышала имя Таго и узнала его голос. Не веря себе, она подошла к порогу и выглянула так, чтобы ее не заметили, потом притворила дверь и прислонилась к ней, закрыв глаза и прижав руки к груди, чтобы унять сердцебиение.

Он вернулся!

И вернулся, нахал, без тени стыда. Она увяла от плача, а он улыбается, как ни в чем не бывало — как будто они расстались вчера вечером.

От возмущения и обиды слезы потекли у нее по щекам, но вместе с тем в ней шевельнулась и тайная радость.

«Сумасшедшие Мори...» — подумала она и рассмеялась коротким судорожным смехом.

Она с тревогой прислушалась к разговору, происходившему на гумне, и сразу узнала голос Эмилии. Теперь было уже поздно выйти ему навстречу и помешать неизбежному. Эмилия уже взяла его в оборот.

У Сперанцы вдруг выступил пот на лбу.

«Господи Иисусе...» — зашептала она и, движимая детским импульсом, подбежала к полочке, на которой стоял стеклянный домик воскового Иисуса. Она повернула ларчик задней стороной к себе, чтобы просунуть в него палец и прикоснуться к краю голубого одеяния. Но с суеверным ужасом увидела, что ее палец уже не проходит в отверстие. Она давно не пробовала потрогать младенца и не замечала, как изменилась у нее рука... Теперь это была сильная рука работящей женщины, совсем не похожая на тонкую и слабую руку ребенка.

«Если захочешь, ты и так мне поможешь»,— сказала она полиняло-му Иисусу, окруженному бабочками и цветами, выцветшими от времени. И она пристально посмотрела на него. Глаза у нее сузились, и на напряженном лице был написан вызов: «Теперь будет видно, на что ты способен. Посмотрим, совладаешь ли ты с Эмилией».

Почти то же самое думал тем временем Надален, стоя у входа со свертком в руке.

К нему тихо подошла Элена, сгорая от любопытства.

Через дверь доносился приглушенный голос Эмилии, но слов нельзя было разобрать.

— Как вы думаете, что там делается?

— Я почем знаю? Но уж если она в него вцепилась, будь уверена, целым он оттуда не выберется...

Элена попыталась приложить ухо к двери, но Надален заставил ее отойти.

— Разве можно делать такие вещи? Убирайся, нехорошо...

Как раз в эту минуту кто-то позвал Элену, и девушке пришлось скрепя сердце отойти.

Надален, угнетенный мрачными предчувствиями, остался один.

— Но почему же как раз я не должен ничего знать об этом?— вдруг прозвучал голос Таго.

Надален не мог понять, о чем он спорит с Эмилией, но одобрительно кивнул головой, уловив в его голосе гнев.

— Кто его знает, что она там ему наплела!— вздохнул он, волнуясь за Таго.

Он почувствовал искушение открыть дверь, но у него не хватило храбрости.

«Лучше мне уйти, а то, чего доброго, не выдержу», — сказал он про себя.

Но он не ушел, а пощупал увесистый тючок Таго и, убедившись, что в нем нет ничего хрупкого, положил его на землю и уселся на него.

Когда внезапно открылась дверь, Надален вздрогнул и хотел было встать, но то, что он услышал, его так ошеломило, что он опять опустился на тючок.

Таго, не кто иной как Таго, говорил:

— И если мне кто-нибудь скажет, что вы, Эмилия, не сердечная женщина, я его задушу своими руками...

— Ну и ну! Пропал человек!— простонал Надален.— Господи, она его совсем опутала.

Эмилия между тем отвечала ворчливым тоном:

— Ступай, ступай к этой дурочке. И оба вы перестаньте дурить, дайте людям жить спокойно.

— Видали!— усмехнулся Надален.— Жить спокойно... Это она-то говорит про покой!

— А ты что тут делаешь, мамелюк?

— Это что-то новенькое...— пробормотал Надален, поднимаясь. Потом с неуклюжим поклоном ответил:— Да вот, ждал, когда герцогиня кончит аудиенцию, чтобы войти в дом. Не видишь, что ли, что дождь идет?

— А это что такое?

— Я и забыл! Это он какой-то узел привез...

— Дай сюда.

Эмилия взяла узел, взвесила его на руках, пощупала, недоверчиво понюхала. Потом покачала головой.

— Все, как один,— изрекла она, входя в дом.— По целому месяцу где-нибудь пропадают — ни слуху, ни духу; потом в один прекрасный день возвращаются, и что же они вам привозят? Не цветы, нет, у нас это не водится — чтобы их заслужить, бедняжка должна, по крайней мере, умереть; не сласти, потому что от тех, что продаются в селении, можно умереть в коликах... Но хоть какую-нибудь вещицу, уж я не знаю, пару сережек, цепочку... хоть что-нибудь дешевенькое, для бедных, лишь бы внимание оказать, можно бы, кажется, иной раз привезти женщине, верно?

Надален слушал ее, кивая головой, как бы показывая, что с интересом ждет окончания. Но Эмилия замолчала.

— А вместо этого?— спросил он с любопытством.

Эмилия с негодованием бросила узел в ушат, стоявший у двери.

— Грязное белье для стирки,— отрезала она.

Она зажгла фонарь, вздохнула и, обернувшись к мужу, который, как завороженный, смотрел на узел, прошипела:

— Свиньи!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Солнце еще боролось с туманом, стоявшим над болотом, когда плоскодонки причалили к берегу возле хибарки. Эмилия, приготовившись распоряжаться выгрузкой, громко командовала:

— Слезайте по одному! И не поднимайте суетолоку, не то при таком грузе дело кончится тем, что мы все пойдем ко дну.

Однако никто, повидимому, не признавал в данном случае ее авторитета, и ребятишки повскакали со дна лодки и, отчаянно раскачивая ее, всей оравой бросились на нос прямо по ящикам и мешкам, стараясь опередить друг друга, чтобы первыми спрыгнуть на землю.

Опершись на массивную спинку железной кровати, Эмилия с явным неудовольствием следила за всей этой сумятицей и с негодованием отвернулась, когда Надален спросил ее ухмыляясь:

— Все в порядке, генеральша?

Гита, застрявшая между большой клеткой для кроликов и квашней, жалобно молила:

— Помогите мне, а то я не выберусь отсюда...

— Потерпите, дорогая... Если не выгрузить сначала эти вещи, отсюда вас может вызволить один только господь бог!

С других лодок все уже высадились, и скоро обитатели Красного дома шли гуськом по тропинке, которая вела к хибарке Таго.

Сперанца, выходившая на следующий день замуж, перебиралась на новое место, и соседи всем обществом вызвались помогать ей при переезде.

Женщины в косынках и фартуках разобрали метлы и тряпки, привезенные из дому, а мужчины принялись выгружать из лодок пожитки, и через короткое время на полянке перед домом грудой лежали мешки, ящики, мебель, оплетенные бутыли, кошелки с курами и прочей живностью.

— А когда будет завтрак?— спросил веснущатый карапуз.

— Вот тебе на! Не успели приехать и уже есть захотел?— ответила ему мать, но тут же вынула из вместительной сумки хлеб и сало, нарезанные ломтями, и раздала их детям.

— Когда поедите,— сказала им Эмилия,— соберите в кучу хворост за домом — и дело сделаете и глаза мозолить не будете.

Женщины сразу принялись наводить чистоту, а мужчины стали складывать такую же «грубу» на открытом воздухе, как те, на которых все хозяйки в долине кипятили белье, и убирать в кладовку позади дома вино и продукты.

Прежде всего в дом внесли уже послужившую Берто и Розе кровать, которую две женщины предварительно вычистили, не жалея керосина. Поставив ее посреди комнаты, на нее сразу же положили два тюфяка, только что набитых шуршащими листьями кукурузы. Сперанца вытащила из сундука грубые домотканные простыни из самодельной пеньковой пряжи и дырявые наволочки, на которых было вышито украшенное завитками пожелание: «Спокойного сна!» — подарок двоюродной сестры из Романьи.

— Когда будешь ложиться спать,— посоветовала ей одна женщина,— переворачивай подушки на другую сторону, а то у тебя к утру «спокойный сон» на лице отпечатается.

Сперанце захотелось посмотреть, как выглядит на постели стеганое одеяло, подаренное ей Надаленом и Эмилией — зеленое с одной стороны и яркожелтое с золотистым отливом с другой. Все попробовали, до чего оно тяжелое, и единодушно признали, что под таким одеялом можно спать, не чувствуя холода, даже на снегу.

Сперанца тут же аккуратно сложила его и спрятала, а вместо него постелила белое с красным тканьевое одеяло, подаренное тетей Мартой.

— Тонкая вещь... Покупная!— заговорили женщины, щупая его и с восхищением разглядывая двух изображенных посредине могучих голубей, сцепившихся клювами.

Женщины начищали до блеска, обтирали, ставили на место каждый предмет и при этом всякий раз отходили к двери, чтобы полюбоваться эффектом.

— Подвинься, а то мне не видно...

— А вам, ребятишки, что здесь надо? Долго вы будете путаться под ногами? Ну-ка, убирайтесь!— орала Эмилия.

— Куда мы их поставим?— спрашивал с порога Надален, держа два новых соломенных стула — подарок бродячего столяра, который был другом Цвана.

Разумеется, и их внесли в ту комнату, где уже стояла кровать,— не пропадать же им было на кухне.

Когда затем был втащен тяжелый сосновый сундук и поставлен к стене, напротив кровати, а на него водружен подарок Ирмы — гипсовая дама в широкой роскошной юбке и в шляпе с перьями,— все опять отошли к порогу, чтобы полюбоваться общим видом.

Но на этот раз Эмилия, выпроводив всех, решительно закрыла дверь, чтобы не натоптали на полу.

— А теперь приведем в порядок кухню.

Но как раз в эту минуту подошел один мужчина и спросил, куда деть зерно, поскольку в кухне для него не было места, а в задней комнатушке имелись явные следы мышей. Общий вопль встретил это известие, и дверь комнаты была тут же открыта.

Сундук отодвинули в сторону, чтобы освободить место, и мешки с зерном торжественно водворились в комнате новобрачных.

Быть может, от них в ней не стало уютнее, но это никого не заботило. Главное было сохранить зерно.

И вот, наконец, Эмилия объявила, что пора перекусить.

Все собрались в кухне, рассевшись на скамейках, перевернутых ящиках и на припечке очага.

— У тебя прекрасный дом, Сперанца,— убежденно сказала Джулия.

— Да, дом хороший.

— Но мне бы было страшно здесь жить,— призналась Элена.— Так далеко ото всех, посреди болота... Почему вы не остались в Красном доме?

— Потому что я хочу, чтобы у меня был действительно свой дом,— с гордостью ответила Сперанца.

— Одну минутку...— сказал Надален, чуть не подавившись куском, и протянул к ней руки.— Одну минутку. Легко сказать — твой... Бревна да камень, может, и твои, но земля-то под домом чужая. Никто даже толком не знает, кто ее хозяин. Одни говорят — правительство, другие — синдикат... А почтальон толкует, что она относится к имению...

— Мне все равно, чья она,— перебила его Сперанца.— Таго справлялся, и ему сказали, что по истечении тридцати лет земля остается за владельцем дома. А хибарка здесь лет сто стоит, все это знают...

— Да, но она была меньше! Одну комнату вы теперь пристроили... И потом, представь себе, что приходит хозяин и говорит: «Хорошо. Земля под хибаркой твоя, но за дверь — ни ногой!» Что ты будешь делать? Станешь влетать и вылетать через окно?

— Ну, что это за разговоры? Неужели вам больше ничего в голову не приходит?— вмешалась одна женщина.— Можно подумать, что вы хотите накаркать беду!

Но Сперанца уже кричала, сверкая глазами:

— Никто мне прохода не закажет! Я возьму одну из них,— она указала на висевшие на стене двустволки,— и сама себе пробью дорогу!

— Успокойся, Сперанца, не придется тебе ни с кем воевать,— сказал отец Элены, макая в соль головку лука.— А вы, женщины, пустите-ка по кругу фляжку с этим добрым винцом и увидите, что даже у Надалена пропадут черные мысли...

Возобновился мирный разговор, и Сперанца вдруг воскликнула:

— Кто сказал, что я одинокая? Кто сказал, что у меня нет семьи? Один... два... три... двенадцать! Нас только здесь двенадцать человек, а еще нет Таго и некоторые остались дома... Не много найдется таких больших семей, как моя!

Она засмеялась, запрокинув голову, но внезапно нахлынувшее чувство переполнило ей сердце, и смех обратился в плач.

— Спасибо,— проговорила она сквозь слезы.— Вы были очень добры ко мне! Я этого никогда не забуду.

Все почувствовали себя неловко и стали наперебой отвечать, что тут не за что благодарить, что между соседями это вполне естественно, а многие между тем вытирали глаза или отворачивались к окну.

Надален, чтобы рассеять и развеселить Сперанцу, принялся расхваливать полученные ею подарки и начал со своего собственного:

— Пять кило шерсти ушло у Эмилии на это одеяло! Минга о таком и не мечтала. Она укрывалась попонами, которые велел выбросить управляющий, у нее этих «господских обносков» набралось всех цветов. Поглядишь на них бывало, и сразу приходят на ум все штаны, которые носил Цван, когда был молодым, и платья Минги, и рубашонки детишек: на них всегда были заплаты из конской одежи.

Всех рассмешило это описание, а Сперанца сказала:

— Я могу считать себя счастливой, что живу не в такое тяжелое время!

— А кто потрудился, чтобы настало время полегче?— сказала Эмилия. — Или оно само собой приспело, как поспевает ежевика на солнце? Это, знаешь, как с хлебом. Когда его едят за столом, забывают, что он полит потом... Но иногда неплохо об этом вспомнить!

— Будем надеяться, что для вас, девушки, и для ваших детей наступят еще лучшие времена,— как всегда, тихо и мягко сказала мать Элены.

Снова разлили вино по стаканам, и Надален встал, чтобы произнести тост.

— Выпьем за здоровье невесты из Красного дома, пока она еще среди нас,— сказал он дрогнувшим голосом,— потому что с завтрашнего дня она начинает новую жизнь...

— Хватит!— крикнула Эмилия.

— Дай ему сказать! Он хорошо говорит...— запротестовали остальные.

— Ну да, конечно... По-вашему, я его не знаю, так что ли? Раз он расчувствовался, значит, уже порядком выпил, и если ему дать говорить, он бог знает что нагородит.

Она поднялась, торопя остальных.

— За дело, люди, за дело! Если и дальше так пойдет, мы до вечера не управимся.

Все встали и снова принялись за работу.

Внесли старый стол Цвана, свежеобструганный и с новой ножкой. На косые подпорки, прибитые к стене, легли прочные тесины, на которых между кастрюлями и сковородками нашли себе место книги Таго, обнаруженные в углу кухни.

— Если бы мне сказали: «Ты будешь на каторге до тех пор, пока не прочтешь все это»,— заявил Надален, указывая на книги,— я бы сказал: «Прощай, Эмилия, поминай как звали», и на всю жизнь остался бы на каторге.

— Будем надеяться, что кто-нибудь тебе так и скажет,— сухо ответила Эмилия.

— Подарок от Союза!— закричала Элена, хлопая в ладоши, и все сбежались к вскрытому ящику.

В нем оказалась позолоченная металлическая лампа с цепью и расписным фарфоровым абажуром.

Тут же на стол поставили два ящика, и один паренек, поддерживаемый со всех сторон, взобрался на них, чтобы привесить лампу к балке.

После этого всем захотелось посмотреть, как она горит, и для вящего эффекта закрыли дверь и окна.

— Боже мой, как сверкает!

Паренек еще припустил фитиль, и вдруг стекло лопнуло. На всех лицах изобразилось замешательство и горестное изумление, но Джулия сказала с уверенностью, что такие стекла можно достать у Нербо, державшего лавочку в селении, и все успокоились.

Другим подарком, вызвавшим общее восхищение, были серебряные с чернью часы, преподнесенные служанкой покойного доктора в память дружбы, связывавшей при жизни Цвана и старого врача. Это были те самые часы, которые Сперанца девочкой столько раз видела на ладони доктора, когда он щупал пульс Цвану.

— Ходят, ничего не скажешь,— заметил один из мужчин, приложив часы к уху, и все дети один за другим захотели послушать, как они тикают.

— А где же квашня?— раздался пронзительный женский голос.— Мы забыли привезти квашню Минги!

— Ну, нет! Квашня здесь!— ответила Гита.— Уж я-то это знаю наверняка, потому что она всю дорогу давила мне в бок, должно быть, даже след остался.

Квашня оказалась за штабелем дров. Она была в плачевном состоянии и, несмотря на приделанные к ней подпорки и укрепы, упорно заваливалась на бок — до того покоробилось дерево.

— Точь в точь как покойница Минга, царствие ей небесное, — заметил один старик.— Фамильное сходство!

Наконец, все было в порядке, и дверь заперли на ключ.

Но как раз в эту минуту ребятишки так завопили за домом, что все вздрогнули и побежали на крик.

Оказалось, что кролики удрали из клетки. Взрослые и дети, толкая друг друга и крича, бросились за ними в погоню. Кто-то споткнулся и упал, но беглецы были пойманы.

— Вот это денек что надо,— говорили ребятишки, и, весело обсуждая охоту, которой он кончился, все направились к лодкам.

Отплыли, когда уже показалась луна.

Девушки начали петь, но когда один старик сказал, что это все же нельзя назвать настоящими песнями, Элена, обидевшись, бросила с вызовом:

— А ну-ка вы спойте!

И тут неожиданно с одной из лодок зазвучал в темноте сильный, с металлическим тембром, прекрасно поставленный голос.

Никто не помнил, чтобы когда-нибудь Эмилия пела, и все умолкли, прислушиваясь. И вот с другой лодки, что плыла впереди, ей в полном созвучии ответил голос Надалена.

Старики пели одни в тишине болота на лодках, скользивших по воде при тусклом свете окутанной туманом луны.

Сперанца слушала этот старинный напев, и он говорил ей о болоте, о небе над долиной, о взмахах крыльев в камышах, о колыбелях, о весеннем разливе реки... И о смерти, что всегда в засаде, и о тепле жизни... Но более всего о силе, о гневной силе людей, к которым она принадлежала.

Сперанца с беспокойством посмотрела на луну, опоясанную зеленоватыми кольцами, тревожно вгляделась в густую тень камышей, вдохнула горький запах водорослей. Что-то шевельнулось у нее в животе. Она улыбнулась.

В первый раз обращаясь к своему сыну, она прошептала:

— Это что-нибудь да значит — быть людьми из долины.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Женщина шла против ветра, держа обеими руками над головою мешок, которым она прикрывалась от дождя.

Она ворчала, спотыкаясь в темноте, но ничто не могло ее остановить.

С тех пор, как Таго эмигрировал, Эмилия часто навещала Сперанцу, как из сочувствия к ней, так и из желания повидать ребенка, которого она держала на руках, едва он родился, и за которым ухаживала в первые месяцы его жизни, когда Сперанца была занята на работе.

Теперь маленький уже бегал по дому, щебетал, как воробушек, и звал ее «мама Миля», переполняя нежностью сердце старухи.

На этот раз Эмилия пришла, когда ее никто не ждал: и время было позднее, и бушевала непогода.

Увидев ее в такую пору, Сперанца в испуге вскочила на ноги.

— Что случилось, Эмилия?— спросила она тревожно.

— Ничего,— ответила та, сбрасывая мешок и отряхиваясь. Вода с нее текла ручьями, и на полу сразу появились лужицы.— Ничего особенного, Надален пошел в театр.

Сперанца на мгновение прикрыла глаза, и от прилива крови лицо у нее порозовело. С тех пор как Таго нелегально эмигрировал во Францию, чтобы избежать ареста, она жила в постоянной тревоге, всегда опасаясь дурных вестей.

— Поэтому вы и пришли? А я уж испугалась! Надален пошел в театр? А куда? Расскажите же... Но прежде всего садитесь к огню, вы вымокли до нитки и, конечно, продрогли...

Из смежной комнаты выбежал босой мальчуган с деревянным ружьецом в руке.

— Бам! Бам!

— Смотри-ка, смотри-ка!.. Ты еще не спишь?

— Бам! Бам!

— Ой! Ты хочешь убить маму Милю?

Ребенок бросил ружье и, цепляясь за платье женщины, взобрался к ней на колени и обвил ее шею ручонками.

При свете очага было видно, как просияло в эту минуту суровое лицо Эмилии.

— Ну, так как же это получилось, что он пошел в театр?— приставала Сперанца.

Эмилия поудобнее уселась на низкой табуретке возле очага и, придерживая на коленях ребенка, начала рассказывать.

— Сегодня утром к нам в Красный дом пришли эти, как их там... («Эти как их там» в устах Эмилии означало враги, те, что у власти.) Начали всех созывать на гумно. Меня тоже позвали, но я и с места не сдвинулась. С ними и женщина была, этакая, знаешь, в черном берете набекрень. Сначала они всех переписали, как будто не знали, сколько нас... Потом сказали, что мы все должны записаться в трудовые организации. А женщина стала говорить, что детей надо держать в чистоте и получше за ними ухаживать и что раз в неделю их нужно носить в селение — туда будет приезжать доктор, чтобы их взвешивать и пичкать всякой всячиной. Я все слышала, но, сама понимаешь, и не подумала выйти... Потом все та же женщина в берете сказала, что хочет со мной поговорить, чтобы я записалась в союз сельских хозяек. Надален понял, что лучше всего, чтобы они меня даже не видели, и сказал, что Эмилия его жена и что эта работа ей не по силам, потому что она болеет печенью. Тогда та объяснила, что это такая работа, что делать ничего не нужно, а нужно только быть хозяйкой в доме. А Надален сказал, что

если в этом все дело, то не стоило им беспокоиться, потому что хозяйничать я сама умею и тут учить меня нечему.

Эмилия перевела дыхание.

— И это еще не все... Они сказали, что надо просвещать народ и что для этого нужна музыка. От нее, мол, люди становятся культурнее и развитее. Это говорил один тип из оркестра, я его как-то раз видела на площади, он играл на тарелках. Хорошо. Короче говоря, они сказали, что в селении опять открывается театр и на открытие приезжают артисты со стороны, которые дадут представление с пением под названием «Федора». Желательно, дескать, чтобы собралось побольше народу. Но в долине они еще не продали ни одного билета. Должны же они были хоть кого-нибудь уговорить! На этот случай и нашелся Надален. Он любопытный, в театре никогда не был, ему захотелось посмотреть представление, послушать, как поют, сделать вид, что он в этом что-нибудь понимает, — вот он и взял билет. Потом он всем в доме рассказывал, что он это сделал для меня. Представляешь! Для меня... Чтобы эти, которые приходили, не очень обозлились, что я не вышла...

Сперанца смеялась

— Ну, а потом?

— Потом он собрался в театр, а я вот пришла сюда и останусь у тебя на несколько дней, чтобы его проучить...

— А что же он будет есть?— спросила Сперанца с лукавой улыбкой.

— Я ему испекла хлеб после обеда.

— И то хорошо... Но в такой холод, Эмилия, человеку нужна тарелка горячего супа...

— Я сварила ему большой горшок супу, только подогреть, и все. Ему хватит его на три дня...

Сперанца, поглаживая себе шею, отвернула лицо, чтобы Эмилия не увидела по ее глазам, что она едва сдерживает смех.

— Он пошел в той одежде, в которой работает?

— Что ты! Скажешь тоже... Как на праздник оделся, франт-франтом, хоть куда. Прямо помолодел... И я ему еще баню устроила!

— С холодной водой?

— Ну-ну, девчонка, за кого ты меня принимаешь? Таким ли вещам я тебя учила, когда ты вышла замуж? Что же, я не могу согреть воду для мужа? Я сама ему спину намылила и даже бороду постригла — Беппе куда-то запропастился. Потому я и пришла так поздно...

Сперанца, не выдержав, рассмеялась.

— Что это ты?

— Ничего... Мне вспомнилось, как вы один раз ушли из дому, чтобы досадить Надалену, а он выпил бочонок вина и распевал три ночи подряд, никому в доме спать не давал...

— Было дело,— мрачно сказала Эмилия.— Но на этот раз я вино отнесла к Берте. Только одну бутылку дома оставила.

— Тогда вы его здорово наказали, Эмилия...

Та просияла.

— Ты думаешь?

Сперанца кивнула головой.

Старуха пожала плечами.

— Вперед умнее будет. Ходить в театр к этим, как их там, когда есть люди, которые не могут даже жить в своем доме и радоваться на сына... — Она погладила ребенка по голове. — Ходить в театр — это вроде как быть штрейкбрехером.

И она с презрением покачала головой.

— Знаете что, Эмилия? Вы мне напомнили дедушку. Он тоже, бедняга, думал по-своему, не так, как другие, и все его называли штрейк-

брехером, и я, тогда еще сопливая девчонка, воевала с ним из-за этого. Однако вот он за наше дело пошел на смерть. Откуда вы знаете, что и Надален не сумел бы сделать то же самое?

— Пресвятая богородица!— вскрикнула Эмилия, спустив с колен ребенка и вскочив на ноги.— Пресвятая богородица! Не говори так даже в шутку.

Но Сперанца весело смеялась, и Эмилия, успокоившись, опять опустилась на табуретку.

— Некоторые вещи нельзя говорить даже ради смеха!

Она опять взяла на колени мальчугана, у которого уже слипались глаза, и погладила его волосы.

— Чем говорить глупости, последила бы лучше за ребенком. Он у тебя побледнел.

— Но он же всегда такой!

— Неправда, на прошлой неделе он был румянее.

— Не может быть, Эмилия. Вы же сами знаете, у кого волосы рыжие, а глаза темные, тот всегда бледный.

— А я тебе опять говорю, что он хуже выглядит..

— Ну, как хотите. Тогда я его отведу к тому доктору, про которого вам говорили, чтобы он его взвесил и дал ему порошков.

Эмилия посмотрела на нее исподлобья.

— Что это с тобой сегодня? Что ни слово, то глупость...

Немного погодя они поужинали, и Сперанца уложила ребенка.

Потом она села поближе к лампе и начала читать вслух одну из книг, оставленных Таго.

Всякий раз, когда они вместе проводили вечер, Сперанца читала, а Эмилия слушала и вязала чулки для Джованнино.

Было уже поздно, когда они погасили лампу и пошли спать.

— Эмилия, как вы думаете, Париж большой город?— вполголоса спросила Сперанца.

— О! Очень большой!

— Кем же он там работает, Таго?

— Кто его знает? Но ты не изводи себя всякими страхами. Он человек с характером, да и здоровьем его бог не обидел... И потом, это парень с головой... Вот увидишь, он нашел хорошую работу!

— Какая жалость, что нельзя ни писать ему, ни от него получить письмецо! Счастье еще, что там Роберто с семьей, они на легальном положении и могут ему помочь... Они-то мне и пишут. Он только прибавляет несколько строк от себя, и всякий раз подписывается другим именем, на почте письма вскрывают.

— Сволочи!— выругалась Эмилия.

— Они мне даже прислали открытки с видами, от себя и от Таго. Одну я вам обязательно должна показать... Какая там башня! А на другой два дворца, до того высокие, что непонятно даже, как они не обвалятся. А еще на одной— театр...

Но упоминание о театре, хотя и парижском, опять вывело Эмилию из равновесия.

— Упрямая башка...—пробормотала она.

— Кто?

— Да он, Надален... Додумался пойти в театр! Ни разу в жизни не ходил, а как раз теперь ему приспичило...

— Не сердитесь, Эмилия, он ведь пошел просвещаться. Послушавши музыку нынче вечером, он вернется домой до того культурным, что вы его просто не узнаете!

Эмилия повернулась на другой бок так, что кровать заскрипела, и сухо сказала:

— Спокойной ночи.

Однако немного погодя Сперанца проснулась от легкого шума, доносившегося из кухни. Она вскочила и, сев на кровати, увидела в проеме двери Эмилию, уже одетую и собравшуюся уходить.

— А который час?

— Не знаю, но время позднее, ночь. Я подумала, подумала и решила, что лучше мне пойти спать домой. В такую непогоду редко кто проходит по долине. Если с Надаленом что случится дорогой, никто об этом не узнает до утра. А я пойду, так сразу увижу, вернулся он или нет... Знаешь, какой он... Иногда выпивает, а спьяну недолго и в канал угодить...

Сперанца не могла ее удержать.

Почти два часа боролась Эмилия с неистовым ветром.

Надален был дома, она это поняла еще издали, увидав в темноте освещенное окно. Но и это взволновало ее. Свет не должен был гореть. Либо Надален не погасил его, ложась спать («ему керосина не жалко» — со злостью подумала Эмилия), либо с ним что-то случилось.

Она бросилась бежать во всю мочь, позабыв об усталости.

Дома она застала Надалена и Отелло.

На столе стояла бутылка, уже пустая. В очаге горел огонь. Надален сидел спиной к двери. Голова у него была обмотана чем-то белым.

Женщина, еле переводя дыхание, остановилась на пороге, но с первого взгляда увидела все. У Надалена был компресс на голове.

— Что случилось? — закричала она. — Что с тобой сделали? Кто? Почему? А вы что здесь делаете?

— Спокойно,— невозмутимо сказал Отелло.— Спокойно! Не все сразу! С ним произошел несчастный случай, и я его проводил домой.

— А! Несчастный случай? Вы такие вещи называете несчастными случаями?— завопила Эмилия и подскочила к Надалену, чтобы сорвать с его головы полотенце.

— Ой!— слабым голосом застонал Надален.

Эмилия в испуге отступила назад.

— Несчастный случай, говорите?— через минуту начала она снова.— Я знаю, его избили эти, как их там...

— Нет, нет,— сразу сказал Отелло.— Никто его не бил...

— Так почему же тогда он избит?

— Да он не избит...

— Ах, так? Выходит, на него это с неба свалилось...

— Вот, вот... Именно свалилось...

— Ну и ну...— не унималась Эмилия.— Что же тогда с вами-то стряслось? Может, и вас ненароком пришибло?

— Да вы дадите мне говорить или нет? Со мной вышла другая история. Меня поколотили по ошибке — спутали с одним человеком, которого там не было в этот вечер, вот и все. Но потом передо мной извинились... При Доне Терцо извинились...

— То-то и оно, что при Доне Терцо. Он, небось, и подучил тех парней отдубасить вас, чтобы сыграть с вами шутку...

Отелло на минуту застыл с открытым ртом, как бы размышляя над этой гипотезой, которая, очевидно, до сих пор даже не приходила ему в голову.

— Ну?— нетерпеливо сказала Эмилия.— Добьюсь я от вас или нет, что сделали с моим мужем?

Отелло, будто очнувшись, выпалил одним духом:

— Ему на голову упал бинокль. Из ложи. Он сидел как раз под ней, ему и досталось прямо по темени.

— Что упало ему на голову?..— переспросила Эмилия.

— Бинокль.

— А что это такое?

— Одна из тех штук, которые господа берут в театр, чтобы лучше видеть...

— И большой он?

— Вот такой...— показал Отелло руками.

— И сколько он весит?

— Ну, уж это я вам не могу сказать! Я его только видел, а в руках не держал. Это надо спросить у Надалена, он-то почувствовал. Дело было так. Мы с ним сидели рядом в партере. Вдруг слышу — бух — и все. Я повернулся и вижу, он сидит, опустив голову на грудь, как будто спит. Даже не охнул! Я еще подумал про себя: «Уж это мужичье! Приходит в оперу спать...» Извините, конечно, но что было, то было, я так подумал. Потом слышу, завизжала женщина, которая сидела рядом с Надаленом, с другой стороны... Я опять посмотрел и вижу, у него все лицо в крови. Так и течет по лбу, по носу... Тут уж я тоже закричал, и все вскочили на ноги. Сумятица поднялась — описать невозможно! Один кричит: «Тихо!» Другой орет: «Занавес!» Какая-то женщина визжит: «Это все смутьяны из долины!» Наконец опустили занавес и зажгли свет. Потом его вынесли и отвезли к доктору, который зашил его рану.

Эмилия вытаращила глаза.

— Что-о? Зашил?

— А как же! Что же, по-вашему, я должен был привести его назад дырявым? Да, да, его зашили. В трех местах. Потом я помог ему добраться до дому,— сам бы он не дошел. Потом, когда мы пришли, он начал говорить, что ему очень больно, и захотел снять повязку и попросил меня намочить полотенце холодной водой из колодца и сделать ему компресс. Он говорит, что так ему лучше...

— Ой! Ой!— время от времени стонал Надален.

— Что, набрался культуры, Наталино Дзамботти? — спросила Эмилия, торопливо доставая новые полотенца.— Получил образование?

Она сняла компресс, прикрывавший рану, посмотрела на нее и слегка присвистнула... Потом отвернулась и заплакала.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Известие о выселении из Бручаты летело из уст в уста с той быстротой, с которой обычно распространяются дурные вести.

Из неосознанной потребности обманывать себя и других его передавали, как непроверенный слух: «говорят...» Но в глубине души каждый уже был уверен, что это правда.

Все жители должны были покинуть Бручату. И это было не просто выселение из поместья, а изгнание из коммуны с запретом возвращения.

Самое большое гумно в долине, видевшее все простые и шумные праздники батраков, теперь было запружено возами и тележками, на которые сваливали жалкие пожитки и инвентарь — неохотно, с намеренной медлительностью, как бы желая выиграть время, быть может, с тайной надеждой, что в последний момент что-нибудь предотвратит эту беспощадную репрессию, что выселение будет отсрочено или даже, кто знает, и вовсе отменено.

Расшатанные и хромоногие столы, кровати, квашни, сорванные со своих привычных мест и выставленные на гумно, казались какими-то голыми и маленькими. Люди переговаривались вполголоса, как говорят, когда в доме покойник.

В эти дни сборов в Бручате появлялись молчаливые фигуры —

друзья из соседних хуторов. Они смотрели на распахнутые двери, на мужчин, перетаскивающих мебель, потом с тяжелым сердцем, ни слова не говоря, поворачивались и уходили, исчезая в тумане.

Некоторые, обращаясь к жителям Бручаты, коротко спрашивали:

— Значит, уезжаете?

Те пожимали плечами, показывали на возы со скарбом и отвечали:

— Выходит, так...

И вот наступил день, когда они тронулись в путь, все вместе, как караван кочевников, по проселку, который вел на большую дорогу.

С гумен, мимо которых они проезжали, люди молча смотрели им вслед.

На большаке они разделились. Женщины, которые лишь несколько дней назад спорили из-за яйца, снесенного курицей в чужом курятнике, или из-за кадки с водой, в которую намусорил ребенок соседки, и обменивались при этом грубыми и обидными словами, теперь обнимались, как сестры, и слезы их смешивались.

Мужчины торопливо совали друг другу руки, будто здороваясь на ходу, а потом медлили их разнять... Малыши долго перекликались с возов.

Одни свернули на дорогу, которая вела за реку, другие двинулись дальше по большаку.

Первые направлялись в деревни соседней провинции, где местные батраки согласились их временно приютить в сараях, хлевах и на сеновалах.

Вторые ехали в город, где кто-то ухитрился найти им жилье: жалкие чердаки в самых бедных кварталах окраин, лачуги в самых темных и грязных переулках центра.

С высоты слуховых окошек, куда свет проникает, как косой дождь, они должны были всегда теперь видеть бесконечные крыши, вышки, заводские трубы и дым, — весь дым, извергаемый городом в плоское, бесцветное небо.

Мужчины день за днем выходили на рассвете, вставали в хвост у ворот заводов и снова волочили ноги по булыжнику мостовых в тщетных поисках работы.

— Что вы умеете делать?

Они показывали грубые руки.

— Все.

— Все — это значит ничего. Нам нужны специалисты, а не чернорабочие.

Они возвращались домой молчаливые, обескураженные и, ни слова не говоря, бросались на свои топчаны.

Женщины, которым было еще тяжелее, потому что, когда дети хотят есть, они просят хлеба у матери, обивали пороги богатых особняков, пытаясь поступить в прислуги. Но им отказывали, несмотря на их согласие на любые условия, потому что они не умели держаться, говорили неправильно, по-деревенски, и их находили слишком неотесанными. И все-таки именно женщины спасли положение. Каким-то чутьем они нашли дорогу к каналам на окраине города, и заря смотрела им вслед, когда они везли туда тачки с грязным бельем. Усевшись в ряд на скамеечках, поставленных прямо в воду, они с утра до вечера стирали и колотили его и возвращались, когда уже смеркалось, устало толкая перед собой потяжелевшие тачки, но зная, что заработали на хлеб для детей, мужчин, стариков.

Иногда вид поросшего травой берега оживлял у кого-нибудь из женщин воспоминание о долине, куда им не было возврата, и она

затягивала знакомую с детства песню. Но ее уже не подхватывал хор, и женщина тут же умолкала, удивленная и испуганная собственным голосом.

Но и в долине больше не слышно было песен.

Разлетевшись оттуда, как разлетаются ласточки, когда внезапно наступают холода, они вошли в моду и зазвучали на городских площадях и на концертных эстрадах.

Девушек каждое воскресенье вызывали в селение на репетицию. Их наряжали по этому случаю в «характерные местные костюмы», которых на самом деле здесь никто никогда не видел, и они гуськом поднимались на подмостки.

Залитые ослепительным светом рефлекторов, они устремляли взгляд в полутьму потолка, где находили непонятную роспись и маски, строившие им рожи.

Так они и пели, уставившись в потолок, застыв в неловкой, напряженной позе, пели во все горло, срываясь на крик, а фотоаппараты щелкали.

И на фотографиях девушек, которые часто появлялись в газетах, было видно, как напряженно раздувались их шеи от старания петь «во весь голос», как им приказывали.

Иногда их возили на праздники в соседние селения и даже в город. В таких случаях их сажали в открытый грузовик, и, приезжая на место, обалделые и окоченевшие, они с трудом вылезали из него, путаясь в своих длинных пестрых юбках. Потом, сбившись тесной кучкой, смущенные любопытством, которое они вызывали, девушки шли на площадь, где должны были петь.

Там они становились в кружок и с серьезными лицами, глядя друг другу в глаза, начинали свое выступление, а люди вокруг аплодировали, и многие со смехом отпускали замечания по поводу здоровой свежести певиц.

По возвращении они сдавали «местные костюмы» в театр и шли домой, усталые и униженные.

Дома их никто ни о чем не распрашивал, и они были благодарны за это молчание.

Выселения, между тем, становились все более частыми...

— Надо в шею их гнать отсюда!— орал в селении Кривой, ходивший теперь всегда в кавалерийских сапогах и с хлыстиком у пояса.

Эмилия, предвидевшая, что скоро дело дойдет и до Красного дома, в конце концов согласилась поселиться у Сперанцы, и в один прекрасный день они с Надаленом перевезли все свои пожитки в хибарку.

— Кто бы мог подумать?— говорил старик.— Мы все смеялись над домом Сперанцы, а теперь это единственный угол, где мы можем укрыться, чтобы нас не вышвырнули из долины.

Сперанца хотела уступить старикам свою комнату, а для себя поставить кровать на кухне, с тем чтобы в дальнейшем сделать пристройку к хибарке и разместиться получше. Но несколько дней спустя к ней пришел муж Элены и попросил приютить его и жену. Элена ждала ребенка и, понятно, была бы не в состоянии «бродить по свету» в случае выселения. Вместе с ними перебрались к Сперанце родители и братья Элены.

Теперь в хибарке на болоте разместились четыре семьи.

— Пусть приходят!— кричал Надален, когда был в ударе.— Пусть приходят! Отсюда нас никто не выгонит. Здесь не поместье, и этот дом не хозяйский, чтобы из него людей выселять, а раз так, нас не могут вышвырнуть из коммуны.

Он потирал себе руки от удовольствия.

— У нас здесь республика, а вот и президент!— указывал старик на сынишку Сперанцы и, подняв его, подбрасывал на руках.— Да здравствует президент!

Но жизнь становилась все более суровой.

Часто мужчинам осторожности ради приходилось сидеть дома, и только женщины выходили на работу. Они вынуждены были мириться с тяжелыми условиями, на которых их нанимали, и терпеть постоянные провокации.

Однажды они узнали, что выселение, которого опасались, уже решено и что друзья Красного дома получили предписание покинуть коммуну.

— Ума не приложу, что думают хозяева...— говорил Надален.— Ведь этак они останутся без рабочих рук!

— Нет такого бедняка, чтобы не нашлось другого, еще беднее, отвечала Эмилия.— Несчастных людей полно на свете. Хозяева найдут таких, которые хуже нашего изголодались и будут еще сговорчивее.

И такие бедняки действительно прибыли из соседних провинций. Оборванные, забитые, смущенные, они встретили на работе враждебные лица и суровое молчание.

Потом выяснилось, что пришлые батраки тоже были навсегда изгнаны из родных мест, и каждый подумал о своих земляках, которым, как и им, приходилось теперь бедствовать в чужом краю, среди людей, принимающих их в штыки, и, чтобы загладить холодную встречу, все стали обходиться с вновь прибывшими особенно приветливо. Завязались новые знакомства и дружеские отношения.

— Что вы хотите? — говорил Надален. — Нужда да беда всегда роднят...

А работа в долине шла своим чередом. Подвигалась вперед осушка болота, и там, где прежде были трясины да камыши, поднимались хлеба. За летом наступала осень, за зимою — весна, а люди в долине попрежнему рождались себе на горе и жили без радости, без свободы, без веселых песен.

Сперанца давно уже прятала под платком преждевременно поседевшие волосы и думала о том, как коротка была ее молодость и мимолетно счастье...

Уже несколько лет она не видела Таго. Когда поздно вечером она возвращалась домой, ребенок обычно спал. Она в изнеможении бросалась на постель, и ей снились рисовые поля без конца и края.

Но каждой весной, когда в первый раз куковала кукушка, у Сперанцы что-то вздрагивало в груди. Она опускала глаза, чтобы кто-нибудь не заметил, как они засветились надеждой, а про себя говорила: будет и на нашей улице праздник. Надо только не терять в это веры.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Когда Джованнино исполнилось шесть лет, Сперанца отвезла его к родственникам в Романью, чтобы он мог посещать школу.

С тех пор, как она девочкой уехала в долину, Сперанца ни разу не была в этих местах, и когда теперь, сойдя с поезда, она вдруг снова увидела перед собой море, у нее запрыгало сердце.

Она побежала к воде, оставив позади Эмилию с ребенком, потом повела их в деревню по песчаному берегу. Их никто не встретил, потому что Сперанца не указала в письме дня приезда.

Сперанца шла, дыша полной грудью, и свежий ветер ворошил ее волосы. Не слушая болтовни ребенка и замечаний Эмилии, она неотрывно смотрела на видневшиеся вдали паруса.

Впервые за много лет она вновь обретала былое ощущение покоя и понимала, что ей всегда хотелось вернуться на море.

Внезапно, точно выступив из чащи сосен, показалась деревня, радуя глаз красными крышами домов.

То были уже не старые, почерневшие от времени деревянные хибарки, а окрашенные в яркие цвета одноэтажные домики каменной кладки, маленькие и легкие, точно игрушечные. Сперанца улыбнулась, глядя на них, и подумала, что хороший шторм мог бы поднять их на воздух, как божьих коровок.

Тетушка Марта стояла на пороге дома. Она заметно располнела, и с годами еще явственнее стало выражение тихого блаженства, не сходившее с ее лица ни при каких обстоятельствах.

Тетя Марта всегда стояла на пороге и всегда готова была поболтать... Она окликала прохожих, распрашивала о чем-нибудь соседей, давала советы дяде Тони, которому пришлось оставить море и заняться огородом и виноградником. А когда ей не к кому было обратиться, она разговаривала сама с собой.

Говорить для тети Марты было такой же жизненной потребностью как дышать. Она переходила от одной темы к другой, без всякой связи, с той же легкостью, с какой воробей перепрыгивает с ветки на ветку.

Сперанца тихонько подошла к дому.

— Ты слишком коротко подрезаешь эти лозы...— говорила тетушка Марта.

Сперанца огляделась и увидела показавшуюся над одним из виноградных кустов широкополую войлочную шляпу, а потом и самого дядю Тони, что-то невнятно бормотавшего себе под нос.

— Интересно, сколько сейчас времени...— продолжала тетушка Марта.— Надо пойти взглянуть на часы. Как ты думаешь, сколько времени? Ты слишком коротко подрезаешь эти лозы...

Дядя Тони выпрямился и воздел руки к небу.

— Господи, если только ты существуешь, ниспошли бурю на моряка, когда он задумает стать крестьянином!

Сперанца засмеялась, и они повернулись в ее сторону. Раздались радостные возгласы, и через минуту все уже были на кухне, все говорили одновременно, засыпая друг друга вопросами и не дожидаясь ответов.

— Откуда же это у ребенка такие волосы? Мало сказать рыжие, прямо красные... Ведь и муж у тебя брюнет, и отец был черный, да и у нас сроду не было рыжих.

— Это потому, что мой отец красный,— серьезно ответил Джованнино, которому Надален именно так объяснил цвет его волос.

Этот ответ вызвал общий смех, и Джованнино, довольный собой, вышел поглядеть на море. Но когда немного погодя женщины тоже вышли на свежий воздух, мальчуган, совершенно ошеломленный, вытаращив глаза, безмолвно смотрел на семерых огненно рыжих ребятишек, стоявших возле соседнего дома и в свою очередь молча глазевших на него.

В долине Джованнино, как обладатель редкостной шевелюры, чувствовал себя, так сказать, выдающейся личностью. А тут он вдруг упал с неба на землю, потрясенный численностью и еще более колоритными, чем у него, вихрами маленьких «горезцев».

Отец их тоже вышел из дому и, весело крича, направился к Сперанце.

— Смотри, какая женщина!— сказал он, с силой хлопая ее по плечу.— А ведь была худая, как сардинка.

Потом он взял на руки Джованнино и, потащив к соседнему домику, заорал:

— Аделе! Эй, Аделе!

Висевшая в дверях выцветшая занавеска зашевелилась, и на пороге показалась худая непричесанная женщина.

— Посмотри-ка на этого сорванца,— кричал «горезец».— Как ты думаешь, чей это сын?

Женщина пожала плечами и безучастно ответила:

— Что ж! С виду вроде бы твой...

Она подняла глаза, увидела соседей, которые смеялись, глядя на нее, и все поняла.

— Спере!— вскрикнула она и бросилась к Сперанце.

До слез взволнованные женщины обнялись. Сперанца увидела, как подурнела и похудела Аделе, и заметила, когда она улыбнулась, что у нее не хватает многих зубов. А от Аделе не скрылись пряди седых волос на висках у Сперанцы и суровая грусть в ее взгляде, которую не могла рассеять улыбка.

Они не задавали друг другу вопросов. Каждая читала на лице подруги все, что та могла бы ей рассказать,— горькую повесть о суровой жизни жен и матерей бедняков, о повседневном тяжелом труде, беспросветном и безрадостном...

— Вот это да!— орал между тем «горезец», обращаясь к Джованнино.— С такой головой тебе волей-неволей придется причалить к нам. Я возьму тебя на свою лодку, и у нас вся команда будет одной масти. Мне пришлось снять красный парус, потому что каждое утро я находил его изрезанным... Но уж волосы у нас на головах этим молодчикам не срезать.

Джованнино был в полном восторге.

Сперанца тем временем расспрашивала о друзьях и знакомых.

Микеле умер год назад: его придавила сосна, которую он срубал на дрова. Клементина скончалась от тяжелой болезни. Один из «горезцев» утонул. Во время шторма он свалился за борт, попал под киль, и от ледяной воды ему свело ноги и руки. Два других поступили в торговый флот. Дон Гаэтано слышит все хуже...

И вот после полудня Сперанца, как ее ни отговаривала Эмилия, решила навестить священника.

— Конечно, если бы мы встретились на улице, я бы тебя не узнал... Но я тебя отлично помню...— сказал Дон Гаэтано, приглашая обеих женщин в свой кабинет.— Что ты думаешь?— продолжал он, улыбаясь.— Ведь не так-то часто случается слышать такую исповедь, как та, с которой ты ко мне однажды пришла... И мне больше не попадалось помощников, которые не пили бы святое вино из чаши...

Эмилии рассказали историю с исповедью, но старуха не нашла в ней ничего смешного, а, напротив, неодобрительно покачала головой.

— Сумасшедшая, да и только. Такая уж порода,— сказала она и поспешила добавить: — К счастью, ребенок пошел ни в мать, ни в отца...

Тут Сперанце пришлось кричать на ухо Дону Гаэтано, что у нее есть сын и что она его привезла сюда, чтобы он мог ходить в школу, а Эмилия все старалась объяснить, что ребенок пошел все-таки ни в мать, ни в отца.

Дон Гаэтано показал знаком, что понял, и спросил у Сперанцы о муже. В порыве чувств она прокричала свою горестную историю. Эмилия, не стесняясь в выражениях, время от времени подавала гневные реплики.

Дон Гаэтано уловил в рассказе Сперанцы слово «эмигрант», а в выкриках Эмилии слово «преступники», и сделал обеим женщинам знак рукой, что они могут не продолжать, он и так все понял.

— Тяжелые времена!— заметил он, покачав головой и вздохнув.— Тяжелые времена!

Потом он вдруг поднял голову, и лицо его приобрело вдохновенное выражение. Женщины проследили за его взглядом, но увидели лишь подвешенную к потолку длинную полоску липкой бумаги, усеянной мухами.

— Настанет суд господень! — воскликнул Дон Гаэтано. — Непременно настанет.

— Простите!— сказала Эмилия, прерывая пророчества старого священника и доверительно похлопывая его по руке.— Простите, но вы ведь священник, и бог должен был бы услышать вас скорее, чем других. Неужели вы ничего не можете сделать, чтобы он малость поторопился?

Дон Гаэтано, повидимому, расслышал эти слова. Он с неожиданной живостью повернулся к Эмилии и ответил:

— А вы что делаете? Все только жалуетесь?

Эмилия от удивления на минуту застыла с открытым ртом, не зная, как ответить на прямой вопрос священника.

— Мы расплачиваемся,— ясным и твердым голосом заговорила Сперанца,— мы расплачиваемся за большую ошибку. Мы принимали благо, которое другие добыли для нас, но не готовились отстаивать его. Мы даже не старались понять, как это получилось, что в нашей жизни наступил какой-то просвет... Мы не воспользовались им, чтобы стать умней и сильней... И вот, когда разметало в разные стороны тех немногих людей, которые нами руководили, мы растерялись, опустили руки и, прежде даже, чем разобрались, что происходит, оказались вот в таком положении. И теперь мы расплачиваемся за это, расплачиваемся дорогой ценой, и понимаем свою ошибку, но уже поздно.

Несколько секунд в просторной комнате был слышен лишь отзвук слов Сперанцы и ее учащенное, почти хриплое дыхание.

Потом Дон Гаэтано неожиданно проговорил:

— Никогда не бывает поздно, девочка, любить свободу и стоять за нее.

— Вы неплохо говорите,— резко сказала Эмилия, которая грызла себя, что не сумела сразу ответить священнику, и была раздосадована самообвинением Сперанцы.— Вы неплохо говорите, но почему же вы не проповедуете это с кафедры?

Дон Гаэтано наклонился к Эмилии, которой пришлось повторить свой вопрос.

— Кто вам сказал, женщина, что я не говорю то же самое и в церкви? Я всегда обличаю с кафедры произвол и несправедливость.

— А они?

— Кто они?

— Ну, эти, как их там... Что они на это говорят? Неужто молчат?

— Эти люди в конце концов покинули церковь (которая, впрочем, ничего от этого не потеряла) и приходят только время от времени, чтобы узнать, что я говорю. Нет, они вовсе не молчат. Они отвечают угрозами, предрекают, что я плохо кончу... Но я пропускаю это мимо ушей и делаю свое дело. — Священник лукаво засмеялся. — Ведь если ты глух, то не обязан слышать, не так ли?

Когда они собрались уходить, Эмилия, все еще сохраняя свою сдержанность, пробормотала только «будьте здоровы». Но на обратном пути по свойственной ей врожденной честности она не смогла не признаться Сперанце:

— Вот это священник, который мне по душе. Будь у нас в долине такой, можно было бы на Рождество ходить в церковь.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Сперанца и Эмилия возвращались с работы.

Они молчали, потому что падали с ног от усталости, и разговаривать на ходу им было трудно. Дамба была узкая, и так как косы, покачиваясь у них на плечах, стукались друг о друга, Эмилия скоро пропустила вперед Сперанцу и пошла за ней.

Все думали, что Сперанца с удивительной покорностью приноровилась к тяжелой жизни, которую она вела, как бы отказавшись раз навсегда от всяких желаний и сожалений.

Эмилия неустанно думала об этом и выходила из себя.

— Ты всегда молчишь. Никогда не отвечаешь, даже если тебе прямо смеются в лицо. Для тебя, выходит, все хорошо... Работаешь ты, как вол, но никто не слышал, чтобы ты возмутилась. Никто и никогда! Видно, у тебя в жилах вода, а не кровь!

Старуха с горечью качала головой: она просто разочаровывалась в Сперанце.

Сперанца не спорила с ней. Эмилия была решительно неспособна ее понять.

Сперанца верила в будущее: эта вера созрела в ней и крепла день ото дня, возобладав, наконец, над всеми другими чувствами.

Она была твердо убеждена, что в конце концов все должно перемениться, но одновременно понимала, что одним возмущением не изменить хода событий.

Эмилия, напротив, обычно отвечала на провокации бранью и насмешливыми жестами, вызывая хохот негодяев, которые для того и донимали ее, чтобы позабавиться. Такая уж была у нее натура, тут с ней ничего нельзя было поделать.

Она мечтала рано или поздно всадить вилы в бок кому-нибудь из них, не понимая, что таким путем она, конечно, не улучшила бы положение батраков.

Мать Элены всегда крестилась, когда женщины выходили из хибарки, отправляясь на работу.

— Будьте поосторожнее...— шептала она Сперанце, и лицо ее выражало слезную просьбу.

Сперанца с улыбкой ободряла ее.

— Будьте спокойны, Берта! Меня они на удочку не поймают. Я должна оставаться в долине, потому что жду Таго, и мне нужна работа. Они могут сколько угодно меня провоцировать, я не поддамся!

Эмилии Берта не решалась и слова сказать, но та терпеть не могла немой мольбы, которую каждый день читала на лице Берты, и нарочно кричала, выходя из дому:

— Сегодня эти сволочи пусть лучше ко мне не подходят,— у меня руки так и чешутся кого-нибудь из них укокошить...

Берта дожидалась, пока она повернется к ней спиной, и издали крестила ее. Но однажды Эмилия, внезапно оглянувшись, поймала ее на этом и в бешенстве вернулась назад.

— Что это значит?

Побледневшая Берта, дрожа от страха, молчала.

— Что вы воображаете? — наступала на нее Эмилия. — Может, по-вашему, у меня глисты, что вы меня крестите?

— Бросьте, Эмилия,— вмешался Тонино.— Вам-то что, если она в это верит?

— Пусть крестит тебя, коли ты ей зять, пусть крестит своих родных и свою скотину, раз ей это нравится, но только не меня. Понятно? И если я это еще раз увижу, ей не поздоровится.

В селении их жилье называли «Красной палаткой». Название это было заимствовано у одной полярной станции того времени и служило указанием на уединенное и глухое место, где была расположена хибарка, а также и на взгляды ее обитателей.

— Эмилия лезет на рожон, — говорил Надален, когда все уходили и они с Бертой оставались одни.— Даже удивительно, что с ней еще ничего не случилось. Сколько я ее знаю, она всегда перла на рожон, но, опять говорю, уму непостижимо, как это ей все сходило с рук до сих пор.

Но однажды опасения Надалена подтвердились.

Это было во время сенокоса. Сперанца и Эмилия возвращались с работы. Как обычно, они шли друг за другом, босиком, с косами на плечах.

Под откосом дамбы, там, где к ней подходила проезжая дорога, стоял черный автомобиль.

Сперанца, которая шла впереди, увидев машину и в ней пятерых мужчин, видимо, поджидавших кого-то, почуяла недоброе. У нее сжалось сердце, но она прошла мимо, не поворачивая головы, будто не замечая безмолвной угрозы. Через несколько метров, не слыша за собой шагов Эмилии, она поняла, что идет одна. Чтобы не привлекать к себе внимания, она дошла до поворота дамбы и только там обернулась. Эмилия неподвижно стояла напротив машины, упершись одной рукой в бок и держа в другой, как знамя, косу, которую она поставила на землю лезвием вверх.

У Сперанцы заколотилось сердце. Она остановилась и с минуту подождав, позвала Эмилию. Та даже не обернулась. Никто не двигался в машине, не двигалась и Эмилия.

— Идиотка!— с озлоблением прошептала Сперанца.— Надумала играть с ними в гляделки!

Она осмотрелась по сторонам, нет ли поблизости кого-нибудь, кто мог бы заставить Эмилию уйти, и увидела группу батраков, женщин и подростков, подходивших справа.

«Вот кого они ждут...» — сказала себе Сперанца.

И в самом деле, она заметила среди батрачек и ребят высокую фигуру мужчины.

Принуждая себя к спокойствию, но решительным шагом она пошла назад по дамбе.

— Не провоцировать и не поддаваться на провокации, — говорила она себе. — Но если одному из наших людей угрожает опасность, долг каждого прийти ему на помощь.

Она машинально повернула косу лезвием вперед, не сознавая, что приняла позу человека, готового броситься вперед и нанести удар.

Когда группа батраков была уже под откосом дамбы, кто-то из них окликнул стоявшую спиной к ним Эмилию.

Женщина не двинулась с места, но крикнула в ответ:

— Поосторожнее, здесь вас поджидают, чтобы сказать вам пару ласковых слов.

Батракам из-под откоса не видно было машины по другую сторону дамбы, но услышав это предостережение, они остановились.

Сперанца теперь различала нерешительные лица людей, смотревших друг на друга, как бы спрашивая совета, и поняла, что все растерялись.

Из машины между тем выскочило четыре человека.

С противоположной стороны насыпи выглянула девочка и тут же с визгом бросилась обратно.

Потом все смешалось.

Шум, крик, плач... Женщины и ребята с воплями бросились врассып-

ную... Не двигались с места только Эмилия и батрак, который, поднявшись на дамбу, встал рядом с ней.

— Если вы меня ищете, я здесь, и нечего пугать других.

— Сматывайся отсюда....— не поворачивая головы, шепнула ему Эмилия.— Я и одна их задержу.

Сперанца одним прыжком оказалась с ней рядом. Теперь они вдвоем, придвинувшись вплотную друг к другу, пытались заслонить мужчину, который не хотел и слышать об этом.

— Трус, — кричали ему из-под откоса, — баб на защиту позвал... Что, за юбками прячешься?

— Может, это я, по-вашему, баба? — кричала Эмилия, и Сперанца даже в такую минуту не могла не улыбнуться.

Но батрак протиснулся между женщин и с высоко поднятой головой спустился с дамбы навстречу вооруженным бандитам.

В ту же минуту за ним бросилась Эмилия, а за нею Сперанца.

Она сразу получила такую пощечину, что зашаталась, но тут же справилась, бросила косу и с голыми руками кинулась в драку.

Сперанца могла вынести что угодно — тяжелый труд, искони привычный для людей, к которым она принадлежала, и закаливший ее так, что ей не страшна была никакая работа, унижения, которые развеивались в прах ее верой в будущее, подобно тому, как мгновенно испаряются капли воды, упавшие на раскаленное железо, — все что угодно, но не пощечину.

Перед ней был только один человек — тот, который ее ударил.

Шофер, выскочивший из машины помочь остальным, убегал от Эмилии, которая с криком гналась за ним, замахиваясь косой.

Трое других окружили батрака.

Сперанца дралась, как одержимая. Негодяй пустил в ход плетку, и, заслоняя лицо, Сперанца подставляла под удары руки, но продолжала драться локтями и коленями. Иногда ей удавалось вцепиться ему в волосы. Он отшвыривал ее, она опять налетала.

Наконец Сперанца изловчилась, вырвала у него плетку и брезгливо отбросила ее. Но она уже слышала новый звук: то были глухие удары, доносившиеся, казалось, издалека.

Несколько минут спустя и она и мужчина лежали на земле. Мужчина стонал. Она подняла голову. В ушах шумело, перед глазами плыли красные и лиловые пятна. Она увидела, что к ней направляются те трое, которые избивали батрака, и, прерывисто дыша, вся ушла в ожидание. Наконец, она почувствовала страшный удар по голове и, словно под ней расступилась земля, провалилась в пропасть.

Сперанца открыла глаза, услышав голос, звавший ее откуда-то издалека.

Она с трудом пошевелила руками, точно они были связаны, потом прикоснулась к лицу и почувствовала, что оно горячее и мокрое. Но это было ее лицо, и она действительно трогала его своей рукой.

Попрежнему слышался звавший ее голос... Это был голос Эмилии.

— Сперанца, — с мольбой говорила Эмилия. — Приди же в себя. Ты жива и должна мне помочь.

Сперанца через силу приподнялась и села с помощью Эмилии.

Но разве это была Эмилия? Над Сперанцей наклонилась черная фигура с устрашающе черным лицом и сверкающими глазами, которые казались круглыми и огромными, зияя белизной роговицы.

Сперанца открыла рот, но не смогла произнести ни звука, а лишь почувствовала вкус крови, которая шла горлом, и сплюнула.

— Парень чуть жив, — хрипела старуха. — Надо унести его...

Сперанца начинала вспоминать, что произошло, но не могла понять, почему у Эмилии такое черное лицо.

— И нечего на меня так смотреть,— резко сказала Эмилия.— Не видела, что ли, никогда перепачканных людей? Эти сволочи мне запакостили лицо и влили в глотку полбутылки керосина. Скоты... Но теперь надо помочь Вико. И поскорее, потому что он потерял много крови.

Сперанца кое-как встала на ноги, но у нее сразу началась рвота, и она опять свалилась.

— Только этого не хватало, — простонала Эмилия. — Мало того, что меня чуть наизнанку не вывернуло, теперь и с тобой та же история!

У Сперанцы все ходуном ходило перед глазами, и Эмилия казалась ей пляшущим призраком.

— Ты не опасно ранена....— уговаривала ее старуха.— У тебя только одна ссадина на голове. Это пустяки, Сперанца... Бывает, мальчишки начнут кидаться камнями, да один другому в голову попадет, вот и у тебя такая царапина... Ведь не умирают же от этого ребятишки, правда? Ну, ну, поднимайся, не пугай меня!

Сперанца снова сделала усилие и встала на ноги, с трудом сдерживая рвоту. И тут она увидела Вико. Он лежал посреди дороги, раскинув руки, как Христос, и его мертвенно бледное лицо было ярко освещено луной.

— Они его, звери, били, как бешеные...— со слезами в голосе сказала Эмилия.

Сперанцу опять затошнило. Она сделала несколько шагов, зашаталась и упала возле Вико, не подававшего признаков жизни.

Эмилия ходила мимо нее взад и вперед, поднимаясь на дамбу и снова спускаясь, и стонала, в отчаянии ломая себе руки, бессильная помочь умирающему. Сперанца слышала эти тихие стоны, тоскливые, как вой раненого животного, и, сжав зубы, опять поднялась.

Но скоро подошла подмога.

Разбежавшиеся женщины и дети рассказали дома о машине, поджидавшей кого-то у дамбы.

Попозже, когда стемнело, люди стали заходить к Вико, чтобы выяснить, чем кончилась эта история, и узнали, что он не вернулся. Слух об этом из дома в дом прошел по всей долине, и отряд батраков в тревожном молчании отправился на место происшествия. Вико унесли на носилках. К утру он умер.

Сперанца и Эмилия, поддерживая друг друга, направились в хибарку и по дороге встретили Тонино, который их уже разыскивал.

В хибарке при их появлении все онемели.

У Сперанцы волосы, лицо и платье были в крови. Но на Эмилию с распущенными волосами и черным лицом было просто страшно смотреть.

Через минуту в хибарке поднялся плач и загремели проклятья.

— Ну, уж это я так не оставлю!— кричал Надален, кружась вокруг стола, за которым, молитвенно сложив руки, сидела Берта.

Элена цеплялась за Тонино, бросавшего угрозы, умоляя его успокоиться.

— Ради ребенка прошу тебя... Ради ребенка! Если ты погубишь себя, погибнет и он...

На следующий день Сперанца слегла и бредила в жару, но никакого врача к ней не звали.

Эмилия, напротив, пошла на работу, как бы бросив вызов врагам. Лицо у нее было распухшее и воспаленное от керосина, которым она отмывала его, но она шла по дамбе с высоко поднятой головой, стреляя глазами по сторонам. Никто не осмеливался приставать к ней с

вопросами, и все опускали голову, чтобы не встретить ее разъяренного взгляда.

На работе тоже никто не упоминал о вчерашнем происшествии. Только Эмилия заговорила о нем во время перерыва, пристально глядя на бригадира, ненавистного всем женщинам:

— Мне давным-давно надо было принять слабительное, да я все не могла собраться. То, которое мне дали вчера, пошло мне на пользу...

Она помолчала, тщетно ожидая ответа.

— Вы себе не можете представить, женщины, до чего оно мне помогло...— продолжала она.

Женщины опустили головы. Бригадир нагнулся и стал счищать с башмака налипшую грязь.

Батрачки видели перед собой Вико, распростертого на носилках...

Они знали, что он оставил старуху мать, у которой больше никого не было, знали, что Эмилия защищала его с яростью тигрицы, и чувствовали, что теперь ей надо было дать выговориться, выкричаться, излить свою боль и свой гнев...

Они все ниже опускали головы, пряча лица в платки. Бригадир молча ушел, затаив в сердце страх.

В этот вечер женщины пошли с работы все вместе, держась тесной кучкой.

Только Эмилия шла впереди и пела.

— Как это она может петь, когда Вико обряжают на кладбище?

— Ты думаешь, ей весело? Она поет, чтобы показать, что они ее не скрутили. А что у ней на душе, только она одна знает...

Эмилия еще пела, когда встретила карабинеров, которые шли за нею.

Женщины увидели, как она остановилась, потом пошла дальше уже между ними. В первую минуту никто не поверил своим глазам. Потом одна из женщин подняла голову и затянула песню с того места, на котором ее оборвала Эмилия, и все подхватили ее. Так они шли до самого селения.

Карабинеры время от времени оглядывались на них и ускоряли шаг. Эмилия вошла в казарму под звуки песни.

Она недолго там оставалась.

Едва переступив порог, не дожидаясь, когда ее станут допрашивать, она широким сердечным жестом протянула руку фельдфебелю и сказала, сверкая своими маленькими колючими глазами:

— Вы честный человек и правильно сделали, что прислали за мной, чтобы допросить меня как свидетеля. Ведь я своими глазами видела, как убивали Вико. Я попыталась вступиться за него, но их было пятеро, и все с оружием. Вы очень хорошо сделали, господин фельдфебель, что послали мне навстречу своих людей, чтобы мне никто не помешал прийти сюда и дать показания...

Фельдфебель заерзал на стуле. Неблагодарная была у него работенка! Но приказ есть приказ.

— Как вас зовут? — спросил он, вытирая лоб.

— Бросьте, бросьте, господин фельдфебель. Вы прекрасно знаете, как меня зовут... Спросите лучше, как зовут тех, кто убил Вико. Там были Джиджио делла Веффа, Марио дель Монко и, конечно, Кривой. Без него уж не обойдется!.. И еще...

Никто не мог заставить ее замолчать.

В караульне она пела всю ночь, несмотря ни на какие уговоры и угрозы.

Фельдфебель по телефону запрашивал указаний и отвечал на запросы. Эмилия обвинялась в том, что она якобы затеяла ссору и вызвала

драку, в которой был убит человек. Но она заявляла, что была свидетелем преступления, и, конечно, не стала бы молчать на суде.

Телефон все звонил, и фельдфебель, обливаясь потом, старался объяснить, что дело обстоит не так, как хотелось бы начальству.

А Эмилия в караульне пела во все горло. Карабинерам приходилось разгонять любопытных, толпившихся перед казармой.

— Кто это там? — спрашивали прохожие.

— Одна женщина из Красной палатки...

— Кто же это?

— Какая-то сумасшедшая старуха...

В скорости было решено, во избежание скандала, и в самом деле объявить ее сумасшедшей и как таковую выпустить.

— Что за женщина! — говорил на следующий день Надален все тому же фельдфебелю, к которому он пришел справиться о жене. — Скажите по правде, — и старик своим черным пальцем тыкал в грудь унтер-офицера,— вы ее испугались... Оно и понятно, потому что вы даже не знаете, что она могла бы натворить, если бы ее посадили... Все вплоть до бунта... Да, да! Она подняла бы на бунт всех каторжан! Какова женщина!

Он даже присвистнул от восхищения, уставившись на помятое от бессонной ночи лицо фельдфебеля, отвечавшего ему безучастным взглядом.

Старик, казалось, задумался на минуту, потом, понизив голос, сказал со вздохом:

— Подумайте только! С такой женщиной я живу шестой десяток.

Тут лицо фельдфебеля явно оживилось. Перегнувшись через письменный стол, он с горячим сочувствием пожал Надалену руку.

Через час Эмилия шла домой.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

— Поезжай к сыну...— советовала Берта. — Рассеешься и забудешь весь этот ужас...

Сперанца отрицательно покачала головой.

Она стосковалась по Джованнино, но как раз теперь не хотела уезжать.

Ее тоже могли арестовать, как Эмилию, и ей не хотелось, чтобы люди думали, что она бежала. Ей нечего было бояться следствия; она даже желала допроса, чтобы засвидетельствовать все, что она видела.

— Постарайся забыть обо всем и заснуть...— продолжала Берта.

Сперанца закрыла глаза.

Убитый мужчина попрежнему лежал перед ней, раскинув руки, и на лицо его падал свет луны...

Было невозможно вычеркнуть из памяти этот образ. Но Сперанца и не хотела его забыть.

— Не нужно забывать о мертвых,— прошептала она.— Только если мы носим их в себе, они еще живут... И если мы будем их помнить, они никогда не умрут...

Эту фразу она прочла в какой-то книге. Но теперь ей казалось, что это ее собственная мысль, рожденная долгими испытаниями.

Берта вздохнула и опять принялась менять компрессы.

У Сперанцы стучало в висках, глазам было больно от света.

— Э-эй! — послышалось вдалеке.

Берта вскочила и выбежала, но тут же опять показалась на пороге, крича:

— Это они! Эмилия с Надаленом...

Все столпились в дверях. Старики под руку подошли к хибарке, Надален с высоко поднятой головой, Эмилия, уцепившись за него, борясь со сном и усталостью.

— Я ее вызволил,— с гордостью объявил старик, обводя взглядом присутствующих. Эмилия ничего не сказала.

«Видно, она совсем без сил...» — подумали все.

Когда старики вошли, Сперанца открыла глаза.

— Ну как? — спросила она. Но ей никто не ответил.

— Что сказал врач? — осведомилась Эмилия.

— Да ведь... мы не позвали его...— пробормотала Элена.

Эмилия обернулась с неожиданной живостью, вдруг обретая свою обычную энергию.

— Вот те на... Вы что, с ума сошли? Не видите, что ли, какая она красная? У нее, наверно, жар, и рана может загноиться... Ну-ка, живо!.. Пусть кто-нибудь сейчас же сходит за врачом!

Она села на соседнюю кровать и обхватила руками голову.

— Ну, как? — опять спросила Сперанца. — Что они вам сказали?

— Спросили, как меня зовут...— с горечью ответила Эмилия.

Сперанца широко раскрыла глаза и тут же закрыла их, почувствовав острую боль от света.

— Только это они и спросили, — продолжала Эмилия. — Я даже не ответила, как меня звать, они и сами знали. Если ты думаешь, что они собираются допрашивать нас, как было дело, можешь успокоиться... Мало того, что они тебя не допрашивают, они даже не слушают, что ты им говоришь... Трудно поверить, дочка, но это так! Ничего не поделаешь!

Она вздохнула, сняла башмаки и через минуту неподвижно лежала на кровати с открытыми глазами, уставившись в потолок.

У Сперанцы лицо было мокрое от слез.

Остальные тем временем совещались на кухне, кого послать в селение.

— Надо Берте пойти, — предложил под конец Тоннино, и все согласились.

И Берта ушла, маленькая и неприметная, со смертельным страхом в душе и с четками, побрякивающими в кармане.

Она дошла до селения, никого не встретив на дамбах, потом раза два свернула за угол, заметив фигуры печально известных молодчиков, и, покружив еще немного, добралась до квартиры врача.

— Его нет дома, — ответила ей служанка.— Если хотите, скажите мне, кто вы будете и где живете; когда он вернется, я его направлю по адресу.

Но не успела Берта заикнуться о женщине, раненной на болоте, как служанка схватила ее за руку и втащила в прихожую.

— Расскажите, расскажите, как было дело,— спросила она, сгорая от любопытства, — тут об этом только и говорят...

Берта рассказала. Служанка слушала ее с напряженным вниманием.

— Просто звери!—сказала она наконец. Потом покачала головой.— Но доктор к вам не пойдет. Это я могу вам заранее сказать, я его не первый день знаю. Таких трусов поискать! У него чуть что поджилки трясутся... А тут ему еще придется составлять протокол... Не пойдет, будьте уверены!

— Ох господи! — пробормотала Берта. — Что же вы мне сразу не сказали, только время зря потеряла. Как же мне теперь быть?

— Слушайте, — ответила та, — только уж вы меня не подводите... Никому не рассказывайте, что это я вас научила... Ступайте к врачу

другого участка... Он порядочный человек и не из пугливых. Выполняет свой долг и ни к кому не подслуживается. Только молчок, как будто мы с вами друг друга и в глаза не видали. Уж вы меня не подведите.

Она выглянула на улицу, посмотрела в обе стороны, нет ли кого-нибудь поблизости, потом проворно вытолкнула Берту и закрыла за нею дверь.

Берта снова пустилась в дорогу, в другое село, за несколько километров.

Уже перевалило за полдень, когда она постучалась в дверь местного врача.

— Он поехал к больным, — ответила его жена. — Хорошо, если не очень задержится.

— Я подожду, — сказала Берта и села на порог, собравшись терпеливо ждать.

Хозяйка много раз проходила мимо нее то в сад, то в комнаты, то снова в сад и, наконец, заговорила с ней.

— Вы издалека?

Когда Берта сказала, откуда, хозяйка пристально посмотрела на нее, видимо, заподозрив что-то неладное.

— Но это же другой участок, у вас есть свой врач... Почему вы пришли сюда?

— Тот врач не идет...— пробормотала Берта и с виноватым видом понурила голову.

Но докторша стала допытываться, в чем дело, и Берта ей все объяснила.

— Мошенник, подлец! Всегда одна и та же история... И всегда за него должен отдуваться мой муж! Как будто у него мало мороки в своем участке! Он-то, конечно, пойдет, если вы к нему обратитесь. Но вы не должны к нему обращаться, вот что я вам скажу... Постарайтесь меня понять... У нас трое детей, а муж губит себя.

Она говорила со слезами в голосе и ломала себе руки. Берта молча смотрела на нее.

— Ему уже раз пригрозили, потому что он честный человек и не кривит душой, когда составляет протоколы. Рано или поздно его убьют. Я прямо ни жива ни мертва от страха. Когда он запаздывает вечером, я себе места не нахожу.

— Синьора, — сказала Берта почти извиняющимся тоном,— я ведь не за себя прошу. Дело касается еще молодой, одинокой женщины с ребенком на руках... Это дело совести...

— Выходит, только у нас должна быть совесть? Почему вы не возьмете за бока вашего доктора и не скажете ему, что он обязан прийти?

— Хорошо, синьора. Я вас понимаю,— безропотно ответила Берта и поднялась.

— Возьмите его за шиворот и скажите ему, что он подлец...— продолжала та. Но Берта уже уходила, понурив голову.

Уже смеркалось, когда она пришла назад в селение и снова направилась к здешнему врачу. Горничная, широко раскрыв глаза, вопросительно посмотрела на нее, и Берта покачав головой, дала понять, что ее постигла неудача.

Через несколько минут она, наконец, говорила с врачом. Он кипятился.

— В Красную палатку? И вдобавок в такое время? Да вы с ума сошли, дорогая моя!

— Но мы ведь в вашем участке...

— Цивилизованные люди не селятся в таких медвежьих углах. В Красную палатку... Ничего себе... Вы еще, может быть, скажете, что

это в двух шагах? Какова наглость! Для вашего брата сойдет и ветеринар... Ступайте к нему... Приходишь вечером домой смертельно усталый, а эта публика хочет, чтобы ты отправлялся на край света...

— Я уже спрашивала людей, синьор, — сказала Берта, крепко сжимая четки в кармане и поднимая голову.— Мне сказали, что вы наш участковый врач и что, если вы не придете, значит, вы подлец.

Берта повернулась и стремительно выбежала. Она уже шла по улице, а в ушах у нее еще звучали ее собственные слова и стук захлопнувшейся за ней двери.

По выходе из селения она присела на дамбе. Было уже темно, и она падала от усталости. Но она не могла вернуться домой без врача. Закрыв лицо руками, Берта беззвучно плакала, но вдруг подняла голову, осененная внезапной мыслью.

— Для вашего брата сойдет и ветеринар...— сказал доктор.

Берта вскочила на ноги и пошла обратно в селение.

Ветеринар ее молча выслушал, потом спросил:

— Она в тяжелом состоянии?

— Не знаю. Так, на взгляд, как будто бы нет... Рана не очень большая, но потемнела, и у женщины жар...

Мужчина молча собрал чемоданчик, потом запряг лошадь в двуколку, и они поехали.

Взошла луна. В долине было тихо. Ни он, ни она не пытались завязать разговор.

Потом Берте вдруг показалось, что ветеринар саркастически усмехается. Она повернулась к нему и услышала, как он бормочет:

— Логично... С ними обращаются, как с животными, их избивают, как животных... Вот они и находят естественным звать ветеринара, когда кто-нибудь болен... Цивилизация!

— Мы вам, конечно, заплатим за беспокойство...— поспешила заверить его Берта.

— Как вы сказали? За беспокойство? А вам, моя дорогая, кто заплатит за беспокойство, вы ведь сегодня целый день на ногах, все искали врача? А этой бедняжке, которой разбили голову, купят здоровую, заплатят за беспокойство? Все мы нынче не знаем покоя! Сотни, тысячи, миллионы людей... Кто нам заплатит за беспокойство?

Он выругался и натянул вожжи.

Берта стала перебирать четки. До самой хибарки они больше не обменялись ни словом.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

В лунном свете бочаги отливали серебром с чернью в белой оправе камней пересохшего русла реки.

Сперанца и Элена разделись в тени ив, спустились к воде и, выбрав бочаг поглубже, нырнули, высоко взметнув брызги.

— Потише, Элена, ты мне волосы замочишь...

— Ну и что? Они у тебя все в пыли...

Элена вдруг встала на дно, тоненькая и светлая, и, наклонившись, шлепнула обеими руками по воде. Сперанца приняла бой, и над рекой так и засверкали брызги и зазвучал молодой смех и визг.

— Хорошо, что вам охота смеяться...— раздался из темноты ворчливый голос.

Женщины перестали брызгаться и, еще задыхаясь от возни, стали всматриваться в густую тень ветвей, падавшую на воду возле берега. Слышался громкий плеск и одинокое бормотание, но ничего нельзя было разглядеть.

— Скажи на милость! Эмилия! Вы прямо черная. Вас и не видно. Совсем сливаетесь с тенью!

— Вас зато чересчур хорошо видно. Мне даже кажется, что вы могли бы быть постеснительнее!

Послышался приглушенный смех, невнятный шопот, и две белые фигуры тихонько вышли из воды и бегом бросились по отмели к темному бочагу, в котором купалась женщина.

— Ну-ка! Нажмем!

Ветви ивы, склонившейся над самой водой, отчаянно затряслись, и вопли Эмилии, волей-неволей окунувшейся с головой, потонули в бульканье.

— Хватит, Элена, она ведь и под водой говорит, еще наглотается...

— Вот и хорошо, глотку промоет!

Пыхтенье, последний всплеск, смех... Ива, наконец, перестала трястись и опять тихонько покачивалась над водой.

Скоро женщины уже искали свое платье, брошенное на поросшем густой травой берегу.

— Через пять часов опять на работу, — напомнила Эмилия.

— По-моему, лучше остаться здесь,— сказала Элена. — Час идти домой да час обратно — не успеешь лечь, как надо уже вставать. Сейчас тепло, можно поспать и на траве...

— Я иду домой, — объявила Эмилия.— Думайте обо мне что хотите, но под открытым небом, как бродяга, я сроду не спала... И потом надо посмотреть, не нужно ли чего Надалену...

Она ушла, а Сперанца и Элена растянулись на траве лицом вверх, подложив под голову руки. Несколько минут они молча смотрели на звездное небо сквозь прихотливые арабески ветвей. Потом Элена пошевелилась.

— Ты помнишь?..— начала она.

— Да, — сразу ответила Сперанца.

Обе опять замолчали, думая об одном и том же.

Они вспоминали давние вечера и удивлялись тому, с какой точностью все повторяется в иные минуты.

Река, поблескивающая разбросанными там и сям бочагами, кружевная тень ив на белых камнях пересохшего русла... И после молотьбы — так же, как сегодня, — в реке купались усталые, разгоряченные женщины. А потом начинался разговор по душам...

— Одно только по-другому: тогда мы мечтали, а теперь нет!

— Разве? — недоверчиво спросила Сперанца.

— По крайней мере, мы уже не о том мечтаем...

— Да... Тогда мы мечтали о пустяках, а теперь хотим от жизни чего-то гораздо большего.

Они опять помолчали, глядя на звезды, потом Элена тихонько засмеялась.

— Знаешь, я мечтала купить для своего приданого кружевные рубашки. Вот прелесть!.. Потом я мечтала, чтобы у меня был свой дом... Две комнаты, — я не столь уж многого хотела... Две комнаты и будильник золотистого цвета и абажур в цветочках... Мечтала, конечно, и о муже. Чтобы он был высокий, с голубыми глазами...

Она заворочалась на траве и вздохнула.

— Тонино не очень-то высокий и глаза у него маленькие и черные. Для меня-то он все равно хорош, но все же я не о таком мечтала... Дома у меня нет... А что до рубашек с кружевами, у меня и простых-то всего одна или две, переодеться не во что!

Она с горестью засмеялась, потом потянулась, поддав ногой, высоко подбросила башмак и поймала его на лету.

— Хочешь, не хочешь, а так оно и есть...

— Я мечтала выйти замуж за Таго и чтобы у меня была своя хибарка. Сбылось и то и другое...— глухо прошептала Сперанца.

— И тебе этого достаточно? — спросила Элена, повертываясь к ней.

— Нет. Я мечтала быть счастливой и думала, что так и будет,— ответила Сперанца едва слышно, будто говорила сама с собой.— Счастье! Вот слово, которое любят молодые. Оно у них не сходит с языка, но всегда остается только словом... Теперь мы были бы рады жить не то что счастливо — где уж там! — а хотя бы спокойно. Но оказывается, и спокойствие не падает с неба! Его приходится завоевывать ценою жертв, во всем себе отказывая, ко всему приноравливаясь...

— И тебе это удается? — спросила Элена.

— Нет. Я только стараюсь казаться спокойной. Да и как могло бы быть иначе? Если бы ты оказалась в восемнадцать лет с ребенком на руках и в разлуке с мужем... Если бы тебе пришлось одной драться за жизнь — и свою, и ребенка, — думая ночи напролет о самом близком, самом дорогом тебе человеке, которого нет возле тебя, которого преследуют, который скрывается под чужим именем в чужих краях,— разве ты могла бы быть спокойной?

У нее прервался голос, к горлу подкатил ком. Элена в темноте сжала руку подруги.

— Но ведь ты сильная, Сперанца!

— К чорту! Только это и слышу: «Ты сильная, ты должна быть сильной...» Иной раз прямо так и подмывает закричать, что это очень удобно — требовать силы духа всегда от одних и тех же! Разве я не имею права тоже быть иногда слабой... Имею я право или нет поплакать, как все люди, желать любви, которой я почти не знала? Имею я право или нет страдать, потому что не могу даже быть вместе с сыном? А от меня хотят, чтобы я в себе все заглушила: «Сперанца сильная!»

Она остановилась, потом опять заговорила, теперь уже тише, спокойнее.

— А время идет... Мне двадцать восемь лет, а волосы у меня седые, и с каждым днем я все больше становлюсь похожа на Эмилию. Она славная женщина, но эта мысль меня мучит, как неотвязный кошмар... А ночью я все стараюсь представить себе лицо мужа и не могу, затуманило время. Ну скажи...— Она порывисто приподнялась на локте и посмотрела в лицо подруге...— Что я такого сделала? За какие грехи мне все это выпало на долю?

Она опять легла на спину, подложив под голову руки, и продолжала устало:

— А он — отстроил себе хибарку, чтобы спокойно жить в ней с женой и ребенком, а вместо этого — броди по свету, как цыган, беги из своей страны, как преступник!

Элена молчала. У нее сердце сжималось от боли и на глаза навертывались слезы.

— И это еще не все...— говорила Сперанца, и голос ее звучал монотонно, как журчание ручья, бежавшего по камням неподалеку от них.— Это еще не все! Нам будет и потруднее, если мы хотим счастья для наших детей, если мы хотим, чтобы настала другая жизнь хотя бы для них.

— А ты на это надеешься? — робко спросила Элена.

— Я? Да я только для этого и живу. Не то взяла бы сына да и с ним вместе — головой в омут... Только для того дня я и живу!

— Но когда же он наступит?

— Ну, этого тебе в точности никакой календарь не скажет. И мы тоже не можем сказать. Потому что этот день вберет в себя много дру-

гих дней, и то, что произойдет, сложится из многих вещей. Не знаю, как это выразить, но мне хотелось бы, чтобы ты поняла. Раз брошено семя и оно принялось, дай только срок, будут и плоды. Для этого нужны весна и лето, солнце, людской труд... Но ты знаешь, что с каждым днем фрукты растут и наливаются соком. Потом в один прекрасный день падает золотистый плод, и никто этому не удивляется, потому что так оно и быть должно... Непогода может погубить его раз, другой... Но на дереве, которое пустило корни, рано или поздно, плоды созреют.

— Ты думаешь, что тогда будет все по-другому?

— Да. Мы будем работать, как всегда, и даже больше, потому что когда легко на сердце, сил больше и работа спорится... Но как свободные люди. Больше не будет в любом темном углу таиться опасность и у каждого в душе страх. Нам уже не придется спозаранку запирать дверь на все засовы. В тихие ночи мы будем собираться на гумне, как в то время, когда мы были девушками, и у нас будут свои праздники. Праздник урожая... Помнишь? Потом после сбора винограда... И еще когда убирают кукурузу. С песнями, с молодым вином! И у каждой женщины будет под боком муж...

Элена засмеялась, отыскала в темноте руку Сперанцы и закрыла глаза.

Через минуту обе уже спали и видели во сне долину, потонувшую в золотых хлебах, и большие фуры, везущие зерно на празднично убранные гумна.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Окончив, школу, Джованнино вернулся в долину и теперь работал водоносом.

Это был высокий и худой паренек, что называется, кожа да кости, с живыми веселыми глазами и улыбкой, вечно бродившей на губах.

Летом волосы у него, казалось, приобретали еще более огненный оттенок и все лицо покрывалось веснушками.

— Да уж, сынок, красавчиком тебя не назовешь...— смеялась Сперанца, с любовью глядя на него.

— А девушкам я нравлюсь, — отвечал Джованнино, увертываясь от подзатыльника.

— Смотря каким...— вмешивалась Эмилия.

— Каким? Да всем... Когда я с флягами обхожу бригады, все меня зовут!

— Так это же из-за фляги, осел, а не на тебя любоваться...— ухмылялся Надален.

— Да, да! А послушали бы вы, что говорят мне женщины...

— Ты просто хвастун, вроде дедушки, — говорила Сперанца.— Но он хоть был видный мужчина, как, впрочем, и твой отец... А ты страшилище. Уж и не знаю, в кого уродился. Одни волосы чего стоят!

— Волосы? А знаешь, что мне говорят девушки? «Джованнино, когда ты приходишь, кажется, что второе солнце взошло. Так и просияет в долине». Вот что они мне говорят...

— Если это правда, значит, народ вырождается, — заключала Эмилия. — Оно и неудивительно, нынче все в упадок пришло, только цены вверх лезут...

Надален смеха ради подзадоривал Джованнино на всякие выходки, чтобы подразнить женщин. С тех пор как парнишка вернулся из Романьи, в хибарке повеяло весельем.

— Немножко молодости, вот чего нам здесь не хватало!— говорил Надален.— Молодости без дум и забот...

Потом, обращаясь к Джованнино, старик объявлял:

— С завтрашнего дня ты должен начать выбирать себе тополя. Ты их мало-помалу будешь окапывать и валить на землю. А когда их у тебя наберется вдосталь, ты возьмешься за топор и рубанок и построишь хибарку.

— Для чего?

— Как для чего! Ты же мне сказал, что хочешь обзавестись зазнобой? Значит, ты должен построить хибарку, как твой отец... Он построил вот эту, потом только свистнул и сразу приманил птичку, женился на твоей матери...

— Как? Я должен построить хибарку? Охота была возиться! Нет уж, лучше я сам буду птичкой!

— Тогда бери себе эту, готовую... Женись на Розаннине, она уже здесь, и тебе не придется ни дом строить, ни жену искать. Нравится тебе Розаннина?

— Нет. Она похожа на свою бабушку.

Надален весело смеялся, но тут вмешивалась оскорбленная Элена.

— Оставьте в покое мою дочь, она еще девочка и не должна даже слышать таких речей... А ты, красавец, посмотри лучше в зеркало и скажи, на кого ты сам-то похож. А хочешь, я тебе скажу: на кукурузный стебель, сухой да длинный, с красным початком на верхушке.

— С тобой никогда нельзя пошутить, сразу рассердишься,— протестовал Надален.

— Элена права,— ворчал Тонино.— Вы слишком много воли даете этому пареньку.

Надален подмигивал Джованнино и говорил ему:

— Не обращай внимания. С тех пор как его послали завоевывать империю, он стал важной шишкой и начал распоряжаться.

— Насчет империи нечего зря болтать... Небось, не смеялись бы, если бы вас послали в Африку и там бы вам подкоротили ногу, как мне!

— Не беспокойся, не ты один хромаешь. Империя, которую вы завоевали, тоже хромает, и почище, чем ты...— отвечал Надален, покатываясь со смеху, и Джованнино тоже начинал хохотать, хлопая старика по плечу.

— Просто срам!— кричала тогда Эмилия.— Ты чем больше стареешь, тем больше дуреешь. И сам того не замечаешь. Мальчик не может понять некоторые вещи и, чего доброго, подумает, что Тонино один из тех, кто теперь хозяйничает, а он честный человек, как мы все, и вдобавок еще пострадавший из-за этих мерзавцев.

Надален умолкал, опасаясь гнева жены, сдвигал на затылок шляпу и сплевывал. Джованнино следил за траекторией плевка, потом, надувшись изо всех сил, тоже плевал, никогда, однако, не будучи в состоянии сравняться со стариком в дальнобойности.

Так шла жизнь в хибарке и, казалось, так она должна была и дальше идти. Но однажды Элена и Тонино объявили, что, быть может, они скоро переедут и будут жить отдельно. В самом деле, были основания надеяться, что с Тонино, как с «добровольца» поневоле, получившего к тому же ранение на фронте, будет снято клеймо «неблагонадежности» и его семье предоставят жилье.

— Скоро мы вас избавим от беспокойства,— гордо говорила Элена при всякой размолвке между женщинами по каким-нибудь пустячным житейским вопросам.

— Спокойно, спокойно!..— кричал тогда Надален.— Это уж так водится испокон веков: «где пьют, там и льют». В каждой семье не обходится без споров, а мы все — одна семья и любим друг друга.

Эмилия, не слушая его, обрушивалась на противную сторону.

— Да вы знаете, сколько времени вы здесь живете? Посмотрите

на вашу дочь — вон какая вымахала! А вспомните-ка: она здесь родилась. И после того, как мы столько лет жили вместе и мытарились вместе, эта вот,— она показывала на Элену,— которую я знала еще сопливой девчонкой, говорит с видом графини: «Теперь мы вас избавим от беспокойства...» От юбки бы тебя избавить да выдрать, как следует,— вот что должна бы сделать твоя мать, не будь она такая растяпа, или муж... Но он, видно, не столько на ногу хромает, сколько на голову...

Сперанце приходилось вмешиваться и утихомиривать всех.

— Знаете в чем дело? У всех у нас нервы не в порядке... Столько лет мучимся, вот они и расшатались. И потом, как говорит Надален, мы все — одна семья, доверяем друг другу, как себе, ну и не взвешиваем каждое слово... Хибарка у нас плохонькая и тесная... Элене всегда хотелось, бедняжке, иметь свой дом... Если ей дают его, она правильно делает, что не отказывается. Тонино ногу попортили, а кто виноват? Так пусть они хоть предоставят ему жилье поблизости от работы.

Тонино был благодарен Сперанце за то, как она умела ставить вещи на свои места и улаживать споры, и, когда однажды утром они были вдвоем в лодке, он излил ей душу.

— Понимаешь, Сперанца, мне было здесь, у тебя, хорошо, и я не могу забыть, что если бы ты не взяла нас тогда в свою хибарку, уж и не знаю, куда бы я делся с семьей... Но, видишь ли, я все время думаю, что живу в доме человека, который построил его для себя и для своей семьи, а потом вынужден был уехать, покинув и дом и семью. Если бы Таго вернулся, что я мог бы ему сказать? Только одно: «Я воспользовался твоим домом и даже не платил за квартиру». И потом мне пришлось бы перед ним краснеть со стыда за мою ногу, потому что меня ранили, когда я пошел воевать в чужую страну.

— Не говори глупости,— прервала его Сперанца.— Я сразу поняла, когда ты вернулся, что у тебя какой-то камень на сердце, но вот уж не думала, что из-за этого. Если Таго приедет, он только спасибо вам скажет за то, что вы жили со мной, когда я была одна и мне было страшно. Да, Тонино, мне тоже было страшно. Да так, что я даже самой себе боялась в этом признаться. А что до твоей раны, то она такая же, как и те, которые все мы получали в эти годы. Нам всем изранили тело, чувства, разум...— Она вдруг оборвала фразу и подняла к нему смеющееся лицо.— Знаешь, я говорю так, как будто речь идет о прошлом, как будто это страшное время должно скоро кончиться, как будто я в глубине души уверена, что вот-вот что-то произойдет и все переменится...

Она замолчала, но на лице ее попрежнему играла улыбка. Тонино пристально смотрел на нее.

— Услышь тебя бог, Сперанца, чтобы так оно и было!

Он схватил ее за руки и крепко сжал их. Потом оба подняли голову и прислушались.

Два звука, как короткий вопрос, раздались вдали и, словно покачиваясь на ветру, проплыли над ними.

— Кукушка...— прошептал Тонино.— Весна...

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Джованнино вслух читал газету, а старики все трое — Берта, Надален и Эмилия — сидели вокруг стола и слушали.

Паренек то и дело украдкой поглядывал на свою аудиторию, следя за ее реакцией и стараясь не пропустить ни единого слова или жеста.

Известия, которые он читал, были настолько важными и из ряда вон выходящими, что Джованнино толком не знал, как их надо расценивать,

но чувствовал, тем не менее, необычайное возбуждение. Прежде всего потому, что произошло что-то новое, затем потому, что это он был для стариков вестником потрясающих событий, наконец, потому, что его внимание привлекало растущее смятение Берты, яростный взгляд Эмилии и продолжительный свист, который вместо комментариев время от времени издавал Надален.

Окончив чтение, Джованнино отложил газету и, упершись коленкой в стол, закачался на стуле.

— Похоже, что началось,— сказал он нарочито равнодушным тоном.

— Иисусе, Иисусе, Иисусе!— забормотала Берта и забегала по комнате из угла в угол, как воробышек в клетке.

Надален плюнул через открытую дверь, потом поднялся и сказал, стукнув кулаком по столу:

— Не знаю, что дал бы, чтобы посмотреть, что у них в голове.

— И зря дал бы, потому что там пусто,— ответила Эмилия и тоже принялась кружить по комнате, время от времени сталкиваясь с Бертой.

Джованнино больше не обращал внимания на Надалена и Берту. Он с любопытством смотрел на Эмилию: выражение лица у старухи было мрачное, но мальчик догадывался, что в ее голове теснится множество мыслей, которые нелегко привести в порядок.

— Милия,— крикнул он,— Милия, я вам говорю... Ради бога, остановитесь на минутку, у меня даже голова кружится... Объясните мне одно: нам-то что, если начнется война?

Старуха на секунду остановилась, пристально посмотрела на него, как будто видела его в первый раз, и обронила:

— Тем лучше для тебя, если ты ничего не понимаешь.

Потом опять начала ходить взад и вперед, натыкаясь на Берту.

— Да что это с вами обеими?— вскричал Джованнино, вскакивая на ноги.— Можно подумать, что вас завели, как часы, и вы должны кружиться, пока завод не кончится...

— Пойди сюда, Джованнино, — позвал его Надален, сидевший на лавочке возле дома.

Мальчик вышел и сел рядом со стариком.

— Значит, в самом деле война... Но ведь здесь не будут воевать, правда?

— А кто знает? Когда с огнем подходят к пороху, ни за что нельзя поручиться... Но война, сынок, это нищета, а мы и так из нищеты не вылазим... Война это смерть, а смерть и сама умеет прийти... Война,— значит люди бросают работу, а это тоже беда немалая...

— Но из наших-то никто не пойдет на войну, правда? Вы уже старые, я еще маленький, Тонино инвалид, а женщин не призывают.

— К счастью, нет! — заметил Надален. — Не то, если бы призвали Эмилию, мы могли бы, чего доброго, и победить.

— Но не хотите же вы, чтобы мы ее проиграли!

— Кого проиграли?

— Да войну!

— Какую войну?— спросила вдруг Эмилия у них за спиной.

— Как какую войну? Которая начинается...

— Каждый хочет победить на войне, сынок, и это понятно. Но эта война нас не касается. Это не наша война. Нашу годы и годы мы ведем здесь...— она обвела рукой темневшее впереди болото — ...и немало у нас было сражений! Кто-кто, а мы можем сказать о себе, что никогда не сдавались. Когда был жив твой дед, вода вон куда подходила... Когда твой отец построил здесь хибарку, до нее надо было больше часа добираться на лодке, а теперь ты здесь за десять минут... и все эти хлеба, которые

ты здесь видишь кругом, взошли потому, что мы сражались и побеждали. Колосья — вот наши знамена...

Она взяла парнишку за плечи и, встряхнув его, крикнула:

— Заруби себе на носу: до тех пор, пока под водой пропадает земля, мы будем воевать за нее. И другой войны для нас нету.

Неподалеку послышался удар шестом по воде и шум голосов: возвращалась молодежь.

— Слышали?— еще с лодки крикнула Элена.— Мы узнали по радио.

Сперанца молча сошла на берег, но подойдя к сыну, пристально посмотрела на него и крепко прижала к груди.

— Только этого не хватало...— вздохнул Тонино, наклоняясь привязать лодку.

— Хотела бы я знать, почему вы так выходите из себя,— сказала Эмилия, встречая молодежь на пороге хибарки.— Собственно говоря, мы-то тут при чем?

— Бедная старуха... — пробормотал один из парней, покачивая головой.— Вы простячка, если так думаете... Дешево от войны не отделаешься.

— Старуха — твоя бабушка,— огрызнулась Эмилия,— а простак ты сам... Если бы каждый сделал по-моему, хорошенько понял бы, что это дело нас не касается и нечего нам обращать внимание на громкие слова, барабанный бой и трескотню четырех дураков, а вместо того попрежнему мотыжил бы свою землю как ни в чем не бывало, война так и осталась бы на бумаге, в газетах, потому что некому было бы воевать.

— Не так-то все это просто,— улыбнувшись, сказала Сперанца.— Объявят мобилизацию, призовут мужчин...

— А если никто не послушается?— перебила ее Эмилия, подбоченившись и вопросительно поглядывая на всех.

— Было бы прекрасно,—ласково сказала Сперанца, положив ей руку на плечо,— но так не будет. Нужно, чтобы народ созрел для этого, а мы не созрели. Придут повестки, и люди явятся куда велят, побоятся ослушаться.

Сперанца, а за ней и все остальные, кроме Эмилии, вошли в дом.

— Хороша война, когда солдаты воюют со страха!—одна в темноте бормотала старуха.

— Мама, перестаньте, пожалуйста, и идите спать...— визгливо крикнула на кухне Элена, и тут же из хибарки вышла Берта и притулилась на лавочке возле двери.

Эмилия заметила белевший у нее в руке платок, который она то и дело подносила к глазам, и поняла, что Берта плачет.

— В войске, которое гонит страх, вас бы сделали генералом,—усмехнулась она. Потом подошла к соседке и пыхтя села с ней рядом.

— У меня четверо сыновей, и все призывного возраста,— причитала Берта.— И у всех четырех семьи на руках...

Эмилия заерзала на лавочке. Потом ее прорвало:

— Если кто-нибудь верит, что так оно и быть должно, думает, что стоит за правое дело, и воевать идет добровольно, я скажу ему: «Браво!» Он сам за себя расплачивается и значит — честный человек. Но чтобы на войну шел тот, кто смотрит на вещи по-другому, кто понимает, что она для всех погибель и разорение, это уж ни на что не похоже! И, главное, меня бесит, что будет обычная история. Те, что всех больше дерут глотку и кулаками машут и кричат «ура!», все, только дойдет до дела, захворают грыжей и пошлют воевать других!..

— Бедные мои дети!— причитала Берта.

Эмилия, позабыв старые обиды и давнюю антипатию, обняла ее за плечи и попыталась ободрить.

— Их еще не призвали... Да и не все же, кто идет на войну, должны погибнуть...

Потом она вернулась к прежнему ходу мыслей.

— Посылать людей на войну... За кого? Для чего? Куда? Против людей, которые никогда нас не трогали, которых мы и в глаза не видели... Не все же на свете посходили с ума! Неужели ни у кого не хватит духа сказать: «Нет! Кто боится, пусть идет, а я имею мужество остаться, раз я считаю, что так правильно...»— Она остановилась, удивленная собственными словами, и пробормотала: — Разве тут что-нибудь поймешь? Нынче вперед толкает страх, а удерживает смелость... Иногда и у меня ум за разум заходит!

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

У Эмилии была приятельница. Они дружили с детских лет, и когда Эмилия вспоминала былое, в ее рассказе неизменно мелькало странное имя подруги.

— Как-то раз я и Демориста...

Никто в хибарке никогда не видел приятельницу Эмилии, и только Надалену помнилось, что он знавал ее много лет назад и что ему довелось обменяться с нею несколькими словами.

Демориста уехала из долины сразу же после замужества и жила с тех пор в одной из деревень соседней провинции. Но хотя ни она, ни Эмилия никогда не навещали друг друга, Эмилия, повидимому, всегда была в курсе наиболее важных событий в жизни приятельницы.

Так однажды Эмилия явилась домой и, порывисто распахнув дверь, объявила:

— Знаете, кто умер? Муж Демористы!

Никто не был знаком с Демористой и тем более с ее мужем, но чтобы не огорчать Эмилию, все сделали вид, что расстроены.

— Не может быть! Кто это вам сказал?

— Столяр... Оказывается, он умер прошлой зимой.

— Бедняжка!

— Кто бедняжка?

— Кто ж, если не Демориста!..

— Бедняжка? Нет, ей теперь будет легче... Жить с таким человеком...

— Да, да...

Если заходил разговор о молодежи, в особенности о девушках, Эмилия не упускала случая побранить их за лень, легкомыслие и другие грехи... Потом она неизбежно начинала их сравнивать с молодежью ее времени, и тогда все покорно готовились выслушать в сотый раз рассказ о добродетелях Демористы.

Это забавляло Джованнино, и в таких случаях он опережал Эмилию.

— То ли дело Демориста, верно? Куда нам до нее...

Если начиналось половодье и река грозила прорваться в долину, люди следили за дамбами и иной раз кто-нибудь позволял себе выразить не слишком похвальную мысль:

— Хоть бы она прорвалась на той стороне...

— Почему?— с укоризной спрашивала Эмилия.— Разве там люди не живут? Разве там нет полей?

Тогда разгорался спор.

— Что же вы равняете низину с высью? На той стороне вода убывает быстро, оттого и убытков меньше. А если она сюда подойдет, то здесь и будет стоять, пока солнце не просушит землю. Лягушки в домах заведутся...

— Лучше там, лучше там,— лукаво прищурившись, вмешивался Джованнино. — Там Демориста, уж она-то справится с половодьем!

Эмилия бросала на него яростный взгляд, но молчала.

И вот в разгар войны, когда волна беженцев докатилась до долины и с продуктами стало туго, Эмилия начала поговаривать о том, что в ближайшее время съездит к Деморисге, у которой было свое хозяйство, и раздобудет у нее муки.

Но и сельские места не миновали бомбардировок, и однажды, уже после того, как бомбили селение, Джованнино вбежал в дом, крича:

— Милия, разбили мост!

— Там были люди?

— Нет, никого не было.

— Ну, тогда еще полбеды!

— Но вы же теперь не сможете поехать к Деморисге!

Потом на равнине расположились немецкие части, и однажды Эмилия объявила:

— У Демористы немцы на постое.

На этот раз все были действительно удручены сообщением Эмилии, правда, не потому, что бедная Демориста оказалась в таком положении, а потому, что становилось ясно, что оккупация распространяется все дальше, захватывая одну деревню за другой, и что все труднее будет уклоняться от предписаний, связанных с военным положением.

— Не знаю, от кого вы это слышали,— сказала в тот день Эмилии Сперанца,— но если тот человек увидит вашу приятельницу, передайте ей, что если она хочет, пусть живет у нас.

— Ну вот, не хватало только, чтобы еще и Демориста приехала!..— запротестовал Надален.

Но Демориста приехала.

Однажды, вернувшись с работы, Джованнино увидел, что Эмилия беседует с какой-то незнакомой женщиной.

Это была высокая, бледная старуха с холодными глазами.

Суровая и сдержанная, она сидела на кухне за столом, и перед ней стоял нетронутый стакан вина.

Джованнино в нерешительности остановился на пороге, но Эмилия ликующим голосом объявила:

— Это Демориста!

Женщина безучастно поздоровалась и спросила:

— Кто этот паренек?

Эмилия понизила голос, как будто сообщала какую-то тайну:

— Это сын...

— Сколько тебе лет?— спросила женщина.

— Девятнадцать исполнилось...

— Ты был бы рад повидать отца?

— Думаю, что да...

— Как? Думаешь? Ты в этом не уверен?

Джованнино пожал плечами.

— Я же не знаю, какой он! Может, он мне понравится, а может, нет...

— Разве можно так говорить? Да еще о родном отце!..

— А я, знаете, думал, что вы такая же, как Эмилия, и любите, чтобы вам говорили то, что думают! Я же никогда не видел отца...

— Но он твой отец!

— Что же, и бог наш отец, если верить священникам. И люди могут даже его почитать, хоть никогда и не видели. Но что-то маловато таких, которые его любят без памяти.

Эмилия наблюдала за ними обоими. Ей хотелось, чтобы Джованнино

понравился ее приятельнице, но еще больше хотелось, чтобы он припер ее к стенке.

— А твоя мать, наверное, очень хотела бы его повидать...

— Не знаю,— насупившись, ответил Джованнино.

Он с детских лет знал только мать и любил ее страстной, безраздельной любовью.

Отец для Джованнино был только именем, которым он мог гордиться в долине.

— Я сын Мори.

Батраки, знавшие Таго, похлопывали паренька по плечу, и говорили:— Тогда ты из хорошего рода!

Отец был для него флагом, который можно вывешивать время от времени. Но флаг этот не имел определенного цвета: ведь Джованнино не мог себе даже представить лицо отца; в доме не было ни одной фотографии Таго.

Джованнино с неприязнью смотрел на женщину, которая бесстрастно разглядывала его, и чувствовал, как в нем поднимается неудержимая волна гнева против этого вторжения в жизнь его семьи, против попытки проникнуть в его душу.

— Так вы, значит, и есть Демориста! Та самая, которая справляется с рекой...

Это замечание, казалось, вывело, наконец, женщину из равновесия.

— С рекой? С какой рекой?

Джованнино покосился на Эмилию, проявлявшую признаки беспокойства.

— Ничего, ничего... Это только так, поговорка! Милия нам рассказывала, что вы прямо чудеса творите. Вот у нас и говорят, когда начинается половодье и река грозит прорвать дамбу: «Будем надеяться, что она прорвется на той стороне. Уж Демориста с нею справится!»

Женщина холодно посмотрела на Джованнино и стала опять разговаривать с Эмилией, не обращая на него внимания.

Джованнино пошел проверить капканы и, вернувшись через час, застал дома мать, которая, понизив голос, о чем-то оживленно говорила с Эмилией и Демористой.

— Джованнино, прошу тебя, оставь нас одних...

С такой просьбой к нему обращались впервые, и Джованнино почувствовал еще большую неприязнь к непрошенной гостье.

Он вышел, хлопнув дверью, и пошел навстречу Надалену, подплывавшему на лодке, чтобы поделиться с ним своей досадой.

— Эй! У нас гости! Приехала Демориста!

— Ладно,— ответил Надален.— Подержи-ка лучше лодку, пока я ее привяжу.

— Вы думаете, я шучу? Ей-богу, правда.

Надален недоверчиво посмотрел на Джованнино.

— Какая она из себя?

— Высокая, бледная, с рыбьими глазами...

— Боже мой, значит, впрямь она! Что ей нужно?

— Меня выставили, им надо поговорить...

Надален наморщил лоб и задумался, грызя ноготь. Потом сказал:

— Все ясно...— и двинулся к дому.

Джованнино пошел за ним, сгорая от любопытства.

— Что случилось?

— Ничего, ничего... Говоришь, тебя выставили? Тогда понятно, зачем она приехала! Демориста! Кто бы мог подумать? Демориста... Только это и могло заставить ее сдвинуться с места! Но как же это он сумел ее разыскать?

Джованнино тщетно допытывался у старика, что он хочет сказать, но Надален замкнулся в молчании.

Тогда он решил держать ухо востро и смотреть в оба, чтобы не упустить ничего такого, что могло бы помочь ему разгадать тайну.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Дня за два до этого Бончо отозвал Надалена в сторонку, оглянулся вокруг и спросил вполголоса:

— Это правда, что Мори вернулся?

— Кто? Таго? Вы с ума сошли!.. С тех пор, как началась война, мы о нем ничего не знаем... Нашел время возвращаться!

Бончо что-то пробормотал насчет феррарца, который утверждал, будто он говорил с Мори по ту сторону равнины не далее как три дня тому назад.

— А кто этот феррарец?

— О! Вы и феррарца не знаете? Он иногда приезжает сюда потолковать с людьми... Говорит, что он из тех, с которыми действует Мори. А люди знают Мори или слышали о нем, и если он передает, что надо делать то-то и то-то, все ему верят скорей, чем кому другому.

— Ну и ну... — сказал Надален, подозрительно глядя на Бончо.— Неужели вы думаете, что если бы Мори вернулся, мы, свои люди у него в доме, ничего бы не знали про это?

— Либо вы ничего не знаете, либо делаете вид, что ничего не знаете. Или же... он и впрямь не вернулся...

Оба старика искоса посматривали друг на друга из-под полей своих шляп настороженным, недоверчивым взглядом. Сама жизнь, полная разочарований, заронила эту наследственную недоверчивость в души тружеников земли.

Позднее Надален еще раз обдумал этот разговор. Бончо ему не поверил, но и он не очень-то верил Бончо.

Вернувшись домой, он никому ничего не сказал и молча поужинал.

Потом он вдруг почувствовал, что его гнетет молчание остальных. Они смотрели друг другу в лицо и, казалось, все были поглощены какой-то тайной мыслью.

Надален заерзал на стуле и, не выдержав, заговорил.

— Никто из вас не слышал о феррарце? — спросил он и обвел всех пристальным взглядом.

— О феррарце?— переспросила Берта.— Это тот, который меняет пряжу на рис?

— Нет. Не тот, — сорвалось у Сперанцы. — А кто это феррарец?

Надален с лукавым огоньком в глазах испытующе посмотрел на нее.

— Если ты не знаешь, кто он, как же ты, не задумываясь, говоришь, да еще так уверенно, что это не тот, про которого думает Берта?

Сперанца на минуту смутилась; она знала, что когда человек начинает относиться к другому с недоверием, у него обостряется наблюдательность и он становится особенно проницательным. Она было что-то пролепетала, но тут вмешалась Эмилия, крича, что в долине полным-полно и феррарцев, и романцев, и прочего люда, наехавшего невесть из каких мест, потому что война всех гонит из дому, так что совершенно невозможно уследить за всеми...

Раздражение Эмилии по такому поводу было неестественно, явно разыграно для того, чтобы поскорее оборвать разговор.

Надален медленно вышел из дому, посвистывая как всегда, но затаив в сердце глубокую грусть. Ему было горько, что женщины — он это прекрасно видел — обошли его доверием.

Когда на следующий день его остановили Элена и Тонино, жившие теперь на сыроварне, возле дамбы, старик был уже настороже. Нет, он ничего не знает о Таго. И никто в доме ничего не знает. А им он советует не очень-то верить всякой брехне и не слишком болтать самим.

Надален почувствовал, что они ему не поверили, и в свою очередь не поверил им сам, когда они сказали, что о возвращении Таго слыхали случайно.

«Все мы дети труда,— думал старик,— выкормыши нужды... Мы боролись и страдали вместе, а теперь смотрим друг на друга с опаской и никто никому не доверяет, как будто все вдруг стали шпионами!»

Он сплюнул при этой мысли и с горечью покачал головой.

Потом Джованнино сказал ему, что приехала Демориста, и старик сопоставил эту новость со всем остальным, пытаясь прийти к какому-то выводу.

А теперь он наблюдал за Сперанцей, которая собиралась в дорогу.

Она в возбуждении переставляла с места на место попадавшиеся ей под руку предметы, когда Эмилия, более практичная, вышла из соседней комнаты с двумя битком набитыми сумками, прикрытыми сверху клетчатыми платками.

— Сперанца проводит Демористу и привезет немного муки, — сказала она.

Надален посмотрел на старуху и ничего не сказал. Но Эмилию взял за сердце этот взгляд, страдальчески грустный, как у собаки, незаслуженно побитой хозяином. Она едва не поддалась порыву чувства, но во-время сдержалась.

— Не унывай, старик, — сказала она,— мука у нас в самом деле будет, и я сделаю тебе лапшу.

Потом она наклонилась к старику, сидевшему, понурив голову, и шепнула, похлопав его по плечу:

— Есть вещи, в которых мы не вольны, и тут уж приходится молчать... Хорошо бы, чтобы никто не знал, что Сперанца едет за реку.

Старик кивнул в знак согласия, потом проговорил, не поднимая головы:

— Скажи ей, чтобы она заранее придумала, что сказать, если ее остановят и захотят заглянуть в кошелки... Понятно, не на обратном пути. Для чего нужна мука и так всем известно, а вот мужская одежда...

— Чтобы обменять ее на муку,— сказала Демориста, бесшумно выросшая у них за спиной. — Одежду можно сбыть, если нет мужчины, который ее носит.

— Верно,— сказал Надален.— Верно. С вами Сперанца не пропадет. Я вижу, вы женщина умная и за словом в карман не полезете.

Сперанца была уже готова, повязалась платком, накинула шаль.

— Ну, пошли? — сказала Демориста.

Сперанца уже шагнула к двери, но Надален загородил ей дорогу.

— Ты что, забыла о Джованнино? Как же так можно уйти и ни слова ему не сказать. Он не привык, чтобы с ним так обходились, ему будет обидно...

Сперанца выбежала поискать сына.

Он сидел на берегу и рассеянно бил по воде прутом, поглощенный какой-то мыслью.

— Джованнино, — тихо окликнула его Сперанца.

Он встрепенулся.

— Джованнино, мне нужно поговорить с тобой.

Джованнино взглянул на мать, и лицо его просветлело. Ну, конечно, он знал, что так это и будет, он в этом даже не сомневался. Мать

пришла сказать ему, что это из-за тех двух женщин она попросила его уйти, но что между ним и ею не может быть никаких секретов.

— Да, мама, — проговорил Джованнино, вскочив на ноги.

— Джованнино...— начала Сперанца, и в ее голосе прозвучала нотка грусти.— Я должна покинуть тебя на несколько дней.

— Что случилось, мама? — спросил юноша, и улыбка на его лице сразу исчезла.— Какая-нибудь неприятность?

Сперанца почувствовала тревогу в голосе сына, и сердце у нее переполнилось нежностью. Она провела рукой по его волосам и сказала с улыбкой:

— Бог мой, как же ты вырос. Еле дотянулась!

Джованнино тоже улыбнулся, но не забыл о своем вопросе.

— Что случилось, мама? Куда ты должна ехать?

— Вот что...— Сперанца колебалась. Она никогда не говорила сыну неправды, да в этом никогда и не было надобности. Но теперь всюду подстерегала опасность, а Джованнино был не из осторожных. Она не должна была подвергать его риску, не должна была внушать ему тревогу.

И все же было бы нехорошо солгать ему на прощанье.

— Вот что, Джованнино,— снова начала Сперанца,— я чуть было не сказала тебе неправду. Но мне это не по нраву. Я никогда не обманывала тебя, сынок, не хочу обманывать и сейчас. И ту ложь, которую я собиралась сказать тебе, ты от меня не услышишь.

Сперанца улыбнулась и снова поворошила ему волосы.

— Но ты должен мне верить,— продолжала она. — Есть одна вещь, о которой я пока не могу тебе рассказать. Это не недоверие, сынок, это предосторожность. Не спрашивай меня ни о чем — так будет проще. Хорошо? Поменьше бывай на людях в эти дни и веди себя тише. Не обращай внимания на разные слухи, и если тебя спросят обо мне, по возможности не говори, что я уехала, а уж если придется отвечать, скажи, что я поехала к родственникам в Романью. И ни в коем случае ничего не говори о Демористе.

— Мама, что за беда приключилась?

Джованнино схватил мать за руки, и вся его до обожания страстная любовь к ней отразилась на его юном лице, неспособном скрывать чувства.

— Никакой беды нет, Джованнино. Наоборот, случилось что-то очень хорошее. Но время сейчас трудное, и надо быть осторожным. Я уеду ненадолго... Возможно, только на два дня... Но если я задержусь, не беспокойся. Поездки теперь — дело нелегкое. Всегда могут возникнуть какие-нибудь помехи... Будь умным и не отходи далеко от дома. В долине — немцы, а ты уже входишь в возраст, скоро тебе призываться. Лучше на глаза им не показывайся...

Джованнино нетерпеливо тряхнул головой:

— Скажи же, наконец, в чем дело!

— Я все сказала, сынок. Ты не ребенок, и нечего тебе капризничать. Если Сперанца говорит, что так надо, ты должен ей верить...

— Ты говоришь, что я уже не ребенок, а обращаешься со мной, как с ребенком...

— Я буду обращаться с тобой, как с мужчиной, сынок, и, может быть, очень скоро мне придется сказать тебе, чтобы ты действовал уже как мужчина...

Сперанца машинально продолжала ворошить его волосы, но взгляд ее был печальным, и она избегала смотреть на сына.

— Сперанца! — позвали ее из дома.

Женщина обняла юношу, потом резким движением отстранила его от себя и пошла к дому.

— Мама! — крикнул ей вслед Джованнино.

Сперанца остановилась; с минуту она стояла не двигаясь, потом обернулась и посмотрела на сына.

Джованнино улыбался и, сжав кулаки, потрясал ими над головой.

— Счастливый путь, Сперанца! — крикнул он.

Сперанца засмеялась, помахала ему рукой и убежала, глотая душившие ее слезы.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Сперанца вышла из-под темных арок полуразрушенного моста, и над ней, мерцая, в воде распахнулось небо. Этот мрачный переход среди развалин всегда внушал Сперанце безотчетное чувство тоски, которое тотчас исчезало, едва она выходила из тьмы в сияние лунной ночи.

Многие месяцы по два, по три раза в неделю Сперанца ходила за реку и возвращалась назад, но лишь на этом переходе ею овладевала тревога.

Скоро она вступила в долину, и к ней вернулось глубокое спокойствие.

Сперанца носила подпольную литературу, которую должна была оставлять в условных местах, поблизости от некоторых заброшенных домов. Она отчетливо сознавала, что случилось бы с нею, если б ее захватили с этим грузом, но ее вера была сильнее всего, даже страха. Таков был итог всей ее жизни, полной борьбы и лишений. Быть может, ею руководило и вернувшееся чувство к Таго, но прежде всего — мысль о будущем сына, который был ей дороже жизни.

В светлом и бодром настроении шла она в ночной тишине.

Канонада смолкла, и только тихое, ритмичное кваканье лягушек звучало в долине.

Сперанца шла босиком, не замечая даже колючек чертополоха, царапавших ей ноги.

Из осторожности, как ей советовали, она держалась под откосом дамбы. Мир и покой царили в ее душе. Великое испытание подходило к концу; весна приближалась.

Они снова осушат участок земли, который сами же затопили, чтобы помешать сопротивлению немцев, и вернутся в хибарку.

Таго займется Джованнино, а она, Сперанца, останется дома с Эмилией ждать ребенка, которого уже носила под сердцем.

Из камышей доносились быстрые шорохи вспугнутых ее шагами зверьков. Единственным шумом, который исходил от нее самой, был шелест юбки, раздувавшейся на ветру.

Сперанца была охвачена такой радостью, почувствовав себя дома, на раздолье светлой и тихой долины, где ей была знакома каждая тропка, так погружена в мечты о близком счастье, что голос, неожиданно послышавшийся из камышей, прозвучал для нее, как крик.

Она вздрогнула и инстинктивно выбросила руки вперед, словно протягивая их простодушным доверчивым жестом к силуэту, выросшему перед ней.

— Кто идет? — повторил голос удивительно неуверенным тоном.

Сперанца оправилась от неожиданности и с изумлением увидела, что фигура, которая вырисовывалась слева, в нескольких шагах от нее, принадлежит подростку, но подростку, вооруженному длинноствольным ружьем. Паренек бодрствовал во тьме и, верно, впервые окликал кого-то в роли часового.

Сперанца даже не ответила, до того она была поражена. Что делает здесь этот мальчик? Кто прислал его сюда? Там, в штабе, ее никто не предупредил...

Парнишка ждал, не опуская наведенного на нее ружья.

Сперанца вдруг рассмеялась.

— А ты парень с выдержкой, — сказала она. — Я бы давно уже выстрелила...

— Не могу. Немцы близко. Нельзя шуметь.

— А тогда на что тебе этот самопал?

— Припугнуть в случае чего... И потом велено стукнуть прикладом, если кто не послушается.

— Вот как! Еще и слушаться нужно?.. Но... позволь спросить, кто тебе дал такой приказ?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — ответил парнишка, осмелев, и Сперанца поняла, какой он пережил испуг.

— Может, ты, по крайней мере, скажешь, что случилось? Меня здесь не было пару дней, и теперь я возвращаюсь к сыну...

— Да кто же вы? Сдается мне, я вас знаю.

— Я мама Дзванина, — сказала Сперанца с нежностью. Ей казалось, что проще всего представиться именно так — матерью ее мальчика.

— Кого? Рыжего Дзванина?

— Да. Ты его знаешь?

Парнишка засмеялся.

— Да ведь он и есть наш командир. Он сам приказал никого здесь не пропускать, если уж вы хотите знать.

Сперанца похолодела.

Джованнино — командир! И этот четырнадцатилетний часовой, который болтает, поставив ружье на землю, и утирает нос рукавом, поставлен на пост ее сыном!

Детская игра. Игра со смертью.

Сперанца почувствовала, что должна держаться поосмотрительнее, если хочет что-нибудь узнать.

— Приятно слышать. Горжусь за сына. А... могу я узнать, что произошло? Почему никому здесь нельзя проходить?

— Старика убили...

— Какого старика?

— Вашего... Ну, того, который жил с вами в хибарке, пока туда не пустили воду.

— Надалена? — вскрикнула Сперанца.

— Ну да. Они его сегодня застрелили на плотине. Он ничего не сделал, даже ничего им не сказал. Ваш сын чуть с ума не сошел, когда мы его оттуда забрали и принесли домой.

Сперанца почувствовала, что у нее подкашиваются ноги и начинается жестокий приступ тошноты, с давних пор мучившей ее по временам.

Часовой, камыши — все поплыло перед глазами и, чтобы не упасть, она ухватилась за парнишку.

— Эх, досада, — пробормотал он. — Как это я так сразу выпалил. Надо бы полегче... оплошал...

Сперанца покачала головой.

Надален убит! А Джованнино? Что собирается делать ее сын?

При мысли об этом к ней вернулись силы.

— Ну, а вы? — выдохнула она.

— Мы знаем, кто его убил. Тот фельдфебель, который стоит в Каса Беккья, такой маленький, тощий. Этой ночью мы его... бах... и готово.

Мальчик опять провел рукавом под носом, очень довольный.

Сперанца слушала, широко раскрыв глаза. Ей казалось, что она в каком-то кошмаре. Но не следовало возбуждать у мальчика подозрений, нужно было заставить его разговориться.

— Мы вшестером сторожим все дороги в Каса Веккья. Никого нельзя пропускать, пока не дадут сигнала, что все кончено.

— А... кто, — кто пойдет в Каса Веккья?

Подросток нерешительно переминался с ноги на ногу.

— Не знаю я. Знаю только, что двое пойдут.

— Но они... хоть вооружены?

Ее рука непроизвольно потянулась к револьверу, спрятанному за пазухой, который дал ей Таго, наказав всегда иметь его при себе.

— Да, мы сегодня плавали на лодке к вашей хибарке. У Джованнино там было оружие. Два охотничьих ружья — одно вот это, пистолет, карабин...

Сперанца опустила глаза на двустволку и поняла, почему она показалась ей знакомой.

— Потом, — продолжал он, — мы достали еще кое-что у Джиджино.

У Сперанцы захолонуло сердце. Она должна была во что бы то ни стало раньше ребят добраться до Каса Веккья.

— Значит, ты меня все-таки не пропустишь?

— Нет. Они могут вас схватить, а ваш сын мне этого не простит.

— А если я сама пройду?

— Прикладом вас стукну. Потом, пожалуй, попрошу прощения, но стукнуть стукну.

— Молодец! — сказала Сперанца. — Вижу, ты свое дело знаешь. Тогда я вернусь обратно.

Она пошла назад, словно и в самом деле собиралась вернуться.

— Счастливо оставаться, часовой!

При этом обращении парнишка поторопился взять двустволку, как положено, и вытянуться по-военному.

— Доброй ночи, хозяйка, — ответил он со степенностью бывалого человека.

Сперанца уже бежала.

Джованнино, Джованнино, сынок!.. Командир! Твоя мать должна прийти раньше твоих товарищей, а идти ей далеко, потому что твои часовые заставляют ее кружить понапрасну. Может быть, все тропинки охраняют ребята со старыми двустволками в руках, но твоя мать знает дорогу через болото и все равно пройдет.

Сперанца бежала, прижимая к груди пакет с литературой и револьвер.

Раза два она падала, поскользнувшись на илистой почве, но тут же опять пускалась бежать.

Она снова оказалась у дамбы, как раз против дома.

Залаяла собака, и Сперанца бросилась на землю под откосом, и замерла, тревожно прислушиваясь. Тишина. Она медленно поднялась, перебежала через дамбу, спустилась по противоположному склону.

Вот и дом, безмолвный и белый в лунном свете, с закрытыми окнами и дверью.

Сперанца остановилась возле шелковицы, ощупью нашла знакомое дупло и засунула в него пакет с литературой, чтобы не рисковать потерять ее или быть задержанной с ней. Она сжала в руке револьвер и бесшумно двинулась вперед, держась в тени деревьев.

Сперанца никогда не пользовалась оружием, но знала, что в случае надобности рука у нее не дрогнет.

Она добралась до сеновала, проскользнула вдоль стены до угла и остановилась.

На гумне, в бликах луны виднелся стог, перед ним двигалось что-то белое. Собака...

Казалось, она играла: то приближалась, виляя хвостом и подвывая, то отступала с негромким рычанием. Что-то привлекало и отпугивало ее.

Женщина хотела было двинуться дальше, но в эту минуту из стога донесся хриплый гортанный голос. Она припала к стене, узнав характерный немецкий говор.

Теперь кто-то отвечал робким шопотом. Голос был женский, немножко похожий на детский.

Сперанца, казалось, слилась со стеной, старалась затаить свое частое, бурное дыхание. Она даже закрыла рот рукой, но дыхание слышалось попрежнему.

И вдруг она поняла, что так дышала не она, а кто-то другой, в нескольких сантиметрах от нее, за углом.

Тут впервые она узнала настоящий страх. Тяжелое дыхание рядом, хриплый голос в стоге, и другой, тоненький голосок... И это гумно, слишком спокойное и светлое... Все заплясало перед нею; она закрыла глаза.

Сперанца не видела фигуры, метнувшейся вперед возле нее, но ощутила ее бросок по движению воздуха.

Она ждала с закрытыми глазами. Глухие удары достигали ее слуха. Это было биение ее сердца, но еще и другие, более далекие, неясные и мягкие удары, доносившиеся от стога.

Сперанца не хотела оставаться в бездействии, но не могла пошевелиться. Наконец она открыла глаза, и что-то запрыгало, завертелось перед ней. Собака... Собака пыталась вырваться из рук какой-то девушки, молча сжимавшей ей горло и морду.

Сперанца начала понимать, что произошло.

Удары смолкли, но две фигуры, собака и девушка, все еще возились на земле.

Розаннина...

Застенчивая и молчаливая девочка, услужливая и кроткая...

Она всегда увязывалась за мальчишками, во что бы они ни играли, и безропотно слушалась их.

— Розаннина, подними-ка мяч... — Она шла и поднимала его.

— Розаннина, принеси воды... — Она приносила.

Но теперь Розаннина была уже не девочкой. Она-то и заманила немца к стогу.

— Нравится тебе Розаннина? — бывало спрашивал у Джованнино Надален.

Но Надалена убили, и Розаннина пришла отомстить за него. Она крепко держала собаку, чтобы помешать ей лаять.

На белесоватом фоне стога мелькнула тень.

Сперанца узнала стройную фигуру и скорее угадала, чем разглядела в темноте огненно-рыжие волосы.

Минуту спустя освобожденная собака мчалась вслед за парнем и девушкой, которые молча, держась за руки, убегали во тьму. Собака не лаяла, она стремительно прыгала, торопясь возобновить прерванную игру.

Сперанца навела револьвер на стог и подождала, но там никто не шевелился.

В доме попрежнему стояла мертвая тишина. Где-то рядом квакали лягушки.

Издалека с дамбы до нее долетел одинокий звук.

То был свист, переливчатый и веселый, как манящий птичий зов

весной. Такой же свист послышался с другой стороны, потом еще один и еще...

Странные птицы пели в долине этой ночью.

Сперанца представила себе, как, раздвигая камыши, пробираются сейчас по болоту мальчишки, вооруженные старинными двустволками и незаряженными пистолетами... Конечно, все та же шайка. Давно ли, босоногие ребята, они искали птичьи гнезда и играли в индейцев. Она мысленно видела, как они идут цепочкой, с петушиными перьями на голове, а за ними плетется Розаннина, подбирая упавшие стрелы.

Теперь они были уже далеко и вне опасности. Пора было действовать ей.

Сперанца знала, что надо делать.

Рядом была яма для гашения извести. Нужно было оттащить туда тело, чтобы затруднить поиски, выиграть время и дать молодежи уйти от карателей. Потом она должна была снова пуститься в путь и доставить по назначению литературу. Потом...

У нее кружилась голова, но она уже направлялась к стогу. Дела было много, а до зари оставались считаные часы.

Нужно было еще предупредить Таго...

Сперанца взяла себя в руки и принялась за дело.

Небо уже посветлело, когда она подошла к дому, в котором ее приютили, когда низменная часть долины была затоплена.

Дверь была чуть приоткрыта. Сперанца заглянула в щель.

Надален лежал плашмя на скамье. На той самой скамье, на которой он, бывало, сидел перед домом летними вечерами и рассказывал ребятам разные истории.

И вокруг стояли те же ребята.

Джованнино, Розаннина, Джиджино, все... Они смотрели на покойника с благоговейной нежностью и, казалось, ждали от него конца последнего рассказа.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Сперанца больше не носила литературу.

Она была на последних месяцах беременности, и ее освободили от всякой работы. Ее место заступила Эмилия.

Эмилия сильно изменилась с тех пор, как убили ее старика. Сперанца сначала боялась, что она в отчаянии будет неистовствовать, следила за ней и других просила присматривать.

Но Эмилия проявила замечательное самообладание. Ни жалоб, ни бурных приступов гнева... Несколько дней она была в каком-то оцепенении. Потом попросила поручить ей разносить литературу, и ее допустили к этой работе.

Лишь по осунувшемуся лицу, которое теперь выдавало ее настоящий возраст, по блуждающим глазам — она словно все искала кого-то — да по слишком внезапной перемене характера можно было догадаться о ее страданиях.

Когда спрашивали об Эмилии, Берта вполголоса, как бы по секрету, говорила: — Совсем другая стала. Не орет теперь, не ругается... Тяжело мне как, и не поверите. Уж лучше бы она меня разносила с утра до ночи, как раньше!

Эмилия ночи напролет была на ногах. Домой возвращалась на рассвете, но никогда не жаловалась.

Она молча входила, кидалась на постель и лежала с открытыми глазами, уставившись в потолок.

— Эмилия, — шептала Сперанца, — вы так замучаетесь... Не про-

тянете долго... Я молодая, и то мне было трудно, а вам ведь под шестьдесят...

— Старость «своих» любить не мешает. И потом... Это ведь для него, ты знаешь, для Надалена...

Она переводила дыхание и поясняла:

— Сначала, по крайней мере, было так... Я себе говорила: Милия, ребята рисковали жизнью, чтобы отомстить за твоего мужа... А ты? Вот я и взялась за это дело. А потом: с кем поведешься, от того и наберешься... Стало у меня яснее в голове, понимаешь. Мне так думается, теперь я для всех стараюсь, даже для тех, кого не знаю, — все равно, наши люди. Работа у меня, может, и небольшая, да ведь по капельке — море, по былинке — стог...

— Да, да, — шептала Сперанца. — Но вы бы хоть денек передохнули. Вас так надолго не хватит — всю ночь ходить, а днем думать.

— Помру, тогда и отдохну... Ты ведь знаешь, о ком я думаю. О детях... Особенно о нем, о нашем... Эх, как бы я хотела его видеть! Он один у меня остался...

Джованнино уже несколько недель находился в хибарке, окруженной водой. Его отправили туда после убийства немца из опасения, что какой-нибудь след наведет на него карателей. Но это только ухудшило дело.

Исчезновение Джованнино было замечено, его отсутствие вызывало подозрения. Парня искали, и домой он вернуться не мог.

— Это из-за его волос, — говорила Берта. — Все знают его по рыжей голове и сразу заметили, что он куда-то пропал.

Розаннина в лодке возила ему еду, но об этом знали только Сперанца да Эмилия. Никто, даже Элена, не догадывалась, глядя на безмятежное личико девушки, что она выполняет опасное задание.

Фронт подходил все ближе, и другие парни отправлялись на болото к Джованнино.

Бои шли в нескольких километрах от селения. Со дня на день ждали наступления союзников.

Прорыв дамбы и наводнение сделали невозможным оборонительные работы в этом районе. Немцы не могли сопротивляться и отступали.

— Вы мне говорили, что, сколько себя помните, всегда боролись с водой и осушали землю и что это и есть ваша война, — сказал однажды Джованнино Эмилии. — А вот взялись же и вы за кирку и мотыгу, чтобы пустить воду на поля... И еще как работали — любо-дорого посмотреть!

— Да, любо-дорого! — отвечала Эмилия. — Сердце кровью обливалось. Ведь пашню затопляли, а во что она стала нашим людям, эта земля, подумать только... Но мне было бы еще тяжелее, если б пришлось увидеть, как иностранцы жнут на наших полях. Да, нам придется начать все сначала. Будем сызнова строить все, что разрушено, и немало на это уйдет и времени и труда. Но к труду нам не привыкать. Главное, чтобы земля не давала урожая врагам.

— Господи боже мой, Милия, — весело воскликнул Джованнино. — Вы патриотка, и сами того не знаете!

— Кто? Это я-то?

И Надален — это было еще при нем — беззвучно смеялся и весело подмигивал пареньку.

Прошло несколько недель, а вода все еще стояла на полях, и в ней, как в зеркале, отражалось небо.

За каждым гумном теперь были убежища, и люди проводили в них большую часть дня. Отступавшие войска лютовали, срывали злобу на

безоружном населении, а самолеты союзников с утра до вечера поливали деревни свинцом.

Тем временем проходившие части разграбили дома и опустошили хлевы.

Унижение, горечь побежденных толкали немцев на новые зверства.

Не было в долине дома, куда бы не заглянула смерть. Дымящиеся в полях развалины, словно вехи, обозначали путь бегущих войск. Когда-то плодородная долина была разорена, но сердца людей бились все сильнее в нетерпеливом ожидании нового дня.

Всю ночь Сперанца металась по комнате, охваченная необъяснимым возбуждением.

— Что-то неладное делается, чувствую я, — говорила она.

— Это от твоего состояния, — говорила Берта. — Так иной раз бывает и с теми, кому посчастливилось жить спокойно. Можешь расхаживать сколько угодно, но выбрось из головы мрачные мысли.

Только на заре Сперанца упала на постель и заснула.

И тут Берта услышала стук в дверь. Она открыла.

Перед ней стоял человек средних лет, высокий, худой, темнолицый, с иссеченными сединой волосами.

Черные, живые глаза пристально смотрели на старуху.

— Вы — Берта, да?

Она кивнула и вдруг зажала руками рот, точно не могла сдержать крик.

— Иисус!... Таго!..

— Тише, — шепнул он.

Берта приблизилась к нему, ощупала его руки, будто хотела убедиться, что это не призрак.

— Ох, сыночек! Мне и не верится, что я тебя вижу!.. Сколько воды утекло с тех пор, как ты приходил в Красный дом к своей милой!... Старика-то убили, небось, слышал?

Она опустила голову и тихо заплакала.

Таго молчал, склонившись над нею. Он спешил, но не мог оставить старуху без слова утешения.

— Крепитесь, Берта, скоро кончатся наши страдания... Мы их лупим и в хвост, и в гриву... Слыхали?.. — он понизил голос. — Вчера ночью была облава на болоте. Веселая была охота! Мы-то, вы же понимаете, на болоте как у себя дома, а они точно совы днем. А тут еще со всей округи собрались ребята пособить нам запрятать их в мешок.

Он усмехнулся и добавил: — Я это вам говорю, чтобы вы не падали духом. Только ничего не говорите Спере. Незачем ей знать, что Джованнино вчера дрался и должен еще этой ночью прочесывать местность с другими ребятами.

Берта подняла голову:

— Чуяло ее сердце... А ты-то видел своего парнишку?

— Да, — сказал Таго. — Довольно-таки забавно мы с ним познакомились. Поскользнулись оба в грязи и чуть не стукнулись лбами. Еще бы тут не узнать друг друга...

— Волосы, — улыбнулась Берта.

— Нет, темно было, сразу не разглядишь... Но чуть он заговорил... Я его сразу в сторонку, и посветил ему в лицо зажигалкой. Он самый! Вылитый дед. Помните старика Цвана? Глаза те же и хватает так же... Но отчаянный...

— Если б она знала... Сколько лет она мечтала увидеть, как вы встретитесь...

— Знаю. И мы уговорились доставить ей эту радость. Спере не

будет знать, что мы встретились этой ночью и вместе дрались. Пусть порадуется! Мы сделаем вид, что видимся впервые.

Он засмеялся и нежданно показался помолодевшим.

Заулыбалась и Берта.

— Ох, господи! Ты спешишь, а я тут тебя задерживаю! Тебе ведь еще со Сперанцей повидаться надо. Сейчас я тебе отопру... Но только, сынок, позволь сказать тебе спасибо...

— За что?

— За то, что ты сделал и делаешь для всех нас. Другие, которые теперь дерутся рядом с тобой, отблагодарят тебя получше. А такие старухи, как я, только и могут сказать «спасибо, Таго!» Лет нам много, а сил у нас мало...

Таго ласково похлопал ее по плечу и вошел с ней в дом.

Берта засуетилась, отыскивая коптилку, и через минуту на столе вспыхнул огонек.

— Спере, — прошептал Таго.

— Да, — сразу ответила Сперанца, вскочила и села на кровать.

— Да, — повторила она, протирая глаза. — Таго? Ты? Что ты здесь делаешь? Что случилось?

— Тсс! — сказал Таго и улыбнулся. — Ничего плохого. Мимоходом заглянул — вот и все. Пришло в голову зайти тебя проведать.

Он не сводил смеющихся глаз с жены, и перед ним вставало далекое прошлое.

Маленькая Спере и серый ослик... Спере — подросток, бойкая и смелая. Спере — девушка влюбленная и ревнивая. Она жаловалась: почему он танцевал с этой женщиной...

Теперь Спере была матерью того занятного парнишки, которого он оставил там, на болоте, командовать отрядом ребят.

Потому он и захотел повидать ее, когда проходил мимо дома. Чувство глубокой признательности волновало его с той ночи.

Он встрепенулся, улыбаясь, пошарил во внутреннем кармане куртки и что-то достал из него.

— Покажи-ка, что это?

Сперанца посмотрела на сжатый кулак, потом в лицо мужу. Берта тоже подошла, заинтересовавшись.

— Ну-ка?.. Не догадываешься? Нет?

Он разжал пальцы. Что-то блестело у него на ладони.

— О господи! Две маренги! Где вы их взяли? Давненько мы их не видели! — сказала старуха.

Сперанца с улыбкой смотрела на монеты, но губы у нее дрожали: слезы подступили к горлу.

— Они все время были при мне, — сказал Таго, — я только не хотел тебе говорить. Все думал, когда-нибудь, если будет у нас сын, я ему куплю копилку и опущу их туда. Потом позовем Спере и покажем ей. Забавно мне было представлять, какой у тебя тогда будет вид...

Он вдруг осекся, словно голос у него надломился от волнения.

— Бывало по целым дням маковой росинки во рту не держал. Но их никогда не трогал. Позвякивают себе в кармане, и на душе веселее.

Сперанца глотала слезы.

Берта забилась в темный угол, не подавая голоса.

— Но парень теперь у нас совсем взрослый, Спере, он, чего доброго, посмеется над родителями. Мы лучше эти маренги положим под карниз в нашем доме, когда вернемся...

Таго наклонился, поцеловал жену и направился к двери. Он выглянул, осмотрелся и еще раз обернулся к Сперанце.

— До скорого... — прошептал он и быстро вышел, захлопнув за собой дверь.

Сперанца и Берта тут же побежали открыть ее, чтобы посмотреть ему вслед... Но еще только-только забрезжило, и как ни всматривалась Сперанца в предрассветную полутьму, рослая фигура мужа скоро скрылась у нее из виду.

Вскоре пришла Эмилия.

— Ты видела Таго?

— Да. Вчера вечером.

— Он сюда только что приходил.

— Зачем?

— Так. Заходил повидаться.

— Куда он пошел?

— Не знаю. Я его даже не спросила. Он не любит, когда его спрашивают.

— Оно и лучше... Как узнала я вчера вечером, что они дерутся в низине и что наш малый там, мне не по себе стало!

Сперанца схватила руку Эмилии и крепко сжала ее.

— Все кончилось хорошо, — поспешила сказать старуха. — Убитых у нас нет. Ребята еще прочесывают болото, но опасность миновала. Осталось переловить тех, кто уцелел, да они сразу сдаются.

Все трое вошли в дом, и Эмилия продолжала:

— Таго и Джованнино вместе дрались этой ночью. До чего хорошо! Они там и встретились!

— О Иисусе... Он велел не говорить ей... — пробормотала Берта.

Сперанца смотрела то на одну, то на другую.

— Откуда вы знаете? — спросила она.

— Мне Таго рассказал, — ответила Берта.

— А я даже сама его видела, я тоже была там, внизу, — сказала Эмилия. — Нынешней ночью мы сменили товар. Теперь не литературу, а оружие носим.

Эмилия опустилась на кровать, Берта примостилась рядом, глядя на нее с выражением ужаса и восхищения, как смотрела бы на зияющее жерло пушки.

Уже через несколько часов в долине распространилась весть, что болото очищено. Она всех окрылила, как развернутое знамя, вдруг зардевшее впереди. Заждавшиеся люди подняли головы, но тут же склонили их — знамя это оказалось с черной каймой.

Долгожданная радость не веселила. Над гумнами повисла мертвая тишина. Никто не проходил по тропинке, которая вела к дому Сперанцы.

Берта узнала о случившемся, когда была у Элены, и не решилась вернуться домой.

— Что же это! Что же это! — твердила она. — Это нельзя пережить.. И как раз теперь, когда все, казалось, кончилось!.. Когда они могли, наконец, жить вместе!.. Можно подумать, что они взвалили себе на плечи горе всех людей.

Розаннина не шевелилась, точно восковая статуэтка, но сердце у нее колотилось так, что видно было, как дрожит жилка на шее. Казалось, оно готово было вырваться из слабой груди.

Сперанца и Эмилия сидели на пороге дома и смотрели на посветлевшее небо.

— Как будто все вымерло, — промолвила Эмилия.

— Да, что-то никто не показывается. Даже Рико с молоком... А ведь в этот час больше всего проходит народу, — самое спокойное время. И Берта тоже не возвращается, — добавила Сперанца.

Ею овладело необычайное беспокойство.

Они помолчали, потом Эмилия поднялась.

— Пойдем узнаем, в чем дело...

Сперанца тоже встала, и они направились к соседним домам.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Сперанца с мучительным усилием попыталась приподнять голову. Сотрясаясь от жестокой дрожи, она тщетно цеплялась за землю: руки тоже лихорадочно тряслись. Сзади, уткнувшись лицом в грязь, стонала Эмилия. Сперанца отбросила волосы, падавшие ей на глаза, и подняла голову, глядя перед собой невидящим взором.

Под первыми лучами солнца с болота светящейся пылью поднимался туман.

Сперанца уперлась кулаками в землю, с трудом превозмогла дрожь в ослабевших руках, и привстала.

Эмилия все стонала, и Сперанца хотела крикнуть ей: «Перестань!»— но ее не слушался распухший язык.

Ее корчило от боли, точно что-то внутри у нее разрывалось, и по всему телу пробегал нестерпимый озноб.

Наверное, эта боль гнездилась в ее чреве, породившем Джованнино... В груди, вскормившей его... В руках, которые касались его, мыли, одевали, и которым никогда больше не суждено было его ласкать...

В глазах... Они смотрели на него... Они и сейчас видели его чепчик с фестонами, завязанный лентой... Первые холщевые туфельки, в которых он бегал по дому... И этот передничек в белую и голубую клетку, вечно плясавший на нем...

И жестяное ружьецо, блестевшее на стене... Бам! Бам!

Вот отчего у нее болели глаза.

Слишком много образов теснилось перед ее воспаленными зрачками.

И уши тоже болели от множества звуков.

Они слышали веселое посвистывание Таго, его нежный горячий шепот: «Спере, Спере»... И еще явственнее — другой голос: «Мама, мама...».

Мама, мама... Она слышала все оттенки этого голоса, то жалобного, то смеющегося, то ликующего.

Спере, Спере... Мама, мама...

И губы ее болели, как от удара, распухшие, неподвижные, теперь бесполезные: им больше не суждено было произносить дорогие имена.

Она с трудом поднялась на колени.

«Эмилия», — хотела сказать она, но губы не слушались.

— Эмилия! — неожиданно вырвался у нее резкий крик.

— Нет, — ответила старуха. — Нет. — И она все билась и билась лицом о грязную землю.

«Нет», — воплем вторила ей кровь Сперанцы.

Мальчика нет больше. Кто это сказал? Да нет же... Никто так не говорил! Он здесь, возле ивы, склонившейся к воде, в нескольких шагах от хибарки... И рядом с ним отец. Они, наконец, вместе...

Она должна была сейчас же идти. Идти к ним.

Сперанца пошла по дамбе, шатаясь, протянув вперед руки, ища опоры в пустоте.

Она услышала за собой чей-то голос. Еще один, еще... Множество голосов провожали ее. Они сливались в громкий вопль, разивший небо.

Голоса доносились издалека, из ее детства,

«Убили обоих Мори! Убили Мори!»

Она уже добралась до воды и тут заметила, что у нее за спиной раздается плеск воды под ногами людей. Она не оборачивалась, но чув-

ствовала, что за ней идут сейчас все, кто только жил и работал в долине.

Вода теперь доходила ей до пояса, и кто-то поддерживал ее на скользкой почве.

Сперанца говорила...

Все слова любви теперь пришли ей на уста.

— Самый смелый, самый славный из сыновей.

«Самый смелый...» — повторило эхо.

— Самый красивый. Неправда, что у тебя волосы как пакля. Они как солнце, озарившее долину...

— Самый красивый в долине... — причитала с ней рядом Эмилия.

— О Таго, вот какого я дала тебе сына...

Долина безмолвно внимала. Плач по мертвым не был здесь внове. С кем это стряслась беда на этот раз?

Они шли по воде туда, где тонкой струйкой вился дымок среди полузатопленных деревьев.

Нет, то был не дым очага. Это дымились развалины сгоревшей хибарки.

Голоса за спиной Сперанцы сливались в невнятный гул.

— Под самый конец он обернулся к парнишке. Только успел сказать, что у него на душе неспокойно. Обоих скосили одной очередью Упали рядом...

Вспорхнула птица. Другая запела призывно...

И Сперанце почудился легкий переливчатый свист.

Она снова начала дрожать.

Сигнал... Сигнал ребят...

Внимание!

Засада в камышах, на безлюдном болоте. Шорох сухих листьев, осторожные шаги, чуть слышное дыхание...

И хозяйка болота, та черная собака...

Эмилия крепко сжала ей руку. Сперанца вздрогнула.

Но разве это Эмилия — черная коряга с коркой засохшей грязи вместо лица?

Сперанца провела рукой по глазам и покачнулась.

Чья-то рука поддержала ее и мягкий голос заговорил рядом с ней... Берта... Как она добралась сюда, старая?

— Джованнино вернется. Ты не будешь одна. Появится другой Джованнино. Тоже сын Таго. Не исчезнет род Мори!

Сперанца посмотрела в лицо старухи, бледное и потрясенное, коснулась его. Нет, ей не почудилось. Это было нечто реальное, осязаемое.

И Сперанца почувствовала себя спокойней. Она ощутила воду, стала распознавать голоса окружавших ее людей.

К ним приблизилась лодка.

В ней сидели молодые парни... Но его среди них не было. Он больше не мог быть с ними. И Таго тоже.

Лодка бесшумно плыла, и на солнце загорелые лица парней казались отчеканенными на бронзе. Они выиграли бой и теперь покидали освобожденное болото.

Но вслед за ними двигались еще и другие люди... Они выходили из камышей, вставали из болота, появлялись из-за дамбы, отовсюду.

Вот он, Джованнино, смеющийся, с огненными волосами...

А вот и Таго. Он никак не может скрыть смешинку в быстрых глазах...

Столяр, Надален... Даже дедушка Цван, с прядью волос на глазах и руками в карманах, шел с ними своей нарочито небрежной походкой.

Последней двигалась маленькая сгорбленная тень. Она то и дело останавливалась и что-то подбирала с земли...

Минги не могло не быть с ними сегодня. Она вернулась к своему народу, на дамбу бедняков.

Сперанца подняла руку, приветствуя мертвых.

Они принадлежали к войску победителей.

Земля лежала под водой, и Эмилия указывала на нее заскорузлым пальцем... Плодоносная земля, которую предстояло вернуть солнечным лучам. Люди не могли сложить руки.

Согрелось залитое золотым светом болото.

Сперанца стиснула зубы и подняла лицо. И солнце зажгло в ее глазах искры света, красные, как кровь, которую пьет земля, чтобы вырастить колосья.

КОНЕЦ

Роже Вайян

ПЬЕРЕТТА АМАБЛЬ

(РОМАН)

Перевод с французского М. Надеждиной и И. Эрбура

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В первый воскресный день июня, то есть ровно через неделю после известной нам прогулки в Гранж-о-Ван, Пьеретта вышла из дому около десяти часов утра вместе с Бомаском. Он сопровождал ее на рынок и нес кошолку. Так они довели до всеобщего сведения, что стали мужем и женой.

В понедельник, в пять часов дня, когда кончилась смена, Маргарита взяла Пьеретту под руку:

— Я провожу тебя домой.

Пьеретта прижала локоть подруги, растроганная до слез. Но это требует пояснения.

Обе они — и Пьеретта и Маргарита — были дочерьми рабочих, родились и жили в одном и том же бараке рабочего поселка, вместе ходили в школу, вместе возвращались домой. В свое время отцам обеих пришлось ходить в церковь на исповедь, чтобы снискать расположение м-ль Летурно. Но Маргариту такое унижение отца только огорчило, тогда как в душе Пьеретты оно оставило незаживающую рану. Маргарита старалась не думать об этом, что ей и удавалось. Пьеретта же больше года всегда ложилась спать с мыслью о том, что убьет м-ль Летурно, — иначе она не могла уснуть.

Будучи ровесницами, они поступили на фабрику в тот же год и день и к тому же в один и тот же цех. С тех пор они всегда работали бок о бок, на соседних станках. Но со временем они стали реже возвращаться домой вместе, потому что у фабричных ворот каждую из них поджидал поклонник.

Во время обеденного перерыва обе девушки рассказывали друг другу свои любовные истории. Маргарита меняла дружков довольно часто, она была влюбчива. Пьеретта же в шестнадцать лет подружилась с Люсьеном и в восемнадцать вышла за него замуж. Она не одобряла легкомыслия Маргариты; сердце у нее сжималось от жалости, когда она выслушивала сетования ревнивцев, просивших ее о заступничестве перед подругой. Но и Маргарита не хотела, чтобы Пьеретта встречалась с Люсьеном, заметив, что этот малый, приглашая Пьеретту на бал или в кино, у нее же занимал деньги на билеты. Обе девушки боялись огорчить друг друга и поэтому открыто не высказывали своего недовольства. Мало-помалу их сердечные излияния становились все более редкими, а с замужеством Пьеретты и совсем прекратились.

Всю неделю после бегства Люсьена (которого Пьеретта разоблачила как шпика на профсоюзном собрании) Маргарита почти каждый вечер провожала Пьеретту. По дороге домой она говорила только о

Окончание. См. части I, II и III романа в 1, 2 и 3 номерах.

себе. Уже тогда у нее возникла мечта уехать из Клюзо; она возлагала надежды на инженера Таллаграна. Он был «болельщиком» женской баскетбольной команды и возил Маргариту ужинать в окрестные гостиницы. Эти полупризнания по сути служили Маргарите только предлогом для встреч с подругой, для заверений в том, что она вполне одобряет изгнание Люсьена.

Но эти встречи вскоре почти прекратились. Пьеретта все больше уходила в профсоюзную и политическую работу. «В целом» Маргарита ее одобряла, но у нее пропала охота рассказывать о себе подруге, у которой не было никакой личной жизни.

Пьеретта замкнулась в своем одиночестве; не имела любовников, избежав общей женской судьбы, и стала для своих фабричных товарок и соседок по поселку почти чужой, как и для Маргариты. О ней не говорили ничего дурного, людям было понятно, что она защищает общие интересы, но им казалось странным, как можно посвятить этому всю жизнь без остатка. Когда, возвращаясь из кино, молодежь замечала свет в ее окне, кто-нибудь говорил:

— Опять Пьеретта сидит допоздна из-за своего профсоюза.— И если более сознательный рабочий поправлял говорившего: «не своего, а нашего», — ему не возражали, но пожимали плечами, находя, что он просто педант.

На выборах в фабричный комитет или в профсоюз за Пьеретту по-прежнему все голосовали. Но никому и в голову не приходило поделиться с ней новостью, что соседка рожает или сосед при смерти. Женщины ей больше не рассказывали ни о том, что их бьет пьяный муж, ни о том, что их бросил любовник. Когда у рабочего болели жена или дети, он больше не решался просить Пьеретту помочь по хозяйству. Теперь она сама иногда приходила к соседям, узнав стороной о постигших их несчастьях или о необходимости им помочь.

Но в понедельник, после того как все в городе видели, что Бомаск нес кошолку Пьеретты, сопровождая ее на рынок, Маргарита вдруг взяла Пьеретту под руку.

По дороге она вдосталь посплетничала и затем сказала:

— Знаешь, тетка перед отъездом в Париж оставила нам все свое кухонное барахло, на случай если я выйду замуж. Но это не завтра будет... Мать велела тебе передать, что если вам что нужно, бери...

Так Пьеретта узнала, что Маргарита и весь рабочий поселок ее одобряют, сочувствуют тому, что они живут с Бомаском «как муж и жена».

Затем обнаружились и другие признаки того же благорасположения:

— Здорово, Пьеретта, — окликнул ее какой-то малыш, когда она шла по улице под руку с Бомаском.

— Надо говорить «здравствуйте, дядя и тетя», — поправила его мать, ласково улыбнувшись Пьеретте.

В другой раз, провожая подругу до поселка, Маргарита спросила:

— Ты любишь его?

— Да, — серьезно ответила Пьеретта.

— Он, кажется, славный, — заметила Маргарита.

Она нежно поцеловала Пьеретту на прощание и, уходя, добавила:

— И красивый...

Нашлись, правда, и такие, которые говорили: «Жаль все-таки, что он макаронщик». Но никто не передал этого Пьеретте. А вскоре это возражение потеряло свою силу, чему немало способствовали улыбка Бомаска, не то нежная, не то насмешливая, прячущаяся в глубине его глаз, и те небольшие услуги, которые он охотно оказывал людям.

II

Я уехал из Гранж-о-Вана в конце апреля и вернулся туда только в сентябре, в промежутке же побывал в Клюзо, готовя цикл статей о фабрике.

Я, конечно, наведался к Пьеретте Амабль. Дверь мне открыл Бомаск. В комнате работали Пьеретта, Миньо и Кювро. Мы сели все вместе за стол; тут-то Бомаск и сказал Пьеретте:

— Подай-ка бутылочку, надо же нам выпить с нашим другом.

Тон был ласковый, но, по существу, это было приказание, словно Бомаск давал мне понять:

— Видишь, Пьеретта моя жена. Хозяин в доме я.

Так я его и понял.

Пьеретта тотчас исполнила его просьбу: постелила скатерть, расставила стаканы и принесла вино. Бомаск откупорил бутылку и наполнил стаканы. Все было в точности как в семейных домах. Скатерть тоже представляла собой необыкновенное новшество в быту Пьеретты.

На окне стояли горшки с геранью, на стене висели две дешевые литографии с видами лигурийского побережья. Это тоже было в новинку.

В тот день речь не заходила ни о Филиппе Летурно, ни об Эмили Прива-Любá, ни о Натали Амполи. Лишь гораздо позднее узнал я обо всем случившемся в конце мая и начале июня. Мне рассказывали только о борьбе профсоюза ВКТ и компартии против «операции повышения производительности», подготовляемой ПТАО в «Цехе ста».

Бой начинался в невыгодных для нас условиях. На фабрике еще никого не уволили. Зато рабочие, привлеченные к так называемой «операции П.», уже пользовались некоторыми льготами. ПТАО явно шло на убытки, чтобы довести до конца свой эксперимент. Как же в данных условиях доказывать, что рабочим готовят западню?

Миньо изучал и конспектировал литературу об увеличении производительности при капиталистическом строе. Кювро делился своим опытом борьбы. Пьеретта обратилась в Конфедеральный комитет с просьбой разъяснить, что представляет собой передвижная выставка профсоюзов, открытие которой приурочивалось к пуску цеха П, и как рабочие других предприятий текстильной промышленности отнеслись к этой выставке. Все это было только подготовкой и, на мой взгляд, довольно вялой.

— Никто за нами не пойдет, — сказала Пьеретта.

Было жарко. Пьеретта расстегнула верхние пуговки платья. По щеке ее медленно скатилась капелька пота. Вид у Пьеретты был усталый.

— Сейчас неблагоприятная обстановка для открытой борьбы, — сказал Кювро. — Надо дать людям созреть...

— Мало вы верите в массы, — заметил Миньо.

Бомаск сидел в плетеном кресле, заложив ногу на ногу, и курил одну сигарету за другой.

— Не надо ребят принуждать, — заговорил он. — Их только тогда удастся расшевелить, когда они до конца поймут, в чем тут соль. Вот на «Ансальдо» в сорок шестом году...

— Если они до сих пор не поняли, — перебил его Миньо, — значит, вы плохо им объясняли.

— Слушаю я тебя и как будто газету читаю, — ответил Бомаск.

Пьеретта встала и передвинула что-то на газовой плите.

— Пойдем, — сказал старик Кювро, — надо же дать им поесть.

Бомаск уговорил меня остаться. Остальные ушли.

Когда мы сидели втроем, Пьеретта оживилась.

Она поведала нам о последнем похождении Маргариты, описав его

в забавных и даже язвительных тонах; я и не знал, что Пьеретта умеет злословить.

— Маргарита тебе не компания, — сказал Бомаск.

Против моего ожидания, Пьеретта не рассердилась на него, а рассмеялась:

— Ого, да он разговаривает, как настоящий муж!

Пьеретта накормила нас почти полным обедом: на сей раз не было ни консервов, ни яичницы; мы ели суп и картофель по-савоярски, который томился в духовке еще до моего прихода.

Пьеретта помыла посуду, а мы тем временем распили еще одну бутылочку. Бомаск рассказывал мне об их планах на будущее. Когда Пьеретта получит официальный развод, они поженятся и возьмут к себе Роже. Так хотелось Бомаску.

Они проводили меня до конца поселка. Бомаск вышел без пиджака, в рубашке с короткими рукавами, как ходят итальянцы.

— Добрый вечер, Пьеретта, добрый вечер, Бомаск, — говорили прохожие.

Выйдя на шоссе, я оглянулся. Они в последний раз кивнули мне на прощание; Пьеретта стояла, прижавшись к Бомаску, обхватив его рукой за пояс.

III

В конце июля Пьеретта поняла, что она беременна. Они решили сохранить ребенка. Бомаск ни секунды не колебался, а у Пьеретты осталось гадливое и мучительное воспоминание о той особе, к которой она обращалась во время своего первого замужества, когда Роже минул год.

К началу августа фабрика закрылась на две недели. Первую неделю своего отпуска Пьеретта провела в Гранж-о-Ване. Ее тошнило. Глядясь в зеркальные створки шкафа Амаблей, она наблюдала, как под глазами у нее появляются черные круги и отеки. Ей был уже не под силу даже самый легкий подъем. Она поневоле нарушила свое обещание тетке помочь пасти коров.

Пьеретта пошла было прогуляться с сынишкой. Но его явно тянуло к товарищам. Он дичился матери; ему казалось, что она вечно занята каким-то делом, нисколько не похожим на то, чем живут люди в Гранж-о-Ване. Пьеретта не знала, о чем разговаривать с ребенком. Она с горечью сознавала, что чувствует себя с ним так же неловко, как девушка, приглашенная на бал и не умеющая танцевать.

Два раза была сильная гроза. Наутро после ливня всюду высыпали большие белые грибы, как пузыри на горячей и влажной почве. И Пьеретта впервые в жизни ощутила отвращение к Гранж-о-Вану.

Оттого, что она сейчас носила в себе ребенка, Пьеретта чувствовала себя незащищенной, как часовой, у которого неожиданно вырвали винтовку. Пьеретта удивлялась: «Ведь я должна быть счастлива!» Потом она вспоминала, что почти для всех знакомых ей женщин материнство было несчастьем, положившим начало смирению перед судьбой, концом борьбы. «Настанет день, когда все будет иначе, да и сейчас уже иначе на целой трети земного шара»; но Пьеретта слишком устала и поэтому не могла, как было ей свойственно, мысленно перенести этот, столь интимно ее затрагивавший факт — рождение ребенка — в будущее социализма. Она спрашивала себя: «Уж не урод ли я?»

Бомаск, доставив молоко на сыроварню, возвращался на грузовичке в Гранж-о-Ван, но ночевал в городе, так как начинал работу с рассветом. Пьеретта радовалась, что спит одна. Жара не спадала, и она сбрасывала с себя ночью даже простыню. Ей не удавалось ни заснуть,

ни читать; иногда она забывалась в дремоте и тогда ей мерещились большие грибы, бесшумно лопавшиеся то тут, то там, по всей горной поляне. Она просыпалась в холодном поту, натягивала на себя шерстяное одеяло, но еще долго дрожала, лежа без сна при белых вспышках зарниц. Ее стал преследовать кошмар: она, Пьеретта, — гора, а гора — это Пьеретта; и те же подземные ключи и сокровенные родники подтачивают их обеих — гору и ее, Пьеретту; она хочет крикнуть и не может пошевелиться под бременем собственной земли, под тяжестью собственных скал, которые душат ее.

Когда старики Амабли узнали, что Пьеретта ждет ребенка, они примирились с мыслью о Бомаске как о будущем зяте. Они надеялись вернуть его к земле: макаронщики — работяги, и, стало быть, не беда, что он макаронщик. В субботу Бомаск остался ночевать на ферме — в утреннюю смену работал другой шофер. Обед прошел весело благодаря Бомаску, который рассказывал, как виноградари Кампаньи сажают лозу, чтобы она вилась вкруг дерева, и как амальфийские рыбаки ловят осьминогов.

Пьеретта не спешила в спальню. Она — из тех женщин, в жизни которых голос разума и сердца громче голоса плоти. Она испытывала наслаждение, только когда желание налетало внезапно, как в то утро на вершине горы, в утро сближения с Бомаском. И все-таки она была счастлива, что он с нею рядом, — сильный, спокойный, находчивый, изобретательный, знающий всякое ремесло, не теряющийся ни перед какой трудностью. Пьеретте нравилось, когда вокруг нее смыкалось кольцо его рук, она любила ходить с ним обнявшись, особенно на людях, перед всем городом. Бомаск вернул ей дружбу Маргариты, доброе отношение соседей, и Пьеретта была ему за это признательна: наконец и она стала такой же женщиной, как все.

До знакомства с Пьереттой Бомаск любил женщин всех и всяческих. Их любовь доставалась ему так легко, что он не придавал большой цены близости с ними. Эта близость была для него лишь подтверждением факта, как бы росчерком в конце нотариального документа, заверяющим, что для него, Бомаска, нет уже никаких запретов. Он пользовался этим правом, как и все, но его привлекало иное: постепенное сближение, первое признание, шелест женской юбки, когда знаешь, что тебе дано право ее смять, гладить нежную кожу и, целуя женщину, чувствовать на своем лице волну ее волос. Но теперь, когда он жил с Пьереттой, как муж с женой, власть итальянских обычаев взяла верх над Бомаском, и он считал для себя вопросом чести исполнять свой супружеский долг ежедневно.

В тот вечер опять надвигалась гроза. «Мне что-то неможется», — сказала Пьеретта. Когда Бомаск проснулся, он увидел, что она спит, закутавшись в одеяло, на коврике у кровати. Он в этом усмотрел причуду беременности.

В понедельник на ферму Амаблей приехал толстый Жан, который взял недельный отпуск, чтобы помочь при уборке хлеба. Дверь в комнату Пьеретты не запиралась; ночью Пьеретту разбудило прикосновенье чьих-то рук. Она вскочила, вырвалась и, окончательно очнувшись, обнаружила, что стоит на коленях на кровати, в ночной рубашке; при свете луны она узнала Жана.

— Пошел вон, — прошипела Пьеретта.

— Я ничуть не хуже твоего макаронщика! — Жан еле ворочал языком, так как успел уже порядком выпить с крестьянами.

— Я скажу это моему макаронщику, — бросила Пьеретта, — и он тебе объяснит, что к чему!

За дверью раздался взрыв хохота: Жан заключил пари с крестьянами, что овладеет Пьеретой.

— Ну-ну, — сказал он, — ведь я ничего худого не думал... Но почему же все-таки ты не хочешь? Как никак ты мне кузина!

Он вышел, пошатываясь. Пьеретта задвинула дверь комодом, спрашивая себя, известно ли дядюшке Амаблю, спавшему на другом конце дома, о состоявшемся пари. На следующий день она уехала в Клюзо.

Лето медленно уходило; зной чередовался с грозами. На дне ущелья клубились тяжелые облака. По вечерам Бомаск и Пьеретта, обнявшись, гуляли по дороге среди виноградников, разбитых по склонам окрестных гор; навстречу им попадались другие пары. Это был лучший час дня.

В сентябре недомогание Пьеретты, связанное с началом беременности, стало проходить. Бомаск и Пьеретта продолжали свои ночные прогулки в виноградниках; залитые лунным светом стены фабричных цехов отражались у их ног, в воде Желины, которая разлилась, словно широкий канал, между набережными, построенными ПТАО. А придя домой, Пьеретте надо было воздать должное мужскому самолюбию Бомаска. Но теперь Пьеретта уже перестала страдать бессонницей и засыпала счастливая, прижавшись к его мускулистому телу — женщина как женщина. Мало-помалу она стала находить удовольствие даже в стряпне.

* * *

Почтовый инспектор и секретарь секции коммунистической партии Клюзо Фредерик Миньо получил отпуск во второй половине августа. Эти две недели он провел со своей женой Раймондой у старого товарища по партизанскому подполью, виноградаря и муниципального советника, в маленьком городке департамента Эро.

Здесь, на взгляд Миньо, была более боевая обстановка, чем в Клюзо. Коммунисты возглавили борьбу сельскохозяйственных рабочих и мелких землевладельцев, направленную против политики правительства в области виноградарства. За две недели Миньо участвовал чуть ли не в шести демонстрациях. На дорогах были выставлены пикеты. Союз французской республиканской молодежи украсил стены домов гигантскими надписями. Миньо присутствовал на собрании, где после сообщения о докладе Маленкова на XIX съезде Коммунистической партии Советского Союза началось обсуждение, затянувшееся до часу ночи. «Идейный уровень» здесь был, несомненно, выше, чем в Савойе.

Миньо, как мы знаем, человек с чрезвычайно чувствительной совестью. Поэтому он решил, что ответственность за политический застой в рабочем городке Клюзо падает на него самого и на секретариат секции, то есть на Пьеретту Амабль, рабочего Кювро и учителя Жакляра (последний к тому же редко являлся на собрания).

— Ну и всыплю же я товарищам, а заодно и себе самому, когда приедем домой. Пора навести строгую критику и самокритику, — сказал он жене.

Раймонда отнеслась к этому с полным одобрением. Она уже давно полагала, что население Клюзо следует «проработать» по всем статьям. Ей хотелось бы жить в Эро. Здесь, пока ее муж ходил по собраниям, некий аптекарский помощник возил Раймонду в Палавас, где находилось казино. Домой он доставлял ее в своей малолитражке, останавливаясь по дороге, чтобы всласть нацеловаться. Раймонде это не доставляло никакого удовольствия, но она не сопротивлялась, ибо твердо считала, что за все нужно платить. Из-за нее он однажды вечером проиграл в рулетку свое жалованье за два месяца; Раймонда представила себе, как негодовала бы ее мать, узнав, что такая уйма денег ушла на подобную чепуху: ну что ж, это те небольшие вольности, которые девица раз-

решает любому кавалеру, провожающему ее с бала! Раймонда преисполнилась гордости. Ей и не снилось, что жизнь будет так ее баловать.

Миньо свято верил в чудодейственную силу критики и самокритики. В 195... году это убеждение имело весьма широкое распространение. Собрание ячейки начиналось с того, что кто-нибудь вставал и говорил: «Товарищи! Я должен выступить с самокритикой. Вчера я поколотил свою жену. Это проявление мелкобуржуазного пережитка...» Понадобилось вмешательство федерального партийного руководства, разъяснившего, что критика и самокритика должны быть положены в основу всякого научного метода: так, ученый критикует какую-нибудь гипотезу или эксперимент и добивается правильных результатов, учитывая ошибки, которые были допущены лично им; политическая же деятельность является практикой, опирающейся на знание законов общественных явлений, и т. д. и т. п. Однако в некоторых районах публичные покаяния продолжались еще несколько месяцев, пожалуй и больше. В католических странах даже атеисты скорее способны поверить в законы магии, чем в законы науки.

В начале сентября, едва Миньо успел вернуться в Клюзо, как его вызвал в окружной центр секретарь федерации коммунистической партии.

* * *

Секретарь федерации Шардонне был единственным освобожденным партийным руководителем; у него в департаменте состояло на учете 2775 членов партии и голосовало за него несколько десятков тысяч избирателей. Остальные члены секретариата, бюро и политической комиссии могли уделять партийной работе только время, оставшееся после рабочего дня.

Таким образом, Шардонне находился в положении командира дивизии, весь личный состав которой, включая штаб, состоял из запасных. Шардонне получал 18 000 франков в месяц на личные расходы, ездил в вагоне третьего класса, останавливался у товарищей, столовался и спал, где придется; это был командир дивизии без автомототранспорта и интендантства.

Его департамент, как и большинство других французских департаментов, состоял из нескольких районов, резко отличавшихся один от другого по своей экономической и социальной структуре — сколько районов, вернее даже коммун, столько и политических задач, подлежащих разрешению. На подступах к Лиону расположились крупные рабочие центры: металлургические заводы, ткацкие фабрики, железнодорожные мастерские. На низменности преобладало развитое земледелие, в горах — скотоводство. В высокогорных долинах возникли поселки ремесленников. А Клюзо находился на отшибе — в скотоводческом районе.

Все секции ставили перед секретариатом федерации совершенно различные задачи. Комната, которую снимал Шардонне в окружном центре, превратилась в дивизионный «отдел картографии»: стены были увешаны картами, размеченными красными кружками по числу бойцов и синими крестиками, обозначавшими местоположение секции; поля карт пестрели всевозможными примечаниями экономического, социального и политического характера.

Шардонне был сыном архитектора-франкмасона; в 1943 году он бросил юридический факультет и ушел в партизанское подполье. За время вооруженной борьбы и в периоды вынужденного затишья Шардонне прошел политическую школу у железнодорожника, руководившего партизанским отрядом, члена компартии с 1923 года. В феврале 1944 года железнодорожник был убит, Шардонне заменил его и показал себя дальновидным руководителем, политическим и военным. После войны он

учился в партийной школе, где его считали блестящим учеником, и, окончив эту школу, был назначен освобожденным партийным работником. На тридцатом году своей жизни он стал секретарем федерации, отвечающим за целый департамент. Но Шардонне никогда не работал на предприятии. Этому молодому командиру дивизии не пришлось быть рядовым. Первый год у него ушел на ознакомление с крестьянскими делами. Он возглавлял несколько предвыборных кампаний, во время которых его замучили разъезды по департаменту. В конце концов Шардонне переутомился.

Секретариат федерации уделял внимание секции Клюзо только во время выборов. Дела там шли не так уж плохо. Газеты продавались бесперебойно, членские взносы поступали в положенные сроки. Время от времени, рассматривая свои стенные карты, Шардонне удивлялся резкому несоответствию между числом рабочих, занятых на предприятиях ПТАО, и скудным количеством членов партии: «Что-то в Клюзо неладно». Но его тут же отвлекало какое-нибудь более неотложное дело. К тому же, как известно, завоевать позиции у текстильщиков не так-то просто, а у Шардонне не было никакого опыта в руководстве борьбой рабочих текстильной промышленности.

Внимание Шардонне к «операции повышения производительности» привлекла реакционная пресса, изобразившая ее как опыт предприятий с целью показать, во что могло бы превратиться франко-американское сотрудничество в общенациональном масштабе. Затем газеты сообщили, что министр собственнолично откроет цех П. и приуроченную к пуску цеха передвижную выставку американских профсоюзов. Центральный комитет партии направил Шардонне запрос о том, какие меры приняты федерацией к тому, чтобы разоблачить махинацию, имеющую немалое государственное и международное значение. Шардонне немедленно вызвал к себе Фредерика Миньо.

Они вместе составили план военных действий: листовки, плакаты, митинги, короткие забастовки, демонстрации. Когда они кончили, Шардонне сказал:

— Ты отвечаешь честью коммуниста.

* * *

Приехав в Клюзо, Миньо пошел прямо с вокзала к Пьеретте Амабль. Он застал там только Бомаска.

Пьеретта задержалась у Маргариты. Проводив подругу домой, она заговорилась с ее матерью и теперь возвращалась от них с подаренной кастрюлей — «чудом». У Пьеретты никогда еще не было «чуда», и лишь теперь она начинала понимать, какая это разносторонне полезная вещь в хозяйстве.

Поднимаясь по лестнице, Пьеретта услышала стук молотка. Бомаск на досуге, после доставки молока и ловли форелей, мастерил полку для папок с профсоюзными делами. Поперечины он покрасил в зеленый, стойки в красный цвет, и целую неделю расписывал розанами края полки.

Пьеретта толкнула приотворенную дверь. Миньо нервно барабанил пальцами по кухонному столу. Пьеретта не раз замечала, что его раздражают домашние поделки Бомаска. Она надеялась, что у Миньо пройдет это раздражение, если он привыкнет слышать от Пьеретты не «зайдем ко мне домой», как говорила она раньше, а «приходи к нам». Пьеретте доставляло удовольствие говорить «к нам», и ее немного обижало то, что это раздражает Миньо.

— До чего ты докатилась? — набросился он на Пьеретту, едва она вошла. — Где были твои глаза? Чем ты занималась целых три месяца?

Пьеретта вскинула голову:

— Сначала изволь объяснить, о чем ты говоришь?

Из соседней комнаты вышел Бомаск.

— Сдается мне, — сказал он, — что мой capriolino сейчас начнет бодаться...

И усмехнувшись, он погладил Пьеретту по голове.

— О чем же я еще могу с тобой говорить? — обратился Миньо к Пьеретте. — Чем же ты должна была бы заниматься, когда до пуска цеха П. осталось меньше месяца?

— Покурим, козленок? — предложил Бомаск, протягивая Пьеретте сигарету с золотым ободком.

Пьеретта запрокинула голову на гладившую ее ладонь.

— Козлята едят траву, но не курят ее, — ответила она.

Она откинулась еще больше, ловя взгляд Бомаска. Оба расхохотались.

«Она становится круглой идиоткой», — подумал Миньо.

— Можно с тобой поговорить? — спросил он Пьеретту.

— Ну, конечно!

Они прошли в комнату и сели друг против друга за большим столом, заваленным папками.

Бомаск опять принялся сколачивать полки. Но он успел только раза два стукнуть молотком, как Пьеретта его остановила:

— Перестань, пожалуйста!

Бомаск сел в плетеное кресло и стал читать роман.

Миньо передал содержание своей беседы с секретарем федерации.

— А от тебя требуется, — сказал он, — провести забастовку, хотя бы на двадцать четыре часа... забастовку всего предприятия, конечно...

— Невозможно, — твердо ответила Пьеретта.

И она изложила свои, уже известные нам, соображения.

На это Миньо возразил, что если секция Клюзо не в состоянии мобилизовать рабочих против «операции П.», значит, последние месяцы и даже последние годы секция плохо работала.

Пьеретта ответила, что надо считаться с положением вещей; рабочие Клюзо введены в заблуждение пропагандой ПТАО, поведением христианского профсоюза, который играет на руку предпринимателям, повышенными тарифами профсоюза «Форс Увриер», если коммунисты добьются — а добьются ли они, еще не известно,— чтобы ВКТ выступила с призывом к забастовке, большинство рабочих, даже состоящих в профсоюзе ВКТ, на это не откликнется. В результате, коммунисты оторвутся от масс, а не привлекут их на свою сторону; коммунисты не могут рассчитывать на успешное выступление, пока подавляющее большинство рабочих на собственном опыте не убедится в правильности призыва ВКТ, направленного против «операции П.».

Миньо развивал свои доводы; событие это, говорил он, выходит за рамки Клюзо, оно уже приобрело общегосударственное значение. Коммунисты должны во что бы то ни стало поднять на борьбу рабочих...

— Такова точка зрения Шардонне и секретариата федерации, — добавил он.

— Пусть Шардонне сам заглянет на фабрику, — ответила Пьеретта. — Условия борьбы нельзя изменить приказом сверху!

Спор Миньо и Пьеретты вокруг этих различных точек зрения, всякий раз облекавшихся в новую форму, затянулся до часу ночи. Каждый остался при своем мнении.

— Я приду на ближайшие собрания фабричных ячеек и поговорю с товарищами, — сказал Миньо. — Я докажу тебе...

Тем временем, пока они спорили, Бомаск читал, потом заснул над

книгой, проснулся и сварил себе кофе, чтобы разогнать сон. Он выслушал конец спора, не вмешиваясь. Когда Миньо ушел, он сказал:

— От таких товарищей вреда для партии больше, чем от наших врагов...

Пьеретта горячо заступилась за Миньо: он человек, глубоко преданный партии. Он отдает ей все свое время, подготовка у него основательная, а когда он критикует — даже несправедливо, как сегодня, — это помогает другим встряхнуться, не дает застыть на месте. Миньо заставляет других думать, искать выхода и уже этим полезен...

— Как слепень кляче, — сказал Бомаск.

Слепень, укусы которого довели клячу до того, что она понесла телегу вскачь, был знаком Бомаску из последнего диктанта Пьеретты. Уроки французского языка еще продолжались, хоть бывали все реже. Бомаск и Пьеретта проводили вечера почти не разговаривая, любуясь зарницами или считая секунды между вспышкой молнии и ударом грома: «Гроза близко... она уже над Гранж-о-Ваном... Нет, миновала... надвигается на Сент-Мари-дез-Анж». Случалось, что они заходили к соседям поиграть в карты.

Но Пьеретта отвергла сравнение Миньо со слепнем.

В двадцать пять лет она уже постигла истину, известную хорошим полководцам и крупным предпринимателям, истину, заключающуюся в том, что в любом деле пригоден и ценен каждый преданный человек и на своем месте он может стать незаменимым. Это-то и пыталась Пьеретта втолковать Бомаску, пока не заметила, что он спит.

Но на самом деле Пьеретта вовсе не думала, что Миньо на своем месте.

IV

В конце сентября я вернулся в Гранж-о-Ван. Однажды утром Бомаск сообщил мне, что дирекция фабрики уволила тридцать трех рабочих и что решено выступить на их защиту, для чего на пять часов того же дня, после окончания работы, назначено собрание в городском зале.

— В том самом, куда ты ходил танцевать, когда устроили бал коммунисты.

Я подумал, что это собрание может дать интересный материал, который позволит мне закончить историю ПТАО очерком о борьбе рабочих в наши дни. В первом часу дня я отправился в Клюзо пешком через горы.

После летних гроз луга опять зазеленели. Лучи солнца, уже косые, золотили тонкую дымку, стлавшуюся над лесом. Я быстро преодолел подъем до родника, где еще совсем недавно Бомаск пил воду из рук Пьеретты. Сейчас в ложбинке на каждом шагу попадался крупный гриб на длинной ножке, с большой шляпкой — пестрый «гриб-зонтик», расцвеченный серыми, как у Гойи, и яркожелтыми, как у Брака, тонами.

«Гриб-зонтик» — изящный гриб. Не спеша поднимаясь в гору, я размышлял — в который раз? — о том, как определить, что такое изящество. Ссылка на обычаи и моду разъясняет едва ли больше, чем ссылка на золотое правило Пифагора. Изящество выражает соразмерность частей, присущую живому существу в его целостности и своеобразии. Пожалуй, животноводы могут по этому поводу сказать больше, чем социологи и искусствоведы. Эта область человеческого опыта кажется мне необыкновенно плодотворной. Низко посаженный таз, вздернутый нос над короткой верхней губой, короткие ноги, длинные руки скажут мне об ином смертном больше, чем тридцать страниц его биографии. Жирная кожа и западающая нижняя губа одного субъекта внушили мне недоверие, и это спасло мне жизнь.

Я приближался к гребню гряды. Пьеретта Амабль, думал я, в своем черном поношенном платьице, бесспорно, самая изящная женщина из всех, когда-либо мне встречавшихся. И опять-таки это не совсем точное определение: в Пьеретте есть порода, говоря языком ценителей лошадей.

Нижняя часть лица у нее тяжеловата, подбородок широкий, нос прямой, с чуть заметной горбинкой; на редкость тонкое, изящное предплечье, линия которого как бы повторяет линию носа и лба, заканчивается крепкой кистью, смахивающей на мальчишескую; но именно то, что нижняя часть лица Пьеретты тяжеловата, что у нее мальчишеская рука, именно это и создает впечатление не только изящества, но и породистости. Почему? Продолжая свой путь, я бранил современных художников, которые играют красками и формами, вместо того чтобы попытаться передать их соотношение и тем самым хоть немного объяснить мир, как объясняли его Гойя, Веласкес или Рембрандт.

Я достиг гребня. Здесь проходила граница деревни Гранж-о-Ван, береговая линия острова. Земля по ту сторону принадлежала ПТАО, я уже различал остроконечные крыши фабричных цехов, похожие на зубья пилы в ущелье Желины, на дне огромной расселины в глубине горы, которая ощерилась пиками голых скал.

Некоторое время я шел вдоль гребня, чтобы обойти лесок, где сбились с пути Пьеретта и Бомаск. Затем я стал спускаться прямо по скалистому откосу, поросшему колючим кустарником. Лощина, в которой я продвигался, уже погрузилась в тень. Я вышел на главную площадь Клюзо к концу смены. Решетчатые ворота в табельную были приотворены; за ними стоял сторож-горбун; о нем поговаривали, будто он пристает к девушкам, обещая им кое-какие мелкие поблажки в обмен на краткое свидание в сарайчике за его будкой. На задней стене будки висел большой плакат, извещавший о вечере христианского профсоюза.

Я остановился, глядя на выходивших рабочих. Так вот какова она, эта «фабричонка», о которой столько толков в округе и даже на моем острове, где я хотел укрыться от боев сегодняшнего дня. Вестибюль фабрики напоминал мне сразу и тюрьму, и колледж, и дом призрения.

В зале, рассчитанном на пятьсот мест, было не больше двенадцати человек. На танцевальной площадке уже расставили рядами стулья для предстоящего вечера членов христианского профсоюза.

Пьеретта Амабль и другой, незнакомый мне, делегат рабочих сидели за столом, придвинутым почти вплотную к первому ряду. На пустом столе перед Пьереттой лежала раскрытая тетрадь; на страницах ее четким почерком были выписаны столбики с обозначением фамилий уволенных рабочих, их должности, возраста, стажа и принадлежности к тому или другому профсоюзу.

Большинство рабочих и работниц, сидевших в первом ряду или разговаривавших, стоя у стола с Пьереттой и вторым делегатом, были мне знакомы: все они принадлежали к партийному активу.

Я спросил Пьеретту, не уволенные ли это рабочие.

— Нет, те еще не пришли.

— Они ждут на площади, — сообщил старик Кювро.

— Стесняются, верно, — сказал кто-то.

— Надо бы тебе пойти за ними, — обратилась Пьеретта к своему товарищу, делегату.— Они будут меньше стесняться, если с ними поговорит мужчина.

— Подождем немного, — ответил делегат.

Мне уже приходилось, хотя и редко и не в Клюзо, а в других городах, присутствовать на профсоюзных собраниях по поводу увольнений. Я знал, что рабочий человек, когда его уволили, стесняется даже товари-

щей, вставших на его защиту. Почему, думает он, дирекция выбрала в качестве своей мишени именно меня, а не другого? Он знает, что кое-кто считает, будто его уволили не зря, он, дескать, работает хуже других, а еще кое-кто втихомолку радуется, что пострадал «он, а не я»! Однако на рынке труда царит такая безжалостная конкуренция, что, если даже администрация увольняла по жеребьевке, рабочий человек все равно чувствовал бы стыд, вытянув пустой билетик.

С момента получения повестки об увольнении он уже чувствует себя изгоем. Он уже не частица «фабричонки». Даже те, кто встал на его защиту, даже его товарищи ему уже не товарищи по труду. Отныне он принадлежит к миру безработных, попрошаек, к миру тех, кому в лавках ничего не продают в кредит. На вопрос «где ты работаешь?» он уже не может ответить: у Рено, на проволочном заводе, в ПТАО... Только испытанным бойцам, которых увольняют по политическим мотивам, явным или тайным, неведомо это чувство стыда, неизбежное для всякого, кто выбыл из человеческого коллектива.

Все это я знал, но я никогда не представлял себе, до какой степени уволенные чувствуют себя униженными, не допускал, что они могут испытывать такой стыд, идя на собрание, организованное для их же защиты.

Ожидание продолжалось еще с четверть часа. Делегат рабочих вышел на площадь. Через несколько минут в приотворенную дверь протиснулось трое. Первый был хром и кривобок, второй, совсем юный алжирец, шел, втянув голову в плечи и бросая опасливые взгляды, словно боялся, что его, чего доброго, тут же измолотят кулаки полицейских. Третий — совсем седой, плелся маленькими шажками, как дедушка из богадельни; сняв очки, он протер их — его исхудалые руки, покрытые мелкими морщинками, дрожали.

Все трое уселись в глубине зала под гирляндами, развешанными на стенах по случаю собрания христианского профсоюза.

Вслед за ними явились две женщины лет по пятидесяти, грузные, с багровыми лицами, растрепанные. Одна из них, пошатываясь и крепко держась за другую, крикнула:

— Привет честной компании!

Обе сели в задних рядах подле троих уволенных мужчин.

Потом пришли два итальянца — ярко выраженные южане, калабрийцы или апулийцы. Они смущенно мяли в руках свои кепки и тоже уселись в глубине, но поодаль от других.

Затем я увидел какого-то великана, пузатого, хохочущего, в крохотной кепочке, сидящей набекрень на его курчавой макушке. Он прошел прямо в первый ряд, уселся, расставив огромные ляжки, и, звучно хлопнув себя по коленке, провозгласил:

— Так-то! Они и на этот раз взяли меня в оборот!

За великаном вошел очень худой и очень бледный юноша в пиджаке, рубашке с пристежным воротничком и галстуком бантиком, в фетровой шляпе; он сел один в середине зала.

За ним следовали две группы работниц — первую составляли совсем еще девчонки, вторую — пожилые женщины. Они тоже заняли места в задних рядах.

И, наконец, в зале появилась группа работниц из цеха Пьеретты, а с ними и Маргарита. Они прошли в первый ряд и, заняв места, всячески выражали свои дружеские чувства Пьеретте. Среди них не было ни одной уволенной.

Пьеретта не ответила на приветствия товарок. Стоя за столом, она смотрела вглубь зала. Глаза ее были бесконечно печальны.

— Товарищи, — сказала она, — будьте добры сесть поближе... чтобы было нам удобнее разговаривать!

Никто не сдвинулся с места.

В дверях показался делегат рабочих.

— Есть еще кто-нибудь на улице? — спросила Пьеретта.

— Никого, — крикнул он.

— Прошу товарищей сесть поближе, — повторила Пьеретта. — Нас не так уже много!

— Проходите вперед, товарищи, — сказал делегат.

Никто не сдвинулся с места.

— Пожалуйста, товарищи, — уговаривал их делегат, — народу мало... Зачем же нам надрывать себе глотку...

— А в самом деле, почему бы нам не посидеть в первом ряду? — сказала подвыпившая работница, с трудом приподнимаясь с места. Товарка поддержала ее за локоть, и они вместе вошли в проход между рядами.

Никто не засмеялся.

Мало-помалу все пересели вперед, кроме молодого человека в галстуке бантиком. Он сидел неподвижно, не проронив ни слова за все время собрания.

— Так вот, — начала Пьеретта. — Дирекция фабрики твердо нам обещала, что реорганизация «Цеха ста» не повлечет за собой никаких увольнений. Многие рабочие поверили этому обещанию. Кое-кому сумели внушить, что «операция П.» выгодна для трудящихся Клюзо. И что же? Тридцать три рабочих получили повестку об увольнении. А ведь это только начало!

Пьеретта огласила список уволенных, в нем числились двое чернорабочих, две уборщицы, ночной сторож, затем старик, который зимой служил истопником в конторе, а летом ухаживал за газоном в саду дирекции, несколько рабочих-ремонтников и стекольщик, через день обходивший помещения, проверяя, целы ли окна, тот самый старик, что вошел в зал, протирая очки. Кроме того, в списке значился еще цеховой мастер, но он не явился на собрание, боясь связываться с рабочими; он надеялся обойтись без их поддержки, так как собирался просить Нобле, бывшего своего школьного товарища, походатайствовать за него перед начальством; наконец, в список попало также несколько молоденьких девушек, вчерашних учениц, и старухи, которые вот-вот должны были перейти на пенсию.

На этот раз дирекция фабрики направила свой удар против самых слабых, неумелых и незащищенных, против тех, по поводу кого хозяева могли бы на худой конец сказать, что терпели их так долго на фабрике только из милости, из снисхождения. Администрация разогнала «убогоньких», которые всегда находят себе незаметное местечко на задворках большого предприятия. Большинство уволенных были «неорганизованными». Лишь один входил в ВКТ. На этот раз дирекцию никак нельзя было обвинить в политическом пристрастии.

— Дирекция, — говорила Пьеретта, — утверждает, будто сдержала свое слово, и ни одна из работниц-станочниц не уволена. С виду это как будто так и есть, а на самом деле — это ложь, потому что несколько работниц уже переведено из ткацких цехов в ремонтный, на места уволенных товарищей...

Пьеретта разоблачала сущность этого маневра предпринимателей; порой она, как это было ей свойственно, останавливалась, подыскивая нужное слово, или делала отступления, чтобы возможно точнее изложить факты. Подобно многим рабочим-ораторам, она не боялась длинной фразы; период в ее речи начинался коротким и ясным предложением: «ПТАО бьет в первую очередь по неорганизованным рабочим», затем следовал целый ряд придаточных предложений с «ибо», «потому что», «как вам

хорошо известно», «ввиду того, что»; эти придаточные развертывались очень медленно и, казалось, непосредственно отзывались на каждую реакцию слушателей, тончайшие оттенки которой Пьеретта чутко улавливала, готовая в любую минуту уточнить свою мысль, дополнить ее, повторить сказанное почти в тех же выражениях, если она не была уверена, что ее поняли до конца. Однако она ни на мгновенье не забывала своей ведущей мысли, и широко развернутый период замыкался начальным предложением с вытекающей из него концовкой: «ПТАО бьет в первую очередь по неорганизованным рабочим, но мы будем защищать их наравне с другими нашими товарищами, интересы которых мы отстаиваем».

Это очень интимное ораторское искусство; впоследствии его будет нелегко изучать, потому что оно распространено только в «низовых организациях», где не ведется ни стенограммы, ни протокола, но в самом строе своей фразы, в ее словосочетании оно с изумительной точностью воспроизводит пробуждение человеческого сознания и своеобразную застенчивость людей, которым так часто приходилось переносить унижения.

После доклада Пьеретты собрание перешло к обсуждению методов борьбы. Некоторые из них стали уже классическими; например, послать делегацию в мэрию, в префектуру и генеральный совет. Сущность этих предложений дошла до аудитории сразу, но среди уволенных не нашлось желающих быть делегатом. При мысли, что им придется столкнуться лицом к лицу с представителями класса победителей, извечные побежденные упорно отказывались войти в делегацию, хотя и знали, что будут окружены товарищами, испытанными в борьбе.

Затем делегат рабочих сделал такое предложение: уволенные выйдут на работу вопреки приказу дирекции. Если администрация попытается их выгнать, цеха приостановят работу, на защиту уволенных встанут другие рабочие и помешают удалить их из цехов.

Слово взял старичок стекольщик.

— За таких, как мы, — сказал он, — никто из рабочих не подумает вступиться.

— Верно, — раздался женский голос.

— Верно, верно, — повторил хор голосов.

— Им не до нас. Они рады, что сами не оказались в нашем положении, — крикнула какая-то женщина.

И снова наступило молчание. Глаза людей, на мгновенье загоревшиеся, померкли.

Сидевшие в первых рядах рабочие — большей частью активисты, которые не числились в списке уволенных, — протестовали, но вяло.

Пьеретта не высказывалась. Повидимому, в глубине души она тоже не верила, что предложение делегата благоприятствует проявлению пролетарской солидарности.

Делегат сослался на случай в соседней долине, где рабочие, уволенные с завода, силой ворвались в цеха и в конце концов добились восстановления на работе. Прения продолжались.

Тут вернулась делегация, ходившая в мэрию, — по ту сторону площади: мэра не оказалось на месте. Решили его дожидаться. За стеной в другом зале трубач разучивал свою партию, пронзительно и однотонно повторяя одни и те же фальшивые звуки. Сторож развешивал по стенам последние трехцветные гирлянды для вечера христианского профсоюза.

Я ушел, не дождавшись конца собрания. Такси доставило меня в Гранж-о-Ван. Лучи заката заливали холм, на котором неподвижно стоял Эме Амабль, в бессчетный раз созерцая двадцать гектаров своей земли, на собирание которой он убил тридцать лет жизни. Я уверен, что он признал бы законным стремление ПТАО избавиться от нетрудоспособных рабочих. Старик еще не понимал, что такого же образа действия при

держиваются и производители сахарной свеклы в Уазе, и фермеры, сеющие пшеницу в Босе, и алжирские виноделы, которые тоже стараются избавиться от него, Эме Амабля.

V

Секретарь Объединения профсоюзов ВКТ в департаменте пришел после моего ухода, к самому концу собрания. Он был очень молод, но уже проявил себя как организатор на строительстве гидроцентрали, где объединил в профсоюз несколько тысяч боевых парней — рабочих различной расовой и национальной принадлежности, живших в барачных лагерях. Предложение рабочего делегата нашло в нем самый горячий отклик, потому что именно ему были обязаны своей победой рабочие в соседней долине, уволенные с завода электроприборов. Он рассказал об этой борьбе с таким подъемом, что уволенные ПТАО постановили любыми средствами проникнуть на фабрику 15 октября, то есть в день, когда кончится срок предупреждения администрации; а Пьеретта обещала заручиться поддержкой «Форс Увриер», христианского профсоюза и даже неорганизованных рабочих.

Когда приезжий товарищ ушел, настроение сразу упало. Рабочий Кювро, Пьеретта, Маргарита и еще несколько человек выпили по рюмке аперитива. «Условия борьбы у текстильщиков — особенные; надо дать людям созреть», — твердил Кювро. Пьеретта вернулась домой, твердо уверенная в том, что другие профсоюзы откажут ей в поддержке, и когда уволенные выйдут 15 октября на работу, сторожу-горбуну достаточно будет лишь нахмурить брови, чтобы они, опустив голову, повернули вспять! Самое большее, на что Пьеретта рассчитывала, это приостановка работы в цехах на четверть часа, то есть совершенно беззубая демонстрация.

Бомаск уже спал. Пьеретте хотелось бы поделиться с ним своей тревогой: не угрожает ли пролетариату Клюзо, состоящему преимущественно из девушек, женщин и стариков, слишком немощных, чтобы искать счастья в другом месте, не угрожает ли ему — оторванному от крупных промышленных центров, где выковывается мир будущего, опасность навсегда остаться в хвосте рабочего класса? Так думала Пьеретта. Но она не решилась разбудить своего друга, потому что ему надо было вставать до зари. Пьеретта не стала разогревать ужин. Она еще долго сидела над раскрытой тетрадкой, в которую так ничего и не записала, мечтая о том, что уедет в большой город, где в грохоте металлургических заводов, прокатных станов и молотов закаляются великие борцы за рабочее дело.

* * *

На следующее утро в дирекцию по кадрам явился осведомитель, присутствовавший на собрании. Нобле находился в отпуску: единственной льготой, предоставленной ему ПТАО за тридцать лет службы на фабрике, было дозволение пользоваться отпуском не на общих основаниях, не в первой половине августа, а с начала охотничьего сезона; Нобле унаследовал страсть к охоте от своих дедов — крестьян. Шпик сделал донесение о вчерашнем собрании секретарше Нобле, ненавидевшей Пьеретту.

Секретарша побежала к инженеру Таллаграну, который замещал Нобле. Она сильно преувеличила значение вчерашнего собрания. Пьеретта, по ее словам, подняла весь город на ноги, чтобы силой вернуть уволенных на работу; здание фабрики будет занято рабочими; на выручку к ним спешат Бомаск со своими подручными — итальянскими и североафриканскими рабочими со строительства железной дороги.

Будь Нобле в городе, он только пожал бы плечами; старик не хуже любого опытного профсоюзного деятеля представлял себе, как рабочие

отзовутся на эти увольнения, но молодой инженер Таллагран охотно поверил в правдивость разоблачений, сделанных секретаршей. Ему было даже на руку, что события разыгрались в отсутствие Нобле; это давало ему возможность доказать ПТАО, что характер у него тверже, чем у старого начальника кадров. И Таллагран почти дословно повторил донесение секретарши в своем докладе дирекции в Лионе.

Никто в Клюзо не представлял себе, в какое волнение пришла генеральная дирекция по кадрам, получив это известие. В Лионе были убеждены:

Во-первых, что «операция П.» — рекламное мероприятие, затеянное, чтобы доказать необходимость, увеличить основной капитал, как, впрочем, оно и было в действительности.

Во-вторых, что Валерио Амполи, в чьих руках, повидимому, сосредоточено большинство акций ПТАО, чрезвычайно заинтересован в успехе этого мероприятия. На самом деле все было не так, но высшие служащие ПТАО полагали, что иначе и быть не может, и в этом была своя логика.

«Повышение производительности в первую очередь выгодно рабочим», а отсюда следует, что нужно во что бы то ни стало избежать всякой случайности, которая могла бы поколебать эту неколебимую истину. Между тем, как стало известно, рабочие собираются устроить забастовку — занять фабрику при поддержке иностранных рабочих, что может повлечь за собой необходимость обратиться к полиции. И в Лион срочно вызвали делегатку рабочих — Пьеретту Амабль.

Когда Пьеретта протянула швейцару у входа в дирекцию ПТАО полученную ею повестку, он сказал:

— Второй этаж. Мосье Нортмер вас ждет.

Генеральный директор всех французских предприятий ПТАО Нортмер никогда не принимал у себя делегатов рабочих. Пьеретта знала о существовании Нортмера только потому, что Нобле ссылался на него при чрезвычайных обстоятельствах: «Таково решение мосье Нортмера».

— Нет ли здесь ошибки? — спросила Пьеретта швейцара.

— Вы мадам Амабль?

— Да.

— Мосье Нортмер ждет именно вас.

Швейцар позвонил по внутреннему телефону, и за Пьереттой пришла секретарша.

Ковры, мягкие кресла, а на стенах застекленные фото заводских корпусов. Обстановка кабинета Нортмера была не такой ветхозаветной, как в других кабинетах главной дирекции, где еще сохранился старинный лионский стиль. Но Нортмер остался верен темным тонам, и ничто здесь не напоминало легкомысленного убранства кабинета Филиппа Летурно.

Нортмер поднялся из-за стола, покрытого зеленым сукном, и пригласил Пьеретту присесть подле него за овальным столиком, на котором лежала только одна папка.

Нортмер был высок и строен; синий костюм сидел на нем безукоризненно. Пьеретта ничего не смыслила в крое мужской одежды, однако отметила про себя непринужденную осанку собеседника. На вид она дала бы ему лет сорок. Взгляд у него был живой и приветливый. Указав на овальный столик с папкой, Нортмер сказал:

— Я затребовал ваше личное дело и читал его с величайшим интересом. Вы коммунистка. Ни в коей мере не разделяя ваших взглядов, я питаю к вам уважение, ибо все говорит о вашей искренности... Поэтому я раскрою перед вами свои карты.

Пьеретта слушала молча, лицо ее не выражало ничего, кроме внимания, и только на лбу между бровями залегла еле заметная морщинка.

— Я должен, — продолжал Нортмер, — уволить шестьдесят рабочих

с предприятия Клюзо. Тридцати пяти уже вручено предупреждение. Вторая партия будет уволена очень скоро. Мне было бы крайне неприятно, если бы это повлекло за собой какие-либо инциденты...

Пьеретта вскинула голову. Она была готова к атаке. Нортмер поднял руку, останавливая Пьеретту.

— Знаю, вы ответите: «Если инциденты вам неприятны, не выгоняйте рабочих».

— Правильно, — ответила Пьеретта.

— Вы скажете: «Если забастовка ставит вас в затруднительное положение, тем больше оснований для нас объявить забастовку».

— Правильно — повторила Пьеретта.

— К этому вы добавите, что чем больше затруднений чинит нам забастовка, тем больше шансов для вас ее выиграть.

— Правильно.

Нортмер сложил руки, соединив кончики пальцев.

— Цепь ваших умозаключений построена основательно, — сказал он. — Но в данном случае у вас есть просчет. Что касается ПТАО, то для него уволить шестьдесят рабочих важнее, нежели предотвратить стачку. Сейчас объясню, почему...

Нортмер принялся доказывать Пьеретте, опираясь на цифры, что фабрика уже несколько лет приносит убыток. Необходимо увеличить основной капитал, чтобы можно было заменить устаревшее оборудование.

Назначение «операции П.» в том, чтобы доказать новым акционерам, что задуманная реорганизация позволит значительно уменьшить расходы на рабочую силу...

— Я говорю с вами, как говорил бы с членом правления...

Пьеретта снова вскинула голову, собираясь что-то сказать.

— Знаю, — предупредил ее Нортмер, — на это вы мне ответите, что рабочие не желают, чтобы увеличение капитала производилось за их счет...

— Правильно, — сказала Пьеретта.

— Что вам нет никакого дела до мнения наших будущих акционеров... И что интересы рабочих, которых вы здесь представляете, коренным образом расходятся с интересами ПТАО. — Нортмер улыбнулся. — Так ведь?

— Именно так, — подтвердила Пьеретта.

И тоже улыбнулась.

— Видите, мы с вами друг друга отлично понимаем, — сказал Нортмер, снова улыбнувшись.

Пьеретта и на этот раз ответила ему улыбкой.

Этот обмен улыбками, который определил дальнейшее течение ее беседы с Нортмером, стоил Пьеретте долгих размышлений в последующие несколько недель.

Читатель скажет, что у Пьеретты слишком чувствительная совесть, — можно ли так терзаться из-за улыбки? Но Пьеретта впервые в жизни улыбнулась представителю предпринимателей во время деловой беседы. Почему, не раз потом спрашивала себя Пьеретта, почему она ответила ему улыбкой? Когда противник подсказывал ей ее же собственные доводы, это придавало их словесному поединку комический характер, это и впрямь могло показаться смешным. Но Пьеретта хорошо знала, что ее улыбка была вызвана не комизмом положения. Говоря с собой начистоту, Пьеретта вынуждена была признать, что, улыбаясь Нортмеру, она как бы соглашалась с его высоким мнением об ее уме. Она словно говорила ему: «Вы разговариваете со мной, как с противницей, равной вам по уму,

и вы не ошибаетесь, хотя я только работница...» Нобле и другие служащие ПТАО, с которыми ей приходилось скрещивать оружие, пускали против нее в ход либо угрозы, либо хитрость. Нортмер оценил ее по достоинству; когда она отвечала ему улыбкой на улыбку, она как бы говорила: «Мне льстит, что вы признаете меня достойной противницей!» Она позволила ему вовлечь ее в свою игру. Пьеретте хотелось доказать Нортмеру, что она тоже умеет вести игру с изяществом. Она хотела оправдать свое право на уважение. Вот опасность, которая постоянно подстерегает лучших борцов рабочего класса. Вот что постоянно вводит в искушение социал-демократов. Стоит им хоть на мгновенье приостановить беспощадную классовую борьбу, и они тотчас же скатываются в лагерь противника.

«Помилуйте, столько неприятностей из-за улыбки»,— удивится читатель. Когда на ринге два противника тянут за концы каната и уже долгое время стоят друг против друга, крепко уперевшись ногами в землю, достаточно одному из них лишь перевести дыхание или чуть-чуть расслабить мускулы, и он побежден; а ведь исход поединка здесь решает нечто даже меньшее, чем улыбка. На таком же крайнем напряжении идет обычно и борьба между представителями рабочих и предпринимателями.

Нортмер немедленно использовал свое преимущество.

— Ваш ход плохо рассчитан, — сказал он. — Можно выиграть забастовку, добиваясь повышения расценок. Можно выиграть забастовку, защищая делегатов рабочих. Если бы, например, я уволил вас, забастовка под лозунгом «вернуть в цех Пьеретту Амабль» бесспорно закончилась бы победой. Иногда удается выиграть забастовку с политическими требованиями. Но мы не знаем примера забастовки, которая шла бы под лозунгом защиты уборщиц, ночных сторожей, учеников и престарелых и была бы настолько мощной, чтобы завершиться победой. Ведь вы со мной согласны?

Пьеретта не ответила.

— Вы знаете, что эта забастовка, — продолжал Нортмер, — обречена на провал. Не так ли?

Пьеретта не ответила.

— Эта забастовка мне ни к чему, так как я хочу, чтобы «операция П.» прошла гладко. А вам эта забастовка ни к чему потому, что всякая забастовка, которая не приводит к победе, приносит вред рабочим. Но тогда давайте вместе придумаем что-нибудь другое...

Пьеретта попрежнему ничего не отвечала.

— И если уж наши интересы на сей раз совпадают, — продолжал Нортмер, — воспользуемся этим... Ведь это такая редкостная возможность...

И он улыбнулся Пьеретте в третий раз. Казалось, он ясно говорил ей без слов: «Вы человек искушенный, я не стану ломать перед вами комедию о классовом сотрудничестве. Нам с вами хитрить друг с другом бесполезно». И Пьеретта в третий раз ответила Нортмеру улыбкой.

— Гарантирую вам, — поспешил сказать Нортмер, — что при увольнении каждый отдельный случай будет рассматриваться особо и что мы постараемся с избытком возместить рабочему потерю его крохотного заработка... На будущей неделе вернется из отпуска Нобле, он изложит вам наши предложения...

Нортмер встал и отвесил поклон.

Пьеретта тоже поднялась.

— Я сообщу товарищам о нашей беседе, — сказала она.

— Ну, разумеется, — ответил Нортмер. — До свиданья, мадам Амабль.

VI

На следующий день, после смены, Пьеретта подошла к делегатке профсоюза «Форс Увриер»:

— Луиза, мне надо с тобой потолковать.

— А ты все такая же худющая, — сказала Луиза. — Скоро ноги протянешь из-за своей политики...

Луиза Югонне — сорокапятилетняя женщина, ростом в один метр восемьдесят сантиметров — была мастером «Цеха ста». Резинки коротких рукавов ее блузки глубоко врезывались в мощные руки, похожие на красные подушки. И летом и зимой она ездила на фабрику на велосипеде — три километра туда и три обратно. «Толстеть буду меньше», — говорила она.

— Ну-с, — спросила она Пьеретту, — продолжаешь питаться кофе и сигаретами?

— Мне надо с тобой потолковать, — повторила Пьеретта.

— Пойдем, — ответила Луиза, — угощу-ка я тебя стаканчиком.

— Что ж, пожалуй, — согласилась Пьеретта.

Своим ярким румянцем Луиза Югонне, бесспорно, была обязана «стаканчикам». Но пьяной ее никто не видел. Она пила, как мужчина, знающий меру. В кафе «Гостиницы для приезжающих», где они с Пьереттой заняли столик, ей всегда подавали одно и то же вино божолэ.

— Почему бы тебе, — заговорила она, — не заглянуть ко мне в воскресенье, понятно, вместе с твоим милягой-макаронщиком... Поставлю я вам на стол горшок с куриным бульоном... А для начала жареную колбасу. Как ты насчет этого? Любишь? Жан-Пьер, верно, наловит нам несколько штук форелей... Надо тебе жирку набираться... Но послушай-ка... Что это у тебя за глаза, чудные какие-то? Веки набухли... Уж не ждешь ли ты прибавления семейства?

— Жду, — ответила Пьеретта.

— Ох, как я рада за тебя, ну до чего же рада!

— Мы не нарочно, — сказала Пьеретта.

— Молчи. Это как раз то, что тебе нужно. Ты станешь совсем другой женщиной. Давно пора и о себе подумать. О себе, о своем муже, о ребеночке... Так как же, уговорились? Вы у меня в воскресенье... Надо же такое дело вспрыснуть!

— В воскресенье я иду в Объединение профсоюзов департамента по поводу «операции П.»... Я и с тобой об этом хотела поговорить.

— Да полно тебе, ведь ты ждешь ребеночка! Уверена, что ты даже не знаешь, где он у тебя спать будет. И о чем только ты думаешь! О том, чтобы драться за Жермен, за пьянчужку этакую, которая тебя же поносит за то, что ты живешь с мака́? Или чтобы спасать Гюстава, который до того подслеповат, что больше стекла бьет, чем вставляет. Да ему место уже в богадельне! Или, может, ты хочешь спасать девчонок, которые за тем только и ходят на фабричонку, чтобы иметь деньги на губную помаду, и строят глазки твоему милому, когда он приходит за тобой в цех? Уж кому, как не мне, знать их штучки... Пора, пора образумиться...

Луизе Югонне досталось в наследство пять гектаров хорошей земли в трех километрах от Клюзо, на берегу Желины, в том месте, где ущелье расширяется. Муж Луизы сам обрабатывал их маленькую усадьбу. У них были четыре коровы; жалованье мастера дало Луизе возможность купить сельскохозяйственные орудия и грузовичок. Когда Луиза была еще работницей и обслуживала станок, она вступила в ВКТ и проявила себя как очень активный член профсоюза; она даже попрекала других работниц за то, что они недотепы, Луиза была такой здоровячкой, что у нее после восьмичасового рабочего дня с избытком хватало сил и для профсоюзной

работы: ей нравилось спорить с инженерами. Но судьба вела себя с ней столь обходительно, что Луиза не могла понять, почему бы и ей самой, в конце концов, не стать немного обходительнее с хозяевами. В момент раскола она совершенно естественно возглавила группировку «Форс Увриер», где ее деятельность больше не сковывали «политики». А через несколько месяцев она нашла вполне естественным, что дирекция фабрики назначила ее мастером, оценив по заслугам ее организаторские таланты.

Она и восхищалась Пьереттой и презирала ее непримиримость. «Счастье, что есть такие, как ты», — порой говорила она. Но то, что Пьеретта добровольно взяла на себя всю тяжесть борьбы, Луиза воспринимала как недостаток здравого смысла, как некую умственную неполноценность; и вот она подсылала к ней своего мужа то с картошкой, то со свежими овощами, то с цыпленком или с гусем, а не то и с окороком; таким способом она отдавала дань восхищения героизму, но пыталась в то же время низвести героиню до своего уровня, прививая ей свой собственный порок — чревоугодие.

На собраниях Луиза Югонне выступала против коммунистов, повторяя доводы, почерпнутые из брошюр, которые посылала ей «Форс Увриер»; но когда Пьеретта предлагала ей внести деньги на строительство коммунистического клуба в главном городе департамента, на общество взаимопомощи либо на коммунистическую прессу, Луиза неизменно давала больше всех. В момент ареста Жака Дюкло она отказалась подписать протест, но в то же время, когда в Клюзо считали, что коммунистическая партия будет запрещена, она сказала Пьеретте: «Если у тебя или у твоих ребят будут неприятности, рассчитывайте на мой дом; вот уж где жандармам меньше всего вздумается вас искать». Во Франции 195... года такие противоречия встречались необычайно часто.

Но в тот день она наотрез отказалась от всякого совместного выступления с Пьереттой против «операции П.» или в защиту уволенных.

— Хочешь, — предложила она, — я устрою тебя в цех П. Там уже прибавили жалованье; тебе, в твоем положении, это так нужно... Не будь дурой... Ты у другой работницы кусок изо рта не отнимаешь, зато кое-что урвешь у хозяина.

И под конец прикрикнула на Пьеретту:

— Да ешь ты! Ешь же! Теперь тебе надо есть за двоих...

* * *

15 октября никто из уволенных не явился на фабрику.

Даже бюро ВКТ — вопреки возражениям Пьеретты — постановило принять компромиссные предложения Нобле.

При содействии ПТАО стекольщика Гюстава поместили в богадельню, хотя он еще не достиг соответствующего возраста. Жермен пристроили уборщицей к инженерам. По соглашению с ведомством путей сообщения мэрия приняла уволенных чернорабочих на строительство новой проселочной дороги. Семьи уволенных подростков должны были в течение года получать небольшое пособие на обучение их ремеслу. Помощник счетовода поступил на службу в детский лагерь, организованный ПТАО.

Оба калабрийца и алжирец уехали в Лион на поиски работы. Никому до них не было дела: приехали они невесть откуда, пускай и проваливают, куда глаза глядят. Обычно Пьеретта боролась против проявлений шовинизма, которым были заражены многие ее товарищи. Но на этот раз она не решилась вмешиваться, боясь, как бы не заподозрили ее в пристрастии — ведь она живет с Бомаском.

Ее беременность снова вступила в тяжелый период. На нее находило какое-то оцепенение; тогда ее преследовал кошмар: она переходит вброд

грязную речонку: юркие, скользкие рыбы плавают вокруг нее, задевая голые ноги. Бомаск каждый вечер возвращался домой все позже и позже, валился в плетеное кресло и молчал. Пьеретта думала, что ему, вероятно, опостылела его работа, что на него нашла тоска по родине. «Надо будет заняться этим потом, когда родится ребенок». Она бессознательно искала повода уехать из Клюзо, мечтала о Генуе, об исполинских подъемных кранах «Ансальдо», над которыми реют красные флаги.

Бомаск говорил ей, что забирается далеко в глушь, когда ходит с Филиппом Летурно ловить форелей, поэтому-то и возвращается поздно. Пьеретте не нравились частые встречи Бомаска с Филиппом, но она ничего ему не сказала, не зная, чем объяснить свое недовольство. Однажды вечером, когда он принес ей форели, которые были необыкновенно похожи на рыб из ее кошмара, навеянного беременностью, она со злостью вышвырнула их за окно и расплакалась.

* * *

Ячейка фабрики, секретарем которой была Пьеретта, собралась за две недели до пуска цеха П. В 1946 и 1947 годах собрания происходили еженедельно, теперь же только раз в месяц. В октябре собрание откладывали дважды: один раз из-за сбора винограда, на котором были заняты многие работницы, а второй раз из-за того, что назначенный день совпал с храмовым праздником в соседней коммуне.

В этот, третий раз Пьеретта не только разослала повестки на дом всем двадцати трем членам ячейки, подчеркнув особую важность собрания и упомянув, что будет присутствовать секретарь секции, но и напомнила во время обеденного перерыва в цехах каждому из товарищей; почти все обещали прийти; на личную просьбу Пьеретты редко отвечали отказом; увертки изобретались уже потом.

Собрания ячейки происходили в отдельном зале кафе, хозяин которого сочувствовал коммунистам; Пьеретта и Миньо пришли туда в назначенный час, ровно в половине девятого.

В девять часов явилась казначейша ячейки — работница из цеха Пьеретты, прослужившая тридцать лет на фабрике; она надела очки и разложила перед собой бланки, марки, учетные карточки. Миньо перечитывал текст приготовленного им выступления. Пьеретта сидела у печки, накинув на плечи черную шерстяную шаль.

Никто не пришел до десяти часов. Казначейша задремала, положив голову на руки. За все время Пьеретта не проронила ни слова. Миньо шагал взад и вперед по комнате, заложив руки за спину.

В десять часов пришла молоденькая работница. Она бесшумно открыла дверь, боясь помешать. Пьеретта подняла на нее глаза.

— Я зашла извиниться, что не могу присутствовать, — сказала вошедшая.

Она окинула беглым взглядом комнату.

— Да у вас уже все кончилось, — заметила она.

Казначейша проснулась.

— Погоди, — заторопилась она, — я выйду с тобой.

Обе женщины ушли.

— Почему товарищи перестали ходить на собрания? — спросил Миньо.

— А я почем знаю, — ответила Пьеретта.

Она попрежнему сидела, прижавшись к печке и закутавшись в черную шаль.

— Не думаешь ли ты, — сказал Миньо, — что товарищи стали тебе меньше доверять с тех пор, как ты сошлась с Бомаском? Вы ведь не женаты. Я-то хорошо знаю, что вы живете честно, как муж с женой... Но

руководящие товарищи обязаны быть безупречными в своей личной жизни.

Пьеретта порывисто вскочила.

— Ну, знаешь, ты просто дурак! Нет, ты действительно дурак.

И она стремительно вышла.

На следующий день Маргарита ждала Пьеретту у выхода из цеха. Они возвращались в поселок рука об руку. Маргарита была необычно молчалива. «Какую еще новую, большую глупость она выкинула, — спрашивала себя Пьеретта, — если так долго не решается мне в ней признаваться?»

— Знаешь, — начала Маргарита, — мне нужно тебе сказать...

Она не договорила.

«Так я и думала», — сказала себе Пьеретта. При всем своем жизненном опыте Маргарита была поразительно легкомысленна. Несколько раз ее похождения едва не кончились для нее трагически. Пьеретта не переставала удивляться тому, что воспоминания об операционном столе еще не отбили у ее подруги охоту к любовным утехам. Пьеретта прижала к себе локоть Маргариты и наклонилась к ней, готовая выслушать исповедь.

— Ты на меня будешь ужасно сердиться, — сказала Маргарита.

— Рассказывай, — мягко ответила Пьеретта.

Никогда она еще не чувствовала такой нежности к подруге, как сейчас. Пьеретта подумала о том, что у нее есть много товарищей в Клюзо и во всем мире, — хороших, не очень хороших, плохих, есть еще несколько чудесных товарищей, которых она не знала лично или видела только мельком, но чьи славные дела ей были известны из книг. А подруга у нее только одна — Маргарита. Хорошо, когда у тебя есть подруга!

— Я боюсь тебя огорчить, — сказала Маргарита.

— Рассказывай, — повторила Пьеретта.

— Ну, ладно, вот что: я просила перевести меня в цех П.

Пьеретта ничего не ответила.

— Я знаю, что это нехорошо, — сказала Маргарита.

В июне, когда начались толки об «операции П.», Пьеретта выступила во время обеденного перерыва с кратким словом к своим товаркам. Она предупредила их, что дирекция будет усиленно стараться переманить в цех П. каждую из них. «Наш цех единственный, где ткачиха обслуживает только один станок: наш цех — **железный цех**. Мы те, кто никогда не уступает, кого Нобле и ПТАО боятся. Они пойдут на все, чтобы расколоть наше единство». Затем Пьеретта предоставила им свободу выбора. Работницы единодушно решили отказаться от любых предложений администрации. Горделивая память о победах, одержанных за многие годы, была коллективным достоянием цеха.

— Понимаешь, — говорила Маргарита, — понимаешь, я не хочу больше гнить здесь заживо. Парижские родственники меня, верно, никогда не вызовут к себе. Не верю я больше в их обещания. Надо их поставить перед фактом. Проработав три месяца в цехе П., я отложу тридцать тысяч франков. С тридцатью бумажками в кармане можно поехать в Париж и там переждать...

Пьеретте только двадцать пять лет, но за плечами у нее восемь лет профсоюзной и политической борьбы. Предательство больше не может поразить ее. Уже стало далеким прошлым то время, когда Пьеретту смущало, что великий и самый любимый ее писатель, так страстно веривший в будущее человека, смело выбрал себе псевдоним «Горький». Пока она

слушала Маргариту, у нее только чуть-чуть опустились уголки губ, — вот и все.

— Ты меня ненавидишь? — спросила Маргарита, которая приготовилась к упрекам, но не к такому молчанию.

— Что ты будешь делать в Париже с тридцатью тысячами франков? — ответила Пьеретта вопросом на вопрос.

Она даже не огорчилась. Она только вдруг почувствовала всем телом, что устала немного больше, чем вчера, чем позавчера, чем во все эти дни, проведенные в борьбе, и что победа еще так далека, так бесконечно далека... Земля поплыла у нее из-под ног, и Пьеретта ухватилась за плечо Маргариты.

— Что это, что с тобой? — испугалась Маргарита.

— Ничего, — ответила Пьеретта, — это от беременности.

* * *

В то же самое время Миньо шел с почты домой. Он сделал крюк, чтобы посмотреть, как ведутся приготовления к пуску цеха П.

Бывший «Цех ста» был построен Франсуа Летурно на участке, купленном у муниципалитета; он примыкал к левой набережной Желины. Цех отделялся от реки только стеной, утыканной битым стеклом, которая окружала всю фабрику, и проездом для грузовиков, доставлявших продукцию из одного цеха в другой.

Заведующий отделом рекламы ПТАО приказал снести эту стену перед фасадом цеха. У открывшегося проема возвели два столба и соединили их огромным транспарантом, на котором буквами в рост человека было написано:

Операция повышения производительности
ПТАО — Филипп Летурно

В стене цеха пробили две огромные двери; красная надпись на белом фоне на одной из них гласила «Вход», на другой — «Выход».

Жителям Клюзо был открыт доступ в цех в любое время; для зрителей оставили проход между обеими дверями, отгороженный алыми шнурами. Для инженера Таллаграна, руководившего «операцией», соорудили на возвышении застекленную будку, напоминавшую капитанский мостик. Американские и немецкие техники распоряжались установкой новых станков. Они говорили дерзости девушкам, которые целый день вертелись взад и вперед в проходе между алыми шнурами, но так как эти дерзости произносились на чужом языке, то девушки смеялись, думая, что с ними любезничают.

Асфальт между цехом и площадью удалили, чтобы на этом месте разбить сад. Садовниками руководила мадам Таллагран в вельветовых штанах и клетчатой ковбойке с сигаретой в зубах. В память о романе Колдуэлла «Акр господа бога», который она считала очень забавным, мадам Таллагран просила, чтобы вся стена была увита вьюнком; вызванный ею агроном разъяснил ей, что, несмотря ни на какие удобрения — он-то хорошо знает, что ПТАО не поскупилось бы на несколько килограммов селитры,— и ни на какие последние достижения в агротехнике, побеги вьюнка не успеют покрыть стену к моменту пуска цеха: вьюнок нужно сажать весной. Мадам Таллагран пришлось удовлетвориться взятыми в садоводстве цветущими олеандрами; деревья привезли в кадках на грузовиках, и кадки врыли и сверху засыпали землей, чтобы казалось, будто деревья выросли здесь.

Вокруг кадок стали накладывать пласты дерна, поливать и подстригать газоны. Газоном ведала Раймонда Миньо. Фредерику об этом было

неизвестно. Когда он увидел, как его жена в вельветовых штанах и с сигаретой в зубах — точь-в-точь мадам Таллагран — отдает распоряжения садовникам, то воскликнул, схватив Раймонду за лямку ее рабочего комбинезона:

— А ты что здесь делаешь?

Раймонда грубо вырвалась. Она была сильнее мужа.

— Не видишь, что ли! Мадам Таллагран обратилась с призывом ко всем женщинам помочь ей...

— Какая роскошь, — добавила она, — пересаживать траву как тепличное растение...

Окружающие наблюдали за ними. Раймонда смотрела на мужа с вызовом, в ожидании сцены. Раймонда была страстной сторонницей партии мадам Таллагран (в данную минуту та не спеша приближалась к ним с деланно равнодушным видом), сторонницей партии местных дам, которые, наконец, приблизили ее к себе. Раймонда рассмеялась злым, наглым смехом.

— Я стараюсь для твоих же товарищей-рабочих. Им ни в чем не отказывают. Может, они будут меньше бездельничать, если их окружат цветами...

Мадам Таллагран расхохоталась в унисон с Раймондой. Садовники пересмеивались: они презирали обеих женщин. Но Миньо подумал, что это относится к нему, секретарю секции компартии, который неспособен заставить собственную жену уважать рабочий класс.

Он повернулся спиной к обеим дамам и пошел к Пьеретте.

* * *

Пьеретта только что вошла в дом. Бомаск уже сидел в плетеном кресле.

Он едва посмотрел на нее, но она уловила муть, застилавшую его взгляд. Пьеретта хорошо знала, что это значит — к концу своей жизни ее отец стал пьяницей.

И Пьеретта сразу же поняла, что последние две недели Бомаск каждый вечер приходил пьяным. Она почувствовала укоры совести, что не замечала раньше его состояния. Но ей показалось это странным: не в характере Бомаска пьянство.

— С чего ты запил? — спросила она.

— Каждый развлекается по-своему, — ответил Бомаск.

— Что у тебя на уме? — спросила она опять.

Она разговаривала с ним таким же тоном, каким когда-то разговаривала ее мать с отцом: тоном терпеливой сиделки, жалостливой, но изнемогающей под бременем взятой на себя непосильной задачи.

Женщины в Клюзо с детства знают, как разговаривать с пьяницей. Цеха прядильно-ткацкой фабрики, контора дирекции, звонок к м-ль Летурно, холодные дома поселка, прилепившегося к скале, муж, который «вдруг запил», — таковы неразрывно связанные между собой элементы среды, к которой женщина должна приспособиться, чтобы выжить.

— Что у тебя на душе? — спросила Пьеретта снова.

В эту минуту вошел Миньо.

— Пьеретта, — начал он, — прости меня за то, что я наговорил тебе вчера...

— Так ты одумался, — сказала Пьеретта.

— Я не имею права вмешиваться в личную жизнь других, если не знаю даже, что делается в моем доме.

И Миньо тут же принялся рассказывать, как застал жену в тот момент, когда она принимала участие в подготовке «операции П.».

— Все жены одинаковы, все они потаскушки, — сказал Бомаск.

— Моя-то, да! — ответил Миньо.

— Все они такие.

— Не обращай на него внимания, он пьян, — сказала Пьеретта.

Миньо переводил взгляд с Пьеретты на Бомаска.

— Так вы тоже, — прошептал он, — вы тоже...

Миньо подошел к окну. На голых скалах, как лохмотья, повисли рваные тучи. Начинало моросить. Под окном прошла рабочая семья, возвращаясь с осмотра цеха П.; впереди, заложив руки за спину, шагал угрюмый муж, в двух шагах за ним следовала жена, таща за собой четырех детишек; самый младший плелся сзади, с трудом поспевая за ними, оступаясь и плача. Проехал грузовик ПТАО, за которым взвился фонтан жидкой грязи. Рабочий остановился, послал шоферу вдогонку ругательство и снова зашагал, еще больше понурясь, еще больше насупив брови. Жена его отерла лицо тыльной стороной руки.

— Не могу я больше жить в этой щели! — воскликнул Миньо.

— У всех жены — потаскушки, — повторил Бомаск. — Слушай меня, Миньо, я знаю, что говорю.

Миньо снова обвел взглядом Бомаска и Пьеретту.

— И вы тоже... — сказал он.

И вышел, не добавив ни слова.

— Чего он тебе наговорил вчера, что сегодня должен просить прощенья? — спросил Бомаск.

— Скажу тебе, когда протрезвишься.

— Не нравится мне твой товарищ Миньо.

— Ты ему тоже.

— Я не желаю видеть этого парня у нас в доме, — сказал Бомаск.

— В своем доме я еще хозяйка.

Бомаск поднялся с кресла.

— Вот я покажу тебе, — проговорил он, — как у нас обращаются с такими женщинами, как ты...

Пьеретта пошла прямо на него и, приблизив лицо к его лицу, сказала:

— Ну-ка, ступай, проспись!

Она указала пальцем на дверь. Ее глаза пылали. Никогда еще Бомаску не казались такими огромными большие черные глаза Пьеретты.

— Прости меня, — сказал он.

— Иди спать, — ответила она.

Бомаск, пошатываясь, пошел к двери спальни. На пороге он обернулся.

— Я тоже не могу больше жить в этой щели, — сказал он.

— А я? — крикнула Пьеретта. — Ты когда-нибудь задумывался над тем, приятно ли мне проводить здесь всю молодость, стараясь расшевелить людей, у которых вместо души пар?

Бомаск перешагнул порог спальни. Пьеретта захлопнула за ним дверь, затем распахнула окно и облокотилась на железные перильца, окружавшие оконный проем. Клочья туч оседали над городом. Спускалась ночь. Большинство лавок было заперто. Только в кафе, откуда доносился гул голосов, еще горели огни. Вскоре Пьеретта озябла. Она приоткрыла дверь и заглянула в спальню: Бомаск уснул на постели не раздеваясь. Он храпел.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Открытие цеха П. и передвижной выставки американских профсоюзов должно было состояться в четверг последней недели октября.

В понедельник почти все рабочее население Клюзо получило заказ-

ные письма со штампом: «ПТАО, главная дирекция, Лион». Писем было такое множество, что почтальоны кончили их разносить только к вечеру. Свыше сорока процентов писем извещали об увольнении, остальные — о сокращении рабочей недели с сорока до тридцати двух и даже до тридцати часов.

Вторник. Утро.

Во вторник утром большинство работниц и рабочих смены, начинавшей с восьми часов утра, собралось за полчаса до гудка перед раздвижной решеткой у входа в табельную. Все показывали друг другу полученные письма.

Служащие тоже пришли заранее, хотя увольнения коснулись только очень немногих из них. Но им не терпелось повидать друг друга, посоветоваться, обсудить, что произошло и что может произойти еще. Они торопливо входили в маленькую дверь для служащих рядом с входом в табельную. Стоя у окон верхних этажей, служащие наблюдали, как быстро росла толпа рабочих.

Нобле узнал об увольнениях и о сокращении рабочей недели только накануне вечером из секретного письма главной дирекции. С семи часов утра Нобле уже находился в своем кабинете. К семи тридцати он успел трижды позвонить по телефону в Лион, но никого, кроме швейцара, не застал.

— Надо было бы сразу отпереть решетку, пока они еще не взбеленились, — сказала секретарша, пришедшая, как и Нобле, до начала рабочего дня.

Обычно раздвижную решетку у входа в табельную отпирали с первым гудком, без десяти минут восемь. В восемь часов две минуты ее запирали, сразу же после второго гудка. Опоздавшие входили в дверь для служащих и отмечались у сторожа-горбуна.

Нобле в ответ пожал плечами. Он читал и перечитывал списки уволенных и ничего не понимал. Три дня назад он виделся с Нортмером, но тот не поставил его в известность о предстоящих увольнениях.

Мужчины собрались на той стороне площади, где стоят жилые дома; механики и сборщики машин держались особняком, маленькими кучками, чернорабочие — все вместе. Остальную часть площади занимали женщины. Несколько парней, опершись на свои велосипеды, болтали с девушками. Из толпы доносился нарастающий гул. Когда показался руководитель «операции П.» инженер Таллагран, его встретили улюлюканием.

— Эй ты, «пе», «пе», «пе», — крикнула вдруг какая-то женщина.

— «Пе», «пе», — подхватили мужчины.

— Опе... опе... операция «пе», — загудела площадь, и через минуту все голоса слились в оглушительную какофонию. Служащие выглядывали из окон.

Пьеретта Амабль появилась без четверти восемь в сопровождении делегата сборщиков машин и делегата чернорабочих, зашедших за ней домой. Толпа расступилась, давая им проход. Вслед Пьеретте повторяли:

— А ведь она права была, так и вышло, как она говорила.

Подъехала на велосипеде Луиза Югонне, но направилась не в гараж, как обычно, а к Пьеретте, беспрерывно звоня, чтобы расчистить себе путь.

Луиза, Пьеретта и оба делегата несколько минут совещались.

— ПТАО думает, что на него управы нет, — говорила Луиза, взяв Пьеретту под руку. — Но мы им покажем, из какого мы теста!

Их окружили тесным кольцом. Люди старались услышать хоть краем уха, о чем они толкуют.

Заревел гудок, и горбун отодвинул решетку у входа в табельную. Несколько рабочих вошли внутрь, но толпа осталась стоять на площади.

Пьеретта, Луиза Югонне и двое мужчин-делегатов торопливо составляли план действий. К ним присоединилось несколько цеховых делегатов. Раздался второй гудок, какая-то молоденькая работница бегом пустилась в цех. Никто больше не тронулся с места. Горбун держал руку на решетке, не задвигая ее.

Делегаты пересекли площадь, направляясь к решетке.

— Сейчас поговорим, — повторяли они на ходу, прокладывая себе дорогу.

Делегаты поднялись на три ступеньки крыльца перед входом в табельную и повернулись лицом к толпе.

— Говори первая, — сказала Пьеретта Луизе Югонне

— Нет, — ответила Луиза, — они ждут твоего слова.

Толпа начала скандировать:

— Пье-рет-та! Пье-рет-та!

Пьеретта подняла руку, давая понять, что хочет говорить. Сразу же воцарилась тишина.

— Вот что решили ваши делегаты, — сказала Пьеретта. — Мы выйдем на свои рабочие места...

— Нет, нет, — зашумели голоса.

— ...чтобы собрать все повестки об увольнении и сокращении рабочей недели... Вы их сдадите своим цеховым делегатам.

— Забастовка! Забастовка! — кричали голоса.

— Когда все повестки будут собраны, — продолжала Пьеретта, — ваши делегаты пойдут в дирекцию. А пока пусть каждый цех решит, считает ли он нужным бастовать немедленно. В одиннадцать часов всем надо быть здесь на площади!

Время было выбрано удачно, в этот час выходит на работу дневная смена. Между одиннадцатью и двенадцатью на фабрике находятся все рабочие.

Толпа зааплодировала.

— Вы попросите товарищей из второй смены не входить на фабрику.

Толпа зааплодировала еще громче.

— В одиннадцать часов, — продолжала Пьеретта, — ваши делегаты доложат вам здесь на площади о своих переговорах с дирекцией, и тогда мы все вместе решим, какой ответ нам следует дать.

Гул одобрительных возгласов.

Затем слово взяла Луиза Югонне.

— Профсоюз «Форс Увриер» полностью согласен с ВКТ, — заявила она. — Мы вместе пойдем в дирекцию.

— Ты нас не спрашивала, — возразил другой делегат «Форс Увриер», столяр, который был известен, как подголосок Нобле.

Толпа заулюлюкала.

Столяр пожал плечами и прошел на фабрику.

— Все здесь, ровно в одиннадцать! — крикнула Луиза Югонне. — А я лично вам советую бастовать немедленно!

Толпа ответила долго несмолкавшими аплодисментами.

Горбун исчез. Он задвинул решетку только после того, как все вошли. Была половина девятого.

Пьеретта обошла всю фабрику, перед тем как пройти в свой цех, в «железный цех», который единодушно решил прекратить работу. Пьеретту всюду встречали возгласами:

— Привет Пьеретте! Держись, Пьеретта! Не сдавайся! Мы все с тобой!

Затем все делегаты отправились в дирекцию. Их было четырнадцать. Они уверенным шагом взошли по ступенькам каменной лестницы.

* * *

Инженер Таллагран и заведующий отделом рекламы ПТАО Гаспар Озе, прибывший в Клюзо, чтобы подготовить открытие цеха П., встретились в кабинете Нобле. Нобле услышал гулкий топот ног приближавшихся делегатов. Долголетний опыт выработал у Нобле способность определять на слух, по шагам рабочей делегации, раздающимся на лестнице, велико ли брожение умов на фабрике.

— На этот раз, — сказал Нобле инженерам, — мы так легко не отделаемся.

И приказал секретарше:

— Впустить их немедленно!

Пьеретта положила перед ним на стол кипу заказных писем.

— Рабочие не желают считаться с ними.

Нобле развел руками.

— Я знаю об увольнениях не больше вашего.

Он не скрыл от делегатов, что дирекция не поставила его в известность о принятых решениях. Нобле показал на лежавшие перед ним списки уволенных, прибывшие накануне вечером, и выразил готовность сличить эти списки с письмами, принесенными делегатами. Нобле добавил, что с семи часов утра пытался вызвать по телефону главную дирекцию и только сейчас ему удалось соединиться с Нортмером, который подтвердил приказ об увольнениях, отказавшись от дальнейших объяснений.

— Нечего сказать, хороша ваша «операция П.», — сказала Луиза Югонне.

— Это ваш единственный шанс на работу, — поспешил возразить инженер Таллагран, — при настоящих условиях фабрика работает в убыток... В конечном счете все население Клюзо выиграет...

— А что мы будем жрать до тех пор? — ответил один из делегатов.

— А наши дети? — добавил делегат христианского профсоюза.

Остальные делегаты ждали, что скажет Пьеретта. Она ответила Таллаграну:

— Мы не принимаем ни увольнений, ни сокращения рабочей недели. Мы будем просить наших товарищей бастовать до тех пор, пока ПТАО не отменит своего решения.

Нобле беспомощно развел руками.

— Как бы вам не получить по башке, если будете валять дурака, — сказал Таллагран.

— Пожалуйста, не вмешивайтесь, — остановил его Нобле. — Переговоры с рабочими — мое дело.

— А что думает о принятых мерах директор по кадрам? — спросила Луиза Югонне.

— Он спит, — ответил Нобле.

Нобле посылал за Филиппом швейцара дирекции, но Филипп не впустил его, не желая ничего слушать, и крикнул из-за запертых ставен: «Оставьте меня в покое».

Пьеретта дала знак делегатам уходить.

* * *

Как только рабочие ушли, Нобле сказал:

— Надо отложить пуск цеха П.

Таллагран горячо упрекал Нобле в мягкотелости и «потворстве зачинщикам беспорядков».

Нобле обратился к Гаспару Озе:

— Увольнение за три дня до торжественного пуска нового цеха яв-

ляется провокацией, к которой я не желаю иметь касательства. Если дирекция будет упорствовать в своем решении, я не поручусь, что в четверг не произойдет потасовки... Я своих людей знаю...

Гаспар Озе присоединился к мнению Нобле. Он даже еще сгустил краски. Вся его инсценировка проваливалась. Он тщетно старался понять, с какой целью главная дирекция столь неожиданно ввела в его театральное действо хор недовольных рабочих.

Озе и Нобле позвонили по телефону Нортмеру и доложили ему о положении вещей: в десять часов утра большинство цехов бастует и т. д.

— Пуск состоится в назначенный день,— ответил Нортмер и положил трубку.

* * *

— Я хочу есть,— сказала Пьеретта, выходя из дирекции.

— Наконец-то! — ответила Луиза Югонне.

Им предстояло вернуться на фабрику, и они решили сперва закусить и выпить по стакану божолэ в «Гостинице для приезжающих».

— А знаешь, тебя очень любят,— сказала Луиза.

«Это правда»,— подумала Пьеретта. Те же самые ее товарки, которые последнее время избегали оставаться с ней с глазу на глаз, боясь вопросов «в лоб»: «Что ты предприняла против «операции П.»? Сколько девушек в твоем цехе согласятся на забастовку? На какой день ты созываешь собрание?» — сегодня утром прибежали к ней и просили взять решение их судьбы в свои руки.

— Они доверяют партии,— ответила Пьеретта.

— И тебе,— сказала Луиза.

«И это правда»,— подумала Пьеретта; для того чтобы повести за собой массу, недостаточно быть дисциплинированным коммунистом и повторять партийные лозунги. Нужно доказать, что у тебя есть мужество, и Пьеретта с радостью сознавала, что ее никогда не покидало мужество.

— Девушки верят именно тебе,— настаивала Луиза.

— Это правда,— сказала Пьеретта.

Довольно долго они ели молча. Это тоже было приятно—передышка.

— Твой мака все еще пьет? — спросила Луиза, которая знала все, что делалось в городке.

— Перестал,— ответила Пьеретта.

С того самого вечера, около недели назад, когда он сказал о Миньо «я не желаю больше видеть этого парня у нас в доме», Бомаск прекратил свои ежедневные свиданья с Филиппом, ни разу не заглянул в кабачок. По вечерам, пока Пьеретта сидела над книгой, он строил игрушечный пароходик. Время от времени он бросал на нее угрюмый взгляд, но она не поднимала глаз от книги. Они мало разговаривали друг с другом и ни разу не обмолвились, даже намеком, о своей первой «семейной сцене». Миньо больше не бывал у них, хотя Пьеретта его об этом не просила.

— Да, перестал пить,— ответила Пьеретта Луизе (женщины в Клюзо не стесняются говорить друг с другом о таких вещах).— Но я не знаю, что с ним творится...

Луиза бросила на нее быстрый взгляд.

— Я тебе объясню потом.

— Что ты мне объяснишь?

Пристально посмотрев на нее, Луиза сказала:

— Бомаск честный парень. Теперь, когда ты борешься, он к тебе вернется.

— Я никогда не прекращала борьбы!

— Один в поле не воин, но теперь ты не одна.

Затем они заговорили о будущем стачечном комитете, вдохновительницами которого они становились.

Пьеретта в свою очередь заказала по стакану божолэ. Уже несколько недель она не чувствовала себя такой бодрой.

В одиннадцать часов Пьеретта выступила перед тысячной толпой работниц и рабочих, собравшихся на площади. Пьеретта объяснила им, что «операция П.», выставка американских профсоюзов, раболепная политика французского правительства по отношению к США и увольнения рабочих в Клюзо тесно связаны между собой. За утро гнев в цехах созрел, о чем Пьеретта сказала в своей речи, по опыту зная, что осознать гнев — значит его приумножить. Она предложила рабочим объявить «забастовку до победного конца», а всему населению городка — принять в четверг участие в демонстрации против пуска цеха П. и бойкотировать американскую выставку.

В том же духе говорила и Луиза Югонне.

Все их предложения были встречены гулом одобрения.

После собрания рабочие освистали мадам Таллагран, распоряжавшуюся разбивкой цветника у цеха П.; ей пришлось спешно ретироваться.

Флаги были сорваны, олеандры сломаны. Таллагран во-время запер двери цеха.

* * *

Хозяин кафе, где обычно происходили собрания фабричной ячейки, согласился уступить зал в глубине кафе, довольно большой, под штаб стачечного комитета; в комитет входили представители всех профсоюзов; председателем избрали Пьеретту Амабль.

Она немедленно пришла туда со всеми своими папками. В шесть часов ее навестил Миньо.

— Вот какие решения приняты,— сказала ему Пьеретта.

— Круто же ты заворачиваешь, — удивился Миньо, — притом ни с кем не посоветовавшись.

Его изумляло, что увольнения произошли за три дня до торжественного открытия цеха П.

— Если бы ПТАО хотело вызвать эксцессы, оно именно так должно было бы поступить. Может быть, мы играем ему на руку? Почему ты, прежде чем развязывать забастовку, не запросила профсоюзное объединение департамента? Может быть, там есть сведения, которых у нас здесь, в Клюзо, нет?

— Рабочие, наконец, объединились, чтобы вместе постоять за себя — это главное,— ответила Пьеретта.

— Круто, круто ты загибаешь,— не унимался Миньо,— ты могла бы, по крайней мере, посоветоваться с партией.

— Да, мы загибаем,— сказала Пьеретта,— вся фабрика загибает. И это чудесно, что мы взяли такой крутой поворот. А что было бы, если бы мы ждали до завтра? Тех, кого меньше других коснулись мероприятия ПТАО, разные ловкачи и деляги, могут передумать, прийти к выводу, что они все потеряют, связав свою судьбу с делом товарищей. А теперь, когда выставлены пикеты забастовщиков, даже трусы не посмеют отступиться от общего решения. Мы создали такую обстановку, что нужно больше мужества, чтобы отступиться от рабочих, чем от предпринимателей. Сегодня даже трусость работает на нас...

Пьеретта привела пример: делегат христианского профсоюза только что спросил ее: «А ты не думаешь, что если мы в четверг выйдем на демонстрацию, ПТАО ответит нам локаутом?»

— А сегодня утром он еще был с нами,— сказала Пьеретта. Возможно, что дирекция оказывает на него давление. Он был бы рад найти

себе лазейку. Но его ребятам так пришлись по душе наше собрание и перепалка перед цехом П., что никто за ним не пойдет, если он порвет с нами.

Пьеретта раскрыла школьную тетрадку, в которой ничего еще не записала после измены Маргариты. Теперь Пьеретта составила план боя. Она вывела своим мелким четким почерком:

«Поставить в известность федерацию.

Поднять кампанию в демократической печати».

— Можешь ли ты съездить в центр на своем мотоцикле? — спросила она Миньо

— Могу.

— Когда вернешься, расскажешь, что нам советуют делать товарищи. Если не найдешь меня здесь, зайди к нам домой. В любое время.

— Согласен,— ответил Миньо.

Пьеретта обвела фигурной скобкой две строчки с заданиями, возложенными на Миньо, и приписала:

«Ответственный: Миньо.

Отчитаться: сегодня ночью».

Ниже Пьеретта написала:

«Привлечь к участию в демонстрации железнодорожников из Сент-Мари-дез-Анж».

— Ты можешь туда съездить? — спросила она рабочего Кювро, который безотлучно находился в штабе стачечного комитета с полудня.

— Ясно, могу,— ответил Кювро,— сейчас съезжу. Через пятнадцать минут отходит поезд. Я знаю всех товарищей в депо...

— Отчитаешься завтра утром,— сказала Пьеретта.

Затем она вывела еще одну строчку.

«Составить плакат и листовку».

— Это я беру на себя,— сказала она,— но мне надо будет получить подписи Луизы и христианского делегата.

Пьеретта приписала:

«Ответственная: Амабль».

Кювро собрался уходить.

— По дороге предупреди Жакляра, что он сам и его машина будут нужны комитету до конца четверга,— сказала Пьеретта.— Сегодня вечером он отвезет в типографию А * текст плаката и листовки, а завтра утром заберет их оттуда отпечатанными.

Пьеретта записала:

«Ответственный за печатанье и доставку: Жакляр».

И ниже:

«Расклейка плакатов...»

— Да, да, хорошо, ладно, согласен,— отвечал теперь на все Миньо.

Вторник. Среда.

Во вторник Филипп Летурно обнаружил среди получаемой им скудной корреспонденции бандероль с двумя номерами финансового еженедельника «Эко дю коммерс». Филипп никогда не получал таких газет, поэтому удивился своей находке.

Две заметки были обведены синим карандашом. Первая, опубликованная в середине сентября, гласила:

«Господа англичане!
Первый ход за вами!

Переговоры, которые велись с начала текущего года между группой французских промышленников и банкиров, с одной стороны, и пекинским

* Районная демократическая газета. — *Прим. автора*

правительством — с другой, закончились в августе соглашением о взаимных поставках.

Китай должен был экспортировать во Францию шелк-сырец в обмен на французские паровозы.

Это соглашение позволило бы французской текстильной промышленности, производящей ткани из натурального шелка, преодолеть трудности, испытываемые ею с момента возникновения войны в Корее, в результате резкого повышения цен на шелк-сырец на мировом рынке.

Но после протеста, заявленного посольством США во Франции, французское правительство запретило вывоз в Китай паровозов, как промышленных изделий военного значения.

Пекин тут же передал свой заказ группе англичан, которые поспешили его принять. Британское правительство не препятствует поставкам».

Вторая заметка, опубликованная в последнем номере (от конца октября), была следующего содержания:

«Трения в ПТАО

Итальянцы — главные поставщики французского акционерного общества ПТАО — прекратили свои поставки шелка-сырца, в результате чего ПТАО попало в затруднительное положение.

Повидимому, перед нами развертывается один из этапов борьбы за контроль над ПТАО между двумя конкурирующими группами: Франко-английским банком «В. Амполи и К°» и американской группой Дюран де Шамборов, которая в последние годы приобрела большое количество акций ПТАО и стремится реорганизовать французские предприятия, приспособив их под производство искусственного шелка, вырабатываемого на американских фабриках».

— Какой кретин воображает, что меня интересует эта война акул?— проворчал Филипп.

Было два часа дня. Филипп только что встал. Когда пришла уборщица, он не впустил ее. Филипп старался спать как можно больше — ведь это тоже один из способов убить время. Он швырнул присланные газеты на книжную полку, ему еще ничего не было известно об увольнениях на фабрике и забастовке.

Около недели уже Бомаск не являлся на их ежедневные свидания; Филипп выходил из дому только в кафе, на окраине Клюзо, у Лионского шоссе, где играл в азартные игры. Посетителями этого заведения были только мелкие маклеры, торговцы железным ломом и цеховые мастера.

В свободные часы после обеда официантка принимала посетителей на диване, стоявшем в столовой на втором этаже, между буфетом в стиле Генриха II и креслом, обитым плюшем оливкового цвета. Филипп угощал хозяйку кафе вином, играл на бильярде с мастерами ПТАО и в карты с маклерами. К закрытию кафе он бывал уже настолько пьян, что хозяйка с официанткой провожали его домой закоулками, во избежание скандала.

Официантке еще не исполнилось восемнадцати лет. Декольте у нее было соблазнительное, взгляд наглый. Филипп все чаще и чаще ходил с ней наверх, в столовую. Это походило на неутолимый голод. Девица держала его в ежовых рукавицах, рылась в его бумажнике и карманах, осыпала ругательствами; он бросался на нее, и она не противилась, хотя не переставала осыпать его ругательствами и щипать до крови.

Филипп узнал об увольнениях и забастовке от своего партнера — цехового мастера — во вторник вечером. Филипп успел уже так нагрузиться, что до его сознания эти новости почти не доходили.

В среду, в двенадцатом часу дня, его разбудил дед, постучав в же-

лезные жалюзи. Валерио Амполи с утра тщетно пытался дозвониться по телефону к Филиппу и в конце концов обратился со всяческими извинениями к старику Летурно, прося вызвать Филиппа.

Филипп накинул халат и пошел в замок звонить по телефону в лионский банк.

— Прочел ты газеты, которые я тебе послал? — спросил Амполи.

— Нет. Какие газеты?

— Два номера «Эко дю коммерс».

— Прочел,— ответил Филипп.— Две статьи, отчеркнутые синим карандашом?

— Вот, вот. Я думал, что эти заметки могут заинтересовать твоих друзей,— сказал Амполи.

— Каких друзей?

— Почтового чиновника и ту молодую женщину.

— Ах, этих! Ну да! — пробормотал Филипп.

— Ты с ними еще встречаешься?

— Разумеется.

— Но желательно, чтобы ты не рассказывал им о нашем сегодняшнем разговоре, иначе они отнесутся к тебе с недоверием,— предупредил Амполи.

— Не понимаю,— сказал Филипп.

— Ты вызовешь у них подозрение...

— А! Ну да,— согласился Филипп.

— Как идут дела в Клюзо?

— Плохо.

— Вот как! — сказал Амполи.

Наступила пауза.

— Итак, до четверга...

— Почему до четверга? — спросил Филипп.

— Ну как же! Ты забыл?

— Ах, да! Что ж, до четверга, значит.

— До четверга,— повторил Амполи и положил трубку.

Старик Летурно стоял во время разговора рядом с Филиппом.

— Что вы там еще маклюете? — спросил он.

— Я не маклюю,— ответил Филипп.— Я для этого совершенно непригоден.

— Нечего сказать, работа! — злобно сказал Франсуа Летурно.

Филипп пожал плечами.

— Я никогда не работаю.

Дед смерил Филиппа взглядом с головы до ног.

— Скоро полдень, а ты еще в халате. Будь это в мои времена, я бы тебя уволил, хоть ты мне и внук.

— Я был бы вам весьма обязан,— ответил Филипп

— Ты способен только морить голодом моих рабочих,— продолжал старик.

— Вы обращались с ними не лучше.

— Я считал для себя честью занимать на фабрике возможно большее количество рабочих.

— Был бы бык, а мясо будет!

— А вы,— перебил его старик,— вы будете довольны только тогда, когда вместо людей у вас останутся машины, которые все делают сами.

— Зато вы, когда люди старились и больше не приносили вам барышей, гнали их вон, как старых кляч, которым место на живодерне...

— А ты убиваешь их в расцвете сил,— крикнул старик.

— Кто? Я?

Филипп невольно отступил.

— Я? — повторил он. — Я?.. Неужели же вы до сих пор не поняли, что я за рабочих и против ПТАО!

— Что же ты сделал для них?

— Я, по крайней мере, им не подавал милостыню через свою сестрицу, требуя взамен, чтобы они ходили на исповедь.

— Моя сестра честно исполняла свой долг, помогая мне в меру своих сил.

— Ах, если бы только я был им нужен! — воскликнул Филипп.

— Кому может понадобиться такое ничтожество, как ты? — спросил старик.

— Если бы я был нужен рабочим...

Франсуа Летурно долго молча разглядывал внука, затем сказал:

— Ты еще ничего не понял в жизни. Ты видишь мир вверх дном. Смотришь на него, стоя на голове. Вот что я давно хотел сказать тебе.

И дед произнес целую речь. Филипп слушал его с изумлением. Старик говорил очень громко, делая паузы, брюзжа и уснащая свою речь ругательствами. Вероятно, все это он часто повторял самому себе шопотом, наедине со своими розами. Он признал, что «часто бывал жесток к своим рабочим». Его называли «воинствующим предпринимателем»—таково было его прозвище в те времена. Но ведь ему приходилось отбиваться от конкурентов, которые тоже были жестокими, от банкиров, спекулянтов, биржевиков, финансистов, у которых нет ни стыда, ни совести, ни родины.

В конце концов банкиры доканали его. А теперь они морят голодом его рабочих. Старик подсчитал, что в 1900 году его рабочие могли на свою получку купить больше, чем сейчас. И они меньше тупели после двенадцатичасового рабочего дня, чем теперь, после восьми часов работы в американском темпе.

Банкиры заставили Франсуа Летурно на старости лет возделывать свой садик, словно он железнодорожник на пенсии. Но рабочие — крепкий орешек, банкиры сломают на них зубы. Рабочие-то и делают настоящее дело; если они перестанут управлять машинами, как бы ни старались биржевые спекулянты играть на понижение, чтобы разбогатеть на чужих убытках, они, в конце концов, все равно издохнут — как змея, которая сама себя жалит.

Если б он не был так стар, он, Франсуа Летурно, Летурно Великий, повел бы своих рабочих против этой сволочи без роду и племени, выгнал бы всех тех, кто украл у него и у его рабочих фабрику.

Вот что, с оговорками, повторениями, но примерно в этих выражениях сказал Франсуа Летурно своему внуку; слова «банкиры», «биржевики», «спекулянты» он произносил с таким же презрением, как произносили эти слова его деды — основатели первой сучильной мастерской шелка, приводимой в движение водой Желины.

Филипп вернулся к себе в бывший домик консьержей. Он разыскал номера «Эко дю коммерс», полученные им накануне, и внимательно перечитал заметки, отчеркнутые синим карандашом. Затем он принял холодный душ (оборудованный в одной из комнат по приказу Натали) и ушел пешком в горы, где долго бродил.

В пять часов Филипп вернулся в город и поспешил к Пьеретте Амабль.

Там он застал одного Бомаска, большими шагами ходившего по комнатам. С одной стороны, его обуревало страстное желание принять участие в завтрашней демонстрации вместе с рабочими ПТАО, с другой — отталкивала мысль, что он увидит Миньо рядом с Пьереттой и должен будет обращаться с ним, как с товарищем.

— Где Пьеретта? — спросил Филипп.

— Чего тебе от нее надо?

Филипп помахал газетами:

— У меня для секции есть чрезвычайно важная информация!

С тех пор как Филипп встречался с Бомаском, он усвоил привычку, как и тот, говорить запросто: «секция».

— Пьеретта в штабе комитета, с французскими товарищами,— ответил Бомаск

Филипп побежал в стачечный комитет.

Среда.

О событиях в Клюзо я узнал от Эрнестины.

Когда в среду утром я распахнул окно, Эрнестина подметала крылечко. Той осенью она ходила в брюках, суживающихся книзу, на манер лыжных, и в замшевой курточке.

— Там тоже неладно,— крикнула она.

Эрнестина показала большим пальцем на холмы Клюзо, по ту сторону хребта.

Жюстен получил накануне повестку об увольнении. Он уехал сегодня утром на мотоцикле не на работу, а на собрание, созванное стачечным комитетом. Но победа забастовщиков лично Жюстену была не так уж нужна; он даже чувствовал некоторое удовольствие от того, что вынужден сейчас принять решение, о котором давно мечтал.

Всю ночь Жюстен вслух строил планы: они продадут усадьбу, трактор, обеих коров и уедут в Гренобль или в Лион. В конце концов, он, понятно, найдет себе работу, но не чернорабочего, как в Клюзо, а достойную такого высококвалифицированного механика, каким он себя считал. Эрнестина тоже поступит на завод, и на заработок обоих они будут жить лучше, чем в Гранж-о-Зане.

— Придется мне бросить моих зверушек,— вздохнула Эрнестина, широким жестом указывая вокруг себя. В понятие «зверушки» она включала: коров, овец, ягнят, козу, индюшек, цесарок, одичавших кур и все то, что находилось по ту сторону от замыкавшего двор Эрнестины пейзажа в духе Юбера Робера,— людей и зверей, словом, все, что дышало и жило *на острове*.

«Там *тоже*», — сказала Эрнестина. И это понятно: в Гранж-о-Ване жилось все трудней и трудней. Весенняя засуха прекратилась лишь к сенокосу, а потом пошли дожди—и сено сгнило. Летние грозы побили хлеб; град опустошил виноградники. С наступлением осени окрестные ярмарки наводнил скот, выгнанный на продажу. И в довершение всего, когда закончились работы по электрификации дороги, железнодорожникам Сент-Мари-дез-Анж сообщили, что им предстоит перемещение: паровозное депо закрывается, ремонтные мастерские ликвидируются, а железнодорожных рабочих и служащих переводят в депо и на сортировочные станции соседних департаментов. Большинство крестьянок в Гранж-о-Ване было замужем за железнодорожниками. Пришел конец сравнительному благополучию, которое давало это сочетание двух профессий.

— Жюстен,— говорила мне Эрнестина,— не очень расстраивается, что его уволили. Но и он пойдет завтра на демонстрацию против американцев. Ведь они, словно в насмешку над нами, устраивают как раз сейчас на самом видном месте в Клюзо свою пакостную выставку. Я бы тоже пошла, но Жюстен не велит, потому что я часто простужаюсь, а, говорят, пожарные будут поливать демонстрацию водой. Это американское изобретение, как и атомная бомба. Из-за нее у нас нет ни лета, ни зимы. А самолеты, которые делают так: пшт... От них чахнут наши дубы...

* * *

Я добрался до Клюзо во второй половине дня.

Последние события интересовали меня особенно потому, что я уже почти закончил серию статей о ПТАО. По существу, это был исторический очерк, первоначальный материал для которого дали мне документы, доставленные Филиппом Летурно и Миньо. Я описал первые французские мастерские для сучения шелка, устроенные на берегах Желины, процесс накопления капитала, возникшего на основе эксплуатации труда детей из горных деревушек и «раскаявшихся проституток», соперничество князей шелка, грабеж, банкротство, самоубийства, затем концентрацию производства, проникновение банковского капитала, образование монополий и их постепенное превращение в международные монополии; в конце очерка я говорю о проникновении Америки в Европу и о той роли, которую играет подготовка войны при новом распределении рынков. Роль Дюран-де-Шамборов в американской атомной промышленности достаточно ясно обрисовалась.

Мне указали, как пройти в штаб стачечного комитета. Зал в глубине кафе был закрыт для обычных посетителей. С утра в первой комнате была установлена охрана из членов Союза республиканской молодежи Франции, и Миньо договорился с хозяином кафе, что тот не будет продавать никаких напитков, кроме пива и лимонада. Это не вызвало ничьих возражений.

Из зала вынесли все столы, кроме трех, которые составили в глубине комнаты в форме подковы. Когда я вошел, Пьеретта сидела за средним столом. Перед ней лежала раскрытая школьная тетрадка. Учитель Жакляр докладывал Пьеретте о выполненном поручении.

На стоявшем слева столе один из рабочих делегатов раскладывал плакаты и листовки, привезенные Жакляром.

За третьим столом сидели секретарь федерации Шардонне, Миньо и Луиза Югонне, редактируя текст новой листовки.

На скамьях, стоявших у стен, сидели рабочие и работницы, дожидаясь своей очереди поговорить с председательницей стачечного комитета Пьереттой. Взад и вперед шныряли молодые рабочие, выполняя различные поручения. В комнате плавали густые клубы табачного дыма. Курили все. Кювро свертывал сигареты одну за другой. Перед Пьереттой в пепельнице с рекламой вермута лежала гора окурков. Другие бросали окурки прямо на пол.

Шардонне попросил меня помочь переделать новую листовку, которую должны были распространять завтра на демонстрации. По мнению Шардонне, в тексте, составленном коммунистами Клюзо, недостаточно ясно проводилась связь между местной борьбой и всенародной борьбой за мир и национальную независимость. Кто обрек их на безработицу? ПТАО, связанное с американским трестом Дюран де Шамборов. Рабочие ПТАО — жертвы политики подготовки войны, — именно это надо было подчеркнуть.

Но Луиза Югонне не хотела, чтобы «говорилось о политике» в листовке, которая должна поднимать на борьбу против увольнений и «операций П.», вызвавшей увольнения.

Пьеретта, переговорив с Жакляром, вмешалась в спор. В основном она была согласна с Шардонне. Но Пьеретта считала, что предложенный им текст составлен в слишком общих выражениях, недостаточно четок.

— Товарищ Пьеретта — необыкновенно упрямая женщина,— сказал мне Шардонне.— Но она сделала хорошее дело, осуществила здесь, в Клюзо, единство рабочих...

Шардонне спросил, какого я мнения о его варианте листовки. Я тоже

нашел, что он слишком суховат. Мы принялись вместе с Пьереттой писать новую листовку.

Тут Кювро, утром вернувшийся из Сент-Мари-дез-Анж, стал рассказывать, чего он там добился: железнодорожники обещали принять участие в завтрашней демонстрации, приедут они целой партией в 13 часов поездом. Сегодня вечером они пришлют своих людей, чтобы помочь расклеивать плакаты.

— А кто позаботится о безопасности расклейщиков? — обратилась Пьеретта к Миньо.

— Я имел в виду членов СФП, — ответил Миньо.

— Думаешь, справятся? — спросила Пьеретта.

Товарищ, служивший в префектуре, только что сообщил по телефону, что в Клюзо выехало несколько автобусов с охранниками. Поэтому Пьеретта предпочитала доверить это дело «серьезным товарищам, которые любыми средствами добьются того, чтобы плакаты были расклеены», а не юнцам, способным ввязаться в драку.

— Пьеретта права,— сказал Шардонне.

— Что же ты предлагаешь? — спросил Миньо.

Тут вмешался рабочий Кювро.

— Попросим Визиля организовать группу защиты.

— Вот кого мы здесь еще не видели,— сказала Пьеретта,— но это мысль хорошая.

— Нет, нет, ни за что! — воскликнул Миньо.

Бывший командир партизанского отряда, а сейчас путевой сторож и помощник начальника пожарной охраны — Визиль навел порядок на коммунистическом балу, правда, не без фанфаронства, и выручил Бомаска.

— Да это же анархист,— протестовал Миньо.

— У Визиля сумбур в голове, но зато он не мальчишка,— сказала Пьеретта.

— Ну будет, будет тебе, — перебил ее Миньо, — поворачиваясь к Шардонне.

И он стал перечислять все случаи, когда Визиль нарушил партийную дисциплину.

Шардонне вопросительно посмотрел на Пьеретту.

— Это дело как раз для Визиля.— сказала она.

— Предоставь действовать Пьеретте,— обратился Шардонне к Миньо.

Весь этот вечер Шардонне предоставлял Пьеретте полную инициативу. Конечно, приехал он не с этим намерением. Но Пьеретта всех покорила своей уверенностью, своей манерой внимательно выслушивать, что ей говорят (кем бы ни был говоривший с ней товарищ), своим уменьем изложить в нескольких словах все, даже бессвязно рассказанное, а затем предложить решение удивительно спокойно и ясно, оставляя каждого при убеждении, что она выразила именно его мысль.

Шардонне имел очень смутное представление об особых условиях борьбы в Клюзо. Ему было трудно выступать перед большой аудиторией. Человек по природе холодный, Шардонне не умел зажечь ни отдельных людей, ни толпу. Но он усвоил сначала в партизанском подполье, а затем в секретариате федерации технику руководства людьми, которая заключается преимущественно в том, чтобы не мешать тем, кто стоит на высоте возложенных на них задач, и устранять других спокойно, незаметно, по мере того, как их можно заменить более подходящими людьми. Так действуют крупные полководцы, крупные предприниматели и крупные революционеры.

— Приведи сюда Визиля,— попросила Кювро Пьеретта.

Но тут вошел молодой рабочий из охраны порядка.

— С тобой хочет говорить Летурно,— сказал он Пьеретте.— Что с ним делать?

— Тебе ничего не надо с ним делать,— засмеялась Пьеретта.— Ты должен его либо впустить, либо нет...

— Видно, что прошел школу у Визиля,— проворчал Миньо

— Впусти его,— сказала Пьеретта.

Филипп порывисто распахнул дверь, окинул взглядом прокуренную комнату и направился прямо к Пьеретте.

— Я разыскал для вас кое-что интересное,— сказал он.

И он стал рыться в карманах, набитых бумагами. Филипп носил пиджак в мелкую клетку. Ворот рубашки был распахнут, и на груди виднелся пучок светлых волос.

Филипп несколько секунд тщетно рылся у себя в карманах, затем вытряхнул все бумаги на стол.

С его приходом воцарилась глубокая тишина. Парни из охраны порядка вошли вслед за Филиппом и стояли полукругом в глубине комнаты. Многие работницы встали со скамеек и подошли к столам. Взгляды были устремлены на Филиппа.

Наконец Филипп нашел газеты, которые сложил в несколько раз, так что формат всей пачки был не больше почтового конверта, и неуклюже развернул их.

— Вот,— сказал он,— я отчеркнул синим карандашом то, что может вас заинтересовать.

Пьеретта внимательно прочитала обе заметки. Филипп стоял перед ней, перегнувшись вперед, положив ладони на стол.

— Это как раз то, чего нам не хватало,— сказала Пьеретта, придвигая газеты к Шардонне.— Теперь ты можешь переделать свою листовку.

Миньо приподнялся и стал читать из-за плеча Шардонне.

— Садитесь,— сказала Пьеретта Филиппу.

Рабочий-делегат, который только что раскладывал плакаты, подняв над столом один из стульев, передал его Филиппу, и Филипп, сев лицом к Пьеретте, оказался внутри подковы, образованной тремя столами. За его спиной сомкнулся круг работниц и молодых рабочих.

— Превосходно,— сказал Шардонне.

— Вы читаете финансовые газеты? — спросил Миньо Филиппа.

— Только доставляю их вам! — ответил Филипп.

— Знаете ли вы, чьи интересы защищает «Эко дю коммерс»?

— Понятия не имею.

— Ваши!

Миньо продолжал, обращаясь к Шардонне: — Я уже вчера говорил Пьеретте, что вся эта история кажется мне подозрительной с самого начала. Почему ПТАО не отложила увольнение еще на три дня? Будь у него намерение сорвать пуск цеха П., «операцию ПТАО — Филипп Летурно», оно поступило бы именно так.

Миньо произнес с особым ударением «Филипп Летурно». Он продолжал:

— И вот, кто же дает нам оружие против самого себя? Летурно — собственной персоной.

— Мне надо сказать вам...— начал Филипп.

— Не прерывайте,— прикрикнул на него Миньо.— Но кто такой Филипп Летурно? — продолжал он.— Летурно, во-первых, директор по кадрам фабрики Клюзо, то есть отвечает за увольнения.

— Верно, верно,— отозвались голоса.

Филипп повернул голову и увидел женщин, столпившихся за его спиной.

— Нужно вам сказать...— начал он, обращаясь к Пьеретте.

— Во-вторых,— повысил голос Миньо,— Филипп Летурно — внук Франсуа Летурно, бывшего хозяина фабрики, самого жестокого из всех ее хозяев. В-третьих, Летурно — пасынок Валерио Амполи из банка «Амполи и К⁰», банка, контролирующего почти весь французский шелк. В-четвертых, Филипп Летурно — сын вдовы Прива́-Люба́, невестки Джеймса Дюран де Шамбора, главного акционера американского треста атомной энергии.

— Вам это стало известно от меня,— вставил Филипп.

— Не мешайте! Итак, мне кажется, что у нас есть все основания считать Филиппа Летурно провокатором и соответственно отнестись к его информации.

— Я вполне согласна с Миньо,— сказала Луиза Югонне и повернулась к Филиппу: — Чего тебе здесь надо?

— Вон,— крикнуло несколько голосов.

— Ступай домой, к дедушке, — крикнула какая-то женщина.

— К мамаше! — крикнула другая.

— Дать ему пинка в зад, пускай убирается к янки! — заключил какой-то парень.

Я увидел, как на лбу Филиппа выступили капли пота. Он понурился, потом резко поднял голову и хлопнул ладонью по газетам:

— Чорт побери! Разрешите, я вам все объясню...

— Не надо,— мягко остановила его Пьеретта.— Мы все отлично поняли.

И она улыбнулась. Меня поразила ее улыбка — столько в ней было доброты. В тот день, в тот момент я начал понимать Пьеретту.

— Дайте нам спокойно поговорить,— повернулась она к столпившимся вокруг столика рабочим.

Раздались недовольные голоса.

— У нас не общее собрание,— сказала Пьеретта,— а всего-навсего подготовительное совещание стачечного комитета.

Наступила тишина.

— Откуда у вас эти газеты? — тихо спросила Пьеретта у Филиппа.

— Мне дал их Валерио Амполи, мой отчим.

— Статьи уже были обведены карандашом?

— Да.

— Он путает карты! — воскликнул Миньо.— Только что он уверял, будто сам их отчеркнул...

— Он говорит правду,— спокойно прервала Пьеретта, и снова обратилась к Филиппу:

— Других поручений отчим вам не давал?

— Нет.

— Ну что ж, остается только поблагодарить вас за оказанную нам услугу.

Филипп встал и пожал протянутую ему Пьереттой руку.

— До свиданья, Филипп Летурно. И еще раз спасибо.

Она снова улыбнулась.

— Спасибо вам, спасибо! — сказал Филипп, повернулся и пошел к выходу. Рабочие и работницы молча расступались, давая ему дорогу.

— Что по-твоему, все это значит? — спросил Шардонне.

— В ПТАО идет грызня,— ответила Пьеретта.

— А более точно?

— Я не разбираюсь в финансовых махинациях и не могу тебе объяснить, почему банк Амполи, который как будто контролирует ПТАО, вдруг решил провалить операцию, задуманную ПТАО, и дал нам оружие против самого себя. Для нас важно одно: противоречия в лагере против-

ника сперва позволили нам объединить трудящихся Клюзо, а теперь помогают укрепить их единство...

— Подослав к нам провокатора,— вставил Миньо.

— Ты-то какого мнения о Филиппе Летурно? — снова обратился Шардонне к Пьеретте.

— Бесхарактерный парень, но намерения у него добрые.

Они еще раз внимательно перечитали газеты, которые принес Филипп.

— Кто может поручиться, что эти сведения правильны? — сказала Луиза Югонне.

— Мне сни кажутся вполне правдоподобными,— заметил Шардонне.— Наше правительство, как всегда, рабски следует указаниям американского посольства.

— Используй этот материал в листовке,— предложила Пьеретта,— растолкуй как можно яснее...

— Нет,— возразила Луиза.— Это политика.

— А разве рабочих уволили с фабрики не из-за политики? — сказал Шардонне.— Не запретили бы экспорт локомотивов...

— Но кто может поручиться, что эти сведения правильны? — прервал его Миньо.

— Сошлемся на источник,— предложил Шардонне.

— И не мы будем отвечать за достоверность фактов, а их же газета,— подхватила Пьеретта.

— Но все-таки давайте договоримся раз и навсегда, что стачечный комитет политикой не занимается,— сказала Луиза.

Пока они продолжали спорить, Пьеретта принялась писать листовку:

«Почему ПТАО увольняет рабочих

Шелк-сырец слишком дорог, жалуется ПТАО, уверяя, будто фабрика работает в убыток.

Между тем в августе Китайская Народная Республика предложила ПТАО поставлять шелк-сырец.

Почему же китайский шелк не прибыл во Францию?

Ответ нам дает газета «Эко дю коммерс» — орган предпринимателей...»

— Помоги,—обратилась ко мне Пьеретта,—у тебя лучше получится.

Едва мы приступили к работе, как вернулся Кювро.

— Визиль отказался прийти, — сообщил он.

— Я давно тебе говорил! — воскликнул Миньо.— Визиль плюет на партию.

— Насколько я понял,— продолжал Кювро с хитрой улыбкой,— Визиль собирается устроить собственную маленькую демонстрацию, вполне в своем духе.

— Этого не будет! — возмутилась Пьеретта.— Выкладывай, что ты знаешь?

— Да ничего я не знаю,— при этих словах Кювро подмигнул Пьеретте.

— Ладно, потом поговорим. Зайди ко мне попозже. Только не забудь!

— Странный у вас подход к работе, Пьеретта...— сухо заметил Шардонне.

— Мы работаем с теми людьми, какие у нас есть, а не с коммунистами из романов,— возразила она.

— Ты уверена, что твой Визиль не натворит глупостей?

— Узнаю, тогда скажу.

— Как хочешь, но имей в виду, что за его поступки отвечаешь ты,— предупредил Шардонне.

Было уже семь часов вечера. Стачечный комитет заседал с раннего утра: обсуждали план действий, принимали решения, спорили, к концу дня все утомились и стали раздражительны. Шардонне такое настроение было хорошо знакомо, и он предложил:

— Давайте спокойно взвесим...

Но тут к кафе подъехал на своей малолитражке Жакляр; войдя в зал, он спросил:

— Какие будут поручения на сегодняшний вечер?

Намечено было несколько поездок. Пьеретта и Миньо отправятся в Турнье и Бийон — промышленные поселки, расположенные в соседних долинах, чтобы убедить рабочих принять участие в завтрашней демонстрации в Клюзо, а Шардонне выступит перед металлистами главного города кантона. Кроме того, нужно отослать в гренобльскую типографию текст воззвания и ночью же привезти отпечатанные листовки обратно в Клюзо.

Было решено, что Жакляр отвезет Шардонне к металлистам и поедет прямо в Гренобль. Миньо на своем мотоцикле доставит Пьеретту в Турнье, сам отправится в Бийон, выступит там и на обратном пути заедет за нею.

Жакляр и Шардонне тут же уехали. Пьеретта продолжала давать указания, связанные с подготовкой завтрашней демонстрации. Часов в восемь появился Бомаск.

— Чем я могу быть полезен? — спросил он.

— Сиди смирно,— сказал Кювро.— Незачем давать полиции повод, чтобы выслать тебя.

— Porca miseria! — воскликнул Бомаск.— В кои-то веки Клюзо зашевелился, а я должен сидеть сложа руки.

В его прищуренных глазах вспыхнул, как бывало, лукавый огонек.

Ему поручили обойти землекопов с железнодорожной стройки, застрявших в Клюзо, и уговорить их присоединиться к завтрашней демонстрации рабочих ПТАО.

Пьеретта проводила Бомаска до дверей.

— Будь осторожен, с тех пор как ты переехал ко мне, жандармы следят за тобой...

— Когда ты вернешься? — спросил Бомаск.

— Поздно. Я должна выступить в Турнье.

— Кто тебя отвезет?

— Жакляр, как всегда...

Всего десять минут тому назад при мне было решено, что Миньо отвезет Пьеретту в Турнье. Жакляр уже уехал на всю ночь. Ложь Пьеретты крайне удивила меня. Я давно уже не видел моих друзей и не знал, что Бомаск ревнует Пьеретту к Миньо.

Среда.

Как потом выяснилось, в среду утром секретарь министра внутренних дел позвонил Валерио Амполи в Лион.

Он сообщил, что по сведениям, полученным от префекта из Х., массовые увольнения взбудоражили рабочее население Клюзо и в министерстве опасаются, как бы завтра во время торжественного пуска цеха, переоборудованного по предложению Филиппа Летурно, не произошли беспорядки.

— Префект из Х.— социалист,— сказал Амполи.— Он отстаивает интересы своих друзей из «Форс Увриер», которые полезли в драку.

— А вы ручаетесь, что во время церемонии не произойдет никаких неприятностей?

— Ручаться я ни за что не могу,— ответил Амполи.— Не мое дело следить за порядком. Отдайте соответствующие распоряжения вашим подчиненным.

Но секретарь министра на этом не успокоился. Министр, конечно, знает о тех досадных обстоятельствах, которые вынудили ПТАО прибегнуть к таким... надо сказать, несколько крутым мерам, как увольнение сорока процентов рабочих. Но так как сейчас ведутся переговоры и должна состояться международная конференция, то было бы желательно, во избежание беспорядков, отложить торжества... Когда брожение утихнет, когда замечательная инициатива по повышению производительности оправдает себя... Словом, министр был бы весьма признателен ПТАО, если бы какие-нибудь технические неполадки не позволили пустить цех завтра.

Валерио Амполи отверг это предложение. Министр, несомненно, поймет, сказал он, что ссылка на технические неполадки невозможна. ПТАО подорвет этим доверие к своим инженерам, да еще в такой момент... Ведь правительству известно, что акционерное общество ведет переговоры с очень крупными американскими фирмами и дело это требует особой тонкости.

Через полчаса банкиру позвонил секретарь министра промышленного производства. Он поставил Амполи в известность, что по непредвиденным обстоятельствам министр, вопреки своему обещанию, не сможет прибыть завтра в Клюзо. В связи с этим секретарю поручено посоветовать американскому представителю в ОЕЭС * — мистеру Джонатану Джонстону — также отложить свою поездку.

— Я с минуты на минуту ожидаю мистера Джонстона, — невозмутимо заметил Амполи.— Он выехал из Парижа на машине и вскоре должен прибыть в Лион. Остановится он у меня, и я охотно сообщу ему о решении министра... Но я буду вынужден объяснить ему — этого требует престиж ПТАО... торжества отменяются из опасения враждебной демонстрации рабочих. Тем лучше. Пусть американцы увидят собственными глазами, что крутые меры приводят во Франции к нежелательным последствиям... и усиливают неприязненное отношение к американцам, на что они и так уже жалуются.

— Я обо всем доложу министру,— сказал секретарь.

Минут через пятнадцать последовал третий телефонный звонок, который свел на нет предыдущие переговоры. Министр промышленного производства приедет завтра в Клюзо, как было условлено. Никаких волнений в городе не произойдет. Порядок будет обеспечен.

Тем временем министерство внутренних дел вновь связалось с префектом из Х. Тот посовещался с мэром Клюзо, с полицейским комиссаром и начальником жандармерии и был настроен гораздо менее мрачно, чем утром.

Мэр — социалист, избранный антикоммунистической коалицией, владелец картонажной фабрики, у которого работало около пятидесяти человек, — утверждал, что префект и информировавший его начальник жандармерии преувеличили серьезность положения.

— В Клюзо есть только три коммуниста, которые для нас опасны: рабочий Кювро, почтовый инспектор Миньо и еще одна женщина, некая Амабль...— сказал мэр.— Если мы их посадим, никаких беспорядков не будет.

Того же мнения придерживался и начальник полиции. Южанин, не-

---

* ОЕЭС — Организация европейского экономического сотрудничества.

давно переведенный в Клюзо, он считал жителей этого городка вялыми, апатичными: «То ли дело у нас... давно бы уже шла резня».

— Если арестовать вожаков,— подтвердил он,— никто не решится выступить.

Благовидный предлог найти было нетрудно: накануне ночью во многих местах кладбищенской ограды, выходящей на шоссе, по которому должны прибыть в Клюзо официальные лица, были выведены масляной краской надписи: «U. S., GO HOME!». Префект потребовал, чтобы было начато следствие по делу о нанесении ущерба общественному сооружению и подписал ордера на арест Кювро, Миньо и Амабль.

— Обещайте им, что послезавтра их выпустят, если во время торжественной церемонии не произойдет беспорядков,— сказал префект начальнику полиции.

Затем он вызвал командующего охранниками и на всякий случай приказал, чтобы тот направил в Клюзо своих солдат и притом побольше.

* * *

Эмили Прива́-Люба́ находилась в Америке, у своей золовки — Эстер Дюран де Шамбор.

Натали несколько дней тому назад вернулась в Лион. Цвет лица у нее был свежий, как никогда.

Она не расставалась с отцом. Во вторник они провели весь вечер вместе в казино Шарбоньер, играя в баккара. Натали сидела, а Валерио Амполи стоял рядом, положив ей на плечо свою руку. У них был счастливый вид, и они привлекали всеобщее внимание. Натали выиграла баснословно много; она тянула к шестерке, и все же ей удавалось бить карту восемнадцать раз подряд; казалось удивительным, что, несмотря на подобное сумасбродство, счастье от нее не отворачивается; все следили за игрой, затаив дыхание, и каждый выигрыш Натали вызывал восторженные возгласы. С недавнего времени упорно носились слухи, будто банк Амполи вот-вот перейдет под контроль одного американского консорциума, но сейчас этим слухам перестали верить. По правде говоря, их и раньше не принимали всерьез: за последние три века род Амполи доказал Флоренции, Лиону, Парижу, Гамбургу и Лондону, что он непобедим.

В среду вечером в тесном семейном кругу был устроен обед в честь Джонатана Джонстона. Ввиду отсутствия мачехи Натали исполняла роль хозяйки.

К столу были поданы раки из Нантюа, кнели из щуки с прославленных Домбских прудов и запеченный картофель по-дофински.

— В Лионе принято есть овощи до жаркого,— объяснила гостю Натали.

— Что ж, надо сохранять ваши очаровательные провинциальные обычаи! — любезно улыбнулся американец.— Вот у нас на юге...

На второе подали курицу с трюфелями.

Джонатан Джонстон слыл специалистом по высокопроизводительной технологии на том же основании, на каком Филипп Летурно считался специалистом по шелковой промышленности. Его назначение в ЕОЭС было несущественной деталью в торговой сделке, заключенной между двумя группами магнатов металлургической промышленности. Но Джонстон относился к делу более добросовестно, чем Филипп. Он все же прочел несколько книг по технологии и по геополитике, и приобретенные знания помогали ему при составлении отчетов. К тому же он сообразил, что надо обращать внимание только на те факты, которые в той или иной степени подкрепляли точку зрения государственного департамента; каждый раз он развивал в заключительной части своих отчетов две-три

усвоенные им идеи. Говорили, что у Джонстона есть свой «стиль»: он осуждал французские методы работы, но свою уничтожающую критику умело прикрывал восхвалением прошлых заслуг Франции и преклонением перед страной «высокой цивилизации»; его отчеты можно было показывать французским министрам почти без изменений. Джонстону было всего тридцать лет, и ему прочили блестящую карьеру.

Он не знал ни единого слова по-французски, сначала страдал от этого, потом успокоился, найдя себе оправдание: в наш век, когда Америке принадлежит руководящая роль в международных отношениях, чиновник государственного департамента рискует превратиться в вечного студента, если вздумает изучать языки тех стран, куда его будут посылать на работу; лучше примириться с незнанием иностранных языков. Однако Джонстону было приятно попасть к французам, так хорошо владеющим английским, как семья Амполи.

На Натали было скромное черное платье для «званых обедов» от Скьяпарелли *. Она в меру выпила виски, была обворожительна и рассказала гостю множество занимательных историй о Капри, Сен-Жермэн-де-Прэ **, гамбургском зоопарке и гостеприимстве шотландских рыбаков. «Вот это настоящая француженка»,— подумал Джонстон.

После обеда подали коньяк «Наполеон», и Амполи объяснил, что коньяк лишь тогда бывает хорош, когда его выдерживают в бочках из каштанового дерева особой породы, которая растет только в Лимузене, да и там встречается редко. Американцу немедленно пришло в голову использовать эти полезные сведения в своем следующем отчете; именно в таких вещах французов невозможно превзойти, и только этим им и следует заниматься.

Отведав коньяку, Джонстон стал клевать носом. Его отвели в комнату, строго выдержанную в серых и розовых тонах; он уснул на диване, над которым висела картина Мари Лоренсен. Об этой подробности он решил упомянуть в очередном письме к своей невесте.

За обедом не было сказано ни слова об «операции Филиппа Летурно».

— Я не выношу, когда при мне говорят о делах,— сразу же предупредила гостя Натали.

Амполи успел сказать американцу:

— Завтра вас примут в Клюзо так, как еще умеют принимать наши горцы.

Среда. Вечер.

Из кафе, где заседал стачечный комитет, Филипп вышел в глубоком волнении. Пьеретта Амабль *вступилась за него,* встала на его защиту. Только это его и занимало.

Он хотел было зайти в ближайшее кафе и там переждать, пока выйдет Пьеретта, чтобы с нею поговорить, но побоялся, как бы его не приняли за шпика. Да и что он мог ей сказать? Филипп позавидовал подросткам, слонявшимся около штаба забастовщиков. Пьеретта время от времени давала им поручения — то отнести записку, то сбегать за кем-нибудь. Они имели право находиться здесь и бросали на Филиппа подозрительные взгляды.

Филипп вышел к Желине и стал прогуливаться по набережной. Он не переставал думать об одном: «Пьеретта Амабль ценит меня, она не побоялась показать это даже перед своими товарищами. Напрасно я отчаивался. Бомаск для нее только случайный любовник, его опасения пра-

* Очень дорогое парижское ателье мод.

** Парижский квартал, облюбованный модными французскими литераторами в первые послевоенные годы.

вильны. Пьеретта будет моей». Постепенно Филиппа вновь охватило то восторженное состояние, которое знакомо нам по некоторым его письмам к Натали.

Часов в восемь Филипп сел за столик в кафе на главной площади нового города, площади Франсуа Летурно. Справа виднелись фабричные ворота, слева — здание дирекции, перед которым натягивали тент и устанавливали деревянные стенды передвижной выставки американских профсоюзов. Работы велись под охраной солдат ОРБ *. Поодаль группками стояли рабочие и наблюдали. Филипп заказал рюмку аперитива «Рикар» и начал писать подробное письмо Натали — он думал, что она все еще в Сестриере.

В половине девятого, услышав треск мотоцикла, он поднял голову. Миньо с Пьереттой медленно проехали мимо охранников, сделали два круга по площади, на минуту остановились возле группы рабочих (Пьеретта им что-то сказала) и въехали на мост через Желину, справа от здания дирекции. За мостом мотоцикл исчез из поля зрения Филиппа, но по усилившемуся шуму мотора он догадался, что Миньо и Пьеретта поднимаются в гору и сейчас свернут на Гренобльское шоссе.

Ему было неприятно видеть Пьеретту с Миньо на мотоцикле, но ничего дурного он при этом не подумал: совершенно естественно, что накануне боя командиры производят смотр своих войск. Филипп заказал вторую рюмку аперитива и продолжал свое письмо.

К десяти часам он пил уже шестую рюмку «Рикара». Филипп не испытывал такой потребности в алкоголе, как Натали. Его не тянуло пить с раннего утра, и он не очень мучился, если не пил даже целый день, но за последние недели после первой рюмки он уже не мог остановиться и напивался до бесчувствия.

К тому времени, когда в кафе вошли Визиль и Бомаск, Филипп еще вполне владел собой, если не считать того, что он теперь уже не мог побороть в себе непреодолимого желания пить и пить.

Бомаск остановился у столика, чтобы пожать Филиппу руку.

— Пьеретта вернулась? — спросил Филипп.

— Ты собираешься сделать новые разоблачения? — рассмеялся Бомаск.

— Возможно.— И, показывая на валявшиеся перед ним исписанные листки, добавил: — Я пытаюсь понять, какую подлость затеяло ПТАО.

— Если докопаешься до чего-нибудь и захочешь поделиться с Пьереттой, приходи завтра утром.

— А сегодня нельзя?

— Она уехала в Турнье выступать перед рабочими и вернется поздно.

Филипп покачал головой.

— По такой дороге опасно ездить ночью на мотоцикле.

— Пьеретта уехала на машине. Ее повез Жакляр на своей малолитражке.

И Бомаск ушел к столику, за которым сидел Визиль.

«Она ему наврала,— сразу сообразил Филипп.— Неужели он не зря ревновал ее к Миньо?»

Филипп снова взялся было за перо, но уже не мог продолжать письмо к Натали. К тому же все, что он написал, потеряло теперь всякий смысл. Он представил себе Пьеретту и Миньо в пути и вспомнил, как товарищ по лицею, долговязый Рип, у которого был мотоцикл, рассказывал ему, что женщины не выносят дорожной тряски. «Они умоляют меня остановиться и в первой же канаве отдаются мне».

* Отряды республиканской безопасности — солдаты, выполняющие полицейские обязанности, охранники.

В другом конце кафе Визиль шептал что-то Бомаску на ухо, схватил сифон и пустил струю газированной воды на пол. Бомаск рассмеялся и похлопал Визиля по плечу.

Филипп заказал еще рюмку аперитива. Он сделал приписку к письму, но поперек страницы:

«Как Пьеретта может целоваться с Миньо? У него гнилые зубы, прыщавая морда и изо рта воняет. У Бомаска хотя бы свежий цвет лица и губы, как спелые вишни. Но женщины в порыве страсти плюют на то, какая у мужчины кожа...»

Бомаск подозвал официантку и расплатился. Он пожал руку Визилю, словно говоря: «Идет! Можешь на меня надеяться. С тобой до конца!» И снова рассмеялся.

«Дурак! — думал Филипп, глядя на Бомаска.— Пьеретта сейчас обнимает другого и визжит от счастья, как сука».

Визиль ушел. Бомаск подсел к Филиппу.

— Хочешь выпить? — предложил Филипп.

Бомаск заказал стакан красного вина, Филипп еще рюмку «Рикара».

— С чего ты взял, что Пьеретта поехала на мотоцикле? — спросил Бомаск.

— Мне казалось, что Пьеретту в Турнье повез Миньо.

— Вот так недолго и очернить человека,— сказал Бомаск. Помолчав, он добавил: — За последние дни я все обдумал и понял, что был несправедлив к Пьеретте. Меня просто загрызла тоска по родине. Пьеретта честная женщина, я убежден в этом.

— Дело твое.

Бомаск посмотрел на стопку блюдец.

— Ты слишком много пьешь.

— Интересно, как она называет Миньо,— пробормотал Филипп,— Фредерик?.. Фредэ?.. Любимый мой?..

— Ты пьян,— прервал его Бомаск,— Я тебя отведу домой.

— Отстань от меня. Лучше займись своей Пьереттой.

Бомаск молча посмотрел на Филиппа и, как бы размышляя вслух, сказал:

— Есть и твоя вина в том, что я так по-дурацки вел себя с Пьереттой. Но я на тебя не сержусь. Ты судишь о ней по женщинам вашего круга. Ты совсем не знаешь работниц.

— А ты совсем не знаешь француженок, — отрезал Филипп и, нагнувшись к Бомаску, продолжал: — У такой француженки, как Пьеретта, молодой, умной, красивой, смелой, самой привлекательной из всех самок в этом гнусном ущелье... у женщины, которая поразила даже мою мать и была бы на месте в светском салоне... у нее огромный выбор, она может выйти замуж, когда только захочет, и в Клюзо, и в любом другом городе. Неужели ты думаешь, что она отдаст предпочтение итальянцу?

Бомаск попытался поймать взгляд Филиппа, но тот отвел глаза.

— К чему ты клонишь? — спросил Бомаск.

— Ты ей мешаешь даже в ее политической деятельности,— продолжал Филипп.— Ты не хуже меня знаешь, что в Клюзо перестают уважать женщину, если она путается с макаронщиком...

— Vuota il sacco! — рявкнул Бомаск, схватив Филиппа за руку.— Выблевывай до конца! Валяй дальше! Да поскорее!

— До Моданы отсюда всего два часа езды, и вас хорошо изучили... треть населения носит итальянские фамилии... ты знаешь, что говорят о женщине, если она путается с мака?.. Говорят, что ей нужен мужчина... ты понимаешь?..

— Пошел вон! — крикнул Бомаск.— В морду захотел?!

Он схватил Филиппа за локоть и заставил его встать.

— Лучше набей морду тому, кто сейчас с нею, — прошипел Филипп.

— Врешь,— сказал Бомаск.

— Не прошло и часа, как они на мотоцикле проехали мимо меня, словно влюбленная парочка.

— Неправда!

— Миньо впереди, а Пьеретта сзади. Она так и вцепилась в него...

— Когда это было?

— С час тому назад. Они умчались по Гренобльскому шоссе. А там лес по обе стороны дороги.

Бомаск выпустил руку Филиппа, и тот рухнул на стул.

— Если ты врешь, берегись! Я тебя так отделаю, что из твоей поганой глотки не вырвется уже ни одного звука.

— Можешь дождаться их возвращения. Для очистки совести... ха-ха... Для очистки совести... совести...

Филипп смеялся и икал.

— Если ты не наврал, я задушу ее.

— Задушишь своего товарища? — спросил Филипп, напирая на слово «товарищ».

Бомаск сплюнул.

— В тебе сидит столько злобы...— сказал он.— Я не знаю, какая гадость у тебя на уме, но я бы не хотел быть в твоей шкуре. Мне бы казалось, что от меня воняет.

— Все мы воняем. Весь мир — разложившийся труп.

Бомаск, ничего не отвечая, поглядел на Филиппа, потом отвернулся и молча вышел из кафе.

Почти тотчас ушел и Филипп. Он отправился на Лионское шоссе, в кабачок, где последнее время проводил все вечера.

Он сразу же заказал себе аперитив. Официантка, ставя перед ним рюмку, перегнулась через стойку. Заметив, что Филипп заглядывает за вырез ее платья, она вполголоса спросила:

— Ты сегодня при деньгах?

— Как всегда.

Услышав, что он тяжело дышит, она перегнулась еще больше.

— Пошли,— сказал Филипп.

— Нет. Ты слишком скуп.

— Заплачу, сколько попросишь,— пообещал Филипп и прошел за официанткой в столовую в стиле Генриха II.

Четверг на заре.

Расставшись с Филиппом, Бомаск пошел бродить по городу. За день тучи постепенно спустились с гор в ущелье, и к полуночи начало моросить.

Охранники поставили ружья в козлы вокруг павильона американской выставки, несколько патрулей расхаживало вдоль Лионской улицы, по которой должны были проехать почетные гости. Уже в десяти шагах ничего не было видно, и охранники не отваживались покинуть центр города, а в это время повсюду шла бесшумная, торопливая работа, стены домов покрывались надписями.

На одной из крутых уличек старого города Бомаск столкнулся нос к носу с Кювро, который разыскивал в темноте своих товарищей.

— Меня беспокоит, — сказал ему Бомаск, — что Пьеретта поехала в Турнье на мотоцикле. Дорога сильно петляет, а сейчас так скользко.

— Миньо ездит осторожно, — ответил Кювро.

— Там нет даже парапета. Ничего не стоит свалиться в пропасть.

— Уж Миньо постарается. Не угробит он свой мотоцикл.

— Почему ее не отвез Жакляр?

— Он поехал в Гренобль с текстом листовки.

— По-твоему, ее успеют отпечатать? — спросил Бомаск.

— Успеют. Жакляр выехал в половине восьмого.

Бомаск исчез в темноте так же неожиданно, как появился.

— Бомаск! Послушай! Эй! — тщетно кричал ему вслед старик.

Бомаск бежал без оглядки. Его преследовала мысль, что Филипп не солгал. Да, Летурно прав, весь мир смердит.

Он дошел до рабочего поселка. «Как она его называет — Фредерик? Фредэ? любимый мой?..» — повторил он слова Филиппа. Только это и остается выяснить. Бомаск застигнет их в тот момент, когда они вернутся, Миньо, несомненно, подвезет Пьеретту к дому.

Бомаск спрятался за душевым павильоном.

* * *

К часу ночи поднялся ветер, разогнал тучи над глубокими ущельями между Юрой и Савойей, и в небе засверкали звезды. Тогда Миньо и выехал из Бийона.

Дорога в Турнье проходит через перевал на высоте 1200 метров и извивается над пропастью; в первую половину ночи было так темно, что Миньо побоялся пуститься в путь. В Турнье он прибыл совершенно продрогший. Пьеретта ждала его у одного из товарищей. Миньо перед отъездом в Клюзо накормили. Они пустились в путь уже после двух.

Бомаск поджидал их, притаившись за душевым павильоном. Все это время, как он рассказал утром Визилю, он мало думал о Пьеретте и Миньо, хотя твердо знал, что они вместе.

Он восстанавливал в памяти самые светлые эпизоды своей жизни. Он вспомнил, как бежал из пьемонтской деревушки, когда отец захотел обучить его ремеслу каменщика; он уехал на велосипеде, и все его имущество поместилось в сумке из-под инструментов: рубашка, две пары носок, гребенка и папка с дипломом об окончании начальной школы; настроение у него было самое радужное. Он пытался представить себе первую женщину, с которой встретился в Милане. Перед глазами Бомаска встала девушка, с которой он познакомился в Генуе, на площадке троллейбуса. Он затрепетал, положив ей руку на талию, и девушка тоже вздрогнула.

Когда сильный порыв ветра расчистил небо над ущельем и замерцали мириады звезд, Бомаск увидел себя в маки́. В ту ночь тоже ярко светила луна. На опушке леса он неожиданно столкнулся с фашистом; у того был автомат, а у Бомаска лишь кинжал, отобранный у другого чернорубашечника. Но автомат висел у фашиста за спиной, а Бомаск сжимал рукоять кинжала. Их разделяло не больше двух метров. Они посмотрели друг другу в глаза, и исход поединка был решен. Чернорубашечник повернулся, чтобы бежать, но сразу упал, сраженный ударом кинжала между лопатками. Перед глазами Бомаска встает полный ужаса взгляд фашиста. Мгновение спустя Бомаск уже сидит верхом на трупе и среди ночной тишины раздается его дикий, ликующий вопль...

...Бомаск за кулисами театра, где он работал машинистом сцены: сегодня спектакль прошел с успехом и зрители шумно выражают свой восторг... А вот он в доках «Ансальдо». Рабочие объявили первую «итальянскую» забастовку, Бомаск взобрался на гигантский подъемный кран и прикрепляет красный флаг; снизу доносится приветственный гул тридцатитысячной толпы...

Треск мотоцикла вернул Бомаска к действительности. Миньо остановился у въезда в поселок, а не подвез Пьеретту к дому, как предполагал Бомаск.

«Побоялись, что я увижу их из окна».

Миньо, не выключая мотора, опускает ногу на землю, Пьеретта легко спрыгивает с мотоцикла и подходит к Миньо. Она кладет ему руку на плечо и что-то оживленно говорит. Миньо отвечает. Еще какое-то время они разговаривают, Пьеретта смеется. Миньо тоже. Пьеретта нагибается, чтобы его поцеловать.

Бомаск увидел, что она идет к дому, и, прячась в тени павильона, проскользнул в коридор. Он бесшумно поднимается по лестнице. Ключ, как всегда, в дверях. Бомаск поджидает Пьеретту в первой комнате...

* * *

Спрыгнув с мотоцикла, Пьеретта сказала:

— Вторую ночь не сплю, а чувствую себя куда бодрей, чем неделю тому назад.

— Керосинщица *, — улыбнулся Миньо.

— Ох, и зададим же мы им жару!

— Только не обольщайся. Многие сдрейфят.

Пьеретта положила ему руку на плечо.

— До чего же мы были одиноки еще неделю назад. Я винила тебя, ты — меня, и ты даже позволил себе упрекнуть меня за связь с Бомаском. А сейчас все присоединились к нам и полны решимости...

— Они убедились на собственном опыте...

— Хватит теории, я ее знаю не хуже твоего... Да улыбнись же, — сказала Пьеретта, тормоша его за плечо. — Научись радоваться!

По лицу Миньо проскользнула улыбка.

Пьеретта снова толкнула его:

— Я хочу услышать, наконец, твой смех.

Миньо едва не потерял равновесия, но удержался, ухватившись за Пьеретту. Она расхохоталась. Засмеялся и Миньо. Пьеретта небрежно поцеловала его в лоб и убежала.

* * *

Легко взбежав по лестнице, Пьеретта тихонько открыла дверь. В первой комнате горел свет. Бомаск сидел в плетеном кресле.

— Ты уже встал! — воскликнула Пьеретта.

Она сняла с себя куртку.

— Нельзя столько работать, — сказал Бомаск, — ты должна отдохнуть.

Ее поразил хриплый голос Бомаска, но она сразу же нашла объяснение:

— Ты еще не проснулся, — рассмеялась Пьеретта. — Ну и лодырь, спишь и спишь, а я в это время трясусь по дорогам.

Она прошла в спальню, открыла шкаф, вынула плечики и повесила на них свою куртку.

— Ты, наверно, до смерти устала, — заметил Бомаск.

— Нет, представь себе, я, как никогда, полна энергии.

Пьеретта вернулась в первую комнату и подошла к креслу.

Бомаск привлек ее и усадил к себе на колени. Она прижалась головой к его плечу.

— Все-таки я устала, — сказала Пьеретта.

Левой рукой Бомаск обхватил голову Пьеретты, а правой поглаживал ее по плечу.

Пьеретта, разнежась, прильнула к нему.

— Мне очень приятно, что ты уже встал... я бы не решилась тебя

* Так версальцы называли участниц Парижской Коммуны.

разбудить, а мне так много надо тебе рассказать. Чего только не было за эти два дня...

— Опиши подробно все, что ты делала.

— Сейчас я выступала перед металлистами Турнье. Я просто рассказала о том, что у нас творится. Заранее я не готовилась и говорила первые слова, приходившие в голову... Они обещали принять участие в нашей демонстрации... Им придется приехать поездом. Ведь очень возможно, что полиция не будет пропускать автобусы в Клюзо... Они мне горячо аплодировали. Я была счастлива... Последние недели были такими мрачными...

«Так, верно, оно и было, — подумал Бомаск. — Пьеретта умеет зажигать людей. Но все равно она сука...»

— И Маргарита одумалась, вернулась к нам, — продолжала Пьеретта.— Пришла ко мне в комитет и предложила переговорить со стариками из богадельни. Завтра вместе с нею они будут шагать во главе демонстрации...

«Если полиция начнет их разгонять, Маргарита будет драться, как тигрица, — подумал Бомаск. — Но все равно она шлюха. И Маргарита, и Пьеретта, обе они — шлюхи».

— Визиль готовит им неплохой сюрприз, на свой лад, — говорила Пьеретта. — Я поклялась никому не рассказывать, но тебе я могу...

— Не надо, — остановил ее Бомаск. — Раз ты дала слово, молчи...

«Вот она какая, при первом же случае готова нарушить клятву, — подумал он. — Слово, данное товарищу, для нее пустяк. Последняя девка в самом паршивом публичном доме в Генуе лучше ее: та хоть держит слово, которое дает своему сутенеру».

— Раз я хочу тебе рассказать — значит, могу это сделать.

— Не надо, ради бога, не надо! — воскликнул Бомаск.

Пьеретта тихо рассмеялась, закрыла глаза, обвила руками его шею и, слегка раскачиваясь, передразнила:

— Ради бога.

«Обманщица, — думал Бомаск. — Femina senza vergogna, бесстыдница... только что ее ласкал другой, а теперь она прижимается ко мне».

Пьеретта продолжала покачиваться в объятиях Бомаска, а он глядел на нее: «Красивая, до чего ж красивая... Настоящая мадонна, чистый лоб, открытое лицо, нежный рот. Но как коварна эта женщина, потерявшая всякий стыд...»

— Знаешь, — сказала Пьеретта, — я не сержусь на тебя, хотя ты вел себя по-дурацки на прошлой неделе. Мне приятно, что ты меня ревнуешь, что можешь быть таким глупым из-за меня. Бедняга Миньо... если бы он подозревал...

Пьеретта еще крепче прижалась к Бомаску и пощекотала ему шею ресницами.

— Спи, — прошептал он. — Уже светает. Тебе так мало осталось спать.

И он принялся тихонько ее укачивать.

«Я задушу тебя, пока ты будешь спать, — думал Бомаск. — Ты даже недостойна знать, что умрешь».

— Спи, — продолжал Бомаск. — Ты заслужила покой...

Помолчав, он добавил:

— Несчастный Жакляр, он верно тоже страшно устал.

— Он очень предан делу, — проговорила Пьеретта.

— Я беспокоился за тебя. Боялся, что он заснет за рулем.

— Он осторожно ездит... Бомаск, милый, помолчи... Скоро четыре... Мне так мало осталось побыть с тобой.

— О чем Жакляр рассказывал по дороге?

— Не помню. Положи руку мне на голову.

— Опять жаловался на директора школы?

— Конечно. Ты же его знаешь. Сожми мои щеки ладонями, мне так это нравится...

Бомаск обхватил руками голову Пьеретты, его пальцы лежали на ее висках, а ладони касались шеи.

— Жакляр ничего не просил мне передать?

— Ничего, только привет, как всегда. Он ведь очень хорошо к тебе относится... Бомаск, дорогой, поцелуй меня...

Бомаск со смешанным чувством горечи и нежности притянул к себе лицо Пьеретты и приник губами к ее губам.

Потом резким движением он откинул назад голову Пьеретты, продолжая крепко сжимать ее шею.

— Сволочь! — злобно сказал он.

Пьеретта открыла глаза.

— Troia! — крикнул Бомаск.

Пьеретта, отбиваясь локтями и плечами, вырвалась. В ней была крестьянская сила дяди и ловкость горожан-родителей. Она вскочила на ноги и, повернувшись к Бомаску, крикнула:

— Я наврала тебе. Меня в Турнье возил Миньо.

— И тебе с ним было хорошо?

— А наврала я потому, что ты меня ревнуешь. Вот как все было: когда ты уже ушел, Жакляру поручили отвезти в Гренобль листовку, чтобы отдать ее в печать. И было решено, что в Турнье меня повезет Миньо... А пока я буду выступать перед металлистами, он поговорит в Бийо с рабочими завода электрооборудования...

Бомаск сидел неподвижно и молча слушал.

— В это время спустился туман...

— Ты снова врешь, — резко оборвал ее Бомаск. — Я виделся с Кювро. Он сказал, что в восемь часов, когда я приходил в комитет, Жакляр уже уехал...

— Правильно, — крикнула Пьеретта. — Я опять тебе наврала. Вот так всегда — одна ложь тянет за собой другую... Но между мной и Миньо ничего нет, клянусь!.. Чем же мне поклясться?

— Все равно я тебе не верю.

— Ты должен мне верить! — горячо сказала Пьеретта. — Тебе легко все выяснить. Расспроси обо всем Миньо... Пусть скажут товарищи... узнай у кого хочешь... в нашем городке все становится известным... здесь ничего не скроешь... расспроси людей.

— Кому же я смогу теперь поверить, если даже ты мне наврала?

— Сам виноват. Если бы ты не вел себя так отвратительно на прошлой неделе, мне не пришлось бы врать сегодня.

— Как же не обманывать глупого макаронщика, который вообразил, что шлюха может принадлежать ему одному.

— Замолчи!

— Со сколькими ты переспала с тех пор, как стала моей женой?

— Остановись! Ты такого наговоришь, что мне придется с тобой расстаться, даже если ты станешь просить прощения.

Пьеретта прямо смотрела ему в глаза.

— Ловко ты притворяешься оскорбленной. Кому же я теперь поверю? Ты мне доказала, что и последняя дрянь, если захочет, способна хвастать своим благородством.

Пьеретта продолжала молча смотреть ему в глаза.

— Опусти глаза! — крикнул Бомаск. — Бесстыжая девка не смеет делать вид, будто она честная женщина.

Он подошел к ней.

— Ты гулящая, и я заставлю тебя в этом сознаться.

Бомаск замахнулся на нее.

— Женщин не бьют,— раздался за его спиной иронический голос.— Женщин не бьют даже цветком...

Бомаск обернулся. В комнате стояло четверо мужчин. Они вошли незаметно, воспользовавшись тем, что дверь никогда не запиралась.

— Мадам Амабль, — сказал начальник полиции, — вы арестованы... Судя по тому, что я вижу, вас это должно обрадовать. Полиция Французской республики крайне предупредительна по отношению к вам... В тюрьме вы будете в большей безопасности, чем в любом другом месте.

Полицейский продолжал зубоскалить. Бомаск стоял в стороне. Он тяжело дышал. Пьеретта несколько раз глубоко глотнула воздух, заложила руки за спину, выпрямила плечи и шагнула к полицейскому.

— Покажите ордер, — сказала она.

Пьеретту увели.

Бомаск ринулся за полицейскими, но они уже были в коридоре; начальник полиции вышел последним, захлопнул дверь перед самым носом Бомаска и повернул ключ, торчавший снаружи.

С лестничной площадки донесся хохот полицейских.

Бомаск навалился на дверь.

— Они увели мою жену! — закричал он.

Бомаск изо всех сил колотил руками и ногами в дверь.

— Помогите, помогите! Они забрали Пьеретту!

Он побежал к окну.

— Помогите! Товарищи! Помогите! Полицейские увезли Пьеретту,— кричал он в темноту.

Он снова кинулся к двери и с разбега вышиб ее.

— Товарищи, на помощь! — кричал Бомаск в пролет лестницы, — полицейские увезли Пьеретту!

В доме началось движение, на лестничных площадках собрались люди, а Бомаск, стремительно сбегая по ступенькам, кричал:

— На помощь! Полиция! Полиция!

Но черный полицейский автомобиль, увозивший Пьеретту, уже выехал из рабочего поселка.

Четверг. Полдень.

Торжества должны были начаться с завтрака в зале дирекции фабрики. К двенадцати часам дня в Клюзо прибыли Валерио Амполи, его дочь Натали и их гость Джонатан Джонстон — американский представитель ОЕЭС.

Они проехали по Лионской улице, где все лавки были заперты, железные шторы спущены и не было ни души, если не считать патрулирующих охранников.

— Можно подумать, город на осадном положении, — удивился американец.

— Обычная для нашей провинции картина в праздничные дни, — сказал Амполи.

— При чем тут вооруженные полицейские? — допытывался Джонстон.

— Во Франции ни один праздник не обходится без полиции!

На площади Франсуа Летурно, вокруг павильона американской выставки, установленного между зданием дирекции и фабричными воротами, сидели охранники и завтракали.

— Посмотрите, — сказала Натали, — у них уже начался банкет.

В дирекции Филиппа не оказалось. Он еще не появлялся здесь, и Амполи попросил Натали за ним съездить.

— Повидимому, он забыл, что должен председательствовать на торжественном завтраке и что цех носит его имя.

Амполи улыбнулся и подмигнул. Нобле и Таллагран недоумевали: они никогда не видели банкира в таком хорошем настроении.

Натали застала Филиппа в халате; он давно не брился и сильно оброс.

— Я подлец, — этими словами встретил ее Филипп.

— Ладно, — прервала его Натали, — о своих любовных делах расскажешь в другой раз. Сегодня мы посмеемся... Я здорово обставила мою тетку Эстер, козырявшую своим Дюран де Шамбором, и твою мать с ее американскими компаньонами. Она наплевала на тебя и собиралась услать твою Пьеретту в Америку.

— Обставить мою мать тебе не удастся: одну партию ты можешь выиграть, но решающую выиграет она. Нам не под силу с ней тягаться. Даже твоего отца она надула, отобрав у него ПТАО.

— Положим, ПТАО — это я, — отрезала Натали.

Она взяла лист бумаги и принялась писать какие-то цифры и фамилии. Филиппу волей-неволей пришлось ее выслушать; она говорила еще более властно, чем обычно. К тому же в нем проснулось любопытство: ему пришло в голову, что он, наконец-то поймет, чем вызвана подозрительность товарищей Пьеретты Амабль по отношению к нему.

— В настоящий момент акции распределяются следующим образом: из ста акций...

И Натали написала:

Валерио Амполи и английские Амполи, которые с ним заодно	45
Эстер Амполи Дюран де Шамбор и ее американские друзья	35
Эмили Прива-Люба Амполи	10
Лионская группа акционеров	6
Лично я, Натали Амполи	4
	100

— Моя тетя, Эстер Дюран де Шамбор, и твоя мать, Эмили Прива-Люба, — объединились. Если они получат от ПТАО разрешение увеличить основной капитал на 12 процентов (акции на эту сумму хочет приобрести муж Эстер), акционерное общество будет в их руках. Так как...

И Натали написала:

При 112 акциях для абсолютного большинства достаточно	57
У Эстер и ее мужа	35+12=47
У Эмили	10
Вместе у них	57

— Но для того, чтобы ПТАО пошло на это увеличение основного капитала, необходимо мое согласие, независимо от того, как будет голосовать лионская группа акционеров. Так как:

При 100 акциях для абсолютного большинства достаточно	51
Эстер	35
Эмили	10
Лионцы	4
	49

— Вот почему в начале июня твоя мать так настойчиво добивалась моей подписи. В тот момент фабрики ПТАО работали в убыток, потому что война в Корее лишила нас возможности закупать шелк-сырец на Дальнем Востоке. Япония отпадает — там долларовая зона. Но отец с начала года вел переговоры с Китаем и надеялся заключить договор на таких условиях, чтобы наши предприятия снова приносили доход.

В случае, если бы этот план сорвался, у нас на худой конец был выход: мы могли уступить твоей матери — то есть передать ПТАО под контроль Дюран де Шамборов, которые давно мечтают ткать свой искусственный шелк на наших французских фабриках! Рабочая сила во Франции гораздо дешевле, чем в Америке.

И поэтому с американцами нельзя было порывать, не договорившись с китайцами.

Словом, нам надо было выиграть время.

Вот почему я и отказывала и не отказывала в доверенности твоей матери, и...

— Вот почему, — прервал ее Филипп, — ты взяла мою сторону в споре с матерью!

— Не только поэтому. Мне хотелось доставить тебе удовольствие.

— А я-то поверил, что ты готова бороться до конца, искренне хочешь помочь мне отстоять интересы моих друзей рабочих; поверил, что ты тоже собираешься их защищать...

— Ты рассуждаешь, как ребенок. Неужели ты воображаешь, что я подниму суматоху на мировом рынке шелка ради того, чтобы ты смог переспать с какой-то работницей?

— Да, я именно так и думал, — сказал Филипп.

Но Натали его не слушала. (От радости, что победа одержана, а, быть может, также из-за небольшого жара у нее на скулах выступили красные пятна.)

— Итак, я уехала в Сен-Тропез, а потом на Капри. Я вышла из игры, и хозяином положения стала лионская группа.

В самом деле, если из ста акций вычесть мои шесть, остается 94, для абсолютного большинства нужно только 48 голосов. У моего отца 45 акций, и у твоей матери вместе с тетей Эстер — тоже 45.

Завязался бой.

В конце июня лионцы, на которых отец имеет возможность оказывать давление и которым, кроме того, он окольными путями сообщил о своих переговорах с Китаем, отклонили предложение твоей матери и моей тетки увеличить основной капитал.

15 июля с китайцами заключен торговый договор на выгодных для нас условиях. Лионцы довольны, что послушались отца. Твоя мать взбешена и немедленно вылетает в Нью-Йорк.

В начале августа — контрнаступление Дюран де Шамборов. Американское правительство требует, чтобы французское правительство запретило экспорт паровозов, которые мы обязались поставлять китайцам в обмен на шелк. Паровозы заносятся в список товаров военного значения.

Отец уговаривает лионцев не сдаваться. Он убеждает их, что война в Корее близится к концу и что вскоре возобновятся торговые отношения между Востоком и Западом — ведь англичане уже сделали шаги в этом направлении. По просьбе отца представитель крупного английского банка в Лионе подтверждает его слова, и лионцы соглашаются на то, чтобы предприятия ПТАО временно давали убыток, лишь бы в конечном счете выиграть... Отец немедленно возмещает понесенные нами лично потери, передав китайский заказ нашим кузенам в Англии. Тетя Эстер остается с носом...

Недели две назад — новое наступление Дюран де Шамбора. Он поместил капитал в Италии и добился того, что итальянские предприниматели — в настоящее время они наши основные поставщики шелка — перестали снабжать нас сырьем. Лионская группа, испугавшись, переметнулась в лагерь твоей матери. Созвано правление...

Отцу оставалось только одно: бить своим главным козырем — соб-

ственной дочерью, то есть моими шестью процентами акций, так кстати полученными в наследство от эдинбургского дядюшки, у которого вдобавок ко всему было замечательное виски.

Отец телеграфирует мне в Сестриер, и я приезжаю.

— Значит, ты вовсе не была больна, как писала мне? — спросил Филипп.

— Нет, я действительно болела. Я и сейчас больна... и всю мою жизнь...

— Итак, — продолжала Натали, — я возвращаюсь в Лион и появляюсь в самый разгар совещания правления. У нас с отцом 45 + 6 = = 51 процент акций, и мы диктуем свою волю.

Мы решаем продолжать борьбу до победного конца. Раз у нас нет сырья, мы закрываем наши фабрики. А для начала увольняем половину рабочих с фабрики в Клюзо... за три дня до торжественного пуска цеха П., на который приглашен американский представитель ОЕЭС. Это вызовет возмущение? Тем лучше! Правительство должно понять, как опасно ему ссориться с нами... Нас полностью поддерживают и английские Амполи, и все те французские промышленники, которые настроены против американцев. Таким образом, у нас хватит средств, чтобы продержаться.

Кстати, дешевле вести борьбу, закрыв фабрики, чем терпеть из-за них убытки. В случае необходимости мы остановим все наши французские предприятия. Пусть станки обрастут паутиной. Отец рассвирепел. Он хочет отомстить своей жене, твоей матери. А она глупо себя ведет. Упорно ставит на американцев... не понимая, что их карта уже бита... по крайней мере в Европе. Мы с папой ставим на Англию... без оглядки ставим!

— Другими словами, рабочие Клюзо будут драться с охранниками, защищая интересы твоего отца и английской королевы?

— То же самое и я сказала отцу, только не так злобно, как ты. На мой взгляд, это даже забавно.

— Я всех вас ненавижу! — воскликнул Филипп.

— Вот уже десять лет, как ты твердишь это на все лады. Отец считает, что недовольство рабочих сейчас нам на руку и мы должны им воспользоваться. В то же время отец говорит, что если бы он был вожаком рабочих и знал бы истинное положение вещей, то повел бы еще более непримиримую борьбу... По мнению отца, каков бы ни был исход сегодняшнего сражения, победителями в конце концов окажутся рабочие. Борьба за господство раскалывает наш лагерь, и рабочие одержат верх точно так же, как в течение веков банкиры Амполи поглощали одного за другим конкурировавших между собой мелких хозяев. Он убежден, что как бы мы ни сопротивлялись, все равно будущее принадлежит рабочим.

— Меня все это не касается — я не рабочий и не хозяин. В этом мире нет места для меня... — сказал Филипп и еще долго распространялся в том же духе.

Из объяснений Натали он сделал один вывод: сестра, которую он посвящал во все свои тайны, единственный человек, кому он полностью доверял, тоже его обманула...

— Живо одевайся, — приказала Натали. — Побрейся, ты будешь председательствовать на торжественном завтраке.

Филипп наотрез отказался.

— Прошу тебя, — уговаривала его Натали. — Не лишай меня удовольствия! Дай мне хоть раз в жизни развлечься.

— Врешь! — крикнул Филипп. — Ты давно и с увлечением участ-

вуешь в борьбе за господство в ПТАО. Только что ты сама в этом призналась...

— Ты и прав и неправ. По правде сказать, меня так захватили предстоящие сегодня события, что я несколько преувеличила значение своей роли. Честно говоря, моя деятельность сводилась к тому, что я пила виски, охотилась за скатом и злила Бернарду, ожидая, пока меня вызовет отец и скажет, что я должна делать.

— Твой отец в самом деле считает, что для него самое главное — сохранить контроль над ПТАО?

— Не больше, чем мы с тобой. Но, видишь ли, он человек воспитанный и сумеет умереть достойно... Ты одеваешься?

— Нет, — ответил Филипп.

— Не хочешь — не надо...

Вместо Филиппа на банкете гостей принимала Натали.

Четверг. Утро.

На рассвете крики Бомаска всполошили весь поселок. Рабочие толпились во дворах. Вскоре стало известно, что Кювро и Миньо также арестованы. К восьми часам утра, когда я приехал в Клюзо, волнение охватило весь городок. Лавочники поспешно опускали железные шторы; они хорошо помнили, как во время беспорядков, которыми сопровождалась стачка 1924 года, во всех магазинах витрины были разбиты вдребезги.

К девяти часам утра человек двадцать охранников направились к рабочему поселку; они вышли на центральный проезд. Мгновенно разнесся слух, что они собираются завладеть транспарантами и плакатами, приготовленными для демонстрации. Из окон домов раздалось улюлюкание. Не успели охранники пройти и пятидесяти метров, как перед самым их носом на землю шлепнулся цветочный горшок. За горшком последовал стул. Охранники поспешно отступили. Приказ префекта гласил: избегать столкновений.

Неизвестно, по чьей инициативе через час у входа в поселок была построена баррикада. Трое рабочих приволокли повозку и преградили ею проезд, другие притащили со строительной площадки балки, женщины принялись разбирать мостовую, бывший сапер показал, как надо укрепить баррикаду; работа, хотя никто ею не руководил, шла споро, как в муравейнике. В строительстве приняли участие все жители поселка. Женщины готовы были выставить на улицу всю свою мебель, их еле удалось отговорить; даже те, которые еще накануне жалели денег на профсоюзный взнос и каждое лишнее су опускали в копилку (на покупку эмалированной плиты вместо старой чугунной), сегодня готовы были вынести на баррикаду самое ценное, что у них есть — буфет с застекленными дверками.

Я переходил от одной группы рабочих к другой, зачарованный силой внезапно прорвавшегося народного гнева. Нарастает он незаметно. Кажется, будто люди покорились судьбе, пришли в уныние, в отчаяние, что поднять их невозможно; народ выражает свою волю так же внезапно, как уходит тесто, как румянеет хлеб. Вот почему говорят: «революция вспыхнула».

Тактика обоих противников была продиктована топографией Клюзо.

В центре — мост через Желину. Город пересекает единственная большая улица; ниже моста она называется Лионской, выше — Гренобльской. На левом берегу, выше моста — рабочий поселок и замок Летурно, окруженный парком. На правом берегу и ниже моста — фабрика.

Правый берег Желины крутой. Гора почти вплотную подходит к реке и к Лионской улице. Левый берег — более отлогий. По склонам высокого холма поднимаются улички старого города.

Цех П. находится на левом берегу, у подножия холма, на котором расположен старый город, и соединен с остальными цехами внутренним мостом.

Ущелье настолько узкое, лощина такая глубокая, что весь декабрь и январь солнце даже не заглядывает в окна домов, стоящих на правом берегу.

Фасад здания дирекции выходит на Лионскую улицу, у въезда на мост.

Павильон передвижной американской выставки был установлен на площади Франсуа Летурно. Эта квадратная площадь, находящаяся на правом берегу, окаймлена с северной стороны набережной Желины, с южной — жилыми домами, в первом этаже которых помещаются кафе и магазины, с востока — фабричной стеной с воротами, с запада — зданием дирекции.

На левом берегу, у подножия холма, тоже есть набережная, она тянется вдоль границы старого города. Набережные, построенные в конце прошлого века фабрикантами Летурно, в период их наивысшего процветания, обрываются у плотины ниже фабрики. Усмиренный бетоном, поток течет спокойно, и в тихой воде отражаются вязы.

По решению стачечного комитета колонна должна была построиться в рабочем поселке, затем с транспарантами и плакатами спуститься по Гренобльской улице и попытаться перейти через мост, чтобы попасть на площадь Франсуа Летурно. В том случае, если мост будет отрезан полицейским кордоном, демонстрация остановится на левом берегу, напротив площади Франсуа Летурно, у ворот цеха П...

Министр и префект были озабочены одним: как бы Джонатан Джонстон, американский представитель в ОЕЭС, не увидел рабочей демонстрации. Эту проблему можно было решить, отрезав левый берег Желины от правого.

Вот почему еще на рассвете полицейские кордоны заняли пешеходный мостик у рабочего поселка и главный мост, ведущий к площади Франсуа Летурно.

В десять часов утра в верхней части Гренобльской улицы, неподалеку от баррикады, построенной рабочими у въезда в поселок, был выставлен заслон из сотни охранников. Несколько грузовиков преграждали путь к городу.

В полдень в нижней части Гренобльской улицы, не доходя набережной, был образован второй кордон из охранников и грузовиков. Вдоль всей набережной левого берега и у ворот цеха П. также патрулировали отряды ОРБ.

Было решено, что в половине третьего, когда кончится банкет и все речи будут произнесены, гости посетят американскую выставку, потом пройдут через главные ворота на фабрику и по внутреннему мосту — в цех П. (цветник мадам Таллагран на набережной останется в стороне, но ничего не поделаешь). Они вернутся тем же путем и уедут из Клюзо по Лионской улице.

* * *

В Клюзо не было тюрьмы, поэтому Пьеретту Амабль, Миньо и Кювро отвезли в верхнюю часть старого города, в бывшее здание мэрии, где теперь обосновались жандармы. Арестованных поместили в одной из комнат второго этажа и поставили у дверей жандарма.

Начальник жандармерии живо помнил те времена, когда он был

всего помощником начальника, а Визиль возглавлял в Клюзо Комитет Освобождения, по решению которого был расстрелян тогдашний начальник жандармерии, обвиненный в том, что он руководил карательной экспедицией против партизан.

Правда, с тех пор Визиль отошел от коммунистов (так, по крайней мере, считала полиция, знавшая от своих шпиков, что Миньо требовал исключения старика из партии). Он стал помощником начальника пожарной охраны, и вчера, когда мэр послал пожарникам предписание быть в боевой готовности, Визиль ответил согласием. Но в городке, где люди воспламеняются с такой легкостью, могут появиться другие визили.

Вот почему начальник жандармерии приказал обращаться с заключенными со всей обходительностью. Жандармы охотно выполнили его распоряжение; почти все они были женаты на местных жительницах и боялись мести. Для арестованных притащили кресла, принесли бутерброды, сигареты, вино и кипу газет — сверху лежала районная демократическая газета.

Вначале Пьеретта, Миньо и Кювро почти не разговаривали друг с другом, хотя им никто не мешал.

С той минуты, как ее арестовали, Пьеретта забыла о недоразумении, которое привело в такое неистовство Бомаска. Поступки, совершенные человеком в состоянии исступленности, почти бесследно исчезают из памяти; они настолько необычны, что не сливаются с потоком повседневных событий жизни; к ним относишься, как к болтовне пьяного или бреду сумасшедшего, и сразу о них забываешь. Очутившись в жандармерии, Пьеретта откинула голову на спинку кресла и немедленно заснула.

Миньо вел себя иначе: он то вскакивал и начинал ходить взад и вперед, то снова садился, хватал со стола газеты, но не мог дочитать ни одной статьи. Его преследовали мысли о жене.

— Я так и знала, что этим кончится! — воскликнула Раймонда, когда их разбудили полицейские.

Как-то в Лионе, проходя мимо тюрьмы Сен-Поль, она увидела жен заключенных; они принесли передачу и ждали, когда их впустят в здание. Хватит! После всего, что ей пришлось перенести, Раймонда не пойдет на такое унижение! Когда полицейский уводил Миньо, она крикнула мужу:

— В тюрьму я к тебе не приду. Так и знай. Пусть тебя навещают твои милые товарищи.

Миньо никак не мог свыкнуться с мыслью, что у него такая плохая жена. Он мечтал, что Раймонда — после того, как все узнают о его аресте, — не выдержит позора и закатит такой припадок, что на этот раз ее придется засадить в сумасшедший дом. Но, поймав себя на этой мысли, Миньо устыдился, хотя, по правде говоря, он не видел другого выхода. Он укорял себя также за то, что думает о личных делах в то время, как местная коммунистическая секция обезглавлена и рабочие, оказавшись без руководителей, начнут действовать неорганизованно или, что еще хуже, попадутся на удочку провокатора. Но тут же Миньо стал корить себя за недоверие к товарищам. «В партии все люди нужны и нет незаменимых!» — повторял он. Но мы-то уже знаем, какой у Миньо беспокойный характер.

Кювро, сидя у двери, беседовал с приставленным к ним жандармом, зять которого работал слесарем на фабрике ПТАО и три дня тому назад был уволен. Кювро разъяснил жандарму, каким образом фабрика перешла под контроль международного капитала, а французское правительство попало в зависимость от американцев.

— Да, мосье Кювро, вы совершенно правы. Все это так и есть, — соглашался жандарм.

Кювро заговорил о том, что необходимо возобновить торговые отношения между Западом и Востоком.

— Да, мосье Кювро, надо, чтобы Франция поставляла Китаю паровозы...

Пьеретта проснулась только часов в одиннадцать. Миньо поделился с нею своими сомнениями. Она отвечала ему рассеянно; все ее внимание было поглощено неясным гулом, доносившимся из города.

Окно комнаты, в которой их заперли, выходило во внутренний двор жандармерии. В половине двенадцатого в здании поднялась суматоха, и вскоре заключенные увидели, как из ворот стали выходить группами жандармы в касках, вооруженные карабинами. Часовой на минуту отлучился и, вернувшись, сообщил, что в верхней части Гренобльской улицы произошла серьезная стычка между охранниками и рабочими. Какие-то парни забросали камнями грузовики, поставленные как раз напротив баррикады, преграждавшей доступ в поселок. Охранники перешли в наступление и отогнали рабочих; те отступили за баррикаду и вернулись с новым запасом булыжников. Охранники снова пошли в наступление. С той и другой стороны несколько человек было легко ранено.

Жандарм во всем винил охранников. По его словам, они никогда и не пытаются «договориться по-хорошему», а лезут в драку, потому что за это им полагается особое вознаграждение.

В половине первого жандарма вызвали к командиру отделения; возвратившись, он объявил заключенным, что вынужден, к сожалению, запереть их: он проголодался и хочет пойти перекусить, а товарища, который должен был его сменить, послали на подмогу охранникам, и неизвестно, когда он вернется. Жандарм ушел, заперев дверь на ключ.

— Теперь и мы должны уйти, — сказал Кювро.

— Внизу, у лестницы стоят часовые, — заметила Пьеретта.

— Знаю, — ответил Кювро, — но комната рядом с нашей — угловая, и как раз под ее окном, метра на два ниже, крыша соседнего дома...

— Но как же нам отсюда выбраться?

— Слегка наляжем на дверь, поднажмем плечом... Дерево гнилое.

— Но это же побег, — возразил Миньо.

— Вышибить дверь — пустяковое дело, — продолжал Кювро, налегая на дверь.

— Нет, так нельзя поступать, — запротестовал Миньо. — Если мы убежим да к тому же взломаем дверь, то поставим себя вне закона... Сейчас наша партия придерживается другой тактики.

— Уж если что незаконно, так то, что нас арестовали, — возразила Пьеретта. — Действуй, — обратилась она к Кювро.

Кювро принялся расшатывать дверь и почти сразу вырвал петли из гнилого дерева. Опасаясь, что створка упадет и шум привлечет внимание, Кювро придержал ее, пропустил Пьеретту и Миньо, потом вышел сам и осторожно поставил дверь на место. Слышно было, как внизу на площадке лестницы разговаривали жандармы.

Дверь в угловую комнату оказалась открытой; они тихонько затворили ее за собой. Кювро первым соскользнул на крышу соседнего дома и помог спуститься Пьеретте и Миньо. Через слуховое окно они забрались на чердак.

Кювро были знакомы все проходные дворы и все лазейки, все дома и все жители старого города. Не прошло и десяти минут, как беглецы были уже у виноградников. Они перебрались через Желину по мостику у плотины, ниже фабрики, под носом у четырех охранников, которые не знали их в лицо. Переулками, параллельными Лионской улице, они дошли до площади Франсуа Летурно, бегом пересекли Лионскую улицу и позвонили в дверь к сочувствующей коммунистам учительнице, которая

жила на четвертом этаже. Окна ее квартиры выходили на площадь, как раз над павильоном американской выставки.

Мы с репортером из А. находились в этой же квартире. Спрятавшись за занавесками, мы следили за всем, что происходило в городе, чтобы написать об этом в газеты. Связь между нами и товарищами на левом берегу поддерживали девушки, которых охранники пока еще пропускали через мост.

От нас беглецы узнали о последних событиях. В час дня колонна демонстрантов построилась в поселке. Была сделана безуспешная попытка обойти заслон охранников через парк старика Летурно: демонстранты взломали ворота. Охранники перешли в контрнаступление, и в парке, среди деревьев, завязалась схватка. Старик Летурно попробовал вмешаться — заступился за женщин, которых избивали охранники, но и ему досталось. Тогда он надел сюртук и решил обратиться с официальным протестом в дирекцию. Тем лучше! Он появится там в самый разгар банкета!.. Но охранники не выпустили старика, посадили его под домашний арест.

Было уже около двух часов дня. Нам сообщили, что нескольким группам демонстрантов удалось пробраться через виноградники в старый город, откуда они намеревались спуститься прямо на набережную.

Мы узнали, что Шардонне арестовали в главном городе кантона. Его схватили утром на вокзале, в тот момент, когда он собирался сесть в поезд на Клюзо.

В два часа дня в зале дирекции фабрики Джонатан Джонстон, выступавший последним, закончил свою речь.

Ему аплодировали стоя. Потом все сели. Был подан коньяк, и в этот момент с противоположного берега Желины донесся неясный гул голосов.

По всем уличкам старого города бежали демонстранты-рабочие; они спрыгивали с вала, который тянется вдоль набережной, без труда оттеснив жандармов, сменивших заслоны охранников (последних отправили на подкрепление в парк Летурно). Жандармы без боя отступили под натиском рабочих в цех П. и закрыли за собой ворота. Передовой отряд демонстрантов с тыла напал на кордон в нижней части Гренобльской улицы; охранники под градом камней, гаек и всякого железного лома бросились врассыпную: одни на мост, остальные в парк.

Рабочие сразу же принялись опрокидывать оставленные на Гренобльской улице грузовики.

Гул усилился. Натали взяла Джонатана Джонстона под руку и увлекла его на балкон.

— Посмотрите, как нас приветствует население Клюзо...

Валерио Амполи поспешил за ними, префект не успел их остановить.

Едва они появились на балконе, возмущенные крики на том берегу усилились. Желина не широкая речка. Джонстон в клетчатых гольфах (он считал, что едет на строительную площадку) и в больших роговых очках выглядел, как типичный американец с карикатуры. Толпа принялась скандировать: «GO HOME! GO HOME!»

Джонстон вопросительно поглядел на Амполи. Тот без всяких обиняков изложил истинное положение вещей: американская политика «с позиции силы» вынудила его уволить половину рабочих фабрики. Представителю ОЕЭС полезно все это услышать и увидеть; наконец-то он сможет привести достоверные факты в своем отчете государственному департаменту.

Министр отозвал префекта в сторону.

— Вы нам обещали, что беспорядков не будет... Понимаете, какие это может вызвать последствия...

Министр — мелкий нормандский промышленник; его жена путем ловких интриг заручилась поддержкой архиепископа и добилась того, что имя ее мужа стояло первым в списке кандидатов МРП в Национальное собрание на выборах, проведенных после Освобождения. Будучи депутатом, он возглавлял группу промышленников, приглашенных в Соединенные Штаты для ознакомления с «новыми методами рационализации труда». Скрывая финансовое положение своих коллег, он приобрел репутацию тактичного человека. Он аккуратно посещал церковь и при голосовании всегда следовал указаниям лидеров своей группы. В знак благодарности его назначили министром в нынешнем кабинете. Его бросало в дрожь при мысли, что беспорядки в Клюзо сотрут в прах результаты десятилетнего пресмыкательства.

Префект, бывший контролер мер и весов в одном из провинциальных городов, медленно и терпеливо делал карьеру в местной организации социалистической партии, в «Обществе свободомыслящих» и в благотворительной организации «Помощь неимущим школьникам». Нынешний пост настолько превосходил его самые честолюбивые мечты, что он все еще не мог опомниться от радости. Сейчас его раздирали сомнения. Он не знал, как поступить: если приказать охранникам «очистить» набережную — могут произойти серьезные столкновения, если же оставить демонстрантов хозяйничать на левом берегу — американец сочтет его «тряпкой». Префект позвонил министру внутренних дел.

Ему ответили, что раз уж не удалось избежать демонстрации или хотя бы скрыть ее от американца, словом, раз беда уже произошла, надо спасать то, что еще можно спасти: незаметно убрать полицию, присланную для охраны порядка, сократить торжественную церемонию и как можно скорее выпроводить представителя ОЕЭС в Париж.

В соответствии с приказом командир охранников ушел с левого берега, предоставив демонстрантам свободу действия и оттянув свои основные силы на мост.

* * *

Сквозь прозрачные тюлевые занавески в квартире учительницы мы могли наблюдать за всем, что происходило на площади Франсуа Летурно, на обеих набережных Желины, на мосту, на нижней части Гренобльской улицы и во всем старом городе.

В начале третьего наступило затишье. Амполи и Джонатан Джонстон ушли с балкона. Рабочие молча устанавливали вдоль набережной заготовленные для демонстрации транспаранты: «Мира! Хлеба! Свободы!» и «U. S., GO HOME!».

День был ясный. Подул сильный ветер, и над павильоном передвижной выставки затрепетали французские и американские флаги.

— Мы должны были остаться на том берегу, — сказал Миньо.

Пьеретта и Кювро перешептывались у другого окна и ничего не ответили.

— Наше место там, с товарищами, — настаивал Миньо.

В этот момент распахнулись ворота гаража пожарной команды, слева от входа на фабрику, у самого берега Желины.

— Наконец-то надумал! — обрадовалась Пьеретта.

— Сейчас посмеемся! — воскликнул Кювро.

Очень отчетливо застучал мотор автопомпы. Из гаража вышли двое мужчин — один в форме пожарного, другой — в рабочем комбинезоне; они несли тяжелый брандспойт.

— Вот мерзавец, — возмутился Миньо. В пожарнике он узнал Визиля.

С противоположного берега донеслись негодующие крики. Демон-

странты решили, что их сейчас начнут поливать водой, и поспешно отступили к валу старого города.

— И твой Бомаск с ним, — глухо сказал Миньо.

В самом деле, Визилю помогал Бомаск. Пьеретта рассмеялась. Визиль и Бомаск продвинулись шагов на двадцать. Видно было, что им тяжело волочить пожарный рукав.

— Скорее, чорт побери, скорее! — шептал Кювро.

Брандспойт, который они сперва держали концом вниз, медленно поднимался, нацеливаясь на тент передвижной выставки. Хлынула огромная струя воды, сперва она ударилась в землю, затем подскочила, обрушилась на брезентовую крышу павильона и прогнула ее; на солнце заблестела большая лужа, образовавшаяся во вмятине крыши.

Потом сокрушительная струя ударила в боковую стенку, чуть повыше земли, смела павильон, проволокла его несколько метров и затем перевернула на бок. Большой кусок брезента отлетел в сторону.

Визиль и Бомаск медленно продвигались вперед.

Струя воды прибивала к стене здания дирекции фабрики листы фанеры, таблицы и макеты. Один из флагов взметнулся до третьего этажа, потом, отяжелев, шлепнулся мокрой тряпкой на балкон, с которого только что ушли Амполи и Джонстон. Диаграммы, унесенные струей воды и подхваченные ветром, улетели к самому мосту.

Пьеретта заливалась смехом, Кювро хлопал себя по ляжкам, репортер щелкал фотоаппаратом. На том берегу реки люди, столпившиеся вдоль всей набережной, аплодировали и восторженно кричали.

Обломки, валявшиеся в огромных лужах, — вот и все, что осталось от выставки «свободных» профсоюзов.

Визиль и Бомаск направили брандспойт на окна зала дирекции: стекла разлетелись вдребезги.

Внезапно восторженные крики стихли и раздались предостерегающие возгласы. Из ворот фабрики вынырнули охранники, вооруженные топориками, и бросились к пожарному рукаву. Еще минута, и путь отступления для Визиля и Бомаска окажется отрезанным.

Но они во-время заметили опасность, и струя воды сшибла полицейских.

Визиль и Бомаск стали медленно отступать, поминутно оглядываясь.

Из окна пристройки, рядом с гаражом, вылезали пожарники. (Как мы потом узнали, Бомаск и Визиль их там заперли.) Струя воды отбросила их к фабричным воротам.

Бомаск и Визиль продолжали шаг за шагом отступать.

На площади появлялись все новые и новые охранники; они разбегались веером и бросались ничком на землю, когда струя приближалась к ним, но тотчас вскакивали и неслись дальше. Двое охранников крались вдоль стены и, казалось, вот-вот подберутся к гаражу, перекроют воду и тем самым лишат Бомаска и Визиля их оружия.

Наступила полная тишина. Мы очень ясно услышали, как струя бьет по мостовой, затем раздался треск: под самыми нашими окнами разлетелась в щепки винтовка, которую струя воды подняла и швырнула о стену дома.

Визиль отпустил пожарный рукав и побежал к Желине. Бомаск покачнулся под тяжестью брандспойта, но тут же, широко расставив ноги, восстановил равновесие и повернул струю на охранника, который добрался наконец до ворот гаража и спрятался было за одной из створ; его унесло к фабричной ограде.

Бомаск отступил еще на три шага. Из окна пристройки спускался второй охранник. Струя смела его и уволокла к Желине.

Вдруг хлопнул выстрел. Бомаск выронил брандспойт, и мы услы-

шали сдавленный крик; Бомаск упал лицом вниз, раскинув руки. Струя воды бесшумно била вдоль земли, расчищая себе путь среди обломков американской выставки.

Визиль, прыгнувший в реку, уже достиг противоположного берега, и ему помогали взобраться на набережную. В брандспойте несколько раз булькнуло, и вода иссякла. Четверо охранников подбежали с носилками к телу Бомаска. Мы увидели, как они нагнулись и закрыли ему глаза. Вокруг тела Бомаска расплывалось красное пятно.

Пьеретта ушла в другую комнату и легла на кровать, лицом к стене. Учительница подошла к ней.

— Дайте мне побыть одной, — попросила Пьеретта.

— Дверь закрыть?

— Не надо. Я хочу слышать...

* * *

Примерно через полчаса после того, как Бомаск был убит, гости покинули Клюзо. Они вышли из здания дирекции через боковую дверь, сели в машины и с бешеной скоростью понеслись по Лионской улице, где дежурили небольшие отряды жандармов.

Охранникам был отдан приказ отступить на территорию фабрики. Ветер все усиливался, рассеялись последние группы демонстрантов. К шести часам на улицах воцарилось спокойствие, только в кафе и на лестничных площадках домов рабочего поселка возбужденно обсуждались сегодняшние события.

Мы с репортером вернулись к учительнице, чтобы закончить наши корреспонденции. Пьеретта Амабль все еще лежала в соседней комнате. К половине седьмого вернулся Кювро; он присоединился к демонстрантам, как только с моста был снят полицейский кордон.

— Визиль может наломать дров, — сказал он.

Оказывается, Визиль, переплыв на левый берег, немедленно собрал кое-кого из бывших партизан и рабочих, возмущенных убийством Бомаска; они раздобыли в каменоломне взрывчатку и направились на Гренобльское шоссе, решив взорвать скалу и похоронить под ее обломками первый же грузовик с охранниками, когда их повезут обратно в казармы.

Кювро узнал от фабричных сторожей, что охранники покинут город после ужина, которым их угощает ПТАО в одном из цехов.

Пьеретта вышла к нам.

— Надо остановить Визиля, — сказала она.

— Его не переспоришь. Он и меня не стал слушать, — ответил Кювро.

— Проводите меня к Визилю, пока он еще не успел натворить беды, — попросила Пьеретта.

Репортер из А. тотчас предложил отвезти ее на своей машине. Пьеретта заняла место на заднем сидении — между мною и репортером, а Кювро, пригнувшись, сел рядом с шофером; мы боялись, что жандармы их разыскивают; ордера на их арест, по всей вероятности, еще были действительны.

В двух километрах от Клюзо Гренобльское шоссе выходит из ущелья и поднимается в гору. Кювро точно знал, в каком месте Визиль собирается произвести взрыв. Мы оставили машину на проселочной дороге, потушив фары, а сами полезли по скалам. Репортер освещал путь карманным фонариком. Пьеретта шла впереди; мы с трудом за ней поспевали.

Нам пришлось перебираться вброд через горный ручей, сильно взбухший за последние дни от дождей. Пьеретта поскользнулась на

мокром камне, но ухватилась за дерево. Вода бурлила и пенилась между валунами. Дважды Пьеретта оступалась, но оба раза удержалась на ногах. Мы старались не отставать от нее. Она выбралась на берег, промокшая насквозь. На ветру влажный подол шерстяного платьица облепил ее ноги.

Пьеретта, не передохнув, стала подниматься по крутой тропинке, которая вела к той скале, где должны были находиться Визиль и его товарищи.

Мы застали их в тот момент, когда Визиль готовил шашки, а в нескольких шагах от него трое молодых парней закладывали мину в огромную скалу, нависшую прямо над освещенным луной шоссе.

— Вы в своем уме? — сурово спросила Пьеретта.

Рабочие, помогавшие Визилю, подошли к ней.

— Мы отомстим за твоего друга, — ответил Визиль.

— Выкинь всю свою взрывчатку, — сказала она старику. — А вы,— обратилась она к молодым рабочим, — пошли за мной.

— Подумай, мы превратим в лепешку человек двадцать этих мерзавцев, — убеждал Визиль.

— А что дальше?

— Мы так их проучим, что они больше к нам не сунутся.

— Ты собираешься в одиночку устроить революцию?

Со стороны Клюзо в темноте замелькали огоньки автомобильных фар. Подошли и остальные товарищи Визиля. В руках у них были кирки.

— А куда вы потом денетесь? — спросила Пьеретта.

— Вернемся в маки́, — заявил Визиль. — Немцы нас не одолели. Тем более не запугают нас какие-то там сопливые охранники.

— Дурак! — отрезала Пьеретта.

— Они укокошили твоего дружка, но, видно, ты не очень-то убиваешься, — сказал Визиль.

— Дурак! — повторила Пьеретта. — Ты, значит, не понимаешь, что правительство только этого и ждет... Правительству не жалко нескольких охранников... Оно готово даже заплатить, чтобы мы их убили... Правительству только и нужен предлог, чтобы запретить нашу партию...

— Она права, — сказал один из рабочих.

— Она права, — поддержал его другой.

— Чорт! — воскликнул Визиль и со всего размаху бросил приготовленные шашки в горный поток. Не добавив больше ни слова, он стал спускаться тропинкой, по которой мы только что пришли. Его товарищи последовали за ним.

Фары машин приближались. Вскоре внизу с грохотом промчался первый грузовик. Пьеретта стояла на выступе скалы, и мокрое платье прилипло к ее ногам. Проехал второй грузовик.

— До чего же горько, что нельзя всех их похоронить под этим вот... — и Пьеретта показала на скалу, которая обрушилась бы на шоссе, если б не помешали Визилю.

Она повернулась к нам. Крупные слезы текли по ее щекам.

Возвращаясь к машине, мы шли на этот раз очень медленно и на трудных переходах поддерживали Пьеретту.

* * *

Поздним вечером Натали, носившейся по всему городу, разыскивая нас, наконец удалось с нами связаться. Нам уже рассказали, что она потрясена гибелью Бомаска, возмущена арестом Пьеретты, Миньо и Кювро. Натали предложила увезти их на своей машине и предоставить им убежище в одном из своих имений близ Лиона. Одновременно мы узна-

ли, что полиция разыскивает беглецов. Мы согласились принять на время предложение Натали.

С пешеходного мостика через Желину у рабочего поселка охрана была снята. Мы вошли в парк через угловую калитку. Было решено, что «Альфа» Натали выедет через ворота, которые демонстранты взломали, когда прорывались в парк; оттуда дорога вела к шоссе выше рабочего поселка. Таким образом можно будет избежать встречи с жандармскими и полицейскими кордонами, расставленными на окраине города.

Четверг. Вечер.

Как только Натали ушла, Филипп отправился в свой излюбленный кабачок на Лионском шоссе.

Всю первую половину дня он пережевывал свою обиду, «измену» сестры, как он это называл про себя, и пил аперитив рюмку за рюмкой.

Официантка ушла на торжественный пуск цеха П. Филипп слонялся от столика к столику. Никогда еще он не чувствовал себя таким неловким, он не знал, куда девать свои длинные руки и ноги и испытывал отвращение к своему большому, обмякшему телу.

В три часа вернулась официантка. Она была очень возбуждена.

— Полицейские открыли огонь — крикнула она еще с порога.

— Убитые есть? — спросила хозяйка кабачка.

— Только один — мака́, — ответила девушка.— Ваш друг Бомаск,— добавила она, обращаясь к Филиппу, и по-своему изложила события.

Сама она ничего не видела, потому что жандармы не пропустили ее на площадь Франсуа Летурно, но рассказ о том, как погиб Бомаск, уже обошел весь город.

Девушка описала, как Визиль струей из пожарного насоса снес выставочный павильон, а потом бросился в реку...

— Почему же Бомаск не убежал вместе с Визилем? — спросил Филипп.

— Он прикрывал отступление... Храбрый, как лев, он ни за что не сдавался, сшиб несколько десятков охранников... и все наступал и наступал... Он никого не боялся... Он шел прямо на дирекцию фабрики, сметая все на своем пути... Со всех сторон в него стреляли, а он все шел и шел, словно пули ему нипочем...

Так начала создаваться легенда о Бомаске.

«Бомаск умышленно дал себя убить, — подумал Филипп. — Я доказал, что Пьеретта его обманывает, и он покончил с собой. Он не вынес измены женщины, которую считал самой честной. Он героически покончил с собой. Но убил-то его я...»

Филипп вернулся домой. Мучительные мысли растравляли его душу. «Натали обманула меня, Пьеретта изменила Бомаску, а я, я убил единственного моего друга».

Около десяти вечера Филипп увидел нас сквозь жалюзи. Мы шли к гаражу, пристроенному к домику, в котором он жил. Я и Натали поддерживали с двух сторон Пьеретту; Кювро и Миньо следовали за нами. Филипп решил, что мы идем к нему. «Они все знают, — испугался он,— наверно, Бомаск успел перед самоубийством рассказать о нашем вчерашнем разговоре».

Мы шли очень медленно из-за Пьеретты: нервы ее сдали, и она чувствовала страшную слабость. Мы шли медленно и торжественно, как судьи, вынесшие приговор.

Филипп бросился в соседнюю комнату, завязал петлей веревку от блока, с помощью которого открывалась крышка чердачного люка, на-

дел петлю себе на шею, взобрался на табурет, запер на задвижку крышку люка и отбросил ногой табуретку.

В это время мы садились в машину Натали.

На следующее утро служанка обнаружила его труп. Он повесился в домике бывших консьержей своего деда. Так прекратился род Летурно.

Длинные ноги Филиппа всего на несколько сантиметров недоставали до пола.

Пятница, суббота, воскресенье, понедельник...

Пьеретта, Миньо и Кювро провели только двое суток в убежище, предоставленном им Натали Амполи. Правительство стремилось как можно скорее замять «досадное», на его взгляд, происшествие. Уже в субботу утром ордера на арест были аннулированы, и беглецы смогли вернуться в Клюзо. Эти два дня я с ними не расставался; именно тогда я и получил от них и от Натали те сведения, которые позволили мне написать эту книгу.

Префекта сурово отчитали за беспорядки, происшедшие в четверг, и он опасался, что похороны Бомаска вызовут новые волнения. Поэтому в пятницу, на рассвете, двое полицейских выехали в Италию с заданием разыскать родителей убитого. Итальянские власти оказали содействие своим французским коллегам. И вот в горную пьемонтскую деревушку явилась полиция, до смерти перепугав стариков Бельмаскио; им приказали затребовать тело сына и похоронить его в родной деревне. На предстоящие расходы им выдали денег, не скупясь. Старики покорно подписали все бумаги, которые им подсунул «brigadiere».

В субботу вечером, когда Пьеретта пришла в больницу за телом своего друга, ей показали письмо родителей Бомаска. Полиция проявила небывалую расторопность; тело Бомаска уже отправили в Италию.

В больницу Пьеретту провожал Кювро. Возвращались они тоже вместе. Ветер дул с невероятной силой; он с ревом врывался в ущелье. Собираясь в больницу, Пьеретта накинула на плечи свою черную шаль; ледяной ветер хлестал в лицо, и она натянула шаль на голову, скрестив концы под подбородком.

Впервые в жизни она стала похожа на итальянку, на вдову из Пьемонта.

Они пересекли площадь Франсуа Летурно, прошли мимо закрытых ворот фабрики. Забастовка еще продолжалась. Над решетчатыми воротами вырисовывались освещенные луной гигантские буквы: ПТАО.

— В двадцать четвертом году, — заговорил Кювро, — когда наша знаменитая забастовка выбила у них почву из-под ног, мы многого не знали, не то, что теперь... Мы ничего не понимали в их финансовых махинациях... С тех пор рабочий класс вырос... На нашей стороне еще будет сила...

— Мы уже сильнее, — твердо сказала Пьеретта, но ей пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание. Она оперлась на руку старика Кювро. Медленным шагом они направились к дому, о котором Пьеретта так недолго говорила «у нас».

* * *

Желтая пресса, как французская, так и американская, смаковала самоубийство Филиппа Летурно, и французское правительство не смогло тому воспрепятствовать. Из-за родства Филиппа с королями шелка его трагическая смерть превратилась в событие международного значения. Скандальные похождения Натали, садоводческие причуды старика

Летурно, жалкое существование, которое влачил Филипп в последние свои дни, получили широкую огласку. Но когда заговорили о смертельной борьбе, которую Эстер Дюран де Шамбор и Эмили Прива-Люба вели против Валерио Амполи, брата первой и мужа последней, семья Дюран де Шамборов не на шутку встревожилась; шумиха, поднятая вокруг связи Эмили с Джеймсом, могла восстановить против Дюран де Шамборов пуританские лиги. Пытаясь задобрить Валерио Амполи, который сообщал журналистам сведения, компрометирующие его американских родственников, Дюран де Шамборы ослабили давление на итальянских поставщиков шелка-сырца. Фабрика в Клюзо, вновь получив сырье, приняла обратно уволенных рабочих. Забастовка прекратилась.

В тот день, когда фабрика снова начала работать, Пьеретта выступила перед рабочими и работницами, собравшимися у ворот на площади Франсуа Летурно. Она снова разъяснила им государственное и международное значение последних событий.

Пьеретта так закончила свою речь: «Мы победили. Сила оказалась на нашей стороне. Но впереди еще более ожесточенные сражения. Один буржуа может повеситься, но вся буржуазия не покончит с собой, ее надо уничтожить».

ЭПИЛОГ

Вскоре после вышеописанных событий я уехал из Франции и вернулся в Гранж-о-Ван только год спустя.

Эмэ Амабль, дядя Пьеретты, умер в конце зимы. Его жена Адель была вынуждена продать заложенную землю железнодорожнику Жану и перебралась в Клюзо, к своей племяннице. Теперь она вела хозяйство и растила детей Пьеретты — Роже и сына Бомаска, родившегося весной.

Эрнестина и Жюстен переехали в Гренобль, и оба работают там на заводе. Соседские куры облюбовали себе дом Эрнестины — в радостной предотъездной суматохе Жюстен плохо заколотил его. Когда начал таять снег, крыша во многих местах дала течь. Пройдет еще год, и к пейзажу в духе Юбера Робера, который открывается из моего окна, прибавится еще одна развалина. Никто теперь не приезжает в Гранж-о-Ван за молоком, так как деревня расположена слишком далеко от сыроварни. Крестьяне сами изготовляют сыр, но у них нет необходимого оборудования, и сыр получается невкусный.

Через несколько дней после моего возвращения я узнал из газет, что между Францией и Китаем заключен торговый договор, предусматривающий значительные поставки китайского шелка-сырца. Я поехал в Клюзо.

Первым делом я отправился к Пьеретте. Было семь часов вечера. В дверях ее квартиры торчал ключ, и я вошел без стука. Пьеретта сидела в первой комнате у стола, заваленного папками с профсоюзными делами. Кювро стоял около нее и скручивал сигарету. В плетеном кресле сидел молодой рабочий в комбинезоне и читал «Франс Нувель». Пьеретта познакомила меня с ним:

«...дельный товарищ, недавно приехал в наши края. Никому не удавалось вовлечь в профсоюз рабочих картонажной фабрики, а он этого добился».

По решению партийной организации департамента Миньо перевели на юг. Секретарем местной коммунистической секции стала Пьеретта. «Как дела? Неплохо.» После забастовки, закончившейся победой рабочих, профсоюзы продолжают действовать сплоченно. Пьеретта и Луиза Югонне образовали общий комитет. В «Цехе ста» каждая работница

обслуживает только два станка; теперь идет борьба за то, чтобы «на каждые три станка приходилось по две работницы».

— А сейчас я уговариваю Кювро на следующем общем профсоюзном собрании обсудить договор с Китаем, — сказала Пьеретта. — В некотором роде это тоже победа французского рабочего класса...

Тут вошла Луиза Югонне.

— Плевала я на всякие торговые договоры, — заявила она. — Шелк-сырец покупают не рабочие, и договор выгоден не им, а всяким Амполи.

— Ты права, — согласилась Пьеретта, — но надо смотреть на вещи глубже. Возобновление торговых отношений с Китаем упрочит мир...

Спор продолжался, но я не прислушивался к нему. Я только что вернулся из путешествия по Индии и Египту. В бамбуковых хижинах долины Ганга, в тюрьмах долины Нила велись такие же бесконечные споры на ту же тему. Во всем мире одновременно люди объединяются, осознавая общность своих интересов, свою растущую силу. Люди спорят, подбирая нужные слова, бессчетное число раз приводят одни и те же доводы, чтобы лучше убедить самих себя и своих слушателей. Они бывают подчас педантичны, повторяют, казалось бы, готовые формулы, но они делают это сознательно, убежденно, потому что их страстное желание — никогда больше не ошибаться, не поддаваться обману... История человечества приближается к «решающему перелому», и меня не покидает радостное ощущение того, что я живу в такое время и вижу, как на всем земном шаре поднимается эта чудесная сила.

В конце концов Пьеретта одержала верх, хотя ей и пришлось повздорить с Кювро. На него, как на бывшего синдикалиста, да еще лионской формации, действовали доводы Луизы Югонне.

— Кто выступит? — спросила Пьеретта.

— Ты, — в один голос сказали Луиза и Кювро.

— Ладно.

Пьеретта раскрыла школьную тетрадь, помусолила карандаш и стала записывать своим мелким четким почерком:

«Объяснить политическое значение франко-китайского торгового договора.

Ответственный за выполнение: Амабль».

Я ушел вместе с Кювро. Луиза Югонне и молодой рабочий задержались у Пьеретты, чтобы разработать план ее выступления.

— Сгоряча она черт знает что говорит, — сказал мне Кювро. — Могла бы осторожнее подбирать слова. Я был членом партии, когда ее еще на свете не было...

Помолчав, он добавил, оправдывая Пьеретту:

— Она стала раздражительной... Сами понимаете, нехорошо молодой женщине жить одной...

— А этот молодой рабочий?..

— Пока между ними ничего нет, но надеюсь, что будет...

* * *

Так жил Клюзо и многие другие города Франции в эти мрачные пятидесятые годы. Пьеретту Амабль они многому научили.

Приближаются чудесные и грозные времена. Нет сомнения, что Пьеретта покажет себя стойким борцом в эпоху великих грядущих боев.

Конец.

Роман печатался с сокращениями.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ АДАМА МИЦКЕВИЧА

Б. Стахеев

Среди русских друзей

В октябре 1824 года Мицкевич был выслан царскими властями из родной Литвы в центральные губернии Российской империи за участие в тайных патриотических организациях польской молодежи — «Общество филоматов» и «Общество филаретов».

Он прибыл в Петербург 9 ноября. А менее чем через два месяца после этого член Северного общества Александр Бестужев делает в своем дневнике запись об очередной встрече с польским поэтом, как о встрече со старым знакомым: «31.XII. Среда. Дежурный. Вечером до 11 часов у нас сидели Мицкевич, Ежовский и Малевский. Пили за Новый год». Ссыльный поэт нашел в русской столице товарищей и единомышленников. Его ближайшими друзьями стали К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев.

В вышедших за последние годы работах польских литературоведов высказано предположение, что еще до приезда Мицкевича в Петербург молодой поэт и его виленские друзья были осведомлены о революционных настроениях в России, может быть, знали о существовании русских тайных обществ и даже налаживали с ними конспиративную связь. В начале двадцатых годов, после восстания семеновцев, в Литве и Белоруссии был расквартирован гвардейский корпус, где служил целый ряд оппозиционно настроенных офицеров. В 1823 году в Вильно побывал М. П. Бестужев-Рюмин, один из самых деятельных руководителей Южного общества, придававший большое значение установлению контакта с поляками. А в восьмой сцене третьей части «Дзядов» (1832), где описано следствие по делу филаретов, Мицкевич вывел русского офицера Бестужева, который ведет с польскими юношами дружеский конспиративный разговор. В этой драме Мицкевич стремился к максимально точному воспроизведению событий, сохранял подлинные имена действующих лиц и сам отмечал в предисловии, что «историческая обстановка и характеры действующих лиц» очерчены им «добросовестно, без каких бы то ни было преувеличений и прикрас». В свете этого образ Бестужева, как отмечает польский литературовед Л. Подгорский-Околув, становится возможным рассматривать уже не только как закономерное и правдивое художественное обобщение зарождавшихся в двадцатые годы русско-польских революционных связей, но и как своеобразное исторически-документальное свидетельство о том, что существовали какие-то связи между филаретами и русскими революционерами.

В 1825 году бывший филомат Михал Рукевич явился одним из организаторов тайного революционного общества «Военные друзья», состоявшего из офицеров Литовского корпуса и попытавшегося выступить в поддержку декабрьского восстания.

Адам Мицкевич

В Вильно не могли не проникать сведения о литературной жизни в России, о деятельности передовых писателей. Профессором русской словесности в Виленском университете был в двадцатые годы И. Н. Лобойко, член петербургского «Вольного общества любителей российской словесности», где к тому времени главную роль играли литераторы-декабристы Ф. Н. Глинка, К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер. Членом-корреспондентом этого же общества был Винценты Пелчинский, поддерживавший переписку со своими виленскими друзьями — филаретами. Во время следствия по делу филаретов кое у кого были обнаружены русские антиправительственные стихи.

Доходившие в Вильно сведения о русском общественном и литературном движении были известны и Мицкевичу, одному из самых деятельных членов молодежных патриотических кружков. В политических и литературных взглядах молодого поэта, ненавидевшего крепостнический гнет, сочувствовавшего крестьянству, выступавшего за национально-самобытную, действенную, патриотическую поэзию, было много родственного политической и литературной программе декабристов. Это не могло не подготовить почву для будущего тесного знакомства.

Есть основания думать, что в сближении ссыльного польского поэта и видных деятелей декабристских организаций была проявлена инициатива с русской стороны.

В 1824 году русские дворянские революционеры, разрабатывавшие планы восстания, уже завязали сношения с тайными шляхетскими организациями в Польше. В январе 1824 года представители «Южного общества» М. П. Бестужев-Рюмин и С. И. Муравьев-Апостол вели в Киеве тайные переговоры с уполномоченным «Патриотического общества» С. Кшижановским. Русские революционеры предложили план совместных действий русских и польских организаций. Они являлись сторонниками восстановления независимой Польши и в период подготовки к восстанию были заинтересованы в расширении польско-русских связей, как революционных, так и культурных. Интерес деятелей «Северного общества» к появившемуся в русской столице польскому поэту, к тому же репрессированному властями, участнику польской патриотической организации, вполне понятен. К тому же имя Мицкевича было известно в России еще до его приезда. Уже в 1822 году К. Ф. Рылеев перевел фрагменты баллад Мицкевича «Лилии» и «Свитезянка».

На необходимость установления личных связей между приезжавшими в центры России поляками и кругами декабристской общественности обращалось внимание в переговорах русских и польских тайных обществ. М. П. Бестужев-Рюмин показал на следствии, что в проекте договора с поляками фигурировал следующий пункт: «С утверждения договора сего Русское общество будет оказывать покровительство полякам, имеющим дела в России, буде оные справедливы».

О приезде Мицкевича в декабристских кругах должны были узнать довольно быстро, даже если не были предупреждены об этом заранее. Стремление к установлению дружеских личных связей было, надо полагать, взаимным. Вот почему приехавший в Петербург Мицкевич сразу же входит в среду декабристов.

* * *

Как далеко зашли связи Мицкевича с кругами «Северного общества», вылились ли они в приобщение польского поэта к конспиративной деятельности декабристов? На этот счет в работах последних лет (труды польских литературоведов Л. Подгорского-Околува, Л. Гомолицкого, С. Жулкевского) сделаны смелые и аргументированные предположения. Недостаток документальных материалов здесь особенно остро ощу-

щается исследователями, но он вполне понятен, если учесть, что дело идет о тайных антиправительственных действиях, грозивших потерей жизни и свободы в случае неосторожности и провала. Мицкевичу, ссыльному и поднадзорному, приходилось быть вдвойне осторожным. Очень немногое могло отразиться в документах, большинство которых было к тому же уничтожено во время повальных арестов в конце 1825 года. Все это крайне затрудняет ясное и окончательное решение вопроса — такое решение, которое было бы убедительно даже для скептиков. Но вместе с тем это заставляет с большим вниманием относиться к тем сведениям, которыми мы располагаем.

Известно, что движение декабристов Мицкевич охарактеризовал в одной из лекций читанного им в Париже «Курса славянских литератур» (лекция от 7 июня 1842 года). При этом о планах и собраниях тайных обществ, о конспиративных переговорах с поляками Мицкевич говорит если не как участник и очевидец, то, по крайней мере, как человек, располагавший непосредственной информацией:

«В Петербурге офицеры и чиновники собирались в квартирах, окна которых выходили на улицу, и никому не удалось установить цели их собраний. Общественное мнение было сильнее угроз правительства.

Но никто не знал, с чего начать действия. Все участники заговора были единодушного мнения, что надо низвергнуть правительство и уничтожить царствующую семью. На собраниях распевали жестокие песни финского и монгольского характера, приводившие в ужас поляков-заговорщиков, находившихся тогда среди русских...

Была готовность приступить к действию. Но как начать? Во имя чего? «С какими призывами мы выйдем на улицу? — спрашивал один из заговорщиков, прекрасно выразив всю трудность положения.— Что сказать народу, чтобы он нас понял?..»

Характеристика эта производит впечатление сделанной человеком, который пользовался доверием в декабристских кругах. В пользу этого мнения говорят и другие факты. Исследователи указывают, что Мицкевич был знаком с нелегальной агитационной поэзией декабристов, и влияние ее сказалось на некоторых песнях первой сцены третьей части «Дзядов». Дружба Мицкевича с декабристами увековечена им в знаменитом послании «Русским друзьям» (1832), где поэт прославляет Рылеева и Бестужева и вспоминает о своем пребывании в России:

Вы помните ль меня? Среди моих друзей,
Казненных, сосланных в снега пустынь угрюмых,
Сыны чужой земли! Вы также с давних дней
Гражданство обрели в моих заветных думах.
О, где вы? Светлый дух Рылеева погас,
Царь петлю затянул вкруг шеи благородной,
Что, братских полон чувств, я обнимал не раз.
Проклятье палачам твоим, пророк народный!
Нет больше ни пера, ни сабли в той руке,
Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев.
С поляком за руку он скован в руднике,
И в тачку их тиран запряг, обезоружив.

. . . . . .

Пусть эта песнь моя из дальней стороны
К вам долетит во льды полуночного края,
Как радостный призыв свободы и весны,
Как журавлиный клич, веселый вестник мая.
И голос мой вы все узнаете тогда:
В оковах ползал я змеей у ног тирана,
Но сердце полное печали и стыда,
Как чистый голубь, вам вверял я без обмана...

В Петербурге Мицкевич добивается назначения в Одессу, на юг России — один из центров революционных настроений. При отъезде поэта Рылеев и А. Бестужев дают ему рекомендательные письма к В. И. Туманскому, близкому тогда к декабристской среде. Рылеев рекомендует в своем письме Мицкевича и его товарищей по ссылке как друзей и единомышленников: «По чувствам и образу мыслей они уже друзья...»

Подгорский-Околув предполагает, что не случайно Мицкевич и его товарищи медлят с отъездом из столицы и строят свой маршрут таким образом, что оказываются в Киеве как раз в январе 1825 года, когда там во время «контрактовой ярмарки» велись переговоры между представителями «Южного общества» и «Патриотического общества», между Пестелем и Яблоновским.

Все это дает основание для некоторых выводов. Нет ничего невозможного в том, что ссыльный поэт выполнял, по крайней мере, отдельные конспиративные поручения: доставка писем, которые можно было доверить лишь надежному человеку, посильное содействие тайным переговорам и т. д.

Можно многого ожидать от дальнейших биографических исследований, но уже сейчас представляется несомненным, что степень доверия, которым пользовался Мицкевич в русских революционных организациях, была чрезвычайно высокой. Он знал не только о том, что в русском обществе существует оппозиция правительству, но и о том, что готовится попытка свергнуть самодержавие. Виднейшие из декабристских деятелей смотрели на польского поэта как на своего единомышленника. Взаимопонимание, общность политических взглядов, идейная близость между Мицкевичем и русскими революционерами были неизмеримо большими, чем между декабристами и «Патриотическим обществом». Именно Мицкевич и Рылеев с его друзьями стоят в начале славной истории русско-польских революционных связей XIX века, у колыбели благородного лозунга: «За нашу и вашу свободу».

Мицкевич понял, что идея польско-русского революционного сближения глубоко жизненна, обоснована объективной исторической ситуацией: у поляков и русских один общий враг — царское самодержавие. Он сознавал, что пробудившаяся революционная Россия поможет польскому народу в его борьбе за свободу, что никакой другой союз не может быть в такой степени полезен польскому освободительному движению. Этими убеждениями, занимавшими чрезвычайно важное место в мировоззрении Мицкевича, одной из самых прогрессивных черт которого был революционный интернационализм, великий поэт в значительной степени был обязан опыту своего пребывания в России.

Идею русско-польского революционного союза Мицкевич пронес через всю свою бурную жизнь. Он защищал ее от нападок националистической шляхты, для которой сближение с революционной Россией было неприемлемым: перспектива освободительного движения в России грозила обернуться для нее топором украинского и белорусского крестьянина, угнетенного польскими помещиками.

Период пребывания Мицкевича на юге России вследствие скудости материалов, пожалуй, менее всего освещен исследователями. Однако на основании уже высказанных в этой области предположений и догадок можно думать, что связи Мицкевича с русскими революционными кругами не были в это время прерваны, а, напротив, углублялись.

Литературоведы отвергают старую точку зрения, согласно которой пребывание Мицкевича в Одессе сводилось к светским знакомствам, к связям с местной аристократией. Полагают, что эти знакомства

и связи были для Мицкевича только одним из средств скрыть тайную конспиративную деятельность. Обращают внимание на то, что многие из тех лиц, с которыми встречался Мицкевич на юге (Петр Мошинский, Олизар, Туманский, Г. Жевуский и др.), либо входили в польские или русские тайные общества, либо вращались в близкой к ним среде и впоследствии или привлекались к дознанию по делу 14 декабря, или оказались в числе участников польского восстания.

В течение всего времени, пока Мицкевич находился в Одессе, за ним осуществлялся тайный надзор. Показательно, что царские власти вообще серьезно следили за бывшими филаретами и филоматами, высланными из Литвы. Сразу же после отъезда Мицкевича в Одессу последовало распоряжение Александра I не оставлять поэта и его товарищей в южных губерниях, которые были — как это знали при дворе — одним из очагов революционного брожения в России. Уже 2 февраля 1825 года начальник Главного штаба Дибич писал министру просвещения Шишкову:

«Государь Император, усмотрев из рапорта о проезжающих, что 26 минувшего Генваря выехали отсюда в Елисаветград определенные в Ришельевский лицей кандидаты Виленского университета Ежовский и Мицкевич,— Высочайше повелеть соизволил, чтобы кандидатов и профессоров Виленского университета, выписанных оттуда по последним происшествиям, не определять в Ришельевский лицей и вообще в южные провинции, но в самые внутренние, как-то: в Пермскую, Вятскую, Вологодскую и прочие...» (Центральный Государственный военно-исторический архив СССР, ф. 36, оп. 3/847, св. 10, д. 8, л. 3). К счастью для Мицкевича, Шишков остановился на рубрике «прочие», и поэт, проведя почти год на юге, был определен на службу в Москву. Переезд его к новому месту назначения совпал с декабрьскими событиями 1825 года.

Польский литературовед Стефан Жулкевский в книге «Борьба за Мицкевича» много внимания уделил вопросу о том, как отразился в мировоззрении и творчестве поэта опыт восстания 14 декабря. Им высказаны соображения об огромном влиянии этих событий на польского поэта, почувствовавшего не только благородство, но и трагизм положения узкого круга далеких от народа дворянских революционеров, слабость дворянского освободительного движения. Справедливость такого суждения ясна прежде всего из сказанного самим Мицкевичем в его лекциях по поводу сомнений деятелей тайного общества — с какими лозунгами обратиться к народу? Не менее законно анализировать в этой связи и поэму «Конрад Валленрод», которая хотя и не содержит, конечно, прямых, обнаженных аналогий с современными поэту историческими событиями, но создавалась в период размышлений над уроками поражения декабристов и не могла не содержать завуалированного отклика на трагический исход движения 14 декабря. С. Жулкевский, указывая на трагическое положение героя этой поэмы, на ощущаемое им одиночество, делает вывод: «Трагизм Конрада — это результат переосмысления Мицкевичем декабрьского поражения...»

Осмысляя происшедшие события, что Мицкевич понял, каким ударом была неудача восстания не только для дела русской свободы, но и для освободительного движения польского народа, понял, насколько труднее достижение целей этого движения в период нового усиления реакции в России, разгрома русских революционных организаций. И не объясняется ли в свете этого отношение Мицкевича к перспективам польского шляхетского освободительного движения накануне восстания 1830 года и при вести о его начале? Поэт не был уверен в том, что шляхетское восстание будет иметь успех. Достаточно показателен трагический тон стихотворения Мицкевича «Матери-польке» (лето 1830 года),

где нет надежды на близкую свободу, где указывается лишь на страшное неравенство сил.

Но вместе с тем декабристское движение, первое в России организованное выступление против царизма, вооружило Мицкевича на всю жизнь верой в революционные возможности русского народа, которым поэт придавал огромное значение в борьбе за славянское единство. Деятелей декабрьского восстания он считал одними из провозвестников новой эпохи славянской истории. Он рассматривал выступление декабристов, по его выражению, «самых благородных, самых деятельных, восторженных и чистых представителей русской молодежи», как «попытку улучшить положение славянских народов».

* * *

После 1825 года Мицкевич не оставляет деятельности, направленной на установление взаимопонимания между представителями умственной жизни польского и русского народов.

После разгрома восстания 14 декабря уже не было надежды на немедленное осуществление идеи русско-польского революционного единства в форме открытого выступления против царизма. Революционные настроения в России не перестали существовать. Готовилось к самоотверженной борьбе за дело свободы новое поколение бойцов, разбуженное эхом выстрелов на Сенатской площади. Но на первый план выступила работа мысли: продолжение революционной традиции требовало глубокого осмысления происшедшего, идейной закалки будущих борцов. «Внутри совершалась великая работа, — характеризует А. И. Герцен период 1825—1850 годов, — работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная: всюду росло недовольство, революционные идеи за эти двадцать пять лет распространились сильнее, чем за целое столетие, которое им предшествовало... Влияние литературы заметно возрастает и проникает гораздо далее, чем прежде; она не изменяет своему призванию и остается либеральной и просветительской, насколько это возможно при цензуре».

И нельзя не отдать должного проницательности того деятеля, который продолжал верить в перспективу полного взаимопонимания и единства лучших людей Польши и России, кто в новой обстановке, в новых условиях понял, насколько плодотворными для будущего могут быть сделанные навстречу друг другу с русской и польской стороны шаги к сближению в области культуры, прежде всего в поэзии, журналистике.

Содействие русско-польскому сближению было дальнейшим развитием той благородной традиции, которую в первой половине 20-х годов заложили декабристы.

Мицкевич вполне понимает важность этого сближения. За время пребывания в России он делает в этом направлении чрезвычайно много.

Польский поэт сотрудничает в журнале «Московский телеграф», где появляются две его статьи. Он поддерживает попытки журнала информировать читателей о польской литературе. Особое значение имеет его попытка (не удавшаяся вследствие запрета царских властей) организовать в России издание польского журнала «Ирис». Журнал этот, по мысли Мицкевича, должен был стать органом польско-русского культурного сближения. «Редакция предполагаемого в Москве журнала, — пишет Мицкевич в ходатайстве об издании журнала, — при обещанном пособии российских литераторов и при удобности приобретать книги и журналы, желала бы извещать об отличных сочинениях, печатаемых на российском языке, и, таким образом, обратить на них внимание польских читателей, когда между тем она могла бы справедливо надеяться,

что появление польского журнала в Москве поощрило бы россиян к узнаванию польской литературы».

Сближению польской и русской литературной общественности содействовал и чрезвычайно широкий круг знакомств Мицкевича с ведущими литераторами России. Ссыльный поэт встречался в Москве и Петербурге с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, И. А. Крыловым, А. С. Грибоедовым, П. А. Вяземским, И. И. Козловым, Д. В. Веневитиновым, Н. А. Полевым, Е. А. Баратынским, А. А. Дельвигом, И. В. Киреевским и другими. На первый план среди этих русских связей Мицкевича должна быть поставлена, конечно, его дружба с Пушкиным.

Современники этой дружбы оставили нам не так много ценных для исследования свидетельств. На страницах старых монографий о польском поэте повествование о встречах Мицкевича и Пушкина было зачастую окутано великосветской салонной атмосферой. Буржуазные литературоведы утверждали, что якобы преграда светских условностей мешала дружбе двух величайших гениев славянства. Гораздо глубже, вернее и поэтичнее поведали потомкам сами поэты о своей великой дружбе, что «выше земных преград».

В широко известном стихотворении Пушкина «Он между нами жил» (1834 г.) великолепно передана та атмосфера дружеского участия, которой был окружен Мицкевич среди русских литераторов. Пушкин воссоздал благородный облик польского поэта, преданного возвышенной мечте о прекрасном будущем, о братстве свободных народов:

Он между нами жил,
Средь племени ему чужого, злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта...

Мицкевич увековечил свою дружбу с Пушкиным в стихотворении «Памятник Петру Великому» (1832 г.), где им запечатлена одна из памятных встреч с Пушкиным в Петербурге на Сенатской площади, у памятника Петру I:

Шел дождь. Укрывшись под одним плащом,
Стояли двое в сумраке ночном.
Один гонимый царским произволом,
Сын Запада, безвестный был пришлец;
Другой был русский, вольности певец,
Будивший Север пламенным глаголом.
Хоть встретились немного дней назад,
Но речь они вели, как с братом брат.
Их души вознеслись над всем земным.—
Так две скалы, разделены стремниной,
Встречаются под небом голубым,
Клонясь к вершине дружеской вершиной,
И ропот волн вверху не слышен им...

И далее Мицкевич воспроизводит содержание беседы двух поэтов, вкладывая в уста Пушкина слово ненависти к «кнутодержавной» тирании и надежды на грядущую свободу, восход «солнца вольности».

Значение этого стихотворения огромно. Видя в «певце русского народа, известном своими песнями всему Северу», врага деспотизма, Мицкевич высказал здесь свою веру в передовую Россию. Данный им

апофеоз дружбы двух поэтов, каждый из которых — выразитель духа и стремлений своей нации, стал символом борьбы за братство польского и русского народов. Показательно, что именно это стихотворение Мицкевича стало предметом нападок буржуазных литературоведов.

Истолковывая отношения Пушкина и Мицкевича как светское знакомство, а не как дружбу, имевшую крепкие идейные основы, некоторые авторы пытались доказывать, что откровенный разговор «двух юношей» о Петре I и о царском самодержавии либо вовсе не имел места и Мицкевич лишь вложил в уста воображаемого собеседника собственные мысли, либо состоялся без участия Пушкина — между Мицкевичем и кем-то третьим. Но попытки эти противоречат и логике стихотворения, и фактам, которыми мы располагаем. Был свидетель и участник одного из разговоров Мицкевича и Пушкина о памятнике Петру на Сенатской площади — П. А. Вяземский. Он написал на полях «Медного всадника» против строки «Россию поднял на дыбы...» следующие слова: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника. Я сказал, что этот памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед» *.

И замечательно, что как раз эту строку поэмы Пушкин сопроводил примечанием со ссылкой на «Памятник Петру Великому»: «Смотри описание памятника в Мицкевиче...»

Свидетельство Вяземского интересно для нас в плане характеристики того круга вопросов, которого касались в беседах с Мицкевичем Пушкин и другие русские друзья поэта 1826—1828 годов. Важнейшие политические вопросы того времени не оставались в тени в этих разговорах. Сам Мицкевич в статье «Пушкин и литературное движение в России», отмечая глубину и основательность политических суждений русского поэта, сообщает нам о политическом содержании своих бесед с Пушкиным. «Слушая его рассуждения об иностранной или о внутренней политике своей страны, — пишет о Пушкине Мицкевич, — можно было принять его за человека, поседевшего в трудах на общественном поприще и ежедневно читающего отчеты всех парламентов...» По возвращении из Михайловского Пушкин создает знаменитое послание декабристам в Сибирь и «Арион» (1827 г.), где прямо заявляет о верности освободительным идеалам декабристов: «Я гимны прежние пою...» Мицкевич, друг Рылеева и Бестужева, был для автора «Ариона» одним из тех, кто уцелел от бури царских преследований, кто вместе с ним сохранил верность светлой памяти казненных и сосланных на каторгу «друзей, братьев, товарищей».

Именно на это обстоятельство обратил позднее свое внимание А. И. Герцен. Он писал: «Пушкин возвратился и не узнал ни московского, ни петербургского общества. Он не нашел больше своих друзей, — не смели даже произносить их имена; только и говорили, что об арестах, обысках и ссылке; все были мрачны и устрашены. Он встретил на минуту Мицкевича, этого другого славянского поэта; они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами бушевала гроза...»

Великих поэтов сближало и единство взглядов на поэзию, высокое призвание поэта. Оба они сознавали это единство, и каждый из них с уважением и одобрением отзывался о поэтических воззрениях и таланте своего друга и собрата. «Он вдохновен был свыше», — писал о Мицкевиче Пушкин. Мицкевич в марте 1827 года пишет о Пушкине своему другу поэту Одынцу: «Как-нибудь напишу о нем более пространно;

---

* «Старина и новизна». Исторический сборник, издаваемый при обществе ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. Книга восьмая, Москва, 1904, стр. 40.

теперь лишь добавлю, что я знаком с ним и мы часто встречаемся... Он много и хорошо читал, знает новейшую литературу; его понятия о поэзии чисты и возвышенны. Написал теперь трагедию «Борис Годунов»; я знаю из нее несколько сцен в историческом жанре, они хорошо задуманы, полны прекрасных деталей».

Решая сходные, по сути дела одни и те же, литературные задачи — обновления национальной поэзии, преобразования литературного языка,— и Мицкевич и Пушкин во второй половине двадцатых годов закладывают основы последующего развития реализма, разрабатывают и совершенствуют простую и общедоступную художественную форму.

Творческая близость не только способствовала взаимной личной симпатии Пушкина и Мицкевича, но создавала возможность взаимных творческих влияний и, самое главное, была для великих поэтов могучей поддержкой в их глубоко самобытных и оригинальных художественных исканиях.

Дружеские чувства Мицкевича и Пушкина не ослабли и после отъезда польского поэта из России, несмотря на то, что после поражения польского восстания оба поэта по-разному оценивали некоторые вопросы истории и политики. Именно на тридцатые годы приходится большинство произведений Пушкина, относящихся к Мицкевичу или содержащих упоминания о нем. В дни восстания Пушкин проявляет беспокойство о судьбе своего польского друга. Известны строки поэта из письма Е. М. Хитрово: «Он был в Риме в начале восстания. Боюсь, как бы он не приехал в Варшаву — присутствовать при последних судорогах своего отечества».

Мицкевич откликнулся на смерть Пушкина некрологом, опубликованным во французском журнале «Глоб» — статьей «Пушкин и литературное движение в России». Она явилась выражением глубокого преклонения польского поэта перед могучим талантом Пушкина, искренней скорби и сочувствия русскому народу по поводу постигшей Россию утраты: «Я был убежден, — пишет Мицкевич, — что его поэтическое молчание * было счастливым предзнаменованием для русской литературы. Я ожидал, что вскоре он появится на сцене новым человеком, во всей силе своего таланта, созревшего благодаря жизненному опыту, окрепшего благодаря длительному труду. Все знавшие его разделяли мои страстные желания. Один выстрел из пистолета уничтожил все эти надежды.

Пуля, поразившая Пушкина, нанесла интеллектуальной России ужасный удар...»

Более чем столетний срок отделяет от нас то время, когда в годы, трудные для России и для Польши, подали друг другу руку дружбы два великих поэта. Дружба эта стала для нас не только замечательным примером трогательных и искренних взаимоотношений между двумя выдающимися людьми, людьми светлого ума, большого сердца и великого таланта, не только глубоко значительным фактом истории польской и русской литературы. Она переросла рамки литературы и стала символом извечного стремления народов к нерушимой дружбе и братству.

---

* Мицкевич не мог знать произведений Пушкина, написанных в последние годы жизни. — *Б. С.*

Арагон

Да здравствует Польша, сударь!

В середине девятнадцатого века жил человек, окунувшийся в самую гущу бедствий и чаяний народных, поэт, чья песнь звучала от Персии до Парижа, от Рима до Москвы; он стал как бы символом этого века, века трудных родов, когда заблуждения людские были родовыми схватками, века, когда один французский художник смог написать такую странную фразу: «Единственная реальность — это надежда» *,— жил человек, само подобие века; он носил имя первого человека на земле; ему, потрясенному поражениями и слезами, могло казаться, что все погрузилось в туман и хаос, все, кроме отчизны, чей образ немеркнущим солнцем сиял перед его неукротимым взором. Той отчизны, что одновременно обрела Фредерика Шопена и Адама Мицкевича. Незримыми путями музыки и поэзии они так глубоко внедрили Польшу в сознание современников, что ее голос звучал укором у каждого очага. И Франция отозвалась на ее призывы, и великодушные узнали, что значит потерять сон; люди «порядка», желавшие во всем видеть только «золотую середину» и равновесие, пожимали плечами, между тем как Гюго, Виньи, Жорж Санд чувствовали, что сердца их обливаются кровью при одном только упоминании о Польше.

* * *

В середине девятнадцатого века жил поэт, чье положение остается исключительным и по сей день, спустя сто лет после его смерти. Ибо, при всех своих страстях и заблуждениях, при незнании законов истории, при склонности верить иногда, что некое чудо поможет сбыться надеждам его народа, — Адам Мицкевич все же сумел показать и утвердить глубокие связи, всегда соединявшие его истерзанное отечество со всеми теми людьми в Европе, которые, родившись в странах тирании, были едины в своей любви к свободе, в своей любви к демократии.

Нужно уметь одним дыханием читать стихи этого поэта и историю его времени, и только тогда поймешь, что́ было главным в жизни века и жизни поэта, — даже если они сами того не сознавали.

О, я знаю, в игре, которую вели правительства и монархи, не раз в ту эпоху лжи и иллюзий раздавались высокие заверения в дружбе, чудесные обещания помочь Польше... Князья, министры побуждали к мятежу, к битвам, к восстанию этот доверчивый народ, оставлявший свой плуг, чтобы идти за молодыми генералами — выходцами из дворянских кругов Польши... Но разве не французская революция придала

Статья Арагона опубликована в еженедельнике «Леттр франсэз», 1955, № 566. Печатается с сокращениями.

* Филипп-Огюст. Жанрон (1834). — *Прим. автора.*

мужество Тадеушу Костюшке и разве Ян-Генрик Домбровский *, через три года после поражения Костюшки, после Термидора, поднявший в Риме союзные знамена Франции и Польши под командованием Бонапарта, — разве не писал он: «Завоевания французской республики — вот единственная наша надежда»? И, несомненно, честолюбие корсиканца, мечтавшего о Брюмере и о женитьбе на дочери австрийского императора, заставило его обмануть поляков, которые были для его солдат братьями по оружию... А позже, когда июльское солнце согрело молодые ростки Польши, тогда Луи-Филипп... Но к этому я еще вернусь.

Нет, свобода — это занятие не для королей и императоров, и в этой партии в покер, которую они играют, величая один другого «возлюбленный брат мой», тогда как их подданные режут друг друга, — свобода народов оказывается лишней картой, и ее охотно сбрасывают. Но простым сердцам нет доступа к этой высокой политике, и они попрежнему обращают свои взоры к Испании, Греции, к Польше, — даже и тогда, когда Лувр и Елисейский дворец ** решали вопрос по-иному...

В середине девятнадцатого века жил поэт, который был связующим звеном этой любви; он был близок с Пушкиным и Мишле ***, и с Фенимором Купером — в Риме, где он искал воспоминаний о Яне-Генрике Домбровском, — и с Ламартином, и с Ламенне, Монталамбером, Эдгаром Кине ****. Но это другая страница истории, истории о том, как петербургские декабристы предшествовали героям Июля, — героям, брошенным после восстаний тридцатых годов во Франции в тюрьмы, на каторгу, на эшафот... Все это уже далеко от нас и, однако, так удивительно напоминает время, участниками и свидетелями которого являемся мы.

ВЕЙМАР, АВГУСТ 1829 ГОДА

Это было в августе 1829 года. Скульптор Давид д'Анже, в сопровождении молодого студента Виктора Пави, приехал с визитом в Веймар к Гете, надеясь вылепить его бюст. 24 августа 1829 года, после двухнедельного пребывания путешественников у Гете, Виктор Пави в письме к своему отцу описал обед, состоявшийся накануне:

«За обедом некий иностранец..., сидевший рядом с одним из своих друзей, вступил в нашу беседу, сказал, что он поляк, и ответил на несколько наших вопросов относительно польской литературы, которая буйно и молодо расцветает в этой стране. Я несколько неопределенно спрашивал его о человеке, имя которого я никогда не могу правильно произ-

---

* Тадеуш Костюшко (1746—1817) — выдающийся деятель польского национально-освободительного движения, участник войны за независимость североамериканских колоний в 1776—1783 годах. В 1794 году Костюшко возглавил польское восстание. Эмигрировав после поражения восстания во Францию, Костюшко, оставаясь убежденным республиканцем, отказался сотрудничать с Наполеоном и принять на себя командование польскими легионами в составе наполеоновской армии. Ян-Генрик Домбровский (1755—1818) — польский генерал, участник восстания Костюшко в 1794 году. Поверив обещаниям Наполеона о восстановлении независимости Польши, Домбровский принял участие в наполеоновских походах.

** Лувр — резиденция французских королей; Елисейский дворец — резиденция президентов французской республики.

*** Жюль Мишле (1798—1834) — французский либеральный историк. За свои демократические взгляды Мишле был после 1848 года лишен кафедры в Коллеж де Франс.

**** Аббат Ламенне (1782—1854) — французский публицист и общественный деятель. Шарль де Монталамбер (1810—1870) — французский либеральный политический деятель, в 1830-х годах сотрудничал с Ламенне. Эдгар Кине (1803—1875) — французский мелкобуржуазный политический деятель и историк.

нести. Когда он вышел, его приятель остался и сказал нам, что этот человек составляет поэтическую славу его родины, и в конце концов назвал имя оригинала своего портрета. (Историю с портретом я объясню позднее. — *Арагон.*) Оба они остановились в гостинице. Они возвращаются в Рим. Они пробудут здесь до дня рождения Гете. Г-н Давид уже приготовил воск, чтобы увезти из Веймара еще один сувенир».

Да, эта первая встреча Франции с автором «Дзядов» — Франции, представленной выдающимся скульптором, — принесла нам образ Мицкевича, каким он сохранился в сознании грядущих поколений. Бронзовая медаль датирована 1829 годом. Давид привез ее с этих празднеств в честь восьмидесятилетия Гете.

Спутником Мицкевича был поэт Эдвард Одынец. В исследовании, опубликованном в нынешнем году в Варшаве, Мечислав Яструн вспоминает рассказ Одынца об этом визите к Гете. «Но нельзя поручиться за точность этого сообщения», — говорит автор. Однако оно, хотя бы в какой-то своей части, находит подтверждение и в письмах Виктора Пави и в заметках, которые Давид оставил своей семье. Виктор Пави в книге «Гете и Давид» рассказал эту сцену немного иначе. Вот как излагает ее Анри Жуэн, биограф Давида:

«Однажды вечером, когда Давид со своим юным спутником заканчивали обед в гостинице «У слона» *, г-н Пави в присутствии двух иностранцев, повидимому, славян, рассказал, что в своей студенческой комнате он повесил портрет Мицкевича, народного польского поэта.

— Однако,— перебил один из слушателей,— этот портрет не похож. — Эта странная реплика все объяснила студенту. Мицкевич, певец «Романсов и баллад», собственной персоной,— был перед ним!

— Погодите!— вскричал Давид.— Я вас не отпущу, пока не сделаю портрет, который будет похож на вас».

И пока Давид лепил в воске портрет, Мицкевич, импровизируя, переводил на французский язык свою поэму «Фарис» — «Касыду, сочиненную в честь эмира Тадж-уль-Фехра» (под этим именем Вацлав Ржевуский, поэт и солдат, покинув порабощенную Польшу, достиг в Аравии звания эмира. Впоследствии, в 1830 году, он вернулся и создал эскадрон волонтеров, которых снабдил быстрыми конями, привезенными им из Аравии; в этом восстании он нашел свою смерть).

Очевидно, сообщение Одынца полностью соответствует сообщениям Давида и Пави. Об этих днях имеется также свидетельство одного бельгийского астронома, и оно тоже не противоречит ни Пави, ни Одынцу.

Два француза и два поляка взобрались на Иенский холм — и все четверо вернулись, опьяненные, как говорит Пави, «той гордостью, которая, как хмель, действует на любого, даже самого скромного француза». Они присутствовали все вместе на первом в Германии представлении «Фауста», данном в честь Гете. Вечером следующего дня Мицкевич — у Гете; здесь выставлены для обозрения полученные Гете подарки; гости пьют чай. Вскоре Давид и Пави расстаются со своими новыми друзьями. Для того чтобы состоялась их новая встреча, нужна была революция во Франции, а в Польше — новое восстание, на этот раз тоже подавленное.

МИЦКЕВИЧ И ДЕКАБРИСТЫ

Мы плохо представляем себе отношения, существовавшие между польскими патриотами и русскими людьми того времени. Не расходились ли они во взглядах на то, как им следует действовать? Но Мицкевич сразу понял, где истинные друзья поляков. Он не смешивал царя

* «У слона» — название гостиницы в Веймаре. — *Прим. автора.*

с великим народом, угнетаемым царизмом. Наличие общих врагов позволяло видеть общность судьбы Мицкевича и его русских друзей.

Русские друзья Мицкевича, друзья Польши — это декабристы, с которыми он был связан и которые пытались свергнуть царя Николая на следующий же день по его воцарении на трон, царя Николая, потопившего Польшу в крови. Мишле писал о Рылееве:

«К какому бы источнику вы ни обратились, все они свидетельствуют об одном: Рылеев — один из величайших характеров в истории. Военный, затем чиновник американской компании, учрежденной в Петербурге, он не пренебрег местом секретаря уголовного суда, хотя это место не оплачивалось,— это акт высокого гражданского значения: в атмосфере продажности было важно, чтобы эта должность не попала в недостойные руки. Рылеев был поэтом: нельзя без слез читать его пророческую поэму...

В этой поэме Рылеев первым из русских написал слова, непривычные для России того времени, но великие и святые для будущего: «Я не Поэт, а Гражданин».

Говоря о роли декабристов в укреплении связей между Россией и Польшей, обратимся к тому, что пишет Мицкевич в «Дзядах», в третьей части. На балу у сенатора Новосильцева, правой руки царя, среди филоматов и филаретов, польских подпольщиков, находится и Бестужев. И один из поляков, Юстин Поль, говорит Бестужеву, указывая на сенатора:

Всадить бы нож ему в утробу,
Иль хоть пощечину влепить.
Бестужев
Лишь бестолку сорвешь ты злобу, —
Что пользы одного убить!
Они вам поднесут гостинца —
Закроют университет.
Мол, «все студенты — якобинцы», —
И нации погубят цвет.
Юстин Поль
Но за мученья он заплатит.
За кровь, за это море слез.
Бестужев
Псов у царя на псарне хватит,
Хотя б издох какой-то пес.
Поль
Ножом пырнуть бы эту жабу.
Бестужев
Нет! говорю последний раз!
Поль
Позволь его избить хотя бы!
Бестужев
И сразу погубить всех нас!

По Мицкевичу, Бестужев приехал из Петербурга для того, чтобы вести переговоры с поляками, прежде чем приступить к осуществлению декабристского заговора. Переводчик Христиан Островский говорит в своих примечаниях, что филареты и Бестужев совещались в Киеве и в Вильне. «Он упрекал наших патриотов, — пишет Христиан Островский,— в их приверженности к монархической форме правления и в их отвращении к пролитию крови монархов. Пусть только начнется революция — вы увидите, что русские пойдут дальше нас...»

В образе Бестужева, созданном Мицкевичем, видна политическая зрелость, виден пример, который русские демократы подавали польским заговорщикам. Бал у Новосильцева состоялся в Вильно в тот самый мо-

мент, когда шли переговоры между филаретами и декабристами. Дело происходило, очевидно, в 1823 году; именно тогда молодой учитель Мицкевич был арестован и выслан в Россию.

ВАРШАВА, 1830—31 ГОДЫ

В 1830 году, находясь в Женеве, Мицкевич узнал, что Париж восстал. Царь Николай привел в боевую готовность польскую армию, чтобы использовать ее как авангард в карательной экспедиции против французской революции. Но поляки повернули оружие против царя, не желая воевать с французами. 29 ноября восставшие, руководимые горсткой молодых людей, захватили Бельведер, откуда бежал великий князь Константин, брат Николая. Варшава была освобождена. Но поляки были разобщены.

В этих условиях обещания, шедшие в Варшаву из Парижа, имели особую ценность: поддержка со стороны французских войск, поддержка, которую сулили полякам, была аргументом в пользу тех, кто грозил жупелом французского недовольства. Не нужно портить настроение кабинету Луи-Филиппа. Вы же видите, Лафайет, Могэн, Ламарк * требуют в палате интервенции.

Нашелся и тогда свой Деа **, который не захотел «умирать за Данциг»; он звался Дюпэном; а премьер-министр «короля баррикад» *** Казимир Перье заявлял с трибуны: «Мятеж — это всегда преступление. Мы не признаём ни за одним народом права принуждать нас сражаться за его дело». Шли месяцы; в Варшаве всячески изворачивались, стараясь остаться в рамках конституционной законности. И даже тогда, когда армия царя вступила в Польшу и генерал Скшинецкий нанес ей чуть ли не десять поражений,— этот генерал сам добровольно отошел к Варшаве и, вместо того чтобы атаковать, остановился в нерешительности.

Это был неслыханный поступок, позволивший русским прийти в себя и подготовивший падение Варшавы. Между тем медлительности Скшинецкого и добивался министр иностранных дел Луи-Филиппа Себастиани, обещая ему французскую помощь. Луи-Филипп в письме к Талейрану похвалялся проведенным маневром: «Нас, — писал он, — а не победителей под Варшавой и не кабинет Санкт-Петербурга надо благодарить за то, что Польша раздавлена».

Мицкевич, находившийся в районе Познани, у самых границ своей родины, и надеявшийся вступить в ее пределы..., присутствовал при отходе польской армии в Пруссию, видел офицеров и солдат, схваченных в плен, или бежавших перед царскими пушками, или расстрелянных... Ему пришлось опять уехать в Саксонию. В Дрездене к нему присоединился его друг Одынец... Здесь и написал он третью часть «Дзядов». Но, по требованию царя, Саксония запретила полякам пребывание на ее территории. Мицкевич 1 августа 1832 года приезжает в Париж.

ПАРИЖ, 1832 ГОД

Мицкевич живет на улице Майль, в гостинице, которую рекомендовал ему профессор Лелевель, приехавший в Париж раньше Мицке-

* Лафайет, Могэн, Ламарк — либеральные деятели Франции периода Июльской монархии.

** Деа — французский реакционный политик, проповедовавший накануне второй мировой войны необходимость капитуляции перед фашистским агрессором; в годы оккупации Франции — прислужник нацистских захватчиков.

*** «Королем баррикад» иронически называли Луи-Филиппа, который стал королем Франции, воспользовавшись победой демократических сил в Июльской революции 1830 года.

вича. Так же как в Петербурге декабристы поднялись против Николая в союзе с польскими патриотами, так 5 и 6 июня, меньше чем за два месяца до приезда поэта, подлинные французские союзники Польши восстали против того Луи-Филиппа, который недавно оказался спасителем Николая. 1831 год завершился пролитием крови лионских рабочих. Лето 1832 года началось с похорон генерала Ламарка и событий у монастыря Сен-Мерри *. Мицкевич приехал в Париж в тот час, когда сен-симонисты были привлечены к судебной ответственности, когда маршал герцог Далматский **, военный министр, только что приказал закрыть Политехническую школу. Во Франции царила такая же атмосфера, какую мы знаем по 1939 году, когда понесли поражение испанские республиканцы. В пользу польских эмигрантов проводили сбор денег; выпускали книги, славившие эту страну и ее патриотов; Лафайет был председателем франко-польского комитета; обе палаты голосовали за миллионные кредиты для поляков. По всей Франции росло движение дружбы и солидарности. Полицейские препятствия, правительственные происки встречали отпор общественного мнения. Да, Франция Июля, та Франция, что кричала в Лионе: «Ждать, работая, или умереть в бою!», та, по которой «король баррикад» приказал стрелять в восставшем Париже, широко открыла объятия изгнанникам,— как еще вчера это сделали Бестужев, Рылеев, Пушкин. Общие враги, общие надежды. И Луи-Филипп вполне мог похваляться тем, что он предоставил Николаю решительную помощь в борьбе против Польши. Кровь его собственного народа была тому подтверждением.

МОЛОТ И НАКОВАЛЬНЯ

В 1833 году Шарль де Монталамбер перевел «Книгу народа и пилигримства польского», только что написанную Мицкевичем. Поэт жил тогда на площади Обсерватории, и его окна выходили в сторону Люксембургского сада. Он говорил в своей книге: «Правители Франции и пастыри Франции, вы все, кто говорит о свободе и служит деспотизму,— вы будете брошены между иноземным деспотизмом и вашим народом, как брусок бездушного железа между молотом и наковальней.

И вас начнут ковать, и шлак и искры брызнут во все концы света, и народы скажут: «Должно быть, там идет большая работа, как в адской кузне».

И вы крикнете молоту — народу своему: «Народ, смилуйся над нами и перестань бить; ведь мы же говорили о свободе». И молот скажет: «Ты говорил одно, а делал другое». И с новой силой обрушится на вас.

И вы крикнете иноземному деспотизму — глухой наковальне: «О, деспотизм! Мы служили тебе, стань мягче и расступись, чтобы мы могли спрятаться от молота!» И деспотизм скажет: «Ты делал одно, а говорил другое». И повернется к вам своим твердым и холодным хребтом, и брусок будет разбит, и никто не узнает вас в расплющенном куске железа...»

Эти строки были написаны в 1833 году, и я вновь пишу их в 1955 го-

---

* 21 ноября 1831 года лионские рабочие шелкоткацких фабрик подняли вооруженное восстание, требуя удовлетворить их экономические требования. Восстание было со зверской жестокостью подавлено войсками Луи-Филиппа. 5—6 июня 1832 года в Париже вспыхнуло большое республиканское восстание; непосредственным поводом к нему явились похороны генерала Ламарка, популярного либерального деятеля. Здание монастыря Сен-Мерри в Париже явилось одним из главных опорных пунктов республиканцев в дни восстания в июне 1832 г.

** Маршал Сульт (1769—1851) — реакционный политический деятель, министр в правительстве Луи-Филиппа, руководивший расправой над восставшими лионскими рабочими (в 1807 г. Сульт, участник наполеоновских войн, получил титул герцога Далматского)

ду. Исполнилось сто двадцать два года, как Мицкевич, покинув площадь Обсерватории, снял две комнаты на улице Сен-Никола-д'Антен. В 1955 году Мицкевич, отлитый из бронзы, живет на перекрестке Альма, и автомобили мчатся вокруг колонны, на которой он стоит в плаще из камня с отвернутой ветром полою. А эти неувядаемые слова, обращенные однажды ко всем вам, правители Франции и пастыри Франции,— разве вы не слышите их и сегодня в уличном шуме? Их смысл не изменился, и, если вы их повторите, эти слова более чем столетней давности, постарайтесь не выдать своей дрожи.

ДРУЖБА НАРОДОВ

Не без дрожи пожинали они плоды Июля, эти июльские победители. Этот страх перед растущими силами демократии и эти герои Польши, которых они приветствовали в своих демагогических целях (почему было не сохранять вид защитников свободы назавтра после дней 1830 года, когда речь шла о делах, происходивших за тридевять земель?), — разве это не было вкладом в революцию? Правительство, родившееся в уличных боях, не ошибалось в этом. И тогда префект полиции Жиске, ставленник Казимира Перье, который незадолго до того умер от холеры, воскресил старый трюк, вычитанный им в книгах. Какой романтик, листая хроники времен Столетней войны, посоветовал ему это? В то время Бертран дю Геклен, боясь всяких бесчинств со стороны наемных солдат, служивших ему в борьбе против англичан, придумал выпроводить их за пределы Франции, в Испанию, где они и были уничтожены. Таким же нежелательным элементом были для правителей Июльской монархии патриоты Парижа, и патриоты Италии, и патриоты Греции, и патриоты Польши. Всем было известно, что они делали общее дело. И префект Жиске задумал направить их энергию к некоторым весьма отдаленным целям.

В Португалии два брата, дон Мигель и дон Педро, спорили из-за престола. Первый из них, абсолютист, пользовался поддержкой французских монархистов, сторонников Карла X, карлистов, руководимых старым предателем Бурмоном. В интересах Орлеанского дома было нанести поражение Мигелю, и Луи-Филипп поддерживал Педро, который защищал королевство, основанное на хартии английского образца, стремясь получить помощь Франции и Великобритании для себя и своей дочери, донны Марии.

На деле, Луи-Филипп не дал ни одного су, ни одного ружья, ни одного человека дону Педро. Но Жиске приказал организовать неофициальную вербовку добровольцев среди республиканцев и эмигрантов, особенно среди поляков. Двойная выгода: делаешь вид, что защищаешь «свободу», и избавляешься от беспокойных элементов.

Многие попались на эту удочку. Пятьсот добровольцев были уже посажены на корабль в Булони, когда республиканцы, во-время извещенные об этом, подняли тревогу, чтобы заставить вернуться тех, кто попал в ловушку и кого посылали на убой во имя упрочения королевского трона.

Точно так же и до наших дней велась пропаганда среди иностранцев, участников Сопротивления, и среди них было немало поляков, которым, в качестве единственного выхода, предоставлялось вступить в иностранный легион или отправиться воевать в Индо-Китай. И тогда тоже, как и сегодня, тем, кто не попал в капкан, пришлось познакомиться с высылкой, с полицейским надзором, с голодом. Тем самым «пастыри» и «правители Франции» спустя целый век также признали единство задач патриотов всех стран, демократическую природу франко-польской дружбы.

В Париже связи между польской эмиграцией и республиканцами были особенно тесными. Мицкевич сблизился с Давидом д'Анже, и это означало, что привязанность скульптора к Польше росла. Он сделал портреты поэта Немцевича, и руководителя консервативной партии Чарторыйского, и вождя партии движения Лелевеля. Сохранился рисунок Давида «Памяти польского воина»; внизу рисунка Давид заверяет М. Звертовского «в своей глубочайшей преданности делу Польши...»

Позже, когда эмигранты стали казаться менее опасными, французское правительство сочло возможным доставить оппозиции удовлетворение, ничего правительству не стоившее, и, по просьбе Виктора Кузена, предоставило великому поэту Польши кафедру славянских литератур в Коллеж де Франс. Известно, чем это закончилось, известно, что запрещение курса Мицкевича в Коллеж де Франс связано с запрещением курсов Мишле и Эдгара Кине, с тем движением умов, в котором Июльская монархия нашла свою гибель, с подготовкой к 1848 году, с революцией. Таким образом, еще один раз дружба Франции и Польши переплелась с историей республиканцев. Еще раз студенты выкрикивали на улицах имя Мицкевича, как в 1831 году в Бельведере,— но на этот раз не в Варшаве, а в Париже... На булыжниках мостовых — вот где дружба народов приобретает свой подлинный смысл.

ГОД МИЦКЕВИЧА

Нынешний, 1955 год — это год Мицкевича, и песнь поэта объединяется с делом мира, которое так же близко народам всей земли, как было некогда близко им дело разделенной Польши.

Доколе же позволим мы обманывать себя тем, кто говорит одно и делает другое? Доколе же, со дней Луи-Филиппа, мы будем позволять осмеивать и обманывать нас? А в отношении Польши... В 1939 году монархи и кабинеты делали вид, что военная помощь Англии и Франции спасет Варшаву... В 1943 году агитаторы из Лондона толкнули население Варшавы на преждевременное восстание, толкнули, хорошо зная, что́ они делают, — чтобы попытаться обратить в один прекрасный день тех, кто останется в живых, против единственной армии, когда-либо приходившей на помощь Варшаве, против армии потомков декабристов, Бестужевых, Рылеевых, против армии, победившей тиранию... И вот сегодняшние луи-филиппы, презрев присягу в верности, презрев скрепленный кровью союзнический долг, готовы рассматривать границу Польши, линию Одер — Нейссе как объект купли-продажи... О нет, правители и пастыри Франции, вы не сможете безнаказанно играть той Польшей, имя которой — Мир, — иначе страшитесь, страшитесь оказаться между молотом и наковальней, между вашим народом и вашими иностранными кредиторами, которые потребуют от вас того, что вы не можете, что вы никогда не сможете потребовать от вашего народа!

Но нынешний год — год Мицкевича — несет с собой и другие воспоминания, видения... Голос поэта... Очарование этой музыки, что написана на Балеарских островах *, — ее слушала Жорж Санд, — музыку, подобную дождю над морем...

Ибо мы помним не только об изменах наших господ. Мы бережем в своем сердце песню непреходящей дружбы, подобной дружбе Мицкевича и Бестужева. Мы, французы, помним о Домбровском.

---

* Имеется в виду музыка Шопена.

ДОМБРОВСКИЙ

Я буду говорить здесь не о Яне-Генрике Домбровском, который в 1797 году вступил в Рим с польским легионом армии французской республики. Я буду говорить об изгнаннике, о Ярославе Домбровском, осужденном после польского восстания 1863 года на сибирскую каторгу; о нем, бежавшем из пересыльной тюрьмы и достигшем Франции и сражавшемся в рядах наших армий, защищая Париж.

Ибо пусть король Франции отдал Варшаву «возлюбленному брату своему» Николаю, но Польша дала Парижу человека, который защищал его от армий Вильгельма. И когда версальцы открыли пруссакам дорогу на Париж, Домбровский не случайно встал на сторону тех, кто не признал капитуляции, на сторону народа, на сторону французской независимости, на сторону Коммуны. Домбровский — сама логика истории. Этот сын Польши, ставший французским генералом, извлек урок из событий своего века. Он знал, кто истинные союзники его отечества, он знал, что парижские рабочие, штурмуя небо, делали именно то, от чего Луи-Филипп отговаривал защитников Варшавы; он знал это, обладая той новой мудростью, которая приходит не сразу, которая включает в себя наследие Рылеевых, Бестужевых, героев Июля, варшавян Бельведера, ткачей Лиона, инсургентов монастыря Сен-Мерри, мудрости, которая приходит, следуя за новой философией — философией грядущих народных побед... На парижских мостовых не только песнь Мицкевича, но и кровь Домбровского, а «Марш» Шопена — не только похоронная мелодия, но и марш героев, память о жертвах, о мучениках...

Книга «Польша, исторические сцены, памятники и т. п.» — книга, «посвященная Франции» (она была опубликована, под редакцией Леонарда Ходзко, в 1835—1836 годах Игнацием Станиславом Грабовским в Париже, где он жил на улице Сент-Оноре, 345),— открывается гравюрой, где на ленте под изображением польского и французского солдата написано: «француз и поляк — друзья навеки». Может быть, эту дружбу мы теперь понимаем не так, как Игнаций Станислав Грабовский сто лет назад. История постепенно изменяет содержание великих идей, и это рукопожатие старого наполеоновского служаки и гусара в конфедератке приобрело новый смысл в последние годы. Но дружба остается, дружба Домбровского и народа Франции, и символическая фигура, возвышающаяся над рукопожатием,— это не есть более знак военной славы, лавровые венки, орлы обоих отечеств... это — все человечество, которое простерло руки над гражданами Франции и Польши, и эти руки выпускают голубей, и песня, льющаяся из их уст, не та песня, что ведет к битвам, а та, что делает их невозможными:

Сдвинься, твердь, с орбиты бывалой,
С нами ринься на путь окрыленный,
Ты припомнишь возраст зеленый,
С кожурой расставшись завялой.
Когда в мирах былой полунощи
Вражда стихий пировала бурно,
Одно „да будет“ господней мощи
Обосновало закон природы, —
Запели вихри, помчались воды,
Возникли звезды в тверди лазурной.
Так и сейчас еще ночь глухая,
Все человечество в алчных войнах.
Чтобы любовь благая воскресла,
Встанет из хаоса дух, полыхая,
Пускай зачнет его юность во чреслах,
А дружба взрастит в объятиях стройных.

Ломают льды весенние воды.
С ночною свет сражается тьмою.
Здравствуй, ранняя зорька свободы!
Солнце спасенья грядет за тобою!

Это — слова из «Оды к молодости» Адама Мицкевича. Говорят, в день восстания 29 ноября 1831 года юноши, штурмовавшие Бельведер, пели ее. Кое-что в этих словах, быть может, и устарело, кое-что может сегодня показаться неточным и расплывчатым, но только не чувство, которое трепещет, как парус под вольным ветром, чувство, которое ощущали эти молодые люди при штурме Бельведера, которое ощущал Домбровский перед осажденным Парижем; это чувство остается неизменным — даже если меняются слова, даже если приходят новые слова — в дни побед, в те дни, когда бледнеет враг!

Б. Сучков

Книга, которая судит

(Эрих-Мариа Ремарк, „Время жить и время умирать")

Больше четверти века назад на книжные полки стала книга в переплете цвета солдатского сукна. От нее повеяло дымом пожарищ, ужасом ночных атак, томящим запахом мелинита. Она говорила об ураганном артогне, сметавшем с лица земли иллюзии целого поколения. Она говорила о бессчетных жертвах милитаризма, заплативших жизнями и неискупаемыми страданиями за алчность имущих классов и правительств. Этой книгой был роман Эриха-Мариа Ремарка «На западном фронте без перемен».

Возникший в смутной и тревожной политической обстановке, он нес в себе духовные болезни своего времени и взамен разбитых войной иллюзий утверждал новые.

Роман появился в канун мирового экономического кризиса. Финансисты и политики еще пытались наложить грим благополучия на лик послеверсальской Европы, но глухие толчки сотрясали мир — экономический кризис шел об руку с политическим.

На родине Ремарка приметы грядущей катастрофы были особенно явственны. Германия уже пережила мюнхенский путч, положивший начало борьбе фашизма за власть. Милитаристская и националистическая пропаганда, опиравшаяся на деятельность «Стального шлема» и фашистские военизированные организации, неистовствовала. На улицах Берлина была расстреляна рабочая демонстрация. Германский империализм готовился к реваншу.

Книга Ремарка талантливей, чем романы других писателей пацифистского толка, разрушала официозную ложь и легенду шовинистической литературы о «великой» войне. Ремарк ненавидел войну и знал, как бывший фронтовик, что узаконенное кровопролитие не истребило в душах простых людей естественные человеческие чувства. Антивоенная настроенность книги, отвечавшая стремлениям людей, жаждавших жить в мире, предопределила огромный ее успех и сделала ее событием в духовной жизни Европы тех лет.

Нежные и простые силы жизни — человеколюбие, братское доверие человека к человеку, товарищество, любовь Ремарк противопоставил бесчеловечности современной буржуазной цивилизации. Но при всей ненависти Ремарка к милитаризму в его романе была далеко не полная правда о войне. Эта правда была в других книгах, таких, как «Огонь» Барбюса, «Тихий Дон» Шолохова.

Между этими крупнейшими произведениями мировой литературы и романом Ремарка было принципиальное различие, обусловленное различным уровнем общественного сознания их авторов. Они изображают людей в роковые моменты истории, когда перед человеком неотвратимо встает вопрос о выборе жизненного пути и отношении к происходящей общественной борьбе. Выбор этот зависит от степени понимания человеком духа своего времени и готовности служить его конструктивным силам.

Барбюс, Шолохов и другие представители социалистического реализма, каждый по-своему рисуя войну, показали людей, не только понявших смысл современных им событий, но и сумевших принять активное участие в переустройстве мира и борьбе с его злом. Герои Ремарка, хотя они прошли ту же школу жизни, остались в пределах привычного для них социального мироощущения. Они не борцы, а жертвы. Поэтому

такой обреченностью и печалью веяло от книги: Ремарк не увидел реальной перспективы исторического развития. Реализм Ремарка был односторонним и неполноценным.

Политика правящих классов, приведшая к войне, лицемерная и эгоистическая общественная мораль, барабанный патриотизм и прочие духовные «ценности» собственнического мира вызвали у Ремарка отвращение, и он отрекся от них, противопоставив им как единственные достоверные социальные ценности — добро и человечность. Герои Ремарка терпеливо, стойко и самоотверженно переносят невзгоды жизни, пытаются выдержать ее удары, отрешившись от широких общественных интересов, не вмешиваясь в идущую социальную борьбу. Порочность такого взгляда писателя на жизнь особенно ощутимо сказалась в его следующем романе «Возвращение» — книге о фронтовиках, вернувшихся на родину, взбудораженную послевоенным неустройством. У героев романа — маленьких людей, выбитых из колеи обычной жизни, заклейменных печатью перенесенного страдания,— чувство враждебности вызывала всякая политическая деятельность, в том числе и направленная на коренное изменение условий их существования.

Позиция, занятая Ремарком в исторически ответственное время, надолго определила творческую судьбу писателя. До некоторой степени она была типична. Писатели одного с ним поколения — англичанин Олдингтон, американец Хемингуэй, создавая произведения, обличающие зло войны, также не делали ясных социальных выводов из опыта жизни. Их затравленные свирепой борьбой за существование герои страдали от одиночества в глухой пустыне мира, но были далеки от политических интересов современности.

Свойственный Олдингтону скептицизм в дальнейшем перерос в отчаяние, обернулся неверием в человеческие силы. Хемингуэй, преодолевая индивидуалистическую ограниченность своего мировоззрения, попытался понять правду истории. В пьесе «Пятая колонна», написанной на материале гражданской войны в Испании 1936—37 гг., он с сочувствием изобразил сознательных борцов с фашизмом. Хотя главный герой ее и отмечен жертвенностью, внутренним разладом, но он посвящает свою жизнь святому делу свободы. Эта антифашистская пьеса свидетельствовала об известном сдвиге в сознании писателя, не закрепившемся, однако, в дальнейшем его творчестве.

Ремарк долго сохранял верность идеям и настроениям молодости. Будучи немцем, он раньше многих европейских интеллигентов испытал на себе ненависть фашистов. Он был лишен немецкого гражданства; его книги в 1933 году горели на кострах, разведенных штурмовиками. Но от активной политической деятельности Ремарк уклонялся, до второй мировой войны разрабатывая мотивы, намеченные в ранних его произведениях. Долгие годы ему не удавалось создать ничего значительнее первой книги. Ремарку мешал политический нейтрализм, сковывавший мысль художника и не дававший ему возможности браться за основную тему современности — борьбу против фашизма и тех причин, которые его породили. Но в то время, когда многие писатели Запада, теряя веру в силу человеческого разума, в созидательные возможности человеческой природы, шли на компромисс с реакцией, выступая в недостойной роли пораженцев человечества, Ремарк продолжал верить в добро, заложенное в человеке. Писателю была чужда пессимистическая философия, разоружающая человека, и, любя жизнь, он был полон сострадания к своим героям, бившимся в тенетах нужды, томившимся от разобщенности. Написанный в 1938 году роман «Три товарища» показал, что Ремарк сохранил главную черту своего таланта — демократичность, умение говорить от лица людей, подавленных в буржуазном обществе тяжестью социальной несправедливости. Но, живя интересами своих героев, простых людей, он попрежнему не поднимался над их умственным кругозором, оставаясь в плену пассивного человеколюбия.

Ненависть Ремарка к царящей в жизни несправедливости стала приобретать большую определенность лишь в годы второй мировой войны. История позаботилась об этом. Разгром гитлеровцами национальной немецкой культуры, развращающее воздействие фашистской пропаганды, подготовка и развязывание тотальной войны, сопровождавшейся неслыханными злодеяниями,— все эти события оказали глубокое влияние на Ремарка.

В 1941 году он пишет роман, заглавие которого — «Люби своих ближних» — выра-

жало мысль, бывшую для Ремарка заветной. Созданный в разгар второй мировой войны, этот роман явился первым откликом писателя на великую борьбу свободолюбивых народов с фашизмом.

В романе описывались судьбы эмигрантов из фашистской Германии — бесприютных людей «ничьей земли». Ни одно государство предвоенной Европы (в романе описываются тридцатые годы) не принимает их. Страх и нужда гонят их через границы, отчаяние и безнадежность сопутствуют им как единственные верные друзья. Они никому не нужны — эти люди, лишенные родины и бежавшие от расовых преследований или угрозы попасть за колючую проволоку концлагерей. Объединяет этих людей общее бедствие, а не политическая борьба или идея.

Изображение многообразных невзгод и страданий, причиненных людям фашизмом, было сильной стороной романа. Но в нем не было образов последовательных борцов с фашизмом. Говоря своей книгой «так жить нельзя», писатель попрежнему считал только любовь человека к человеку — любовь в духе христианской формулы — той силой, которая дает людям возможность выдержать страшные жизненные испытания.

Из поля зрения Ремарка выпало могучее антифашистское движение тех лет, дававшее эпические примеры мужества, самоотверженности и великой действенной любви к человеку. Эта любовь потому и была действенна, что она питалась великой ненавистью к поработителям человечества. Любовь к человеку и вера в его конечную победу поднимала батальоны в отчаянные атаки на полях Гвадалахары и в горах Басконии; она дала Тельману и Фучику силу переносить неслыханные страдания в застенках гестапо; она укрепляла мужество тех, кто был расстрелян на бетонных плитах парижской тюрьмы Санте. Любовь к ближнему, о которой говорил Ремарк, более походила на сострадание и жалость. К тому времени писатель извлек не весь урок из опыта истории. Ему потребовалось прожить еще десятилетие — одно из самых напряженных и насыщенных в жизни человечества, чтобы отрешиться от многих иллюзий, сдерживавших развитие его крупного дара, и создать произведение, в котором зрелость реалистического письма органически слилась с глубокой мыслью.

За это десятилетие был разбит на полях сражений немецкий фашизм; человечество с надеждой взглянуло в будущее, веря, что победа даст возможность людям строить свою жизнь так, как они хотят, пользуясь благами мира, за который было заплачено морями крови и слез. Но мир пришлось не только завоевывать. Его нужно отстаивать против международной реакции, стремящейся подавить свободу народов и навязать им новую, еще более разрушительную войну.

В эти годы напряженной идейной борьбы сил прогресса с многоликой реакцией Ремарк встал на сторону тех, кто отстаивает дело мира и будущее человечества. Его новый роман «Время жить и время умирать», вышедший в 1954 году, бесспорно, является одним из самых значительных произведений немецкой, да и не только немецкой, литературы последних лет *. В нем Ремарк возвращается к годам войны — к ее заключительному этапу, когда фашистская Германия шаталась под могучими ударами Советской Армии и дело шло к концу. Роман охватывает сравнительно короткий отрезок времени, но его идейное содержание весьма емко и концентрированно, мастерство композиции и типизации свободно и высоко. Сюжет прост и дает возможность художнику широко осветить жизнь.

Где-то в русских просторах затерялась рота отступающей немецкой армии. Тяжелые бои, измотанные солдаты. Они знали

---

* Роман Ремарка на немецком языке появился в издательстве Kiepenheuer—Witsch (Кельн — Берлин) в 1954 году. Одновременно он вышел в переводах на другие европейские языки. Сопоставление переводов с немецким изданием показало, что при выпуске на немецком языке роман подвергся политической цензуре. Из него были удалены места, наиболее резко обличающие злодеяния немецко-фашистских войск на территории СССР. В частности, был «смягчен» образ гестаповского агента Штейнбреннера, сильно был урезан рассказ эсэсовца Гейни о кровавых расправах над мирными русскими людьми. Солдат Иммерман, в прошлом член КПГ, изображенный писателем с уважением и симпатией, превратился в бывшего члена социалистической партии. Кроме того, над текстом была проделана «микроредактура», приглушающая антифашистскую направленность романа. Эти извращения текста, сделанные западногерманским издательством, выявил известный немецкий писатель Франц Вайскопф, опубликовавший в журнале «Neue deutsche Literatur», № 2 за 1955 г. статью «Выхолощенный Ремарк».

кампанию во Франции — жаркий июнь, цветущие луга, победоносный марш по неразоренной стране. Они знали Африку — чужую землю, за которой лежало Средиземное море, Франция и только потом — родина. И вот они в России, где их постигло поражение и бегство. Отступление шло прямо в Германию, и отступало не несколько корпусов, а вся немецкая армия.

Ремарк очень верно показывает процесс протрезвления бывших завоевателей Европы. Скупыми и резкими чертами он набрасывает их образы. Перед читателями проходит фельдфебель Мюкке, заматерелый служака, которого вполне устраивает фашистский режим; простой мужик Зауер, тоскующий об оставленном хозяйстве; агент гестапо Штейнбреннер — «блондин с лицом готического ангела», «стопятидесятипроцентный» фашист, убийца и насильник, и, наконец, главный герой романа — Гребер. Им противостоит изображенный с большим уважением Иммерман — мужественный человек, преследуемый за политическую неблагонадежность начальством, прошедший штрафной батальон, непримиримый враг фашизма. Он открыто высмеивает утверждения гитлеровцев о том, что отступающая немецкая армия «выпрямляет линию по стратегическим соображениям», и постоянно рискует головой за смелые разговоры с солдатами. Он ненавидит Штейнбреннера, не скрывает своего презрения к нему и откровенно издевается над ним. Появление образа Иммермана в романе, очерченного, впрочем, очень скупо, свидетельствовало о том, что Ремарк пытался увидеть в недрах немецкого народа те силы, которые не были сломлены фашизмом и противостояли ему.

Немецких солдат Ремарк показывает правдиво. Милитаристская пропаганда, извращая истину, изображала их «защитниками Европы» и чуть ли не представителями западной культуры. Зверства эсэсовцев превращены в «героические подвиги». Ремарк разбивает этот грязный миф — роман начинается сценой расстрела захваченных в плен русских людей. Она полна трагизма и глубокого смысла. Перед захватчиками стоят сыны непокоренного народа — спокойный, величавый старик, двое юношей, гордая женщина. Старик переводит палачам ее предсмертные слова: «Она проклинает вас... Она проклинает вас и всех немцев, которые стоят на русской земле...» Немецкие солдаты выглядят жалкими по сравнению со своими жертвами и чувствуют, какая палящая ненависть окружает их.

Друг Гребера, пожилой солдат Фрезенбург, говорит ему:

«Нас ненавидят, как Атиллу и Чингисхана. Мы нарушили все договоры и человеческие законы... Мы сражаемся только за СС, за гестапо, за лжецов и спекулянтов, фанатиков, убийц и безумцев, за то, чтобы они еще на год удержались у руля. За это и больше ни за что. Война уже давно проиграна». Только потерявшие человеческий облик, озверевшие существа вроде Штейнбреннера безоглядно идут по кровавому пути, проложенному фашизмом. Штейнбреннер «убил людей больше, чем дюжина солдат вместе взятых. Не в бою, нет, а за линией фронта и в концлагерях. Не однажды он похвалялся этим и гордился своей особой свирепостью». Когда Гребер спрашивает его, много ли евреев он истребил, Штейнбреннер разражается исповедью, откровенно говоря о тех фактах, которые ныне пытаются замолчать реваншисты и их покровители: «Если бы ты поглядел мою характеристику, ты бы не спрашивал. Да, были времена! Я хлопочу о переводе. Обратно в эсэсовскую дивизию. Там посвободнее... Все делается в большем масштабе. Никаких нудных военных судов для всякого вшивого русского. Их укладывают штабелями. Недавно за вечер уложили три сотни... Шесть человек получили за это немецкий крест...» Но страх перед возмездием за совершенные злодеяния начинает охватывать немецких солдат и пробивает даже самые заскорузлые мозги. Зауер говорит Греберу, глядя на развалины русской деревни:

«Представь, если русские натворят у нас то же самое, что тогда останется?

— Мы только сокращаем наш фронт, чтобы подготовить позиции для наступления нашему секретному оружию.

— А, брехня! Кто этому верит? Как только дойдем до нашей границы, надо заключить мир.

— Почему?

— Чтобы они не наделали того же с нами, что мы с ними».

Ослепленные немецкие солдаты не понимали, что Советская Армия выполняла великую миссию освобождения порабощенных народов, в том числе и немецкого, от

ига фашизма. Но в их сознании жил не только примитивный страх перед наказанием за свершенное. Ремарк, для которого мысль об ответственности немецкого народа за фашистские злодеяния является главной, на примере судьбы Гребера широко ставит тему исторического возмездия.

Видя, что русские гонят немецкие дивизии назад, видя злодеяния гитлеровцев и принимая в них участие, понимая, что война проиграна, Гребер начинает размышлять над своей жизнью и содеянным. «С недавних пор я ничего не понимаю,— говорит он своему другу Фрезенбургу,— раньше все было легко, а теперь ни в чем не разберешься... Я чертовски поздно начал думать».

Рожденный после первой мировой войны, росший в нужде лет инфляции, не знающий ничего, кроме «обезьяньего танца истерии и войны», Гребер еще лелеет мечту о покое — острове надежды за линией фронта.

Все герои прежних романов Ремарка видели перед собой этот призрачный остров надежды — прибежище от зла жизни — и пытались, каждый на свой лад, уединиться на нем. И сам писатель верил вместе с ними, что это возможно. Но суровая и беспощадная правда жизни ломает эту хрупкую и бедную мечту. Гребер попадает на свой остров надежды. Ему дан отпуск, и он едет домой.

Возвращение Гребера на родину дает возможность Ремарку показать обреченное гитлеровское государство изнутри. Гребера встречает не идиллический остров надежды, а бомбежки, развалины собственного дома, весть о гибели родителей. Эта потеря окончательно ломает его взгляды. «Чего он ожидал? Остров позади фронта? Родина, безопасность, утешение? Возможно. Но остров надежды уже давно беззвучно потонул в однообразии бессмысленных смертей, фронты были прорваны, и война шла повсюду. В мозгах и сердцах тоже».

Гребера потрясают не развалины — он их видел немало, а люди, изуродованные десятилетием фашистского господства. Они живут в оцепенении страха. Некий Лоозе прямо говорит Греберу: «Ты не знаешь, как было здесь в последние годы, когда дела шли все хуже. Никто не доверяет друг другу. Все боятся друг друга. Сейчас каждый думает только о себе. Слишком много несчастий на свете».

За короткий срок отпуска Гребер узнает о своем отечестве больше, чем за всю жизнь. Он видит, что рядовые люди бедствуют и живут без надежды на лучшее будущее. Колючая проволока концлагерей оплела всю Германию, свирепствуют военные суды, лавчёнки пусты, отряды самообороны не успевают расчищать улицы от обломков, озлобленные инвалиды переполняют госпитали, на фронт спешно грузят эшелоны, набитые подростками и стариками, государственный аппарат погряз в коррупции, и над жалким и позорным существованием «народа-повелителя» распростер крылья страх перед гестапо — «особый страх, загрязняющий, подавляющий страх, подобный обмороку».

На развалинах своего дома Гребер встречает бывшего уполномоченного службы ПВО. Тот помешался, потеряв во время бомбежки семью. До них доносятся звуки струн рояля, заброшенного взрывной волной на площадку дома. Звук поражает их. «Это рояль, — говорит Гребер сумасшедшему. — Это рояль, это рояль, — передразнил он Гребера.— Что вы понимаете — вы, безутешный убийца! Это колокол мертвых, и ветер звонит в него. Небо взывает им о милосердии, вы, стреляющий автомат! О милосердии, которого больше нет на земле. Что вы знаете о смерти, вы — разрушитель!.. Мертвые везде, — шептал он, — они лежат под обломками с раздавленными лицами, раскинув руки; они лежат, но они восстанут и погонятся за вами... Они обвинят вас, и будет суд над каждым в отдельности...»

Звуки колокола мертвых все время звучат в ушах Гребера, он бродит по родному городу, как по огромному кладбищу. Еще ведут призрачное существование верные холуи фашизма. Случайно Гребер встречает своего бывшего школьного товарища Биндинга, ныне видного штурмовика. Биндинг — один из хозяев фашистской Германии — живет припеваючи за счет награбленной в оккупированных странах добычи. Он ни в чем себе не отказывает. У него отличный домик, увешанный чужими охотничьими трофеями и ворованными картинами. Он даже оптимист — особый, конечно. И ему ясно, что расплата не за горами, а пока он живет как может. «Нет смысла грустить. Так погибать или этак поги-

бать». Он и руководствуется этим скудным утешением. Пользуясь данной ему властью, он заключил в концлагерь бывшего своего учителя, который когда-то провалил его на экзаменах. «Ты думаешь, я женат? Я не настолько глуп, — откровенничает он с Гребером. — При моем положении женщины так и ломятся ко мне в двери. Говорю тебе, Эрнст, они передо мной валялись на коленях... Еще вчера! Дама из высшего круга — отличная грудь, платье, меховая шубка — здесь на ковре ревела, как фонтан, и была на все готова. Хотела, чтобы я вытащил ее мужа из концлагеря». Моральная развращенность этих человекообразных чудовищна. На вечеринке у Биндинга Гребер встречает его друзей — эсэсовских и гестаповских чиновников. Что же это за существа?

«Водка,— бормотал Гейни,— мы выпили реки водки. Потом поливали керосином каналий и зажигали. Делали огнеметы. Ну и попрыгали они... Умереть со смеху! Огнеметы, — бормотал он, — грандиозная идея!» Эсэсовец Гейни хвалится и другими своими «героическими» подвигами в России. «Сначала ряд бревен, потом ряд людей, и каждый новый ряд должен был принести свои бревна, лечь на них и получал выстрел в затылок. А женщины! Можешь себе представить, что с ними делали?

— Да, довольно точно.

— Ты хотел бы при этом быть?

— Нет... при другом. Я хотел бы поглядеть живые горящие огнеметы, и рождественские елки с повешенными, и массовые уничтожения пулеметным огнем...—Гребер знал достаточно историй о службе безопасности СС и понимал, что пьяный рассказ Гейни не был хвастовством... но живые огнеметы были новинкой».

Эти звери тогда властвовали в Германии. Нынешние реваншисты изображают их «культуртрегерами», не учитывая, что народы прекрасно помнят, чем были эсэсовцы на самом деле.

Гребер понимает, что и он — соучастник злодеяний. Так оно и есть. Но колокол мертвых властно звучит в его душе. Он спрашивает Биндинга, что тот думает об ответственности. Биндингу все ясно: «...Ответственен только за то, что делаешь сам. И только за то, что не вытекает из приказа». Справедливость? «Справедливо то, что полезно немецкому народу, сказал имперский министр юстиции. А он-то знает. Мы же выполняем свой долг. Мы не несем ответственности...»

Гребер, потрясенный пережитым и увиденным, с новыми мыслями в голове, непривычными и тревожащими, решается убить Биндинга, ставшего для него олицетворением зла, принесенного в мир фашизмом, и не находит в себе сил. Он сам — порождение обреченного строя и не в состоянии порвать с ним.

Сомнения и поиски ясности приводят Гребера к его старому школьному учителю Польману, находящемуся на подозрении у гестапо. Польман, хранитель заветов старой немецкой культуры, враждебен фашизму. Он даже помогает скрываться человеку, вся «вина» которого состоит в том, что в его жилах течет немного и еврейской крови.

Польман, ненавидя фашизм, размышляет над будущим родины и мира. Беседы Гребера с Польманом имеют характер исповеди и спора с самим собой.

«— Вы должны сказать мне правду,— обращается бывший ученик к учителю.— Я хочу узнать, как далеко зашло мое участие в преступлениях последних десяти лет... Я хочу знать, что я должен делать.

— Вы говорите о преступлениях войны?

— Я говорю обо всем, что к этому относится. Ложь, угнетение, несправедливость, насилие. Я говорю и о войне. О войне и о том, как мы ее ведем — с лагерями рабов, концлагерями, массовыми убийствами мирных людей... Вы наставляли нас в религии. Как велико мое соучастие, если я знаю, что война не только проиграна, но что мы должны ее проиграть, чтобы уничтожить рабство и убийство, концлагери, СС, службу безопасности, массовые истребления и бесчеловечность?..

— Соучастие... что вы о нем знаете? ...Вас отравили ложью, прежде чем вы стали рассуждать. Но мы, мы все видели и дали возможность всему совершиться. Что это? Косность сердца? Равнодушие? Убожество? Эгоизм? Как могла возникнуть эта чума?»

Польман не в силах ответить на вопрос, как возникла чума фашизма. Его слова полны веры в будущее, но не той, которая нужна вопрошающему.

Польману трудно, оставаясь на почве этического протеста, найти веские аргументы, разбивающие сомнения Гребера. Вера? Любовь к ближнему? Гребер находит однажды убежище в подвале старого со-

бора. «Он вспомнил, что этот погреб, перед тем как стать винным складом, был когда-то местом пыток для ведьм и еретиков. Их подвешивали за руки, отягчив ноги железом, и раскаленными щипцами рвали им тело, пока они во всем не сознавались. Потом их уничтожали во имя божье и христианской любви к ближнему. «Мало что изменилось,— подумал он.— Палачи в концлагерях имели превосходные образцы. И сын плотника из Назарета — странных последователей».

В своем последнем романе Ремарк ведет жестокую полемику с самим собой, с прежними своими иллюзиями и заблуждениями. Любовь к человеку должна быть действенна, иногда она ведет к добру даже через насилие — вот вывод, к которому подходит писатель в итоге своих размышлений.

Ремарк любит свой народ настоящей любовью патриота, не боящегося говорить правду о нем. Только подлинный патриот мог вложить в уста одному из своих персонажей слова: «Нас заключили на десять лет в ужасное бесчеловечное и смехотворное высокомерие. Нас объявили народом-повелителем, которому все должны служить, как рабы... Народ-повелитель, слушающийся каждого глупца, каждого шарлатана, каждую команду, — разве это народ-повелитель?»

Этот вопрос составляет вторую тему романа. Есть ли пути у немецкого народа в будущее? Есть ли в нем силы, могущие дать ему обновление? Эта тема входит в роман с образом Элизабет — женщины, которую Гребер полюбил и на которой женился. Она во время войны стала работницей на военном заводе; отец ее по доносу остервенелой фанатички фрау Лизер заключен в концлагерь — он не верил в победу Германии.

Ремарк не выводит образов активных противников фашизма, составлявших цвет немецкой нации, боровшихся за свой народ в невероятно трудных условиях глубокого подполья — он имел о них неясное представление. Но он понимает, что народ в массе своей был полон ненависти к фашизму, хотя и не созрел для борьбы с ним, отравленный ядом пропаганды и придушенный страхом и репрессиями. Элизабет — одна из носительниц этого пока пассивного протеста.

Для Гребера любовь к Элизабет — последнее прибежище, последний обломок веры в остров надежды. С тонким лиризмом описывает Ремарк торжество любви, очищающей героев от грязи жизни и зовущей к будущему.

Когда сгорает дом Элизабет, где было проведено ее детство и юность, она говорит Греберу:

«— Пусть горит. Тогда все кончится. Правильно?

— Что кончится?

— Прошлое. Мы не можем с него начать. Оно только обременяет нас. Даже то, что было хорошим. Мы должны начать снова. Все обанкротилось. Мы не можем вернуться назад».

Назад немецкому народу пути нет.

Бьющая через край жажда жизни, счастья и справедливости заставляет влюбленных искать места на земле, где они могли бы «начать все снова». Бежать? Куда? Вокруг Германии пылающие в огне войны чужие земли и страшная ненависть народов. «Мы никуда не можем уехать,— закричала она.— О чем мы мечтаем? Никуда! Мы пойманы, отлучены, прокляты!» А рядом ведут свою лукавую и торжественную игру силы жизни — цветут весенние деревья, спокойно чистое небо в бесовском свете полной луны. Элизабет говорит Греберу, что хочет иметь ребенка.

«— Ребенка? В это время?.. Он как раз подрастет к новой войне, как мы к этой. Подумай о тех бедствиях, среди которых он родится... Так много отравлено вокруг нас, что почва будет надолго насыщена ядом: как можно иметь ребенка!

— Именно потому... чтобы воспитать его вопреки всему. Что станет, если все, кто против того, что сейчас совершается, не будут иметь детей? Разве они должны быть у одних варваров? Кто же тогда приведет мир в порядок?»

Эта простая мудрость женщины-матери вдыхает в Гребера новую надежду. Колокол мертвых замолкает в его душе. Но не надолго. Гребер возвращается на фронт, унося с собой тревогу и неразрешенные сомнения. Он не знает, что ждет, кроме поражения, его родину, какой порядок будет установлен на его земле. Гребер не принимает коммунизма — он имеет о нем самые дикие представления. Никакой определенной системы политических взглядов у него нет. Он знает только одно, что фашизм обречен и ненавистен ему.

Роман завершается сценой, напоминающей его начало. В плен захвачены русские партизаны, но на этот раз немецкое командование, чуя возмездие, медлит с расстрелом. Греберу приказано сторожить пленников. И когда во время натиска советских частей начинается беспорядочное бегство немецких войск и Штейнбреннер, не забывший своего прежнего ремесла, хочет прикончить пленников, — Гребер убивает его, убивает потому, что Штейнбреннер является для него символом ненавистного прошлого, бесчеловечности и подлости фашизма. Но и сам Гребер — соучастник злодеяний обреченного строя. «Убийца,— повторил он и подумал о Штейнбреннере, о себе самом и множестве других...»

Обломки «нового порядка», в создании которого он принимал участие, погребают его под собой. Колокол мертвых набатно бьет в его сердце. Гребер погибает на советско-германском фронте.

Греберу, человеку, чьи руки были запятнаны кровью невинных людей, не дано строить новый мир. Разрушавшему не дано испытать радость созидания. Его постигает возмездие. Но его смерть — также и обвинительный акт против фашизма, изуродовавшего и растоптавшего его жизнь. Духовное потрясение, пережитое Гребером, сформировавшее в нем ненависть к фашизму, свидетельствовало о том, что в умах миллионов людей, которые были, подобно Греберу, обмануты, шла неуклонная работа мысли, освобождавшейся от липкой и растлевающей лжи фашизма. В этом очищении сознания немецкого народа от яда фашистской идеологии Ремарк видит залог его возрождения.

Роман Ремарка написан в важное для судеб народов время и духом своим, мыслями и гневом направлен против попыток восстановления фашизма. Обращенный к немцам, он не указывает прямого пути вперед — Ремарк его не знает. Но он говорит с силой выношенного убеждения, что назад пути нет. Фашизму настало время умирать, время его жизни кончилось. Книга Ремарка осуждает фашизм и тех, кто хочет руками немцев развязать новую войну. Она отражает стремление миллионов немцев к прочному миру.

Т. Мотылева

О творчестве Синклера Льюиса

В романе Говарда Фаста «Сайлас Тимбермен» есть такой эпизод. Молодой преподаватель Клемингтонского университета Боб Аллен дает показания перед сенатской комиссией, изобличая в «неблагонадежности» своего старшего коллегу Тимбермена. Он говорит, что Тимбермен рекомендовал студентам наряду с «Американской трагедией» Теодора Драйзера, «Железной пятой» Джека Лондона и романы Синклера Льюиса «Бэббит» и «Элмер Гантри». А дальше между Алленом и сенатором Брэннигеном происходит следующий разговор:

— «Бэббит» и «Элмер Гантри» — книги, проповедующие ненависть к дельцам и свободному предпринимательству, не так ли, мистер Аллен?

— В некотором смысле да, сэр. В «Бэббите» высмеивается торговец недвижимостью, а «Элмер Гантри» — пасквиль на церковь.

— Синклер Льюис ведь тоже был коммунистом, не так ли?

— Насколько я знаю, он не был им открыто. Но он свободно мог бы им быть».

Боб Аллен здесь, по обыкновению доносчиков, искажает истину. Синклер Льюис не только не был коммунистом, но и не раз выражал неприязнь к коммунистам. И тем не менее все основные произведения Льюиса по сути своей направлены против общественных устоев и нравов, господствующих в капиталистическом мире.

Вопросы, поставленные в лучших романах Синклера Льюиса, сохраняют свою остроту; образы, созданные им в книгах двадцати- и тридцатилетней давности, сохраняют свою жизненность. Синклер Льюис умер около пяти лет назад, но его реалистическое наследие по-своему участвует в идейной борьбе наших дней. Приведенная сценка из «Сайласа Тимбермена» — наглядное тому доказательство.

Творчество Синклера Льюиса — одно из наиболее ярких явлений американской литературы XX века. Поучительно разобраться в наследии этого талантливого писателя, осмыслить пройденный им путь.

1

Первые книги Синклера Льюиса, вышедшие в 1914—1917 годах, мало чем отличались от мещанских романов средней руки, с занимательной фабулой и благополучной концовкой. Настоящая творческая зрелость писателя начинается с 1920 года, когда вышел его роман «Главная улица». Здесь Льюис впервые выступил как художник-реалист, ставящий резко и по-своему важные вопросы жизни. За «Главной улицей» последовали «Бэббит», «Элмер Гантри», «Эрроусмит»...

Горький в 1931 году заметил: «Двадцать лет тому назад были бы невозможны книги такого типа, как «Элмер Гантри» и «Эрроусмит» Синклера Льюиса». И это на самом деле было так. Синклер Льюис не понял Октябрьской революции, не принял ее идей. Но он сложился, как зрелый художник, в ту именно эпоху, когда устои капиталистического общества бесповоротно рушились на одной шестой части земного шара и начали основательно расшатываться на остальных пяти шестых. Синклер Льюис, возможно, не задумывался над такими понятиями, как «всеобщий кризис капитализма» или «обострение классовых про-

тиворечий в буржуазном обществе». Но он чувствовал, что старый мир недолговечен; он видел, что в его стране много несправедливости, зла и лжи. Из этого ощущения и выросли лучшие его книги.

Значит ли это, что Льюис творил бессознательно, независимо от социально-политических идей? Нет, напротив. Весь его путь наглядно опровергает идеалистические теории «бессознательности» художественного творчества.

В эпоху империализма и пролетарских революций связь литературной работы писателя с его мировоззрением стала еще более очевидной, чем в прошедшие эпохи. (Об этом очень верно говорят и Г. Фаст в своей работе «Литература и действительность» и А. Лефевр в книге «Введение в эстетику».) В наши дни литераторы, которые прочно стоят на позициях защиты буржуазного строя, неминуемо приходят к отказу от жизненной правды в искусстве, к фальсификации ее — к антиреализму и псевдореализму. Книги наиболее правдивые, наиболее художественно полнокровные создаются теми писателями, которые ясно видят пороки буржуазного строя и не боятся говорить о них.

Сказанное относится, в конечном счете, и к Синклеру Льюису.

Творческий путь Льюиса очень извилист. Когда читаешь подряд два романа, созданные им почти за сорок лет литературной деятельности, порой кажется невероятным, что книги, столь различные и по идейной направленности и по литературным качествам, могли быть написаны одной и той же рукой.

Однако это чередование взлетов и падений, все эти зигзаги и повороты на пути Льюиса — не случайны: в них отразилась трагедия одаренного художника, взгляды которого были весьма нечетки и противоречивы.

При поверхностном подходе может показаться, что Синклер Льюис вообще не имел мало-мальски прочного мировоззрения, что он качался, словно маятник, поддаваясь всяческим колебаниям текущей политической конъюнктуры. Да, идейная позиция Льюиса не отличалась особой устойчивостью, и мы можем проследить, как он в статьях различных лет то горько жаловался на тиранию господствовавшего общественного мнения, то, поддаваясь этой тирании, расписывался в своей приверженности к «американской государственной системе» и открещивался от подозрений в «большевизме». Но у Льюиса все же была определенная, сохранившаяся с годами система взглядов. И в этой системе были свои сильные и свои слабые стороны.

Синклер Льюис видел многие уродства капиталистического строя. Он осуждал косность и эгоизм крупных собственников. Он был противником милитаризма, империалистической агрессии, расового гнета, церковного мракобесия. Он видел, что буржуазная демократия, провозгласившая право каждого человека на «стремление к счастью», делает множество людей несчастными.

Однако, трезво осуждая зло буржуазного общества, Синклер Льюис все же никогда не порывал с этим обществом. Он мог сочувствовать неимущим. Но ему недоставало идейной ясности, недоставало, возможно, и мужества для того, чтобы встать на сторону рабочего класса. Ему не хватало решимости для того, чтобы связать свое творчество с борьбой народных масс. Более того: Льюис всегда испытывал мещанский страх перед народом, перед революцией. И это во многом сковывало его как художника. В своей критике он не доходил до основ буржуазного строя. Он не раз в испуге отступал перед мыслью о свержении существующего порядка. И тогда в его книгах начинали звучать грустно-примирительные нотки: такова, мол, жизнь, ничего не поделаешь.

Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Пример Синклера Льюиса наглядно подтверждает справедливость этих ленинских слов. Много раз Льюис пытался занять серединную позицию, старался быть равно «независимым» как от реакционных, так и от прогрессивных сил своей страны. Но, отмежевываясь от освободительной борьбы трудящихся, он оказывался на стороне врагов трудящихся. Логика событий не раз приводила писателя к идейным падениям и срывам. Так появлялись в иных его книгах и фальшивые фигуры «добрых» буржуа, и окарикатуренные образы коммунистических «заговорщиков». Поддаваясь антинародным взглядам, Синклер Льюис при этом неминуемо искажал жизненную правду, принижал свой талант.

Противоречивость позиции Синклера Льюиса сказывалась не только в чередо-

вании творческих взлетов и падений, приливов и отливов: она ощущается и во многих его книгах, взятых в отдельности. Даже некоторые из слабых вещей Льюиса содержат те или иные проблески антибуржуазной или, по крайней мере, антимещанской сатиры. Но, с другой стороны, ограниченность мировоззрения художника, его привязанность к господствующему социальному укладу проявились и в некоторых наиболее известных, наиболее выдающихся его романах. Ведь и в них многое недосказано.

Очень важной особенностью зрелого творчества Синклера Льюиса является его связь с традициями реализма XIX века. Сходство писателя с романистами прошлого столетия (не только американскими, но и европейскими) проявляется уже в том, как он строит сюжеты своих произведений. Очень часто в их основе лежит история личности в ее взаимоотношениях с обществом. Порою общество стимулирует развитие в герое порочных наклонностей, и он делает карьеру именно благодаря этим наклонностям («Элмер Гантри», «Гидеон Плениш»). Иногда герою присуще стремление к независимости, черты человечности, но общество подавляет их, подчиняя героя себе («Главная улица», отчасти «Бэббит»). Иногда, наконец, общество не в состоянии подавить гуманных порывов героя, но ставит всевозможные преграды их развитию («Эрроусмит», «Энн Виккерс», «Королевская кровь»).

При этом Синклер Льюис неизменно остается в пределах антитезы: личность и общество. Он, как правило, не возвышается до раскрытия социальных, классовых конфликтов эпохи. Реализм Синклера Льюиса до известной степени «старомоден» и гораздо менее глубок по своему общественному содержанию, чем реализм таких художников, как Драйзер, Роллан или Генрих Манн.

Но в этой «старомодности» повествовательного искусства Льюиса есть и свои привлекательные стороны. В отличие от многих американских писателей его поколения автор «Бэббита» сумел не поддаться соблазнам декадентских течений XX века. Стиль его прозы, включающий разнообразные оттенки — от непринужденных разговорных интонаций до сатирического памфлета, — неизменно чист и ясен, свободен и от формалистической вычурности, и от натуралистической грубости. Льюису всегда был чужд тот повышенный интерес ко всяким душевным уродствам, который характерен для многих его литературных собратьев, например для Стейнбека или Шервуда Андерсона. Проявляя в лучших своих романах большое внимание к внутренней жизни героев, Синклер Льюис никогда не выключал личность из окружающего мира, не погружался в дебри иррационального и не превращал психологического анализа в самоцель.

Синклера Льюиса не раз справедливо называли сатириком. Однако это был сатирик своеобразного склада. Он умел высмеивать и обличать уродливые явления жизни, не прибегая ни к гиперболе, ни к гротеску; он умел, соблюдая безукоризненную житейскую достоверность и сохраняя реальные пропорции предметов, вскрыть то безобразное и нелепое, что заключалось в самых, казалось бы, привычных, примелькавшихся жизненных ситуациях. Отрицательные типы и явления представали у Синклера Льюиса в самом обыденном, будничном обличье. Сатирические персонажи обрисованы у него так, что многие бизнесмены, обыватели могли без труда узнать в них себя.

Сатирический аспект изображения жизни естественно совмещался у Льюиса с аспектом психологически-бытовым. Льюису было свойственно высокое мастерство детали, умение немногословно передать зримый и осязаемый облик человека, города, домашней обстановки. Подробности повседневной жизни, тщательно отобранные художником, давали ему возможность глубже раскрыть внутреннюю сущность персонажей: достаточно вспомнить, например, как всяческие атрибуты уюта и комфорта, часто упоминаемые в различных его произведениях, от «Бэббита» до «Королевской крови», — автомашины новейшей марки, усовершенствованные пылесосы и холодильники — ярче оттеняют контраст между высокой материально-технической культурой современного капитализма и низкой духовной культурой имущих.

В слабых вещах Льюиса, написанных им в периоды идейных «отливов» — в таких романах, как «Додсворт», «Произведение искусства», «Бетель Мерридэй»,— тоже подчас сказывается тонкая наблюдательность писателя, большое искусство детали. Но там умение романиста наглядно воспроизводить внешнюю сторону жизни ли-

шается глубокого человеческого содержания, опустошается и превращается в подделку под реализм.

В основных произведениях Синклера Льюиса психологическое мастерство художника, его умение «вживаться» в персонажей, сочетающееся со сдержанной иронией авторской речи, позволяет ему дать в высшей степени живые образы людей. Действующие лица вступают в сложные драматические отношения друг с другом и с окружающей их средой, и это волнует читателя, заставляет его задуматься, особенно когда герои Синклера Льюиса — как, например, Мартин Эрроусмит или Нийл Кингсблад из «Королевской крови» — много думают сами. Зато в иных мещанских по духу книгах Льюиса внимание повествователя сосредоточено на мелочах, судьбы людей лишены драматизма, конфликты искусственно сглажены, персонажи банальны, и словесное мастерство романиста пропадает впустую.

Синклер Льюис обладал реалистическим талантом большого масштаба. Но талант этот по-настоящему сказывался там, где писатель правдиво и бесстрашно говорил о существенных сторонах человеческой жизни.

2

Романы двадцатых годов, которые принесли Синклеру Льюису мировую известность, раскрыли американскую действительность с новой стороны. Писатель сумел рассказать в них о том, о чем не говорили до него другие мастера критического реализма США.

В свое время Теодор Драйзер развенчал миф о «равных возможностях», предоставляемых буржуазной демократией для всех граждан. Он воспроизвел без прикрас ту чудовищную волчью грызню, борьбу всех против всех, которая является законом жизни в мире бизнеса. Он дал увидеть глубину пропасти, отделяющую имущих от неимущих.

Сила Синклера Льюиса как художника-реалиста проявилась в другом. Он разрушил те мифы, которые представляли в розовом свете капиталистическую цивилизацию. Он показал, как гнетуще действует эксплуататорский строй на человеческую личность, на умственную жизнь страны; он поведал о засилье ханжества, отупляющей пошлости в среде собственников. Лучшие романы Синклера Льюиса разоблачили перед всем миром духовное убожество и ничтожество современного буржуа.

Подлинный художник не только открывает в жизни новые, никем до него не замеченные явления, но и запечатлевает эти явления в крупных образах-типах. Это относится и к Синклеру Льюису.

Писатели Западной Европы и Америки создали в XIX и XX веках немало ярких фигур предпринимателей. Герой романа Синклера Льюиса «Бэббит» занимает особое место в этом ряду. Он не так бездушно жесток, как диккенсовский Баундерби, не так циничен, как драйзеровский Каупервуд, не так агрессивен, как «верноподданный» Дидерих Гесслинг у Генриха Манна. Бэббит, в сущности, не зол и даже способен на некоторые проблески человеческих чувств. Но он непроходимо туп. Он — воплощение самодовольной, торжествующей посредственности.

Публицисты и социологи на Западе затратили немало усилий, чтобы доказать, что буржуазная демократия дает широкий простор для развития индивидуальности, развязывает инициативу, помогает росту дарований. Образ Бэббита по своей убедительности перевешивают все писания этих публицистов, взятые вместе. На протяжении трех десятилетий он живет в сознании читателей как наглядное воплощение — почти что символ — мещанина-собственника. Вот он, «свободный гражданин», обладатель солидного счета в банке, преуспевающий делец! Вся его жизнь скована инерцией рабского подражания. У него и квартира обставлена точно так, как у соседей. «Своеобразие» Бэббита именно в том, что он, как одна капля воды на другие, похож на множество таких же бэббитов. В данном случае типичность персонажа основана именно на его заурядности. Имя Бэббита с легкой руки Синклера Льюиса давно уже стало нарицательным в Америке, да и не только в Америке.

Льюис сумел, как никто другой до него, показать, насколько буржуазной культуре XX века присущ дух стандарта, нивелировки. Если Бэббит во всем подобен многим другим собственникам, то захолустный городок Гофер Прери («Главная улица») во всем подобен другим городкам страны: в каждом из них царствует та же тупая скука, и в каждом — своя Главная улица...

В романах Льюиса появляется целая вереница обезличенных людей, которые мыслят готовыми понятиями, говорят готовыми формулами. И писатель незаметно, ненавязчиво сопровождает свои образы саркастическим авторским комментарием. Он замечает: «Американская демократия обозначает не равенство богатств, а только требует здоровой однородности в мыслях, одежде, искусстве, нравах и словаре».

А с теми, кто не хочет подчиняться этой «здоровой однородности», общество бэббитов расправляется без пощады. Синклер Льюис, правда, не говорит в своих романах двадцатых годов о полицейском терроре против прогрессивных элементов, о произволе судебного правосудия. Но зато он нередко повествует о тех будничных жестокостях и ненаказуемых преступлениях, которые совершаются под прикрытием фраз о «христианской морали», о «демократических идеалах». Очень обычный эпизод в его романах — описание травли, которой рассерженные обыватели подвергают человека, рискнувшего проявить, пусть в самой безобидной форме, независимость мысли. Жертвой такой травли становится молоденькая учительница Ферн Меллинс, навлекшая на себя злобу кумушек Гофер Прери («Главная улица»), профессор-новатор Готлиб, пришедшийся не ко двору ученым мужам Уиннемакского университета («Эрроусмит»), наивно-прекраснодушный священник Франк Шаллард, стоящий в оппозиции к церковным авторитетам («Элмер Гантри»).

Образ преподобного Элмера Гантри — это наряду с Бэббитом одно из самых значительных реалистических обобщений в творчестве Синклера Льюиса. Именно в обществе, где все отрасли духовной жизни прямо и неприкрыто превращены в коммерческое предприятие, может вырасти и процветать подобный виртуоз лицемерия, бизнесмен от религии, рекламирующий себя в стиле базарных зазывал и произносящий проповеди на тему: «Стал ли бы Иисус играть в покер?»

Синклер Льюис нередко показывает, как карьеристы и стяжатели используют в своих интересах различные формы американской общественной жизни. В «Эрроусмите» есть эпизодическая, но исключительно колоритная фигура — доктор Альмус Пикербо. Он торгует медициной так же уверенно и беззастенчиво, как Элмер Гантри торгует религией; он занимается санитарным просвещением под лозунгом: «Больше здоровья — больше барыша». И этот коммерсант от медицины, воплощение торжествующей пошлости, легко делает политическую карьеру: он становится депутатом.

Чем шире развертывалась в романах Льюиса картина буржуазных будней, тем большую обвинительную силу приобретала она. Пусть народные массы и не появляются ни в «Главной улице», ни в «Бэббите», ни в «Элмере Гантри», ни в «Эрроусмите». Тем не менее романы эти, взятые вместе, неопровержимо свидетельствовали: не воля народа, не благо большинства, а корыстные интересы имущих — вот что вершит судьбами современного капиталистического мира. И писатель в «Бэббите» с горькой иронией говорил о том, насколько наивен был один старый ветеран войны Севера против Юга: «Ветеран... верил, что земля плоска, что англичане — одно из десяти израильских колен и что Соединенные Штаты Америки — демократия!»

В романах двадцатых годов Синклер Льюис проявил себя одаренным, остроумным обличителем — но он не хотел быть только обличителем. Важная, характерная черта Льюиса-художника — настойчивые поиски положительных ценностей и положительных героев. Этот едкий сатирик горячо любил свою страну. И он хотел показать в своих романах здоровые, жизнеспособные силы Америки.

Что мог противопоставить автор «Бэббита» буржуазному миру? От трудящихся, от рабочего движения он был и оставался далек. И ему приходилось искать положительное начало внутри той среды, которая была предметом его реалистической критики.

Естественно, что робкие попытки мистера Бэббита вырваться из заколдованного круга мещанского бытия, начать жить по-иному терпят крах в самом начале: слишком уж ничтожны эти попытки, слишком уж органически врос Бэббит в деловой мир Зенита, слишком уж неизлечимо заражен он стяжательством и всеми предрассудками своей среды.

Более сложно складывается судьба Кэрол Кенникот, жены провинциального врача, героини романа «Главная улица». Она «белая ворона» в среде обывателей Гофер Прери хотя бы уже потому, что ей

присущи искренность и живость ума. Застойный быт Гофер Прери внушает ей отвращение, которого она годами не может преодолеть; ей хотелось бы вывести своих сограждан из состояния духовной спячки... Но Кэрол не в состоянии всерьез бороться с пошлостью и косностью Гофер Прери: ведь она, в сущности, не знает, во имя чего бороться, и сама очень ценит уют, покой, материальное благополучие. Ее бунт обречен на неудачу и потому, что он поверхностен, и потому, что он беспредметен.

Синклеру Льюису страстно хотелось найти настоящего человека, показать во весь рост честного, мыслящего американца. Ему удалось это сделать в «Эрроусмите». Мы видим в этом романе деятельного, бескорыстного труженика науки, который не хочет покоряться бизнесу.

Несомненно, что участие известного писателя-бактериолога Поля де Крюи в подготовительной работе над «Эрроусмитом» очень обогатило содержание романа. Синклер Льюис продолжил и углубил в этой книге свою критику буржуазной цивилизации. Он показал зависимость науки от власти доллара, от прихотей богатых покровителей, финансирующих изыскания ученых и извлекающих из них прибыль. Но сила и оригинальность романа — не только в социальной сатире. Самое яркое и захватывающее в «Эрроусмите» — это проникновенное, очень конкретное изображение научно-исследовательского труда.

Сопоставляя романы Синклера Льюиса, мы видим, как раскрываются в их персонажах различные стороны американского национального характера. Льюис много раз изображал людей энергичных и предприимчивых. В лице Бэббита, Пикербо, Элмера Гантри и многих им подобных он создал разнообразные типы стяжателей, у которых традиционная американская деловитость выродилась в грубое делячество, лишилась своей трудовой основы и служит целям наживы. Мартину Эрроусмиту присуща американская деловитость в хорошем смысле слова. Его неукротимый и колючий характер привлекает своим упорством, пытливостью, внутренним бесстрашием; именно эти качества помогают Мартину, несмотря на трудные условия работы, обогатить науку новыми открытиями. Задушевно, с народным юмором обрисована жена Мартина, стойкая и задорная Лиора — преданная спутница его беспокойной жизни.

Мартин Эрроусмит — один из наиболее сильных положительных образов новейшей американской литературы: вслед за героями Купера, Брет-Гарта, Джека Лондона он стоит в ряду следопытов и первооткрывателей. Он особенно тесно преемственно связан со своим тезкой Мартином Иденом; в романе Синклера Льюиса по-своему развивается основной конфликт «Мартина Идена» — столкновение творческой личности с миром дельцов (в американской литературе наших дней этот конфликт возродился на новый лад в романах Митчелла Уилсона «Живи среди молний» и «Брат мой, враг мой»).

Мартин Эрроусмит плоть от плоти народа. Но он трагически оторван от народа — в этом его слабость. И роман вполне закономерно кончается уходом Эрроусмита из общества, в котором он не может ужиться, своеобразным добровольным отшельничеством. Вместе со своим учителем, профессором Готлибом, Эрроусмит может противопоставить карьеристам и торгашам от науки лишь абстрактный и ложный идеал «чистой» науки. Он не задумывается над тем, возможна ли чистая наука в обществе, где все отрасли духовного производства безраздельно подчинены капиталу. В те редкие минуты, когда Мартин размышляет над общественными вопросами, он склонен разрешать эти вопросы с отвлеченно-негативных позиций. Он готов проповедовать «лойяльность раскольничества, религию постоянного сомнения, заповедь отречения от всяких заповедей».

Строй мыслей Синклера Льюиса в это время очень сильно напоминал умонастроение Мартина. В статье «Самодовольная Америка», написанной в 1927 году, писатель сетовал на деспотизм «торговцев, приказчиков и жен пасторов», которые хотят подчинить людей творческого труда своим ограниченным запросам, и утверждал в противовес этому деспотизму только одно: независимую личность художника, который творит как ему вздумается, ни с кем не считаясь.

Резкой, непримиримой антипатией к буржуазному обществу проникнута была речь, которую Синклер Льюис произнес при вручении ему Нобелевской премии в Стокгольме в 1930 году.

«В Америке большинство из нас, я имею в виду не только читателей, но даже писателей, все еще боится всякой литературы,

которая не представляет собой восхваления всего американского, восхваления наших пороков так же, как и наших добродетелей... Американский романист, или поэт, или драматург, или скульптор, или художник вынужден работать в одиночку, не видя перед собой ясной цели, не находя поддержки ни в ком, кроме как в самом себе... Его угнетает чувство, что то, что он создает, никому не нужно, что читатели видят в нем лишь декоратора или клоуна или добродушно приемлют его как зубоскала, который лает, но не кусается... У него нет организации или группы, чья помощь могла бы вдохновлять его, чью критику он мог бы принять и чья похвала была бы для него драгоценна... Наши американские профессора любят отечественную литературу тогда, когда она ясна, и холодна, и чиста, и абсолютно мертва» *.

Эти горькие слова свидетельствовали, насколько нелегкие моральные условия сложились к тому времени для самого Синклера Льюиса. Подобно Эрроусмиту, он задыхался в царстве всемогущего доллара. И, подобно Эрроусмиту, он не знал путей к народу и не находил поддержки «ни в ком, кроме как в самом себе».

На рубеже двадцатых и тридцатых годов — в период экономического кризиса, рабочих волнений, крупных стачек — Синклер Льюис начал собирать материал для романа о пролетариате. Но роман этот так и не был написан: художник не мог преодолеть свою отчужденность от рабочего класса. В то время как его старший коллега Драйзер именно в эти годы сблизился с американскими коммунистами и таким образом обрел настоящую опору для своей борьбы с буржуазным строем,— Синклеру Льюису не удалось найти общий язык с передовыми людьми Америки. И это усугубляло в нем чувство одиночества. А одиночество порой вызывало соблазн — примириться с господствующим классом.

Годы экономического кризиса обострили внимание Синклера Льюиса к судьбе обездоленных. Он показал в «Энн Виккерс» (1933) бесправие неимущих граждан своей страны. Он показал, что тюремный режим, основанный на грубом издевательстве над личностью, не только не помогает искоренять преступность, но и насаждает ее. Многие страницы «Энн Виккерс» красноречиво обличают обман благотворительности, продажность чиновников, лживость прессы.

Синклер Льюис явно хотел снова нарисовать чистую и сильную личность, противостоящую грязному миру собственников. Энн Виккерс — положительный тип американки. Это — одаренная, гордая, смелая женщина, обладающая врожденным инстинктом справедливости. С большим драматизмом описана в центральных главах романа ее борьба против произвола и злоупотреблений тюремной администрации. Однако борьба эта, в которой Энн проявляет много настойчивости и мужества, направлена именно против злоупотреблений — не более того. Действуя как реформатор и филантроп, Энн Виккерс ни в коей мере не посягает на основы капиталистического строя.

Очень острый момент в романе — встреча Энн Виккерс с подругой ее детства Перл, ставшей коммунисткой. Перл сурово упрекает Энн в том, что она, добиваясь лучшего, более гуманного устройства тюрем, не разрушает социальное зло, а скорей укрепляет существующий порядок. Энн Виккерс сильно смущена этими упреками. После ухода подруги она думает: «В том, что сказала Перл, много правды — в этом страшно много правды». Энн втайне сама недовольна результатами своих усилий. Но эта неудовлетворенность не побуждает ее перейти на путь более решительной борьбы, а постепенно вовсе ослабляет ее интерес к общественной жизни. Энн Виккерс смиряется, отказывается от своей прежней деятельности, замыкается в узком домашнем кругу. В последних главах романа напряжение действия резко спадает: повествование, проникнутое в начале духом тревоги и протеста, неожиданно завершается как пошловатая мещанская идиллия.

Но талант реалиста-обличителя, присущий Синклеру Льюису, не заглох. Немного времени спустя ему суждено было снова проявиться.

3

Синклер Льюис не принял непосредственного участия в антифашистском литературном движении, развернувшемся в середине тридцатых годов. Но он как художник по-своему реагировал на события, происходившие в мире. В 1935 году он выпустил одно из наиболее оригинальных и острых своих

* A Sinclair Lewis reader. The Man from Main Street. N. Y. 1953, стр. 6, 9, 10.

произведений — роман «У нас это невозможно».

Синклер Льюис снова выступил здесь как художник-новатор, впервые освещающий новые, никем до него не замеченные жизненные явления. В двадцатые годы он открыл тип Бэббита, разоблачил захолустное убожество Главной улицы. Теперь, в тридцатые годы, он явился в литературе своей страны пионером антифашистской темы. Он первым среди писателей задумался об опасности фашизма в США.

Название романа звучит иронически. Льюис говорил о том, что *может* произойти, если его соотечественники пойдут на поводу у реакционных демагогов. Книга явилась своего рода сигналом, предостережением, она была продиктована благородным гражданским беспокойством писателя за судьбы его страны.

«У нас это невозможно» — произведение своеобразное по жанру: это роман-памфлет и в то же время роман-утопия. Новая тема и жанр потребовали от Синклера Льюиса новых, необычных для него художественных средств. Здесь нет той бытовой достоверности, того обилия тщательно выписанных деталей, какие мы привыкли видеть в прежних его книгах. И люди и обстановка их жизни обрисованы довольно скупыми штрихами. Зато художник широко вводит в повествование элемент публицистики, щедро цитирует вымышленные документы, речи, статьи, открывает каждую главу остроумным эпиграфом в пародийном стиле — выдержкой из книги фашистского лидера; он заставляет своих героев много говорить и спорить о политике. И это усиливает напряженность повествования.

Синклер Льюис нарисовал тревожную, устрашающую картину возможного будущего. С безжалостным сатирическим мастерством изобразил он авантюриста Бэзза Уиндрипа, который, щеголяя демагогической фразой, завоевывает доверие обывательских масс и при поддержке крупных капиталистов становится диктатором Соединенных Штатов.

Синклер Льюис очень тонко воспроизвел те формы маскировки, к которым подчас прибегает фашистская реакция. Он показал, что формальная демократия, не дающая народу реальных прав, предоставляет большой простор политическим проходимцам, если у них есть богатые покровители. Любопытная фигура в его романе — епископ Поль Питер Прэнг, который, пользуясь предоставленной ему свободой слова и щедро оплачивая радиостанциям передачу своих выступлений, наводняет эфир своими бредовыми речами. В радиопроповедях Прэнга, в писаниях Бэзза Уиндрипа программа, заимствованная у Гитлера и Муссолини, облекается в псевдодемократические формы. Романист описывает ораторские ухищрения Уиндрипа: «Он умел драматизировать свое заявление, что он не «наци» и не фашист, а демократ — доморощенный, джефферсоно-линкольно-кливлэндо-вильсоновский демократ, и (без декораций и костюмов) делать это так, чтобы все слушатели видели его воочию защищающим Капитолий от варварских орд, между тем как он в сердечной своей невинности преподносил им в качестве своих собственных заветных измышлений обскурантистский и антисемитский бред Европы».

Синклер Льюис прозорливо показал связь фашизма внутри страны с империалистической агрессией вне ее. Действующие в его романе политики и генералы, используя фразеологию «стопроцентного американизма», воспитывают в населении США шовинистическое чванство и стремятся увлечь американский народ на пагубный путь войны.

Роман Синклера Льюиса, задуманный как памфлет на злободневную тему, заключал в себе большую силу обобщения. Многие его страницы и теперь воспринимаются как страстное выступление против реакции и милитаризма.

Вместе с тем Синклер Льюис не мог дать ясного ответа на вопрос: как сломить диктатуру Уиндрипа? Он весьма туманно обрисовал левобуржуазного политического деятеля Троубриджа, который, находясь в эмиграции, руководит подпольным движением против диктатора. Очень скудно, неясно говорит он об участии народных масс в этом движении.

Центральной положительной фигурой романа оказался тихий и безобидный провинциальный журналист Дормэс Джессеп, который под влиянием грозных событий выходит из тиши своего кабинета и втягивается в политическую жизнь. Вначале он выглядит беспомощным и немного жалким. Но по ходу повествования он духовно растет, романтически приподнимается автором и становится чуть ли не символом бессмертного народа (роман так и кон-

чается словами: «Дормэс Джессеп не может умереть»). Либеральный интеллигент в качестве главной силы в борьбе с угрозой фашизма — это была явная неправда. Вряд ли сам Льюис не чувствовал это. Однако он не сумел противопоставить Бэззу Уиндрипу более крепких и реальных антагонистов.

Синклер Льюис не мог преодолеть своего недоверия и неприязни к коммунистическому движению; он имел о нем весьма поверхностные и превратные понятия. Живя в Америке, Льюис не видел тех крупных социальных и политических столкновений, свидетелями которых были в тридцатые годы его европейские собратья по перу. Он оказался не в состоянии понять, что для успешного отпора фашизму необходимы организованные усилия масс, руководимых передовой партией, одушевленных передовыми идеями; он не мог и не хотел понять значения Советского Союза как споры трудящихся всего мира, борющихся против фашизма. Отсюда в романе и натяжки, и недомолвки, а кое-где и прямое, тенденциозное искажение действительности. Фигуры коммунистов, изредка появляющиеся в повествовании, примитивно карикатурны.

Те идейные затруднения, на которые натолкнулся Синклер Льюис, работая над романом «У нас это невозможно», еще резче сказались в годы, последовавшие за выходом этого романа. Льюис прошел полосу идейных шатаний и творческого кризиса. Однако события второй мировой войны вызвали сдвиг в умонастроении писателя. В нем оживилось чувство ответственности за свою работу перед народом, перед человечеством. И в нем возникло стремление продолжать борьбу против фашизма силою художественного слова.

Незадолго до конца войны Синклер Льюис опубликовал в журнале «Американ сколар» статью «Художник, ученый и мир». Он как бы подытожил в ней свои размышления, вызванные всемирной схваткой свободолюбивых народов с фашизмом. В этой статье немало расплывчатых, неясных мест, где отражена путаница социальных воззрений Льюиса. Однако в ней четко высказана одна основная мысль: долг писателя, ученого, художника — принимать активное участие в борьбе с реакцией на стороне народа. Льюис утверждал, что в современном мире уже нет места для литератора старого типа, который замыкается в своем кабинете и «витает над борьбой человечества». Он ссылался, как на положительный пример, на прогрессивных писателей, подобных Бернарду Шоу или Карлу Сэндбергу.

Желание Синклера Льюиса участвовать во «всемирной борьбе за демократию» плодотворно сказалось на его литературной деятельности. В романе «Гидеон Плениш» (1943) он создал весьма острую сатирическую вариацию образа мещанина и вместе с тем вернулся к антифашистской проблематике.

«Гидеон Плениш» продолжает обличительную линию лучших книг Льюиса. Герой романа — шарлатан и карьерист, сочетающий изворотливость и цинизм с примитивной стандартностью мышления,— соединяет в себе качества Элмера Гантри с некоторыми чертами Бэббита. Снова перед читателем развертываются картины жизни провинциального университета, эпизоды деятельности «благотворительных» и «просветительных» организаций, изобличающие буржуазную цивилизацию в лицемерии и духовной скудости. Снова читатель убеждается, что буржуазная демократия предоставляет весьма широкое поле действия реакционным силам, строящим свое благополучие на обмане и порабощении народных масс. В «Гидеоне Пленише» Льюис продолжил тему книги «У нас это невозможно»: он показал, оперируя уже не домыслами, а современным жизненным материалом, проявления фашистских тенденций в политической жизни его страны.

Перед читателем «Гидеона Пленица» проходит пестрая вереница политических авантюристов и демагогов. Среди персонажей романа мистер Сандерсон-Смит, поклонник сюрреализма и нацистский агент; полковник Мардук, кандидат в американские «фюреры», выдвигающий во время войны план расчленения Германии на мелкие государства; светская дама Уинфрид Хомуорд, которая претендует на пост губернатора Нью-Йорка и занимается прояпонской пропагандой перед самым началом войны империалистической Японии против США... Проницательность художника-реалиста, присущая Синклеру Льюису, позволила ему в романе, написанном в годы войны, разоблачить двойную игру тех империалистических деятелей, которые в то время афишировали показной «антифа-

шизм», оставаясь в душе рабовладельцами и мракобесами.

Синклер Льюис усиленно пытался найти в буржуазной среде некое здоровое начало, враждебное Пленишу. Время от времени в повествование вводится условная символическая фигура провинциала Джонсона. Он наделен стихийным здравым смыслом, он иногда довольно трезво критикует мошенников-политиканов. Но во имя чего? Это остается неясным.

Тут сказалось одно из коренных заблуждений Синклера Льюиса. Джонсон, по замыслу автора, должен был внушать симпатию именно в силу того, что он стоит вне политической жизни. Автор «Гидеона Плениша» декларировал таким образом свое недоверие не только к буржуазной политике, но и ко всякой политике. Понятно, насколько такая позиция связывала творческие силы Льюиса.

Вторая мировая война обострила в Синклере Льюисе нетерпимость к фашизму в его разнообразных проявлениях, а следовательно, и к расовому гнету. И вопрос о судьбе негров приобрел для него серьезное, принципиальное значение.

В заметке о романе «Королевская кровь» Льюис резко осудил «идиотский бред расовой теории» *. Он разъяснил, что избрал сюжет о человеке с негритянской кровью и белым цветом кожи именно для того, чтобы показать всю вздорность этой теории. Таким образом, этот роман явился сознательным выступлением художника против расизма и дискриминации негров.

Интересно сопоставить «Королевскую кровь» с «Гидеоном Пленишем»: и там и здесь в основе повествования лежит антифашистская идея, но реализуется она в обеих книгах совершенно различными художественными средствами. «Гидеон Плениш» написан по преимуществу в сатирически-памфлетной манере. В «Королевской крови» ярко сказалось большое психологическое мастерство Синклера Льюиса. Роман насыщен человеческими переживаниями большой напряженности, большой драматической силы. Если в «Гидеоне Плените» романист едко высмеивает лагерь угнетателей и их добровольных слуг, то в «Королевской крови» переданы страдания и гнев угнетенных.

Художник ведет повествование в подчеркнуто спокойном тоне. Он рассказывает о будничных фактах, вполне обычных в быту северных штатов. Негр-доктор философии зарабатывает на жизнь, сортируя пакеты на почте. Негритянка, окончившая колледж, прислуживает на званых обедах в богатых домах. Демобилизованный капитан-негр, отличившийся на фронте, моет машины в гараже... Но это еще не самое страшное. На глазах у читателя начинает стираться грань между обычаями Севера и Юга. В послевоенной Америке все выше поднимают голову реакционные демагоги; один из них, Джэт Снуд, весьма красочно описан в романе. В городе начинает действовать шовинистическая бандитская шайка, которая вводит в быт провинциального города Гранд Рипаблик самые грубые, «южные» формы преследования «цветных». И герой романа Нийл Кингсблад с болью думает: «Прошло уже восемьдесят пять лет с тех пор, как началась война между Севером и Югом. И вот теперь эту войну выиграл Юг».

Синклер Льюис внимательно раскрывает «изнутри» движение мыслей и чувств своего героя. И мы убеждаемся, насколько сам Нийл Кингсблад — до того, как он узнал, что является отдаленным потомком негра,— был заражен самыми нелепыми расистскими предрассудками. Эти предрассудки были привиты ему, как и многим его согражданам, чуть ли не с детских лет, впитаны чуть ли не с молоком матери.

Нийл занимает особое место среди героев романов Льюиса. В начале повествования он во многом близок к традиционному типу «среднего американца», привыкшего пользоваться готовыми понятиями и принимать буржуазную действительность как она есть, не раздумывая. Кругозор его, в сущности, очень узок: благополучие собственной семьи — вот главная цель его существования.

Но по своему моральному облику Нийл Кингсблад все же значительно возвышается над обычным обывательским уровнем. Нийл прямодушен, у него есть врожденная внутренняя порядочность. Когда он в силу случайности узнает, что в его жилах течет негритянская кровь, когда он начинает чувствовать себя существом неполноправным, отверженным,— в нем пробуждается жажда справедливости, чувство человеческого достоинства. Очень искусно передана в романе сложная динамика этого пробуждения: сначала чувство смятения и

* A Sinclair Lewis reader, стр. 38.

растерянности, потом первые неясные сомнения — правильно ли все устроено на свете? — и, наконец, коренная переоценка ценностей, стойкий, осознанный гнев. Нийл Кингсблад вступает в конфликт не только со своей средой, но и со всем господствующим строем жизни.

В романе много раз возникает воспоминание о второй мировой войне. Это обогащает повествование Льюиса; это во многом определяет и характеристику его главного героя. Жизненный опыт, приобретенный в годы войны, размышления, возникшие вследствие войны — вот один из источников нравственной силы Нийла Кингсблада. В годы войны Нийл впервые глубоко поверил в демократические идеалы; он был искренне убежден, что сражался именно за эти идеалы; они стали ему дороги именно потому, что он проливал за них кровь. И теперь, когда Нийл на собственном опыте постигает, какова изнанка этих идеалов, он чувствует себя глубоко уязвленным не только потому, что разрушено его личное благополучие. Он оскорблен в своем достоинстве американского гражданина, патриота, бывшего фронтовика. Его беспокоит не только судьба американских негров, но и судьба американской демократии. Именно поэтому столкновение между Нийлом и буржуазными кругами Гранд Рипаблик приобретает глубоко принципиальный характер.

В сознании самого Нийла проблема негритянского бесправия естественно связывается с другими коренными вопросами современной американской жизни. Впервые он начинает задумываться над тем, справданы ли те жертвы, которые понесли участники войны, в том числе и он сам. Не так давно еще он смело утверждал, что «третьей войны не будет». Теперь он со смутной тревогой смотрит, как его маленькая дочка рисует бомбардировщик... Художник наталкивает читателя на более решительные выводы, чем это, быть может, входило в его собственные намерения. Повествование далеко перерастает рамки негритянской проблемы.

Концовка романа необычна для Синклера Льюиса. Все его прежние произведения заканчивались разрешением или, по крайней мере, смягчением развертывавшихся в них конфликтов. На этот раз конфликт не разрешается — напротив, он обостряется до предела. Повествование обрывается на резкой протестующей ноте.

В трудные минуты Нийл Кингсблад находит поддержку у своих новых друзей — негров. Образы негров помогают Синклеру Льюису не только ярче раскрыть трагедию жертв дискриминации, но и доказать всю нелепость расовых предрассудков. Художник выдвигает на первый план повествования представителей негритянской интеллигенции — умных, просвещенных, мужественных людей. В романе «Королевская кровь», пожалуй, больше положительных персонажей, чем во всех прежних книгах Льюиса, взятых вместе. Но всем этим мыслящим, честным людям, как и самому Нийлу, все-таки очень неясно: что делать? Вне поля зрения Синклера Льюиса остались передовые люди сегодняшней Америки, ведущие активную борьбу за мир и демократию.

Последние годы жизни Синклер Льюис провел вдали от родины, в Италии. Повидимому, добровольная эмиграция Льюиса была вызвана тем, что ему хотелось сохранить некоторую долю независимости по отношению к власть имущим. Но занятая им в эти годы ложная идейная позиция нанесла непоправимый ущерб ему самому как художнику. Написанный перед отъездом из Америки роман «Богоискатель» — фальшивая, самая неудачная его книга. Последняя, вышедшая посмертно книга Льюиса «Мир так широк» — мещанский роман весьма заурядного качества. Таким образом, деятельность писателя завершилась резким творческим спадом.

Синклер Льюис прошел непрямой и непростой путь. Было на этом пути немало заблуждений и неудач. Но были и большие удачи, ставящие его в первые ряды американских писателей нашего века.

Те слабые страницы, которые Льюис написал, идя навстречу господствующим вкусам, поддаваясь господствующим взглядам, неминуемо забудутся; они и теперь уже частично забыты.

Зато лучшие, честные книги Льюиса, говорящие правду о буржуазной действительности и принесшие ему всемирную славу, сохранятся в памяти его народа и всего прогрессивного человечества. Именно этим книгам суждена долгая жизнь.

Любовь Руднева

Новые материалы о Вапцарове

Стихи Николы Вапцарова — лирический дневник народа. В них приметы жестокого времени — они создавались тогда, когда в Болгарии хозяйничали фашисты, и в них свидетельства непотухающей воли к сопротивлению. Вапцаров прожил недолгую славную жизнь. Он был казнен фашистами в 1942 году, когда ему было 33 года.

Каждое стихотворение Вапцарова — обращение поэта к собеседнику, человеку одной с ним судьбы, или страстный спор с врагом. В них слышны интонации живой речи народа, ритмы его песен. Лирический герой Вапцарова обнаруживает ту полноту понимания и чувства жизни, которая свойственна людям революционной воли:

> И это Новое теперь мне помогает
> покончить с тьмою
> прошлых заблуждений
> и злобу мне в груди
> переплавляет
> в священный гнев
> сегодняшних
> сражений.

Поэзия Вапцарова — одно из самых ярких свидетельств нового этапа развития болгарской литературы, так как она утверждает черты литературы социалистического реализма. В стихах Вапцарова современный читатель, к какому бы он поколению ни принадлежал, видит человека, который, вступив в бой с фашизмом, мыслил, действовал, чувствовал как человек новой формации — человек социализма. Именно поэтому так полно выражены в стихах поэта своеобразие его личности, обаяние его натуры — цельной, сложной и богатой.

При жизни поэта только один раз, в 1940 году, вышел в свет сборник его стихов «Песни мотора». С каким трудом была издана эта маленькая книга, какая изобретательность потребовалась, чтобы стихи благополучно прошли через цензуру! В тот год поэт подвергся первому аресту; его обвинили в агитации за заключение пакта о ненападении с Советским Союзом. Сборник разошелся немедленно, но его обошли молчанием в печати.

А рабочие читали стихи Вапцарова, заучивали их наизусть; эти стихи сопровождали их в тюрьмах, в концентрационных лагерях, с ними шли в партизанские отряды. Деятели Сопротивления заговорили о себе стихами Вапцарова — так началась жизнь народного поэта.

К десятилетию освобождения Болгарии, в 1954 году, вышло уже шестое издание избранных его стихов и, как все предыдущие, немедленно разошлось среди читателей. Наиболее ранние стихи, вошедшие в сборник, датированы 1933 годом, последние — июлем 1942 года. Первые написаны кочегаром, техником, бывшим моряком. Последние — профессиональным революционером. Сборники, вышедшие в новой Болгарии, содержат стихотворения, не известные читателям при жизни поэта, его предсмертные стихи.

Он знал, что вечером уже не будет на свете Николы Вапцарова, останутся только стихи и воспоминания любящих. В этот день, 23 июля 1942 года, он дописывает свое поэтическое обращение к народу, стихи о вере, которую нельзя убить. В эти же часы он написал «Прощальное» — обращенные к любимой стихи о верности. Тысячи людей теперь говорят о своей любви этими стихами, написанными на рубеже жизни и смерти.

В 1954 году одновременно с переизданием избранных стихотворений поэта в Софии был опубликован сборник выступлений

Вапцаров Н. И., Избрани стихотворения, 6-то изд., София, Български писател, 1954.

Никола Вапцаров — Лауреат на почетната награда на мир, София, 1954.

представителей болгарской общественности и посланцев Всемирного Совета Мира на торжественном заседании, посвященном Вапцарову. На этом заседании матери поэта, Елене Вапцаровой, был вручен диплом Лауреата почетной премии мира, которая была присуждена Вапцарову посмертно.

Решение Всемирного Совета Мира, подписанное Фредериком Жолио-Кюри и Пьетро Ненни, гласило: «Ввиду исключительных заслуг поэта и болгарского национального героя Николы Вапцарова в деле защиты мира и дружбы между народами Всемирный Совет Мира присудил ему за 1952 год Почетную премию мира».

Сборник содержит выступления Жермены Ив Фарж, китайского поэта Эми Сяо, кубинского поэта Николаса Гильена, немецкого писателя Людвига Ренна, посланцев Италии, Чехословакии, Албании, Англии, Польши, Советского Союза, а также соотечественников Вапцарова — академиков Георги Наджакова и Людмила Стоянова. Волнующие и памятные слова произнесла мать поэта Елена Вапцарова.

В Болгарии ведется большая работа по изучению жизни и творчества Вапцарова, бережно собираются материалы, связанные с его именем. В сборнике Болгарской Академии наук «Никола Йонков Вапцаров. Воспоминания. Письма. Документы», выпущенном в 1953 году, были опубликованы воспоминания восьмидесяти человек, близко знавших поэта: его родных, соучеников, деятелей революционного подполья, литераторов. Сборник содержит богатейший фактический материал, характеризующий жизнь Вапцарова от раннего детства до последних дней его героической жизни. Обширный материал содержит и книга жены поэта, Бойки Вапцаровой, выпущенная с предисловием известного болгарского поэта друга Вапцарова Христо Радевского — «Воспоминания о Вапцарове».

Очень интересны свидетельства тех лиц, которые знали Вапцарова в начальный период его формирования — в дни народного вооруженного восстания против фашистского правительства в 1923 году.

Этот период до сих пор сравнительно мало освещен в литературе о Вапцарове, особенно в воспоминаниях о нем, а как раз он помогает глубже уяснить истоки его творчества, понять судьбу поколения, для которого народное восстание 1923 года стало решающим рубежом.

Семью Вапцаровых близко знали живущие в Советском Союзе Б. Майлер и его дочь Р. Майлер, дружившая с Николой Вапцаровым в детские и отроческие годы. В книге Бойки Вапцаровой этой дружбе посвящены теплые строки; о ней есть упоминания в сборнике, выпущенном Болгарской Академией наук — свидетельства матери поэта и его сестры.

Воспоминания Б. Майлера и Р. Майлер (хранящиеся у автора этих строк) подтверждают неоспоримо правильное утверждение исследователей творчества Вапцарова, что революционное движение уже в ранний период жизни поэта оказало решающее влияние на его развитие. Уже в детские годы Вапцаров близко сошелся с семьями учителей-коммунистов: Голева, Тошева, дружил с учителем Ковачевым. Он жадно слушал рассказы о Советском Союзе, об Октябрьской революции, о Владимире Ильиче Ленине.

В Николе Вапцарове рано обозначились черты свободолюбивой волевой натуры Поэтому он пользовался доверием в среде коммунистов. Б. Майлер рассказывает, что в конце 1919 года десятилетний Никола получил серьезное задание от местного забастовочного комитета во время всеобщей стачки железнодорожников и телеграфно-почтовых работников. Вместе с одним из забастовщиков он ночью отправился туда, где проходила телеграфная линия, и, забравшись на высокое дерево, замкнул телеграфные провода, ловко замаскировав сделанное. Об этом он никогда никому не рассказывал, сдержав обещание сохранить в тайне свое участие во «взрослых» делах.

Когда забастовка была сорвана и некоторые ее участники вынуждены были скрываться, Вапцаров выполнял поручения связного. Накануне Первого мая 1923 года для гимназистов был в горах устроен праздник весны. Их хотели отвлечь от демонстрации. Никола вместе со всеми отправился в горы, но ночью со своим учителем, коммунистом Николой Голевым, ушел обратно в Банско и принял участие в демонстрации, прикрепив к своей груди темно-красную ленточку, ленточку того цвета, который носили коммунисты...

Р. Майлер, учившаяся несколько лет в Москве, приехала в Банско в 1922 году; она была полна впечатлениями, которые вызывали особый интерес у Николы. Он настойчиво просил рассказать ему обо всем, что она видела и узнала. Она рассказывала о жизни советских детей, о школе, о столице советской страны. Она рассказала Вапцарову и об огромных плакатах с яркими карикатурами и острыми стихотворными надписями, которые она увидела в Москве, — об Окнах сатиры РОСТА. Тогда они еще не знали, что эти плакаты создавал Владимир Маяковский. Своим друзьям Никола вдохновенно читал любимые стихи Христо Ботева, особенно часто «Молитву» и «Борьбу», рассказывал народные сказки и легенды, сочиненные им о могучем Пирине — о горе, у подножия которой находится Банско, славной легендарными подвигами борцов за освобождение. У Николы Вапцарова была заветная тетрадь, в нее рядом со стихами любимого поэта Христо Ботева Вапцаров записывал советские песни, старые революционные русские песни, которые он узнавал от Майлеров. У них в доме часто читали вслух произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, пели романсы на слова великих поэтов. Любимой песней Вапцарова стал «Узник» Пуш-

кина. В отроческие годы он с помощью своей подруги читал в русских изданиях «Войну и мир» Толстого, произведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Горького. Никола Вапцаров выучил наизусть главы из «Евгения Онегина» и, хотя делал неверные ударения, очень дорожил тем, что мог по-русски произнести строфы Пушкина и особенно полюбившееся ему «Бородино» Лермонтова.

Вместе с младшим братом, сестрой и Р. Майлер Никола часто бродил по Пирину; он гордился преданиями и красотой своей родины и любил мечтать о будущем, говоря, что отдаст свою жизнь, чтобы это будущее было светлым. В эти годы он был не по-детски трудолюбив, помогал матери, работая в поле, дружил с беднякими-крестьянами, с ремесленниками, чабанами.

Тяжелое потрясение пережил Никола Вапцаров во время разгрома народного восстания 1923 года. Счастье, которое он испытал в течение нескольких дней, когда в Банско происходили митинги и власть перешла в руки восставших, сменилось недетским горем: один из его близких друзей, молодой учитель, был убит, другой подвергся жестоким истязаниям, брошен в лагерь. О дальнейшей судьбе его Вапцаров так никогда и не узнал. Именно в эти дни будущий поэт, по его собственным словам, учился у коммунистов «кого нужно любить, кого ненавидеть...»

Жизнь поэта до последних дней его героической борьбы дорога множеству людей, которые читают его стихи теперь не только на болгарском, но и в переводах — на русском, украинском, китайском, английском, итальянском, французском, польском, немецком, албанском и других языках. Поэтому так важно и нужно продолжать начатую на родине поэта работу по собиранию материалов, характеризующих его жизнь и творчество. Все новые и новые сведения о нем становятся известны исследователям.

Большую ценность представляет неизвестная до сих пор читателям, сбереженная его родными рукопись пьесы, завершенной им, как предполагают, в 1935 году. Вапцаров горячо любил театр, понимал огромную силу его воздействия и хотел активно участвовать в создании новой революционной драматургии. В этот период он работал на фабрике «Болгарская лесная индустрия», в Западной Болгарии, в селе Кочериново. Несмотря на тяжелые условия труда, он организовал театральный рабочий коллектив, был его руководителем, режиссером. Практический опыт самодеятельного театра помог Вапцарову-драматургу.

Известны два варианта названия пьесы: «Девятый вал» и «Волна шумит». Юный скульптор Андрей Попов, герой пьесы, создал статую могучего человека, терпеливо несущего бремя. Но сам Андрей Попов был нетерпелив: выражая свои бунтарские стремления, он совершил террористический акт. Этот анархический поступок не мог принести ему удовлетворения. Родные отреклись от него. Он вынужден был эмигрировать.

Действие пьесы начинается с момента возвращения Андрея Попова после долгих лет нужды и скитаний в дом отца — директора фабрики. Родные ждут от него покаяния. Но по ходу действия пьесы каждый из членов семьи невольно вынужден сам держать ответ перед этим немногословным мужественным человеком, его моральное превосходство ощущают даже люди враждебного лагеря. В первом же акте пьесы, когда на сцене еще не появился ее главный герой, читатель уже чувствует, что он увидит человека сложной судьбы, даровитого, способного увлечь за собой других.

Действие пьесы развивается естественно и органично. Нетерпеливо ожидает появления Андрея сестра; напряженно, со страхом ждет объяснений с сыном мать, женщина холодная и расчетливая, но объяснения не происходит. Оно и невозможно. У Андрея нет необходимости объясняться с чужим ему человеком, он не исповедуется перед матерью.

Он слушает наивный лепет сестры Лилии, не знающей жизни. Она твердит о гармонии и красоте. Короткий диалог между братом и сестрой помогает читателю узнать: Андрей не вернулся примиренным с жизнью. Наоборот, он осознал, что некогда заблуждался, и, пройдя тяжелую школу жизни, убедился в том, что за истину нужно вести долгую, упорную, сложную борьбу... Перед нами предстает не порывистый юноша, горячий и ошибающийся, слепо бросающийся от одной крайности к другой, а человек зрелых и последовательных убеждений, свободолюбивый и готовый на «чернорабочий подвиг».

В эмиграции Андрей приобрел вторую профессию — инженера-механика. Узнав об этом, родные спешат обеспечить ему блестящую карьеру главного инженера фабрики. На производстве происходят аварии, гибнут люди. Андрей Попов обнаруживает причину катастроф: на фабрике в спекулятивных целях установлено недоброкачественное оборудование. Все попытки встревоженных родичей перетянуть его в лагерь власть имущих терпят поражение. Андрей связан с рабочим коллективом фабрики, с людьми, подозреваемыми в коммунистической деятельности. Он настаивает на судебном разбирательстве и использует судебную трибуну, чтобы предать гласности вопиющие факты эксплуатации и разжечь протест рабочих.

В пьесе нет массовых сцен, в ней отсутствует и сцена в суде. Читатель узнает о том, что произошло, по смятению людей, разоблаченных Андреем. Рабочие объявляют стачку, Андрей уходит из дому. Он не оставил и своих творческих исканий. Художник не умер в революционере, а, на-

оборот, обрел новые силы. Андрей мечтает создать образ человека, освобождающего себя от бремени. Не идея терпения и покорности, а героическое деяние вдохновляют его.

Эта пьеса — творческий документ, характеризующий путь большого писателя, одного из создателей литературы социалистического реализма в Болгарии. Она посвящена сложным историческим процессам, происходившим в Болгарии, и затрагивает проблемы, волновавшие самых передовых людей его родины.

Знакомство с новыми материалами о Вапцарове помогает еще более полно представить себе дарование замечательного болгарского писателя, страстного и последовательного борца против фашизма.

Г. Рабинович

Однотомник произведений Софьи Налковской

Однотомник избранных произведений выдающейся польской писательницы Софьи Налковской вышел в свет незадолго до смерти его автора. Софья Налковская умерла 17 декабря 1954 года, посвятив литературному труду более пятидесяти лет, пройдя через нелегкие идейные и творческие искания, которые, в конечном счете, привели ее в ряды строителей социализма. Подбор произведений в однотомнике правильно воспроизводит главные этапы этой поучительной творческой жизни.

Путь идейного и художественного развития, пройденный Софьей Налковской, не только чрезвычайно интересен, но и глубоко типичен. Многие польские писатели старшего поколения, принадлежащие, подобно Налковской, к передовой части демократической интеллигенции (такие, как М. Домбровская, Е. Богушевская, Е. Корнацкий), пришли к народу, к участию в строительстве социализма тем же путем, что и Налковская. Поэтому знакомство с произведениями, вошедшими в однотомник, раскрывает перед читателем некоторые характерные черты польской литературы последнего полустолетия.

Софья Налковская начала писать в первые годы нашего века, принеся с собой прогрессивные и гуманистические взгляды, в формировании которых важную роль сыграл ее отец Вацлав Налковский, видный ученый и педагог. Благоговейную память о нем писательница сохранила до последних дней жизни. В набросках книги об отце, вошедших в однотомник, Налковская следующими словами характеризует атмосферу, царившую в доме ее родителей: «Было известно, что дела детей всегда достойны внимания и что спрашивать разрешается обо всем. Женщины должны были обладать теми же правами, что мужчины, крестьянам нужно было говорить «пан», а люди всех наций и вероисповеданий были равны между собой... Собственность была вещью постыдной, деньги, богатство — чем-то подозрительным и попросту неуместным».

Укреплению демократических настроений, вынесенных Налковской из родительского дома, способствовал общественный подъем кануна революции 1905 года; именно в предреволюционные годы создает писательница свои первые произведения. И хотя в этих произведениях (в частности, в романе «Женщины», первая часть которого — «Ледовые поля» — создана в 1904 году) сказалось влияние декадентского искусства, — уже здесь дает себя знать известное тяготение к реализму. Во второй части «Женщин» — романе «Князь» (1907 г.) нарисованы революционные события и сочувственно изображен революционер, которому, правда, приданы черты романтического одиночества и которого в освободительном движении привлекает не столько политическая цель, сколько наслаждение красотой борьбы.

Творчество Налковской последующего десятилетия представлено в однотомнике небольшими отрывками из книги новелл «Кошечка, или белые тюльпаны» (1909 г.), романа «Нарциза» (1911 г.) и сборника рассказов «Мои звери» (1915 г.). Отрывки эти, несмотря на их скромные размеры, убедительно показывают, как крепла реалистическая и гуманистическая сила творчества Софьи Налковской, как росло общественное звучание ее произведений. В новелле «Обрученные» с великолепной иронией раскрыто убожество внутреннего мира мещанки. Жизнь героини «Обрученных» Налковская называет «глупой, кошачьей жизнью», резко осуждая обывательское прозябание, лишенное подлинно человеческих интересов.

Уже в названных произведениях выступает характернейшая особенность творчества Налковской — ее пристальный интерес к едва уловимым, тончайшим оттенкам душевных переживаний человека. Вначале интерес этот оказывается в значительной мере самоцелью, и поэтому ранние произведения Налковской носят суженный, подчеркнуто интимный характер. Но

Zofia Nałkowska. Pisma wybrane, Warszawa, Czytelnik, 1954.

и в тех узких рамках, которыми ограничивает себя писательница, отчетливо дает о себе знать ее крепнущее мастерство: образный и лаконичный язык, искусство меткого портрета, проникновенные пейзажи.

Первая мировая война и связанные с нею общественные потрясения заставили писательницу пересмотреть свои взгляды на искусство и на отношение искусства к жизни. «В своих книжках я писала о любви... об искусстве, о красоте философского размышления... Это изменилось, когда вспыхнула война. Мир пошатнулся в своих устоях. Я увидела тогда, что такое человек, люди. И встретилась с тем, что прежде было мне мало знакомо,— с чужим страданием», — так охарактеризовала сама Налковская сущность происшедшего в ней перелома.

В произведениях Налковской, относящихся к этим переломным годам, в центре внимания оказываются простые, «маленькие» люди, неизменно изображаемые с глубоким сочувствием и уважением. Помещенные в однотомнике два отрывка из романа «Тайны крови» (1917 г.) рисуют бедствия и горести, которые обрушила на этих людей война. Интересен второй из этих отрывков — «Перчатки»; здесь описана трагедия крестьянских семей, у которых война отбирает кормильцев — отцов, сыновей, мужей, идущих воевать за далекие и чуждые им интересы.

Наиболее полно представлено в однотомнике творчество Налковской двадцатых и тридцатых годов. Уже в начале этого периода писательница создает одно из лучших своих произведений — «Роман Тересы Геннерт» (1923 г.), которое полностью включено в однотомник.

Действие романа развертывается в первые послевоенные годы, когда все более резко обозначались коренные классовые противоречия буржуазной Польши, когда начинал уже готовиться к захвату власти польский фашизм — санация. В романе нарисованы преимущественно круги, впоследствии поддерживавшие фашизм, — промышленники и финансисты, мечтающие о правительстве «крепкой руки» для «обуздания» народных масс, разорившиеся аристократы, ищущие прибыльных должностей, безработные офицеры, которым санация сулит военные авантюры и быструю карьеру.

Реалистически точная и беспощадная характеристика, данная здесь правящим классам тогдашней Польши, правдивые картины польской жизни начала двадцатых годов — все это говорит о дальнейшем движении писательницы к реализму, о нарастании социальных мотивов в ее творчестве. Правда, в этом романе, резко и безоговорочно осуждающем антинародные силы, отсутствуют представители трудового народа. И тем не менее последовательно реалистическое изображение имущих классов, резкое обличение реакционного лагеря, осуществляемое с демократических позиций, ставят эту книгу в один ряд с лучшими произведениями польской литературы нынешнего века.

Из произведений Налковской второй половины двадцатых годов необходимо отметить роман «Галки» (1927 г.). В однотомнике помещены отрывки из него. В этом романе писательница возвышает голос протеста против национального угнетения. Подчеркнуто спокойны первые главы, повествующие о буднях высокогорного туберкулезного санатория в Швейцарии, подчеркнуто узки интересы его обитателей, занятых своими болезнями да пересудами о вновь приезжающих в санаторий больных. И кричащим контрастом на этом нарочито безмятежном фоне звучит рассказ армянки Говсепян об ужасах армянской резни, обдуманно и хладнокровно организованной турецкими властями, или споры героев о событиях в Африке, где ведут колониальные войны Испания и Франция. С большой силой убежденности восстает Налковская против проповеди расовой исключительности, превосходства одного народа над другим: «Пробыв несколько месяцев среди людей, говорящих на разных языках, я всегда чувствовала, что между ними было больше сходства, чем различия. И что сходство между ними гораздо важнее, действительно, это — самое важное».

Важным этапом творческого пути Налковской явился роман «Граница» (1935 г.), полностью помещенный в однотомнике. Роман создавался в период подъема общественного движения в Польше, в период консолидации антифашистских сил. Движение это оказало заметное влияние на прогрессивную интеллигенцию (Налковская, как и некоторые другие крупные писатели, приняла участие в антифашистском Львовском съезде деятелей культуры в мае 1936 года). Проблематика «Границы» находится в несомненной связи с этим движением.

Роман «Граница» свидетельствовал о несомненном укреплении реализма и народности в творчестве Налковской. Большое место в этом романе занимает описание жизни обездоленных, вечно голодных, живущих в сырых и вонючих подвалах бедняков. Особенно запоминается судьба семьи Голомбских, все члены которой один за другим умирают от голода, лишений и вызванных ими болезней. Страницы романа, посвященные неимущим, звучат суровым обвинением строю, обрекающему людей на безмерные горести и страдания.

Глубоко закономерный, подготовленный всем предшествующим творчеством Налковской процесс ее перехода на последовательно демократические позиции завершается в послевоенные годы — уже в условиях Народной Польши. В эти годы Налковская свой труд писателя совмещает с большой общественной деятельностью. Она — депутат сейма, член Главной комиссии по расследованию преступлений гитлеровских оккупантов (где она собрала ряд фактов, использованных ею позднее в «Медальонах»), член Польского комитета сто-

ронников мира, член правления Союза польских писателей. Значительное расширение общественных интересов писательницы оказывает прямое воздействие и на ее творчество.

Вскоре после войны Налковская создает сборник новелл «Медальоны» (1946 г.), роман «Узлы жизни» (1948 г.), социально-психологические этюды «Характеры» и ряд очерков, а также работает над уже упоминавшейся книгой о своем отце. В однотомнике первое из этих произведений приведено полностью, остальные — в отрывках.

Среди произведений современной литературы, клеймящих злодеяния гитлеровцев, пожалуй, лишь немногие могут сравниться с «Медальонами» по огромной обличительной силе и по жизненной правде. Эти крохотные, умещающиеся на двух-трех страницах рассказы-репортажи отмечены не только потрясающей силой трагизма, но и той высшей простотой, имя которой — совершенство. Каждая из новелл, входящих в сборник, содержит одни лишь факты. Прямой авторский комментарий совершенно отсутствует. Но в новеллах нет и тени объективизма; отношение писательницы к тому, о чем она повествует, выявлено и в отборе фактов и в той гневно-скорбной интонации, которая звучит в каждой строке, в каждом слове.

Вот новелла «Профессор Шпаннер». Фашистский «ученый»-анатом Шпаннер в дополнение к «научной» деятельности занимается выделкой мыла из человеческих трупов. Вот новелла «У железной дороги». Люди, которых гитлеровцы, как скот, по сто человек в товарном вагоне везут на каторгу или на уничтожение в Германию, везут по нескольку суток без пищи и воды, — люди эти выламывают дно вагона и выбрасываются на полном ходу на железнодорожное полотно — это их единственный шанс на спасение. А гитлеровские солдаты-конвоиры хладнокровно расстреливают смельчаков с площадок и крыш вагонов. Вот новелла «Взрослые и дети в Освенциме». Поставленная на строго «научную» ногу, тщательно продуманная система уничтожения людей в лагерях смерти применялась и к пяти-шестилетним детям; в первую очередь уничтожались слабые и малорослые. Для «отбора» на высоте ста двадцати сантиметров от земли устанавливалась железная перекладина — те из детей, которые проходили под ней, не задев ее, отправлялись в газовую камеру. Зная это, дети старались идти на цыпочках, вытягивались изо всех сил, чтобы достать головой перекладину и уцелеть.

Одни только факты. Но в «Медальонах» они подняты до высоты большого социального обобщения — за чудовищными злодеяниями гитлеровцев ясно ощущаются отчаяние и злоба обреченного на гибель мира, стремящегося любой ценой продлить свое существование.

Значительно изменяется здесь художественная манера Налковской. В «Медальонах» нет того стремления к изощренному психологическому анализу, какое было свойственно довоенному творчеству писательницы. Предельно сдержанным становится стиль — короткие фразы, строжайшая экономия выразительных средств. Повествование внешне совершенно бесстрастно, но за этим кажущимся бесстрастием клокочет огромной силы негодование, боль за достоинство человека, втоптанное в грязь гитлеровцами. Слова эпиграфа — «Люди людям предназначили эту судьбу» — прекрасно передают и негодование автора, и его боль.

«Медальоны» — не только одна из вершин творчества Налковской, это и одно из лучших произведений польской послевоенной литературы.

Во многих произведениях послевоенных лет, в частности в «Узлах жизни» (1948 г.), Налковская страстно протестует против войны. Продолжая и развивая линию, начатую еще в «Романе Терезы Геннерт», она рисует здесь вырождение санационного режима и его представителей, показывает прямую ответственность санации за сентябрьскую катастрофу 1939 года, результатом которой явилась оккупация Польши гитлеровскими войсками и гибель нескольких миллионов поляков.

С радостью и гордостью говорит писательница о лагере мира и демократии, несущем человечеству радость свободного созидательного труда, в котором и она активно участвует своим творчеством: «Теперь мы ясно видим тревогу изживших себя общественных систем перед поднимающимся над ними творческим, радостным и справедливым миром труда, которому войны не нужны».

В Народной Польше творчество Налковской пользуется широкой и вполне заслуженной популярностью. Достаточно привести один факт. В нынешнем году журналом «Нова культура» была проведена среди читателей анкета, посвященная польской послевоенной литературе, — «Десять лучших книг десятилетия». «Медальоны» Налковской заняли второе место, уступив только книге Игоря Неверли «Дневник, написанный на фабрике «Целлюлоза». Налковская стала одним из любимейших писателей польского народа.

Очень хорошо написана Вильгельмом Махом вступительная статья к книге — она дает, несмотря на краткость, отчетливое представление о творческой эволюции писательницы. Издание однотомника избранных произведений Налковской — дань высокого уважения к творчеству замечательного художника слова.

Василий Смуров

Современная хроника

Советскому читателю знакомо имя Эммануэля д'Астье де ла Вижери, французского политического деятеля, вице-председателя Всемирного Совета Мира. Но мало кто знает д'Астье — писателя, талантливого мемуариста, автора одного из наиболее значительных романов о Франции послевоенного десятилетия. Правда, и у себя на родине д'Астье, которому в этом году минуло 55 лет, лишь совсем недавно получил широкую литературную известность.

В 1947 году вышли его мемуары о днях капитуляции Франции в 1940 году и о движении Сопротивления — «Семь раз по семь дней».

В молодости Эммануэль д'Астье был морским офицером. Во время последней войны он вернулся во флот, после капитуляции организовал на юге Франции подпольную группу «Освобождение». В 1952 году появились ценнейшие воспоминания д'Астье о Национальном комитете и временном правительстве (д'Астье был комиссаром, а затем министром внутренних дел с ноября 1943 по сентябрь 1944 года) — «Боги и люди». Уже в этих мемуарах проявился незаурядный и вполне зрелый художественный талант. В них прекрасно передана атмосфера Франции тех грозных лет. Великолепны портреты де Голля и Черчилля.

Роман-хроника «Лету нет конца», появившийся осенью 1954 года, как бы продолжая мемуары, дает картину французского общества после войны. С редким единодушием французская критика высоко оценивает этот роман, сравнивая его с произведениями классической мемуарной литературы. «Своеобразная, необыкновенная, высоко интересная книга», — пишет Арагон *, находящий в ней черты сходства с «Характерами» Ла Брюйера и с знаменитыми «Мемуарами» герцога Сен Симона. Критик «Леттр франсэз» Андрэ Вюрмсер пишет, что д'Астье «превосходно владеет чисто французским искусством портретного рисунка, искусством Клуэ и Ла Брюйера, Энгра и Сен Симона».

Д'Астье прибегает в этом романе к оригинальному приему: в повествование он вплетает собственный дневник. Роман состоит из сорока двух коротких глав, каждая из которых имеет точную дату. Из них — пятнадцать глав авторского дневника. События, описываемые в романе, развиваются в летние месяцы 1947, 1949, 1951 и 1954 годов. Каждая из четырех частей соответствует определенному моменту в политическом развитии послевоенной Франции.

Движение времени так или иначе отражается на судьбе всех героев романа, причем почти все они появляются как в «дневнике», так и в других главах романа. С некоторыми из них мы уже были знакомы по мемуарам. Связующим звеном между «дневником» и собственно романом служит родовая усадьба д'Астье — «Синь», в одном из западных земледельческих департаментов Франции. Здесь скрещиваются судьбы главных действующих лиц.

Рассказ ведется тоном несколько снисходительного, несколько иронического летописца, с усмешкой, порой с грустью, наблюдающего современную «человеческую комедию». Автор вводит нас за ее кулисы, которые он знает великолепно. Семейная хроника приходящего в упадок аристократического рода (предки д'Астье де ля Вижери по мужской и по женской линиям занимали видные государственные посты во времена монархии и первой империи) переплетается в романе с яркими и живыми сценами парижской и провинциальной жизни, с описанием стачек и демонстраций, с портретами политических деятелей и промышленных магнатов, рассказом о политических и полицейских интригах, с размышлениями о переменах, происходящих во Франции и во всем мире. О своем участии в политической борьбе автор упоминает лишь мимоходом, он говорит об этом лишь в нескольких случаях, чтобы дать, например, портрет президента республики, которого он наблюдал во время очередного министерского кризиса, описать обстановку, в которой местные коммунисты ведут избирательную пропаганду в департаменте Орн, охарактеризовать отношения своих аристократических и буржуазных родственников и знакомых к странной и непонятной для них дружбе д'Астье с коммунистами, рассказать о своих впечатлениях от поездок в страны народной демократии. В «дневнике», как и в собственно романе, автор фигурирует в качестве свидетеля истории, а не ее участника, не скрывая, однако, своих симпатий и антипатий. Вместе с тем в дневнике продолжается то глубокое раздумье д'Астье над жизнью, над человеческими судьбами, над историей, которое началось в трагическое лето 1940 года и составляло основу всей первой книги мемуаров «Семь раз по семь дней».

Основную фабулу романа составляет рассказ о приключениях Жаклена д'Эстьен, сына адмирала Жофруа д'Эстьен — двоюродного брата автора.

Адмирал — аристократ до мозга костей, холодно вежливый с людьми своего круга покровительственно иронический с «низшими». После капитуляции Франции он последовал за де Голлем и продолжает поддерживать с ним отношения. Он — сторонник антикоммунистического «крестового похода». Тем не менее он радушно принимает у себя в усадьбе «Синь» своего «заблудшего» кузена и подчеркнуто любезен

Emmanuel d'Astier, L'été n'en finit pas. Roman chez René Julliard, Paris, 1954.

* «Lettres Françaises», 1954, 539.

с его женой на зло г-же д'Эстьен, не признающей брака д'Астье с «разводкой» (к тому же русской!) и делающей вид, что не замечает ее присутствия в доме.

Жаклену было 17 лет, когда началась вторая мировая война. После капитуляции он пробирается в Англию, сражается в рядах военно-воздушных сил генерала де Голля. Его самолет сбит немецкой зениткой, он попадает в плен, бежит из лагеря, снова попадает в руки немцев. Благодаря своей отчаянной смелости и личному обаянию он становится кумиром своих товарищей по плену. «В 1944 году он вообразил, что наступил момент, когда его превосходство будет признано всеми. Он сблизился с коммунистами, так как его привлекало все, в чем он видел силу. Но он отошел от них, когда убедился, что его внешние качества и житейская ловкость недостаточны, чтобы быстро завоевать себе положение в их среде». Тогда Жаклен решает попытать счастья в противоположном лагере. Он увлекается нелепым проектом захвата спорной территории на франко-итальянской границе, сходится с секретными агентами, принимает участие в заговорах и международных авантюрах американской разведки, сближается с Деплеком — темной личностью, связанной с тайной полицией. В 1951 году он по заданию французской разведки на три месяца отправляется в Южную Корею. Из этой поездки Жаклен, в котором, несмотря на всю его беспринципность, сохранилось чувство порядочности, возвращается подавленный и возмущенный.

В конце концов Жаклен бросает свои авантюры и женится, к ужасу своей аристократической родни, на дочери соседнего фермера Анетт, красивой девушке с трезвым практическим умом и независимым характером. Жаклен успокаивается, но время от времени его снова тянет к старым знакомым — коммунистам. Он завидует чувству товарищества, объединяющему в их среде самых различных людей. Он силится понять, что их объединяет и каким образом его сверстник Превалуар, принимающий его у себя «с презрительным дружелюбием», может быть так уверенно спокоен и счастлив со своей семьей, несмотря на свой жалкий заработок мелкого служащего.

Параллельно с историей Жаклена развивается история Деплена, человека с загадочным прошлым, осторожно и неуклонно пробирающегося к власти. Деплену покровительствуют хлопчатобумажный король Поссеко и Мартинэ-Дюран, видный деятель радикальной партии.

При финансовой поддержке Поссеко Деплен проходит на выборах 1951 года в Национальное Собрание и сразу же получает министерский пост. Но неделей позже его жена, приехав в Париж, застает его с красавицей Жаклиной, «мадонной заговоров», и он погибает от пули, предназначавшейся его любовнице. И только тогда выясняется, что восходящая звезда радикальной партии Деплен — совсем не Деплен, а Мэрэ, что он был выбран в парламент по фальшивым документам, что во время оккупации он был агентом гестапо и заочно приговорен к двадцати годам каторжных работ. Эта кажущаяся фантастической история не так уж фантастична для политической жизни Франции: в августе 1951 года был убит женой министр Пьер Шевалье, беззастенчивый карьерист, только что перед тем получивший пост в кабинете Плевена. А в феврале 1952 года разбился насмерть, налетев в автомобиле на дерево, депутат радикальной партии Дюкрэ, заведовавший отделом пропаганды. Когда понадобились документы для составления акта о смерти, выяснилось, что его настоящая фамилия Такнэ и что судебные и военные власти разыскивали его с 1944 года как предателя и дезертира. Подобно Деплену в романе, Дюкрэ-Такнэ пользовался покровительством политической полиции.

Помимо этих двух сюжетных линий, через весь роман проходят судьбы друзей автора по партизанскому подполью — префекта Декарта, назначенного на этот пост сразу после освобождения Франции, но ушедшего в отставку в 1947 году, городского инженера Клода Альбера и его жены скульптора, народного учителя коммуниста Превалуара. Веселый, талантливый неудачник Декарт симпатизирует коммунистам, но не может ужиться в их среде. Пожилая приветливая чета Альберов живет тихой провинциальной жизнью. Однако они вступают в коммунистическую партию, когда начинаются репрессии против коммунистов (1947—1948 годы) и готовится «новое Сопротивление». Вообще характерной чертой романа является то, что всем его персонажам так или иначе приходится определять свое отношение к коммунизму.

Мастерски очерчены эпизодические персонажи: фермер Абей, кулак и скряга, служанка Анжель, по ночам читающая «Анну Каренину» и увлекающаяся Вронским, журналист Клод Аршаль, «ненавидящий капитализм и не приемлющий коммунизм», взбалмошный и гостеприимный издатель Луазо, «двадцать лет игравший в капиталиста и флиртовавший с коммунистами», полицейский комиссар Ладив, крупный землевладелец де ла Мародьер и другие — целая портретная галерея типов современной Франции.

В иных персонажах мы без труда узнаем некоторых политических деятелей — министров, депутатов, журналистов. Но наряду с этими подлинными персонажами в романе живут и действуют другие, безусловно вымышленные, но так ярко и убедительно обрисованные, что мы не сомневаемся в их существовании, тем более что искусное вплетение «дневника» в роман создает полную иллюзию реальности. Возможно и даже вероятно, что и адмирала д'Эстьена, и его шурина генерала де Морекура, и их сыновей и дочерей не существует в природе, хотя автор заносит в «днев-

ник» свои встречи с ними. Но мы верим, что если не они, то подобные им живут в своих усадьбах, бывают у генерала де Голля, смотрят из окна фешенебельного клуба на расправу с демонстрантами, среди которых с удивлением узнают сыновей своих близких знакомых. Автор достигает этого эффекта благодаря умению несколькими легкими и тонкими штрихами дать меткую, исчерпывающую характеристику. Недаром Андрэ Вюрмсер сравнил д'Астье с художником-портретистом XVI века Клуэ, тончайшим мастером карандашного рисунка. Д'Астье, как правильно говорит тот же Вюрмсер, избегает карикатуры. Его разоблачительные характеристики остры, подчас убийственны, но они проникнуты вместе с тем грустной мыслью о погибших в этих людях высоких человеческих качествах (за исключением, впрочем, тех глав, где речь идет об отъявленных мерзавцах вроде Деплена).

Есть ли в романе «положительный герой»? Автор, по всей вероятности, сознательно не вывел ни одной яркой фигуры прогрессивного политического деятеля, лишь мельком упомянув о Кашене и, по-видимому, о Монмуссо. Его положительные герои не занимают центрального места в романе. Это — незаметные, скромные работники, рядовые труженики — коммунисты Превалуар и Блэз, садовник Роб, дровосек Белардр, старый рабочий «папаша Планш» В душе этих людей живет надежда, «как лето, которому нет конца».

Старик Роб ведет в деревне Буасси вместе со столяром Месплие упорную борьбу против кюре, помещика и американской пропаганды и добивается на выборах большинства в один голос для «красных». «Я слишком стар, — говорит он, — чтобы стать коммунистом. Но они дали пример. У нас сорвалось в 1905 году, в 1936 году и в 1945». «Для него, — прибавляет автор, — 1905 год был знаменательной датой. Он был новобранцем в 17-м полку, отказавшемся стрелять в стачечников. Он думал, что в этот день началась революция Он продолжает ждать ее».

В последней части романа, рассказывающей о 1954 годе, автор говорит об изменениях, происшедших в этом году в судьбе и взглядах главных героев и в жизни французского общества.

«Внешне ничто, казалось, не сдвинулось с места во Франции за семь лет, кроме возраста каждого из нас... Но это лишь видимость. В неподвижности плод зреет внутри. Когда он лопается или падает, это порой происходит в тишине».

Многое изменилось в людях за эти годы. «Внушить страх становится труднее, чем возбуждать надежду». Адмирал д'Эстьен не верит уже в опасность «русского вторжения». Клод Аршаль пересматривает свое отношение к коммунистам. И Поссеко уже подумывает о том, как бы ему начать торговать с Китаем.

Автор побывал в странах народной демократии — в Варшаве и Будапеште. «Я не претендовал на то, чтобы все понять, все объяснить, все рекомендовать. Я был одним из тех, кто дружески смотрел на этот гигантский опыт, на это перерождение человека, на строительство нового общества, имеющее целью поднять человека на высшую ступень, дав ему безграничное доверие к человеческому роду...»

Роман заканчивается возвращением д'Астье из Вены, где он присутствовал на Конгрессе сторонников мира. В своей родовой усадьбе он застает адмирала, его сына Жаклена и генерала де Морекура с женой. Все пятеро проводят вечер в молчании, погруженные каждый в свои мысли. Немая сцена. Автор наблюдает своих родственников:

«Декорация и персонажи напоминают пьесы Пиранделло. Четыре человека сидят за столом, при свете плохой лампы — отец и сын, муж и жена... Мы могли бы играть в игру воспоминаний, но каждый из нас был так занят своей собственной жизнью, что мы стали еще дальше друг от друга, чем зима и лето. Нас объединяла когда-то молодость. Но они больше не хотят молодости, даже Жаклен. Они застыли на месте. И потому у них царит зима, и никогда уже у них не будет такого лета, которое длится в сердцах людей, не считаясь с календарем...

В этот вечер я казался им более чужим, чем обычно, потому что они чувствовали, что источниками моих убеждений была Жизнь и был Человек; это казалось им идолопоклонством, так как они не верили ни в жизнь, ни в человека».

Эти слова стоят в конце романа, произведения яркого и оригинального, по манере письма — чисто французского, по духу своему — глубоко гуманистического.

Книга д'Астье — не только значительное художественное произведение, не только яркая картина французского общества последних лет, но и крупный вклад в дело мира.

Р. Орлова

Лучом прожектора

Профессор Джон Мино читает лекцию о Мильтоне. Он опытный лектор, один из крупнейших специалистов в области английской литературы, отдавший американскому университету в городе Пенфильде тридцать лет жизни. Много, много раз повторял он свои лекции, но каждый год он читает их по-новому. По-новому потому, что перед ним — новое поколение студентов; по-новому потому, что меняется окружающая обстановка, а, значит, в иные тона окрашивается и взгляд на прошлое, на историю, на литературу; по-новому, наконец, потому, что сам Мино не стоит на месте; он читает, размышляет, глубже, шире подходит к предмету своего исследования.

В лекции, которую Джон Мино читает в 1953/54 учебном году, он говорит о суровой нетерпимости молодого Мильтона, о его борьбе за право свободно мыслить, свободно думать, свободно писать... Он приводит слова Мильтона: «Я не могу восхвалять уклончивую, скрывшуюся в затвор добродетель, бездеятельную и безмолвную, которая никогда не выйдет навстречу своему противнику, а устранится от поединка там, где лавровый венок добродетели добывается не без пота и грязи».

Выразительные строки трехсотлетней давности звучат так, словно они написаны современником и участником тех событий, которые разыгрываются в середине XX века в тихом университетском городке. Недаром американская писательница Марта Додд поставила эти строки эпиграфом к своей новой книге «Лучом прожектора». Много студентов слушает героя этой книги Джона Мино. И среди них немало таких, которые жадно ищут ясного ответа на главный вопрос юности — как жить?

Среди них — Джордж и Алиса Айкен, дети рабочего, уволенного по закону Тафта—Хартли. Трудно давалось им высшее образование. Но зато для них оно подлинное оружие в жизненной борьбе. Глубже, чем другие студенты, понимают они и подтекст лекции профессора.

В университете полным ходом идет преследование прогрессивных элементов. Уволены два преподавателя, обвиненные в коммунистической пропаганде. Остальные смолчали. Затем всем предложили подписать так называемую присягу о лойяльности. Это вызвало взрыв возмущения, и почти все профессора отказались выполнить это требование. Мино стал во главе созданного комитета протеста. Но бороться против разгула военной истерии — дело далеко не легкое. Одни заморочены антикоммунистической пропагандой. Другие просто боятся потерять работу — надо кормить большую семью. Третьи считают, что спокойнее держать нос по ветру. А есть и такие, которые активное участие в «охоте за ведьмами» искренне считают проявлением американизма... Давление реакционного университетского начальства возрастает, и тех, кто не боится открыто выступить против, — становится все меньше. Мино и еще несколько человек, не отступивших перед угрозами, снимают с работы.

Такова история, рассказанная Мартой Додд в романе «Лучом прожектора». Советский читатель познакомился с Мартой Додд по талантливой публицистической книге «Из окна посольства». Уже в этой первой книге была ясна ненависть автора к фашизму, тогда — к немецкому фашизму, и умение Марты Додд отбирать выразительные, скупые детали. В романе «Лучом прожектора» Додд рисует широкую картину современной американской жизни. В центре книги — борьба за сохранение так называемой «университетской автономии».

Борьба за университетские свободы имеет славную, длительную историю. Несколько веков велась и ведется эта борьба — против мертвящего влияния церковной схоластики, против вмешательства реакции — в любой форме — в дело воспитания интеллигенции. Много было потерь, но были и завоевания в этой борьбе. Университетская автономия — пусть урезанная, ограниченная, как и любая буржуазно-демократическая свобода, — это живая часть демократического наследия, за которое сейчас особенно активно идет борьба и в Европе, и в Америке. Каждое поколение выдвигает глубоко верящих в демократию борцов за эти свободы. Среди них — профессора и юристы, священники и государственные деятели, верные идее демократии, люди честные и цельные, активно участвующие вместе с коммунистами в борьбе за мир. Ценность романа Марты Додд и заключается, на наш взгляд, прежде всего в создании героя такого типа — Джона Мино.

Мино — человек несколько старомодный, глубоко ценящий традиции не только в литературе, но и в жизни. Органична для него любовь к родной стране, родной природе, он не мыслит себе существования вне ее. Джон Мино — интеллигент в первом поколении. Его отец — простой фермер. И сам Мино, по-библейски верящий в труд, как основу нравственности, все свои сбережения вложил в ферму. Он пашет землю и вывозит навоз, ухаживает за скотом и за деревьями. Ферма для Мино и для его жены Джулии — не только и не столько собственность, сколько овеществленный, многолетний, личный труд...

Мино счастлив. Он работает по призванию, любит свой университет, его научные

Martha Dodd, The Searching Light. The Citadel Press, New York, 1954.

труды, его учебники ценят далеко за пределами Пенфильда. Он счастлив и в семье — попрежнему, после двадцатипятилетнего супружества, влюблен в свою красивую, верную, властную жену, гордится своей дочерью — художницей. И вот эта налаженная, благополучная жизнь круто меняется. Перед Мино, как и перед другими его соотечественниками, стоит выбор. Один путь — согнуться, уступить, пойти на компромисс. Причем ум услужливо подскажет тысячу оправданий и объяснений. Старый друг Мино, юрист, член Опекунского совета университета Ханикатт говорит, пытаясь отвлечь Мино от борьбы: «Что может сделать один человек или маленькая группа людей в наши дни?» Многие так думают. «...В лекциях я буду свободен попрежнему (так наивно полагают некоторые коллеги Мино). Лишь бы остаться в университете...» Легко, очень легко быть хорошим, не сталкиваясь лицом к лицу со злом, хорошим в своей профессорской башне из слоновой кости. Это и есть добродетель прячущаяся, скрывающаяся, годная только для личного употребления.

Писательница изображает внутреннюю борьбу Мино достоверно, не убирая препятствий с пути своего героя, не облегчая ему окончательный выбор. А Джону Мино трудно решиться, очень трудно. Ему скоро 60 лет. В таком возрасте нелегко менять жизненный уклад. Давно стала привычкой удобная, обеспеченная жизнь. Нет непосредственной угрозы голода — в противоположность многим интеллигентам Мино умеет не только читать лекции о Мильтоне, но и работать руками. Голода не будет, но зачеркнуть содержание всей предшествующей жизни... А потом ведь он не один, он несет ответственность за семью.

Мино и прежде поддерживал бастующих горняков, испанских республиканцев, активно выступал против расовой дискриминации среди студентов. Но тогда борьба не касалась самого дорогого дела его жизни, да и обстановка в стране была иной. Он отлично понимает, что теперь речь идет о крутом жизненном повороте — об отказе от самого себя или об утверждении в действии всего, чем жил человек долгую и честную жизнь. Мино недаром всю жизнь изучает Мильтона; подлинно цельный человек, он не знает двойного счета в жизни и в науке. Бывают минуты. когда он хотел бы пойти на компромисс, но не может. Слишком органически присущи ему честность, порядочность, верность себе. Медленно зреет его гнев, медленно, с трудом. Но зато потом он уже не отступает. Характер Мино раскрывается перед читателем в действиях, в размышлениях и, прежде всего, в борьбе. Следует заметить, что о Мино как ученом, как исследователе Мильтона Марта Додд скорее рассказывает, многократно упоминает. А вот как преподаватель, как человек, как борец Мино раскрыт в книге именно художественными средствами. Рядом с главным героем живут, любят, борются другие люди. Не все образы романа одинаково убедительны, но большинству из них веришь: закрываешь книгу, а эти люди еще долго идут с тобой рядом, продолжая начатые споры. Интересна Джулия, жена Мино. Можно сказать о ней просто — мещанка, буржуазка, цепляется за собственность, стоит на пути своего мужа в борьбе. Это будет неправда или, вернее, полуправда. Да, есть и это. А есть и другое. Есть верная искренняя любовь, понимание с полуслова, по-женски жертвенная готовность пойти на все, лишь бы было хорошо любимому человеку. Весь смысл жизни Джулии, умной и одаренной,— муж, дом, дочь. Им она отдала свою молодость, жар сердца и ума. Ее личное счастье — это счастье Мино, успех его как ученого. Есть у нее страхи, много страхов: страх материальных лишений — она уже прошла через это в юности; страх за судьбу мужа, страх смерти — у нее тяжелая болезнь — такой по-человечески понятный... И есть глубоко запрятанное благородство, несколько потускневшее от времени и от слишком активной борьбы за собственное благополучие. Но в конце концов Джулия понимает и поддерживает Мино в его новой, трудной судьбе.

Особое место в системе образов книги занимает Карло Оригано, преподаватель истории искусств. Оригано — итальянец; его отец был замучен итальянскими фашистами, и Карло с матерью эмигрировал в США в поисках свободы... Он видит больше, чем Мино и другие участники борьбы, раньше разбирается в событиях, судит более резко и гневно. Но это — человек крайне неуравновешенный, изверившийся, под конец — отчаявшийся. Такой он и в общественной и личной жизни, в своей трагической любви к дочери Мино — Люси. События в Пенфильде толкают Оригано на самоубийство. В кармане у него находят подписанную присягу о лояльности. Шаг этот вполне оправдан предшествующим развитием этого сложного характера. В начале романа казалось порой, что именно Оригано с его нетерпимостью должна принадлежать ведущая роль в разгорающейся борьбе. Марта Додд показывает, как отсутствие твердой почвы, твердой веры в народ приводит Оригано к крайностям. Он принадлежит к людям, которых несправедливость, подлость, жестокость озлобляют, надламывают, а порой и полностью подавляют.

Несколько бегло, поверхностно изображен Боб Уайльдер — один из самых активных борцов против присяги, связанный с рабочим движением (связь эта где-то за пределами романа). Он спорит с Мино, предлагает расширить рамки борьбы, и читатель видит, что в этих спорах прав Уайльдер; но эта правота не привлекает к Уайльдеру читательских симпатий, потому что как художественный образ он менее убедителен, менее человечен.

Роман драматичен, в нем передана атмосфера острой идейной борьбы, по-

стоянных споров, интеллектуальных исканий. Одна из первых сцен романа — спор о событиях в университете в день рождения Люси — как бы содержит в зародыше все дальнейшее развитие романа. Здесь намечены позиции Мино, Оригано, Уайльдера, Джулии и даже других, еще не введенных в книгу будущих участников борьбы. В этот день на улицах города стоит густой туман; потом еще не раз действующие лица книги будут встречаться и вести свои беседы в тумане: он придает всей книге своеобразную эмоциональную окраску. Очень медленно рассеивается этот туман. Оригано, так и не нашедший выхода,— гибнет в тумане.

Заключительная сцена — кульминация книги — переносит нас из дома Мино в большой актовый зал университета. На протяжении всего романа писательница показала, как личные судьбы ее героев связаны с большими, общими вопросами современности.

Торжественный выпуск студентов. Ректор университета Блеквел (Мино активно — хотя и безрезультатно — боролся против назначения этого реакционного деятеля ректором) вручает дипломы. К столу подходит любимая студентка Мино — Алиса Айкен. Обращаясь к большой аудитории, она уверенно говорит: «Этот университет не может больше называться средоточием знаний и университетских свобод. Я заявляю о своей солидарности с преследуемыми профессорами, которых уволили. Самое малое, что можем сделать мы, студенты, — показать, что и у нас нет недостатка в мужестве. Я отказываюсь от своего диплома». Минута молчания — и гром аплодисментов. Вместе с другими аплодирует и Мино.

Книга Марты Додд принадлежит к числу романов об интеллигенции. В противоположность литературе западноевропейской в США не существует богатой, многообразной традиции такого типа романа. И, конечно, не случайно, что за один год появилось одновременно три романа на одну и ту же тему — борьба преподавателей университетов против покушений на университетскую автономию — «Сайлас Тимбермен» Фаста, «Раны не заживают» Мей Сартон и, наконец, «Лучом прожектора» Марты Додд.

Недавно в Калифорнии была организована дискуссия по романам Фаста «Сайлас Тимбермен» и Марты Додд «Лучом прожектора». Участники дискуссии говорили прежде всего о жизненных проблемах, которые волнуют сегодня университетские — и не только университетские — круги Америки.

Многие факты современной жизни подтверждают, что туман начинает рассеиваться. В апреле этого года во многих учебных заведениях страны была проведена неделя борьбы за университетскую автономию. Сто различных организаций Чикагского университета выступили против «контроля над мыслями». Вопреки реакционному начальству в Пенсильванском, Корнельском университетах, в Нью-Йоркском колледже Комитеты борьбы за академические свободы приглашают для выступлений перед студентами — впервые за последние годы — лекторов, не скрывающих своих передовых убеждений; есть, наконец, университеты, в которых, по требованию общественности, отменена присяга о лойяльности, против которой боролся Джон Мино.

Так сама жизнь подтверждает правду романа — лучи прожектора могут пробиться сквозь туман.

Томас Манн

СЛОВО О ШИЛЛЕРЕ

Кто я такой, чтобы говорить во славу его, когда у меня перед глазами целые горы трудов о его жизни и творчестве, воздвигнутые усердием ученых за истекшие полтора столетия? Правда, ни один художник не должен *только* робеть и смущаться, считать себя *вовсе* недостойным славить гения, который был и остался *апофеозом художества, искусства.* Он возвеличил искусство всем своим творчеством и притом в столь тщательно взвешенных, гениально точных словах, что и скромнейший из его собратьев со смиренной гордостью узнаёт в них собственные невзгоды и радости.

Мертвый камень оживляя смело,
Создает богини тело,
Вдохновенья пламенный порыв,
Но художник лишь в борьбе упорной
Побеждает мрамор непокорный,
Разуму стихию подчинив.
Только труд, не знавший отступлений,
Истину постигнет до конца,
И над глыбой торжествует гений
Непреклонностью резца.
Но своим последним мощным взмахом
Он свершает чудо с прахом:
След усилий тщетно ищешь ты.
Массы и материи не стало.
Стройный, легкий сходит с пьедестала
Образ воплощенной красоты.

Как это сказано! Как возвышенно! И как непреложно четко найдены здесь слова, выражающие устремление и опыт всякой жизни в искусстве! А в другом месте, в стихотворении «Художники», как горячо прославляет он *детскость* искусства, способность красоты сообщать наивысшему земную общедоступность! Кто станет отрицать в Шиллере, в его глубоком, священном и наделенном огромной прозорливостью правдоискательстве эту *детскость,* благородную наивность, которая порой вызывает у нас благоговейную улыбку. Но эта черта неотъемлема от его несравненного, неповторимого величия; столь щедрого, окрыленного, вдохновенно-пламенного, опьяненного вселенским простором и вместе с тем эстетико-воспитательного, но прежде всего — *глубоко мужественного* величия. Улыбка, которую нам подчас приходится удерживать, дивясь грандиозности Шиллера, относится к представленному в его творчестве вечно отроческому началу, к его увлечению своего рода возвышенной «игрой в индейцев», к его острому интересу ко всему необычайному, к психологическим сенсациям, к тем «крайностям», о которых повествует в своих жизнеописаниях Плутарх — безмерным добродетелям и возвышенным преступлениям, к его способности потрясаться «чудовищным величием» похитителя короны, углубляться в анналы человеческих заблуждений и необычных пороков, в хронику уголовных происшествий, в сообщения историков о таинственных заговорах и мятежах, о кознях иезуитов и инквизиции, в анекдоты об узниках Бастилии или о жертвах игорного азарта... Мы видим далее его сюда же относящиеся увлечения обширными планами, смелыми издательскими начинаниями, его орудование философскими идеями.

И разве трудно обнаружить все ту же величавую детскость в многолетнем самоистязании, которому подвергал себя великий художник, углубившись в дебри спекулятивной философии, эстетической метафизики и критики? Но он делал и это во имя *свободы,* ибо ощущал темный, коренящийся в подсознании импульс искусства как насилие над человеческим духом и не хотел отдаваться творчеству, раньше чем ему не удастся возвести безотчетный инстинкт в степень ясно осознанного закона разума. «Прискорбно видеть, — говорил с запоздалой горечью Гёте уже после смерти друга, — как такой исключительно одаренный человек бился над философскими идеями, которые ничем не могли ему помочь». Но

Речь на шиллеровских торжествах. Опубликована в газете «Neues Deutschland» от 15 мая 1955 года.

для детской души Шиллера это самоистязание было пусть мучительным, но вместе с тем и упоительным подвижничеством. Пройдя через тяжкие испытания философского теоретизирования, его исконно творческая сила над ним блистательно восторжествовала и, облагороженная, но не утратившая артистической наивности, утвердилась на высшей ступени художественного совершенства. Пять лет, потраченных на теоретические и критические изыскания, хотя поначалу и сковали его художественную продуктивность, сделав поэта более придирчивым, более взыскательным к самому себе, но отнюдь не обескровили его могучий дар, а, напротив, сообщили ему — по сравнению не только с его неистовым ранним творчеством, но и с «Дон Карлосом» — большую ясность, чистоту и законченность формы. Былой гениальный наскок сменился подлинным мастерством, всеобладанием художественными средствами. «Нельзя,— говорит он во время работы над «Орлеанской девой», — нельзя себя связывать каким-либо абстрактным понятием, нужно смело изобретать новую форму для нового материала, мыслить жанр подвижным и ёмким».

Весьма дельная, практическая мысль! В ней ясно выражается новое реалистическое отношение к форме, к искусству как таковому, — и уже испытываешь потребность сообщить небесно-голубому идеалистическому ореолу, которым принято окружать образ Шиллера, несколько более сочные тона, примешать к небесно-голубой земные, реалистические краски, неотъемлемые от самой сути этого гиганта.

В высказываниях «благородного певца свободы» относительно политических и социальных проблем встречаются мысли, поражающие своей реалистической трезвостью. Они отнюдь не сводятся к знаменитому выпаду против демократии: «большинство — это глупость». В дистихе о «Гордости человека» он позволяет себе грубоватое восклицание:

Хватит, довольно речей! Обеспечьте их кровом
и хлебом,
Тотчас, прикрыв наготу, гордость они обретут.

Да ведь это же, прости господи, социалистический материализм! Как бы там ни было — но во всяком случае, не прекраснодушное краснобайство, которое в силу укоренившегося предрассудка принято приписывать Шиллеру.

Нет, перед нами не вечный юноша, томимый тоской по необычайному, не мечтатель, а зрелый муж, закаленный познанием истории, приученный театром к практическому учету воздействия, — театром, чьи требования, по собственному признанию Шиллера, долгое время превышали его сценическое мастерство. Работая над «Разбойниками», он уверяет, что «не притязает говорить с театральных подмостков» и хочет, чтобы это гениальное порождение истинно театрального темперамента называлось не драмой, а «драматическим романом». «Дон Карлоса» он наименовал «драматической поэмой» и со всей решительностью утверждал, что это произведение чисто литературное, предназначенное только для чтения, что оно никогда не приживется на сцене, уже по одному тому, что оно слишком длинно. Но длинноты еще не скука, а немецкий театр, как мы видим, не хочет и не может обойтись без этой «предназначенной для чтения» драмы, где есть такие отличные роли и такие чудесные, исполненные пафоса стихи, как не может обойтись без «Орлеанской девы», о которой герцог Карл-Август сказал по прочтении, что вряд ли ее можно сыграть на сцене, с чем Шиллер тотчас же и согласился: «Нет, нет, «Орлеанская дева», конечно, не для сцены». Но именно она стала одним из величайших его театральных триумфов, и ее постановка на Лейпцигской сцене, во время которой в зале присутствовал сорокалетний автор, вероятно, знаменовала наивысший момент всей его жизни.

Проходя сквозь рукоплещущую толпу, дожидавшуюся его выхода из театра, он, верно, думал о том, как неизменно повторяется одно и то же, как безошибочно действует его страстная увлеченность предметом, какая таинственная сила кроется в его драматическом даре — сила, которой не столько владеет он, сколько она владеет им. Быть может, он вспоминал о самом раннем своем творении, о том, как создавались «Разбойники». Он принялся работать над этой драмой девятнадцатилетним юношей, затравленным, измученным военной муштрой, алчущим свободы и деятельного человеколюбия, жертвой педагогического самодурства герцога Карла-Евгения. В его личных невзгодах, в его возмущении, как в выпуклом стекле, преломлялось все, что было возмутительного в растленном обществе той эпохи. Под предлогом слабого здоровья Шиллер часто ложился в лазарет и украдкой работал над драмой. Нужна строжайшая тайна, ибо «тяга к поэзии оскорбляла законы заведения», в котором он воспитывался.

Да еще такая поэзия! Свой замысел он открыл друзьям, узкому кругу почитателей его музы: «Мы сочиним книгу, которую палач должен будет предать огню». Когда он читает товарищам отрывки, они слушают его, открыв рот от изумления: вот это смельчак!

Минуло два года — он окончил военную академию и служил теперь полковым лекарем в Штутгарте. Работа над криминальной рукописью закончена. Опубликовать ее — упаси, боже! — ни одна душа не соглашается. Он сам издает свое произведение, для чего вынужден влезть в долги. Нескоро ему удастся вернуть эти занятые сто пятьдесят гульденов. Корректурные листы он посылает в Мангейм придворному книготорговцу Швану, с которым когда-то случайно познакомился. Шван тоже не пожелал издавать «Разбойников»,

но, прочитав их вторично (вероятно, в первый раз с должным вниманием), испытывает сильнейшее волнение: драма-монстр не дает ему покоя, он мечется, теряет сон, в разгоряченном мозгу вспыхивает слово: «Гений!» Он идет к директору театра, его превосходительству фон Дальбергу, и читает ему оттиски. Он читает их или навязывает для прочтения всем, чье мнение имеет вес. Особенно взволнованы актеры — Ифлянд и Бек. На Дальберга оказывают давление, да он и сам охвачен тем же самым беспокойством. Его превосходительство пишет письмо штутгартскому полковому лекарю, в лестных выражениях отзываясь о драме, и заявляет: если многоуважаемый автор согласен сгладить самые вопиющие места своего примечательного произведения, то он, фон Дальберг, рискнет поставить его драму на сцене.

Ничего подобного Шиллер не ожидал. Он воспрял духом: один из крупнейших театров Германии берется, правда, при известном условии, инсценировать его пламенные мечты и видения! Он идет навстречу пожеланиям Дальберга и садится за переделку драмы для театра. Тяжелая жертва, кропотливая работа, а у молодого автора много других забот: в лазарете свирепствует эпидемия дизентерии. Но он делает все, что может, и так быстро, как только может.

Работа закончена, вернее, он мнит ее законченной, ибо потом оказывается, что его муки были только началом томительной процедуры, о которой он и не догадывался. Фон Дальберг отнюдь не удовлетворен авторскими уступками. Он требует все новых и новых. И так как Шиллер в свое время уверял, что не притязает «говорить с театральных подмостков», то его превосходительство в конце концов берет на себя смелость самолично, по своему усмотрению, вносить поправки, ослаблять и снижать пафос драмы, и только после этого приступает к ее постановке.

Но что же произошло? В день премьеры, на которой Шиллер присутствовал тайно, без разрешения начальства, набитый битком зрительный зал (слухами о пьесе полнилась вся страна) «походил на дом умалишенных. Горящие глаза, сжатые кулаки, хриплые возгласы, незнакомые, рыдая, бросаются друг другу в объятия, женщины в полуобмороке неверными шагами бредут к дверям...» Вот что происходит в театре, а это означает: всему тому, что было проделано над пьесой, противостояла глубоко в ней заложенная сущность, и она, казалось, говорила со сцены: «Пусть так, валяйте, делайте что хотите». Ее урезали, донельзя ослабили, выхолостили, извратили, перенесли в другую историческую эпоху, изуродовали, но заключенная в ней органическая неистребимая внутренняя динамика устояла вопреки всем предосторожностям и сохраняет свою силу и по сей день. Сила эта присуща не только «Разбойникам». Я видел «Коварство и любовь» в Мюнхене после первой мировой войны. Баварская советская республика только что пала, — и вот, несмотря на посредственную игру, несмотря на ультрабуржуазную, крайне ретроградно настроенную публику, зрительный зал оказался во власти революционного порыва; публика стала «публикой Шиллера», как то бывает всегда и везде, где бы и когда бы ни ставились его драмы.

Работа над «Коварством и любовью» была начата уже после бегства из полка, но замысел драмы возник еще в Штутгарте, на гауптвахте, где автор, по приказу герцога, отбывал наказание за самовольную отлучку в Мангейм, на второе представление «Разбойников»,— наказание, глубоко возмутившее поэта. И тогда же, находясь под арестом, он сообщал в письмах, что темой его очередной драмы будет «Дон-Карлос, инфант испанский». Он принимается за нее в марте 1783 года, но уже через месяц прекращает работу, потому что «Коварство и любовь» не закончены, как не закончен был «Фиеско», когда он стал писать «мещанскую трагедию» о Луизе Миллер. Только летом следующего года он возвращается ко двору Филиппа II. По первоначальному замыслу — это всего лишь семейный портрет королевской фамилии. Но его политический пульс, который бьется в унисон с драматургическим, подсказывает поэту, что картину надо обогатить контрастом, надменному презрению к людям противопоставить более благородные идеи. Идеи свободы и счастья народов, идеи, делающие стих полнокровным и звучным, сообщающие ему не только ораторский пафос, но зачастую и неповторимо задушевные интонации:

> Скажите принцу, чтоб и зрелым мужем
> Былым мечтам он оставался верен,
> Чтоб остерегся гнилостного червя —
> Не допустил хваленый высший разум
> Проникнуть в сердце божьего цветка,
> Чтоб оставался тверд, когда хулою
> Обрушится ветшающая мудрость
> На вдохновенье — дар высокий неба.
> Я это говорил ему.

Что может быть прекрасней, благородней, трогательней? Нет, это сказал не мастер риторики, не «трубач морали», а поэт, умеющий растрогать до слез и вместе с тем зажечь сердца гневом на все бесчеловечное и злое. Со всей отчетливостью говорит он о том, что его цель отомстить «изображением инквизиции за поруганное человечество, пригвоздить к позорному столбу ее гнусные деяния». И не странно ли, что в это самое время великий либерал уже тайно носил в сердце своем образ прекрасной грешницы, католички Марии Стюарт, и все обольщения ее чувственной религии?

«Дон Карлос»! — могу ли я забыть первые восторги, страстное увлечение поэтической речью, вспыхнувшее во мне, пятнадцатилетнем подростке, при первом соприкосновении с этими изумительными сти-

хами! Язык Шиллера... но это требует особого разбора и тщательнейшего изучения.

Идея свободы до конца остается лейтмотивом его мышления и творчества; но в новой драме, задуманной еще шесть лет назад, эту идею, легко теряющуюся в беспредельности, олицетворяют люди зрелые, степенно умеренные и добропорядочные. На этом примере видно, какой большой путь развития прошел автор со времени своих первых шагов, и мы не без юмора отмечаем глубокое различие целей, воодушевлявших его при создании «Разбойников» и «Вильгельма Телля». Теперь мы уже не намерены писать книгу, которую «палач должен будет предать огню». Напротив: «И это будет драма, которая послужит к нашей чести. Сильная вещь, способная потрясти все театры Германии. Моим Теллем я хочу снова зажечь публику. Она до черта падка на подобные народные темы». Итак—расчет большого размаха, практический взгляд на театр и вкусы публики. Стоит ли говорить, что такая наивная расчетливость сочеталась у Шиллера с чистейшим стремлением к добру, с беззаветной преданностью искусству? Как лучше всего показывает критический отзыв о поэзии Бюргера, Шиллер много думал над проблемой народного искусства, той «народности», которая не наносит ущерба величию художественного творчества. Его «Вильгельм Телль» — осуществление задачи, которую он почитал «наитруднейшей»: средствами искусства уничтожить культурное неравенство; в этой бесподобной драме Шиллеру удалось то, что может удасться лишь редко, даже единожды, — популярная классика.

«Если я только доживу до пятидесяти лет, полностью сохранив свои духовные силы», — пишет он в пору работы над «Теллем»,— я надеюсь скопить достаточно, чтобы мои дети (их было четверо.— *Т. М.*) ни от кого не зависели». Исполнит ли природа это скромное желание заботливого отца? Год его смерти начинается с улучшения здоровья и радужных надежд. Он здоров в феврале, его не лихорадит в марте, он может продолжать «Деметриуса», за работу над которым он — трудно поверить — берется сейчас же по окончании «Телля». Этот грандиозный замысел, сложностью и глубиной превосходящий, вероятно, все прежние, требует огромного напряжения, и Шиллер трудится над ним с неимоверным творческим подъемом, в то время как физически его жизнеспособность почти уже исчерпана. Вскрытие вскоре покажет, что левое легкое полностью разрушено, сердечные камеры сращены, печень отвердела, желчный пузырь увеличен,— ни один орган уже не функционировал нормально. А он все работал. Работал вдохновенно, с неистовым усердием носил в своей уже почти бездыханной груди тяжелый груз сложнейших проблем, отдавался всецело глубоко драматической, мучительной коллизии этой новой драмы.

После долгих колебаний, после милостиво дарованных отсрочек, почти непостижимых при состоянии больного, организм которого был разрушен и поддерживался только борением духа, природа, наконец, положила предел его жизни. Но какая это была жизнь! Он прожил неполных сорок шесть лет и двадцать семь из них — в состоянии, которое не назовешь иначе, как motus animi continuus *, с каждым днем углубляя и расширяя свои знания, представление об искусстве, свои требования к себе. Он создал так много, что и писатель, доживший до библейского возраста, не устыдился бы такого наследства. Ибо кроме двенадцати драм, из которых последняя и, вероятно, величайшая, осталась незавершенной, им было написано множество лирических стихотворений, правда, не песенных, а порожденных раздумьями; прибавим к этому баллады, которые надо заново прочесть свежим глазом, чтобы почувствовать их несравненное мастерство (пять или шесть из них целиком вошли в цитатный фонд немецкой культуры); далее — прозаические сочинения: капитальные исторические труды — «Отпадение объединенных Нидерландов», последовавшее за «Дон-Карлосом», «Тридцатилетняя война», предшествовавшая «Валленштейну» — за этой книгой однажды застали Гёте, плачущим от восхищения; далее—очерки, критические статьи, поражающие остротой и глубиной мысли; повествовательная проза — его исполненные смелости и тонких психологических наблюдений новеллы; или замечательный авантюрный роман «Духовидец», изданный в виде фрагмента, отдельной книгой. Нетерпеливые читатели осаждали автора просьбами закончить «Духовидца», но Шиллер отвечал, что дальнейшая работа над ним была бы «преступной тратой времени».

У него было слишком много дел, ему хватило бы их на столетие: в его письменном столе, в его маленьком ветхом секретере лежали всевозможные планы, наброски, заметки к задуманным драмам, более или менее подробные, более или менее разработанные. Одно уже число этих наметок (шестнадцать или восемнадцать, если я не ошибаюсь) дает представление о том, как этот вечно ищущий интеллект, неустанно порываясь отдаваться все новым и новым предметам, в то же время сосредоточивал все свои силы на завершении того, что человечеством почитается его великим творческим подвигом.

Но довольно о его творчестве, — довольно потому, что никто не может хотя бы отдаленно воздать ему должное за краткий час нашего поминального вечера. Но скажем еще раз: какая жизнь!

Женские образы проносятся по ней то мимолетные, то глубже задевающие сердце поэта: дамы общества и, конечно, актрисы, игравшие в его пьесах. Биографам они

* Непрерывное движение души (лат.).

все известны. Мы узнаем, как разочаровало его холодное кокетство одной, сомнительная загадочность другой, а потом явилась та, единственная, настоящая, милая и простая, натура гармоничная, цельная, которая, наконец, завоевала его нежную привязанность и доверие. Это Шарлотта фон Ленгефельд, его жена, мать его детей. В двадцать восемь лет он писал: «Когда мне минет тридцать, я уже не женюсь, уже сейчас я не испытываю к этому никакого влечения. Женщина, наделенная всеми достоинствами, не может дать мне счастья,— или я совершенно себя не знаю». Три года спустя он признается: «Все-таки живешь совсем по-иному, когда подле тебя милая жена, чем когда ты одинок и заброшен. Как хорошо я теперь живу! Весело и бодро гляжу я вокруг, и душа моя постоянно находится в состоянии тихой удовлетворенности. Моя жизнь обрела гармонический покой. Дни мои проходят уже не средь бурь и треволнений, они полны света и мира...» Как радостно это читать... Как радостно сознавать, что этот неугомонный, мятущийся дух, этот великий пасынок жизни, сказавший о себе: «все, чего я добился, достигнуто напряжением сил, подчас сверхъестественным», хоть раз познал светлую, неомраченную радость, хоть раз насладился счастьем, человеческим счастьем,— долгожданным покоем! И все же, очевидно, в этой чуждой лиризма жизни любовные бури не играли стимулирующей роли, не знаменовали вех на его творческом пути. Здесь нет ни Зезенгейма, ни Вецляра, ни Лиды, Марианны, Ульрики. В биографии Фридриха Шиллера отношения к противоположному полу не играют заметной роли. Великое содержание его жизни, большую страсть, сильные влечения и столь же сильное отталкивание, глубокую вражду и столь же глубокий восторг, преклонение и деспотизм, муки ревности и зависти рядом с гордым самоутверждением, постоянную приподнятость чувств — все это он вложил в великую дружбу между ним, образцом мужественности, и тем, кому он приписывал более женственный строй души, — Гете.

Трудно понять, почему, говоря о лирике Шиллера, почти никто не упоминает о тех стихах, в которых он достигает подлинного лирического напряжения, стихах, глубиной и благородством чувств превосходящих всю его философскую поэзию: я говорю об элегии «Счастье», о гимне тому, «кого боги любят еще до рождения, чей младенческий сон нежно Киприда хранит...»

Я отдал бы целые антологии любовной лирики за одно это стихотворение, где дух, воля, труд, доблесть обращаются со словами любви к тому, кто владеет божественным даром «прежде, чем труд познал», где «зрящий» преклоняется перед «баловнем жизни».

А Гете? Разумеется, он платил за восхищение восхищением и хотя порою сокрушенно не все принимал и одобрял в нем, все же любил его — в этом нет сомнения. Но знал ли Гете доподлинно, еще при жизни Шиллера, какого он имел в нем друга? В поэзии Гете тех лет мы не находим ничего, что по глубине и силе чувств могло бы отдаленно сравниться с шиллеровской песней о счастье. Зато многим позже, во второй части «Фауста», в известной сцене с Хироном, где речь идет о «круге аргонавтов», появляются строки, смысл которых достаточно ясен при всей его нарочитой затемненности:

Но согласись: ты жил со всеми,
Которых выдвинуло время.
Кого в том круге бесподобном
Считал ты более способным?

Кентавр называет всех, из которых «был любой богатырем на свой покрой». Фауст напоминает ему:

Про Геркулеса ты забыл.

Ответ:

Ты боль мою разбередил.
Я не видал богов Ареса,
Не видел Феба и Гермеса,
Когда моим земным очам
Предстал приравненный к богам—
Он явно сыном был монаршим...

Кто этот Геркулес? Мы догадываемся, мы знаем, кто. То, что Гете видел его в образе героя, совершившего двенадцать подвигов и за это приравненного к богам, наводит на мысль, что автор «Фауста» знал о мечте, которую так долго лелеял Шиллер: осуществить «наивысший замысел», написав олимпийскую идиллию о бракосочетании Геркулеса и Гебы, богини вечной юности. Насколько мне известно, в бумагах Шиллера нет упоминаний об этом. Но о том, как велико было его желание осуществить этот замысел, свидетельствует письмо к Вильгельму фон Гумбольдту, в котором он — только один-единственный раз — со всей страстью говорит о столь дорогой ему творческой мечте. Письмо написано в 1795 году, за десять лет до кончины поэта. Для меня сказанное в нем — самое удивительное, самое знаменательное и волнующее из всего, что содержится в его переписке. Он говорит о поэтическом мире, «очищенном от всего бренного, здесь — все свет, все свобода, нет ничего недосказанного, нет больше ни теней, ни границ... Написать сцену на Олимпе — какое величайшее наслаждение! Я не теряю надежды сделать это, когда достигну полной свободы духа и очищусь от всякой мирской скверны; тогда я соберу все свои силы, все, что есть в моей натуре сверхчувственного, высокого, не побоюсь издержать весь свой запас душевного величия».

Великая, ввысь устремленная душа! Когда и как могла бы она достигнуть «полной свободы», очиститься от «всякой мирской скверны»? Когда и как могло бы

здесь, на земле, покинуть смертного сверхчувственно-высокое начало его натуры и, вспыхнув пламенем, раствориться в так задуманной идиллии? Идея целиком трансцендентальная, чуждая земной жизни, доступная разве лишь бесплотному духу. За десять лет земного существования, которое еще было ему суждено, этот неутомимый человек ни разу не обратился к воплощению этой заветной мечты, невзирая на то, что оно сулило ему «высшее наслаждение». Но в каждое из своих творений, хоть и ограниченных земной сферой, которыми он еще успел осчастливить человечество, он вложил частицу своей лучшей сути, и все они носят ее явственный отпечаток. Эта поэтическая мечта о неземном свете и свободе показывает, что его последним, сокровеннейшим желанием было избавление от всего земного, преображение:

Он нам блестит кометой, исчезая
Со светом вечности свой свет сливая.

Строфу, которая торжественно заканчивается этим двустишьем, Гете только спустя десять лет после смерти друга присовокупил к «Эпилогу к колоколу». Но уже в знаменитых строках:

За ним обманом призрачным лежало
То пошлое, что души нам связало

заключен ответ на великодушное самоотречение шиллеровской элегии «Счастье».

Для пережившего Шиллера Гете эта дружба, нередко вызывавшая в нем досаду, все более просветляется, превращаясь в глубочайшее почитание, вплоть до: «Ты боль мою разбередил!» или: «Не могу, не могу забыть этого человека!». Уже в конце своего жизненного пути, когда его невестка Оттилия однажды выразила мнение, что читать Шиллера подчас скучновато, он, отвратив лицо, ответил ей: «Это вы слишком ничтожные, слишком земные для него». Нам всем надлежало бы трепетать этого гневного движения и суровой отповеди престарелого поэта и поостеречься, дабы не показать себя «слишком ничтожными и земными» по сравнению с тем, по ком Гете, не в силах забыть о годах, прожитых подле друга, тосковал до самой могилы.

Как остро я ощутил, заново изучая Шиллера, что он, подчинивший себе свою болезнь, мог бы уврачевать недуги нашего времени, если бы наши мысли чаще обращались к нему! Так же, как любой организм хиреет и может зачахнуть потому, что ему не хватает какого-то необходимого соединения, вещества, витамина, так, быть может, и организм нашего общества, его жизнедеятельность, жестоко страдает от недостатка элемента «Шиллер». Я думал об этом, когда перечитывал его «Публичное оповещение об Орах» — этот шедевр прозы, услада для всех страждущих, в котором то, что уже в его время казалось несвоевременным, поднято на высоту требований нашей современности. «Чем сильнее, — говорит он, — узкий круг интересов настоящего тревожит, ограничивает и порабощает умы, тем насущней становится потребность в более общих, более высоких интересах, охватывающих чисто человеческое, не зависящее от «злобы дня», чтобы тем самым снова обрести свободу и снова объединить политически разделенный мир под знаменем Истины и Красоты». В своем журнале Шиллер не намерен касаться современных проблем и ближайших надежд человечества, но хочет вопрошать историю о прошлом и философию о будущем нашего мира, собирая воедино разрозненные черты того идеала облагороженного человечества, к которому призывает нас разум, но который на деле столь часто скрывается из глаз, и посвятить себя мирному созиданию более возвышенных понятий, более чистых убеждений, более благородных нравов, от чего, в конечном счете, зависит всякое улучшение общественного уклада. «Итак — благопристойность и порядок, справедливость и мир будут духом и правилом нашего журнала».

Поостережемся назвать эту программу малодушным эстетизмом, ошибочно полагая, что она имеет хоть что-нибудь общее с нынешним «эскепизмом». Забота о духе нации, о ее морали и культуре, о духовной свободе и таком интеллектуальном уровне, который позволил бы ей понять, что другие люди, живущие в иных исторических условиях и при ином социальном укладе, тоже люди; забота о человечестве, которому желают благопристойности и порядка, справедливости и мира вместо взаимных поношений, дичайшей лжи и лютой ненависти, — это не бегство от действительности в область праздной эстетики, это служение жизни во имя ее сохранности, это решимость исцелить ее от страха и ненависти путем духовного освобождения. То, к чему он стремился с красноречием трибуна и вдохновением поэта, — торжество универсального, всеобъемлющего, чисто человеческого, для целых поколений стало потускневшим идеалом, устарелым, отсталым и опошленным...

Такой универсальный аспект — это требование дня и нашей смятенной души, и мысль о чести человечества, о гуманности, о всемирном участии давно уже перестала быть «слабым правилом поведения». Именно это всеобъемлющее чувство жизненно необходимо нам, и если человечество в целом не одумается, не вспомнит о своей чести, о своем достоинстве, его ждет не только моральная — его ждет и физическая гибель.

Последние полвека ознаменованы крушением гуманизма. Мы видим ужасающее одичание, упадок культуры, нравов, утрату чувства справедливости, доверия и преданности, самой примитивной порядочности. После двух мировых войн, прививших многим людям варварскую грубость и алчность, сильно понизился интеллектуальный и моральный уровень (они друг от друга неотделимы). Нынешнее смятение умов —

плохая порука, что мы не будем ввергнуты в третью войну, которая всему положила бы конец. Злоба и ненависть, суеверный ужас, панический страх и дикая мания преследования владеют человечеством, которое хочет заполнить космическое пространство военными базами и кощунственно издевается над солнечной энергией, изготовляя из нее оружие истребления.

Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек
Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник брошенный, страдал?

В этой жалобе Цереры из «Элизийского праздника» слышен голос Шиллера. Но человечество глухо к его призыву мирно создавать более возвышенные понятия, более чистые побуждения, более благородные нравы, «от чего, в конечном счете, зависит всякое улучшение общественного уклада», и, неприкаянное, в пьяном угаре от собственной глупости, крича о сенсационных рекордах в технике и спорте, спешит к пропасти, почти уже желанной.

Когда в ноябре 1859 года отмечалась сотая годовщина рождения Шиллера, вся Германия поднялась в едином порыве восторженного преклонения. Миру открылось зрелище, еще невиданное в истории: извечно разрозненный немецкий народ был прочно спаян им, своим поэтом. Это был истинно *национальный праздник*, и да будет таковым и наш сегодняшний! Вопреки политическим козням, пусть расколотая надвое Германия ощутит свое единство во имя его! Но еще другим, большим знамением должно явиться это торжество; пусть чествование его памяти пройдет под знаком всемирного участия, как учит нас благородный пример великого поэта, призывавшего к вечному союзу человека с древней матерью-землею. Пусть в годовщину его положения во гроб и воскресения из мертвых и в нас перейдет частица его незлобиво-могучей воли — воли к красоте, к правде и добру, к нравственной чистоте и внутренней свободе, к искусству, к любви, к миру, к спасительному уважению человека к самому себе.

Сардар Джафри

ПОЭТ И ЕГО АУДИТОРИЯ

Цель моей статьи состоит не только в том, чтобы разъяснить советскому читателю, каковы отношения между поэтом и его аудиторией в сегодняшней Индии. Мне хочется также, выражаясь образно, сделать советского читателя участником дискуссии, идущей вокруг одной из самых острых и важных проблем современной индийской поэзии; проблема эта имеет, как я полагаю, существенное значение и для других стран Востока со схожей и очень давней традицией устных поэтических выступлений.

Вокруг чего в нашей литературной жизни развертываются сейчас бурные споры, касающиеся самих судеб нашей поэзии в целом? Речь идет о настоящем и будущем чрезвычайно популярного и очень распространенного в Индии вида поэтического состязания, именуемого «мушаэрой».

Одни участники дискуссии считают, что мушаэру следует вовсе отменить; другие настаивают на том, чтобы ее подвергнуть основательным изменениям; третьи, наконец, требуют сохранить мушаэру в неприкосновенном виде. Острота дискуссии, ее бесспорная злободневность объясняется тем, что мушаэра занимает огромное место в культурной жизни большей части Индии и миллионам людей, по существу, заменяет книгу.

Попробую ввести советского читателя в курс идущей дискуссии, сообщив ему предварительно некоторые факты литературной жизни Индии.

Поэзия — это то, что поют или читают перед народом. У нас, в Индии, она возникла в форме сельской песни. Ее взрастили ветры полей и лесов, шум крестьянской толпы.

Капитализм разорвал прямые связи поэтов с народом, он превратил их в связи косвенные.

Чудо, которое называется книгой, появилось значительно раньше капитализма. Человек начал закреплять свой опыт, свои мысли и чувства на кусках глины, на камнях, на древесной коре, на бумаге, и таким образом грядущие поколения смогли унаследовать достижения прошлого. Так письмо и рукописная книга сыграли немалую роль в развитии человеческой культуры и цивилизации.

Изобретение книгопечатания в огромной степени увеличило возможности распространения науки и культуры, открыло к ним доступ для многих людей. Книга стала внушительной силой. Она не только помогла сохранить стихи, но и могла бы помочь широко распространить их.

Однако при капитализме широким народным массам, как правило, доступ к книге

Сардар Джафри — писатель, историк культуры и общественный деятель современной Индии.

закрыт. Поэтому непосредственная связь между поэтом и народом, которую можно было бы поддерживать с помощью книги, также прервалась; это повлияло и на характер поэтических произведений. Поэзия стала доступна только ограниченному кругу людей, на первый план в ней выдвинулось не содержание, а форма; в итоге она стала бесполезной для масс. Если прямая связь между поэтом и народом прерывается, поэзия не может получить широкого развития.

В Индии капитализм разрушил прямые связи между поэтом и народом в меньшей степени, чем в Европе, поскольку развитие капитализма в Индии носило несколько отличный характер. Благодаря этому и поныне наши поэты продолжают петь и читать свои произведения перед народом. У нас самой большой популярностью пользуются те формы поэзии, какие могут быть понятны наибольшему количеству людей.

Например, в деревнях Бенгала и сейчас сельские поэты импровизируют стихи. Эта традиция, уже давно исчезнувшая в Европе, продолжает жить в Индии. Нередко два крестьянских поэта выступают с чтением своих стихов в деревне. Крестьяне дают им тему, и оба они целыми часами читают и поют стихи. На подобных соревнованиях никто из поэтов не хочет уступить первенства, и состязание обычно затягивается до рассвета. Иногда собираются поэты в большем количестве, и тогда оно становится еще более интересным. В Бенгале его называют «кави-ган».

И в других крестьянских районах Индии кави-ган продолжает жить в том или ином виде. В тех районах, где говорят на урду и хинди, развита другая форма этих состязаний, которую здесь называют «каджри» и проводят под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов. Одна группа поэтов начинает песню, другая отвечает им тоже песней. Такого рода состязания также могут длиться всю ночь.

В районе Махараштры распространен иной жанр, который называют «по́вада». Повада очень напоминает европейскую балладу. Когда крестьяне Махараштры подняли восстание против могольского императора Аурангзеба, то в их войсках среди солдат были поэты; в форме повады они воспевали мужество храбрецов и высмеивали трусов, воодушевляя таким образом свою армию.

После образования государства маратхов повада начала вырождаться, став лишь средством развлечения. Заслуга в возрождении этого жанра принадлежит рабочему поэту из Бомбея Аннабхау Сатхе, который за последние 15 лет создал очень красивые стихи этого жанра и читает их перед рабочими и остальным населением Махараштры.

В группе Аннабхау Сатхе есть еще два крупных поэта. Один — крестьянский поэт Амар Шейх, другой — выходец из средних классов Гованкар. Эта группа за последние годы оказала большое воздействие на крестьян и рабочих Махараштры; около пяти миллионов человек слушали в ее исполнении повады и стихи других народных жанров.

Приведем факт, дающий представление о том, как создаются такие стихи. Во время войны Советского Союза с гитлеровской Германией Аннабхау Сатхе написал свою известную повaду «Сталинград». Она писалась столько же дней, сколько шло сражение под Сталинградом. Ежедневно, после получения новых известий, повада пополнялась, ее пели перед рабочими и крестьянами. Аудитория слушала «Сталинград» с энтузиазмом.

Жанры индийской народной поэзии неисчислимы. Эти жанры бытуют не только в деревнях; вместе с ростом освободительного движения они пришли также и в города. Речь идет о формах, существующих у нас на протяжении веков, причем творцы этих форм — поэты всегда были вместе с народом. Неудивительно, что в Северной Индии, где-нибудь в поездах между Джханси и Канпуром, факиры и бродячие торговцы и теперь поют песни о рани * Джханси и героях национально-освободительного восстания 1857 года.

В каждом уголке Индии народные поэты отражали в своих песнях нашу борьбу за свободу и независимость.

Городские поэты, вышедшие из средних классов, также не оставались в стороне от этой народной традиции.

На всех индийских языках и особенно на языках урду и хинди, пенджабском и кашмирском поэзия сохраняет характерную для нее особенность: сами поэты читают свои стихи в присутствии большого числа слушателей. На урду и кашмирском языке такого рода состязания поэтов называются «мушаэра», на хинди — «кави-саммелан», на пенджабском языке — «кави-дарбар». Я называю все эти состязания одним словом — «мушаэра».

Понять важность мушаэры в специфических условиях Индии можно лишь, если учесть, что ни один поэт не станет известным, не выступая со своими стихами перед народной аудиторией. Основная причина этого, если не говорить о силе традиции, заключается в том, что подавляющее большинство народа неграмотно, а книги вследствие экономических трудностей раскупаются лишь в очень небольшом количестве. Произведения поэтов, за исключением Тагора и Икбала, выпускаются тиражом от тысячи до шести тысяч экземпляров; они распродаются обычно в течение двух или двух с половиной лет. Читая же свои стихи на мушаэрах, поэты могут обращаться к сотням тысяч людей.

Трудно сказать, как и когда возникла мушаэра. Не будет ошибкой предположить,

* Рани — жена раджи, князя; рани из Джханси — героиня национально-освободительной борьбы индийского народа.

что они родились из народной традиции, согласно которой поэт должен сам читать свои стихи. Но под влиянием города традиция эта значительно изменилась и за последние сто лет приобрела ряд особенностей.

На могольских дарбарах * также устраивались мушаэры. Там существовал особый ритуал поэтических состязаний, который не мог быть нарушен ни в одной своей детали. Присутствующие на мушаэрах располагались таким же образом, как на дарбарах. Обычно председательствовал на мушаэре бадшах или кто-либо из принцев; председатель садился посредине. Самые крупные поэты рассаживались справа и слева от него. Чем незначительнее был поэт, тем дальше от бадшаха он садился. Таким образом, поэты образовывали своего рода четырехугольник, а вдали от бадшаха, в первом ряду, сидели остальные участники дарбара, которые наряду с бадшахом составляли аудиторию.

Мушаэру открывали стихами бадшаха или председателя. Затем зажигали два светильника и ставили их перед самыми незначительными поэтами. Светильники все время передвигались, и поэт, перед которым ставился светильник, читал стихи; так продолжалось до тех пор, пока очередь не доходила до самого крупного поэта — его стихами и завершалась мушаэра.

Те мушаэры, которые проводились вне дарбаров, в домах поэтов или в домах городской знати, проходили таким же образом. На них каждый поэт должен был читать свои новые стихи.

За несколько дней до мушаэры каждому поэту вручалось двустишие. Написав стихотворение согласно размеру и рифме данного двустишия, поэты являлись на состязание и читали свои произведения, соревнуясь между собой.

После 1857 года в этот порядок было внесено первое коренное изменение: поэтам стали предлагать не двустишие, а тему. Таким образом они получили возможность выбирать по своему усмотрению размер и рифму. Это изменение было предложено основоположником современной поэзии на языке урду — поэтом Хали. Темы поэтических состязаний стали носить политический характер. В них господствовало чувство любви к родине, патриотизм. По мысли Хали, организацию поэтических состязаний нужно было изменить потому, что старый метод, при котором поэту вручалось готовое двустишие, обычно способствовал засилью романтизма и эротики. А такая поэзия уже отжила свой век. Нужна была иная поэзия, которая содействовала бы пробуждению национального самосознания индийцев.

Изменился и внешний вид состязания. Раньше слушатели — простой городской люд — усаживались на пол. Теперь для них ставились стулья. Поэты читали свои стихи с эстрады. Число присутствующих на поэтических состязаниях непрерывно росло.

С развитием национально-освободительного движения мушаэры начали устраивать и на политических митингах. Здесь читали стихи на острые политические темы. Иногда слушатели в знак одобрения того или другого произведения, прочитанного крупным поэтом, собирали деньги, которые вносились потом в фонд политической организации, созвавшей митинг. После 1930 года студенты и рабочие начали устраивать поэтические состязания на открытом воздухе. В таких случаях собиралось от пяти до двадцати пяти тысяч человек и выступало на ней до сорока поэтов. Слушатели с удовольствием рассаживались на траве под летним индийским небом, усеянным звездами.

Мушаэра начиналась, как правило, вечером и продолжалась всю ночь. В периоды политического подъема, например во время выборов, число слушателей было очень велико, а их энтузиазм достигал предела.

Можно привести такой пример. В 1952 году индийские деятели культуры созвали в Калькутте конференцию в защиту мира. Вечером началась мушаэра, на которой выступило более сорока поэтов, читавших свои произведения, посвященные борьбе за мир. Под навесом были устроены места для десяти тысяч человек. На эти места продавались билеты. Но пришло так много людей, что тысяч пять слушателей остались без мест и многие уселись прямо на траве.

После начала состязания меня неоднократно спрашивали: «Сколько поэтов будут читать стихи и до какого времени продлится мушаэра?»

Я отвечал: «Давайте проведем соревнование между слушателями и поэтами. Посмотрим, кто победит. Если вы устанете первыми, вы и окончите мушаэру. А если первыми устанем мы, поэты, то кончим мы».

Слушатели приняли вызов, и мушаэра продолжалась до семи часов утра; и хотя слушатели пришли, купив билеты, все же мы собрали среди них дополнительно пять тысяч рупий на расходы по организации конференции.

Подобные мушаэры привлекали людей всех классов, наибольшим успехом у них пользовались патриотические стихи, посвященные борьбе против империализма и защите мира.

В прошлом часто бывало и так, что поэты, читая свои произведения на собраниях, касались таких тем, о которых в печати упоминать не разрешалось.

Народ, приходящий послушать выступления поэтов, ведет себя, как правило, очень выдержанно, но когда дело касается качества самих стихов, аудитория никому не дает поблажек. По общепринятой традиции слушатели встречают одобрительными возгласами каждую понравившуюся им строфу. Иногда одобрение выражается аплодисментами, иной раз вся аудитория пов-

* Дарбар — прием у бадшаха (падишаха).

торяет строфу или часть строфы. Но так бывает не всегда. Присутствующие не останавливаются и перед выражением недовольства плохой строфой или плохим стихотворением. Поэта даже освистывают. Слушатели могут выразить свое неудовлетворение как чисто художественной стороной стихотворения, так и его политической направленностью.

Чтение стихов на мушаэре оплачивается, вот почему для многих поэтов такие состязания стали источником получения средств к существованию. Но это относится только к поэтам, пишущим на языке урду. Организация состязаний на других языках материально не может обеспечить их участников.

Наши мушаэры сыграли большую роль в пробуждении политической сознательности, в формировании общественного мнения индийского народа. В некоторых случаях они очень помогали бороться с настроениями приниженности и рабской покорности.

Не лишены интереса в этом отношении следующие факты. В 1940 году один крупный поэт, пишущий на урду, стал государственным чиновником: он поступил на службу к англичанам в отдел пропаганды департамента культуры. Примерно в 1944 или 1945 году в Бомбее состоялась большая мушаэра, в которой принял участие и этот поэт. Когда он намеревался прочитать свое стихотворение, присутствующие отказались его слушать. Поэт пытался прочитать свои старые стихи на политическую тему. Но и этой возможности ему не дали. Пришлось сесть на свое место ни с чем.

Другой случай произошел недавно в Кашмире. Среди выступавших находился поэт, чьи стихи мне были известны. Когда произнесли его имя, воцарилась тишина, ни один человек ни разу не зааплодировал. Поэт начал читать стихотворение, неплохое стихотворение, но в ответ не раздалось ни одного возгласа одобрения. Он кончил читать и сел на свое место. И хотя в ту пору в Кашмире было холодно, лицо поэта сплошь покрылось испариной.

Друзья сказали мне:

— Он был прогрессивным поэтом, но однажды поддержал реакционеров. А теперь, когда в Кашмире реакционеры потерпели поражение, он пытается восстановить свою репутацию; однако люди не желают его слушать.

Итак, поэтические состязания превратились у нас в стране в огромную силу. Эта сила подчас наносит жестокие удары по реакционным воззрениям.

В тридцатых годах среди молодых поэтов, пишущих на урду, образовалась группка декадентов, находившихся под сильным влиянием западноевропейской буржуазной культуры. Эти поэты отказались от национальных традиций и начали писать стихи, проникнутые нездоровыми упадочными настроениями. Некоторые поэты из этой группки ударились в эротизм самого худшего пошиба. Близкие им по духу критики, проникнутые теми же идейками и настроениями, пытались поддержать своих единомышленников. Одно время создалось даже впечатление, что эта группка займет преобладающее положение по сравнению со всеми остальными поэтами, пишущими на языке урду.

Но ни один поэт, как я уже говорил, не может добиться всеобщего признания, если он не участвует в поэтических состязаниях. А каждая мушаэра приносила поражение этой группке декадентов. Народ не принимал их стихов и освистывал их авторов. Учитывая такое положение, декаденты перестали посещать собрания. Они начали выступать с заявлениями о том, что мушаэры свидетельствуют об отсутствии поэтического вкуса у народа, что ни один хороший поэт никогда не примет участия в таком сборище. Но и этот маневр ничего не дал поэтам-декадентам. Сборниками их стихов интересовался чрезвычайно узкий круг читателей. А через некоторое время часть поэтов из этой группы примкнула к прогрессивным писателям; что касается тех, кто упорно отстаивал прежние взгляды, то их поэзия умерла в их собственной среде.

Для прогрессивной поэзии мушаэры послужили значительным стимулом. Популярность такого рода состязаний сказалась и в том, что им было отведено место в радиопрограммах, а это еще более увеличило число любителей поэзии.

Все эти события и факты помогли встать на правильный путь многим поэтам, ранее далеким от прогрессивных идей.

Для многих из нас мушаэра — это зеркало, в котором мы можем увидеть свое собственное изображение. Она помогает выбрать достойную форму и определить верное содержание произведений. Она призывает к тому, чтобы поэты писали стихи, которые можно читать и можно слушать.

Однако внешний успех поэта на состязаниях еще не является вполне достаточным критерием для оценки его творчества. Часто случается так, что иные поэты, используя свою дикцию, личное обаяние, голос и подобрав удачную мелодию, могут обеспечить успех и сравнительно слабому произведению. Есть у нас, следовательно, еще такие поэты, которые пишут слабые стихи, но умеют добиться популярности на состязаниях. Такая легко дающаяся популярность иногда препятствует развитию не только хорошей поэзии, но и хорошей прозы. Немало новичков в литературе, стремясь во что бы то ни стало добиться известности, вообще не пишут прозаических произведений, хотя и могут их писать, а предпочитают охотиться за славой, сочиняя посредственные стихи и выступая с ними на состязаниях.

Вследствие долголетнего господства империалистов в нашей стране многие культурные учреждения не могли получить должного распространения. У нас, например, даже в городах почти нет драматических и оперных театров, а низкий уровень жизни лишает народ возможности пользо-

ваться другими видами развлечения. Мушаэра и по этой причине тоже пользуется большим успехом. Свадьба или день рождения, крестины или вообще какой-либо праздник — все это является поводом для устройства состязания. Поскольку, как мы уже говорили, поэты, помимо всего прочего, видят в мушаэре также источник дохода, они охотно принимают в ней участие. Но слишком частые выступления отрицательно сказываются на творчестве наших поэтов.

Бывают также случаи, когда мушаэры способствуют распространению устарелых выражений, метафор и сравнений. Присутствующие обычно часто повторяют некоторые строфы вслед за поэтом. Вот почему нередко случается, что поэт, стремящийся добиться дешевой популярности, прибегает к употреблению устарелых, хотя и общеизвестных, оборотов с тем, чтобы слушатели могли легче запомнить его стихи и повторять их. Это ограничивает, тормозит развитие поэтического творчества.

Все отмеченные нами явления и вызвали сейчас в литературных кругах дискуссию о том, следует ли вообще прекратить организацию поэтических состязаний или внести в них такие изменения, которые способствовали бы дальнейшему развитию нашей литературы и, в частности, поэзии? Некоторые сторонники крайней точки зрения высказываются за полный отказ от поэтических состязаний. Это ошибочная точка зрения.

Большая часть известных наших писателей считает, что нужно уменьшить количество таких состязаний и повысить их качество. Они считают, что мушаэра должна созываться по важному поводу и ставить перед собой благородную цель. Хорошие поэты не должны участвовать в мушаэре, организуемой по любому случаю. Следует понять, что подлинная литературная деятельность не ограничивается одним лишь участием в поэтических состязаниях; необходимо уделять внимание и другим формам литературной деятельности. Только таким путем можно приумножить достижения нашей литературы.

Лично я разделяю взгляды второй группы писателей. Надо всегда помнить, что мушаэра может очень способствовать повышению уровня политической сознательности народа. Мушаэра помогает также утверждению народности в творчестве наших поэтов, приближает их к народу.

Товарищ Мао Цзэ-дун говорит о двух уровнях литературы, включая поэзию. Первый — литература начального уровня, наиболее нужная сегодня широчайшим народным массам и направляемая литературой более высокого уровня. Второй — литература высокого уровня, развившаяся на базе литературы начального уровня, и нужная тем массам, культурный уровень которых более высок. Литература высокого уровня нелегко дается народу в таких отсталых странах, как Индия, где число неграмотных еще очень велико. Мушаэра может способствовать у нас в стране сближению двух уровней литературы. Мы можем создавать образцы высокой поэзии, стремясь вместе с тем сделать ее общепонятной.

Очень важно, чтобы поэт шел вместе со своими слушателями, учитывал их критику, знал их жизнь. Слушатели и есть его читатели. Этого никогда нельзя забывать.

Мушаэры в рабочих кварталах Бомбея послужили началом нового вида литературных собраний, где писатели читают свои рассказы, а слушатели награждают их одобрительными возгласами так, как они обычно делают это в отношении поэтов. На одном из таких собраний наш известный мастер короткого рассказа Кришан Чандар одержал победу даже над поэтами. Такие собрания могут благотворно сказаться и на развитии индийской прозы.

Бомбей.

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕМИЙ МИРА

Ванда Василевская

У Эдуарда Эррио

Поезд «Мистраль», соединяющий столицу Франции с ее южным побережьем, мчится со скоростью более ста километров в час. Тихая, красочная, чарующая картина проплывает перед глазами. Зеленые поля, кудрявые рощи, голубые озера... Мелькают за окнами вагона домики в садах, ряды высоких стогов сена; проносятся станции, на которых мы вовсе не останавливаемся, либо останавливаемся на одну лишь минутку. Вот и Лион. Скорее, надо торопиться — уже без двадцати пять, а торжество вручения Международной премии мира Эдуарду Эррио назначено ровно на пять часов.

Прямо с вокзала едем в муниципальный совет. Улицы и улочки Лиона... Лион... Город славных революционных традиций, город ткачей и крупных капиталистов, город, который накрепко вошел в летопись борьбы пролетариата своими первыми в истории массовыми рабочими восстаниями в тридцатых годах прошлого столетия. Город, который на протяжении нескольких десятилетий неоднократно поднимался на борьбу и еще недавно, во время второй мировой войны, был одним из крупнейших центров Сопротивления во Франции.

Лишь мельком отмечаем его красоту. Две реки пересекают Лион — Рона и Сона. В одной вода желтоватая, мутная; в другой — прозрачная, зеленая и течение быстрое, как в горном потоке. Она несет еще в себе холод далеких ледников, из которых берет свое начало. В город как бы упирается поросшая зеленью, видная отовсюду гора — не только парки и скверы, но прежде всего именно эта гора окрашивает его в цвет радостной, сочной зелени.

Перед нами здание мэрии. Здесь пятьдесят лет назад Эдуард Эррио был впервые избран мэром Лиона и оставался им на протяжении полувека — по сегодняшний день. Только гитлеровская оккупация на время лишила его возможности исполнять обязанности главы города; после освобождения Франции Эррио снова вернулся на прежний пост, который на протяжении пяти десятков лет неизменно вверяют ему жители Лиона.

Эдуард Эррио

Огромный, роскошный зал. Величественный и суровый. Но в торжестве, происходящем здесь, нет ничего от официальной казенщины, шаблона, обрядности... Полукругом расставленные кресла. Напротив еще один ряд кресел, тоже расположенных полукругом — для членов жюри и представителей Всемирного Совета Мира. Перед одним, средним креслом, пока не занятым, маленький столик. Как в доме, где принимают близких друзей.

Под шорох разговоров вполголоса места занимают члены лионского муниципалитета, политические деятели, представители

движения сторонников мира. Кто будет председательствовать?.. Из комнаты в глубине выходит Эррио и занимает место за столиком. Он идет с трудом, больные ноги не позволяют свободно двигаться. Но голова его — это голова льва, и, глядя на его прекрасное, выразительное, полное силы лицо, трудно поверить, что этому человеку уже восемьдесят три года. И каких восемьдесят три года!.. Жизнь Эдуарда Эррио — целый период истории Франции, истории Европы. Жизнь кипучая и необыкновенная, жизнь, которая оставляет глубокие следы.

— Слово предоставляю...

Председательствует сам Эррио. В первый момент — удивление. Но так, именно так и должно быть! Он — хозяин этого дома, он является им уже пятьдесят лет, и просто нельзя себе представить, чтобы кто-либо другой в его присутствии стал здесь председателем собрания.

Восемьдесят три года... Но в этом старом человеке не чувствуется старости. В нем ощущается могучая, сознательная сила. Премию мира принимает не заслуженный патриарх, сегодня уже только почивающий на лаврах былых заслуг, а активный деятель, неутомимый борец, в котором не погас и не померк огонь веры и энтузиазма, его сердце бьется так же сильно, его разум так же светел и ясен, как и много лет назад. Несгибаемый характер Эррио, трезвый, проницательный ум не поддались влиянию времени, устояли перед всеми трудностями, какие пришлось ему переживать и преодолевать. Его жизнь — это цепь побед и поражений. Но ни одна победа не успокаивала его, не снижала его активности, ни одно поражение не сломило его, не ввергло в уныние.

Высоко под потолком сверкают золотом огромные люстры. В зале — торжественная тишина. Слышен только голос оратора. Затаив дыхание, переживают присутствующие эту величественную минуту. Видится длинный путь, по которому шел этот человек, шел последовательно и неустанно — с ранней юности и по сегодняшний день. А путь его был таким, что сегодня в этом зале с почтением склоняют перед ним головы и обращаются к нему со словами уважения и любви не только посланцы партии радикалов, во главе которой он стоял и стоит столько лет, но и коммунисты, и социалисты, и беспартийные — представители совершенно различных политических взглядов, разных стран и наций.

Ранняя молодость и сегодняшний день... А между ними — нескончаемый путь, отмеченный славными делами. Нескончаемый — ведь только вчера раздавался во французском парламенте сильный, молодой голос Эррио, когда он выступал против ратификации парижских соглашений, когда говорил, что дружба с Советским Союзом — в интересах Франции, необходима Франции. А завтра, на Ассамблее народов в Хельсинки, прозвучат пламенные слова его послания, слова солидарности с волей народов, слова в поддержку великого дела мира...

Выступления Эррио как вехи в истории Франции. Ведь именно он тридцать лет назад, когда молодая Советская республика, окруженная кольцом врагов, лишь закладывала фундамент нового государства, требовал установить с ней дипломатические отношения. Ведь именно он как глава французского правительства тридцать лет назад требовал и добивался этого, исходя из блага Франции и руководствуясь стремлением укрепить дело мира в Европе. Ведь именно он с возмущением возвратил свой орден Почетного Легиона после того, как та же награда была вручена двум французским предателям, воевавшим в 1942 году в рядах гитлеровской армии против Советского Союза.

— Более тридцати лет назад я был впервые в Советском Союзе. Я увидел страну, узнал народ. Великая страна и великий народ. И потому для блага своей родины, для блага мира я требовал дружбы и хороших отношений с советским народом. Всю жизнь я оставался верен тем чувствам, какие владели мной тогда, той идее, какая направляла меня тогда. Я ни разу не пожалел о том, что говорил тогда, и сегодня повторяю то же самое, как повторял много раз в трудной, сложной обстановке на протяжении минувших тридцати лет, — говорил Эррио, отвечая на выступления членов жюри.

Да, очень редко буржуазный политик, оглядываясь на свой жизненный путь, вправе утверждать с чистой совестью, что не предал ни идеалов, ни убеждений, ни взглядов своих, что не согнулся под любым нажимом, когда речь шла о делах, которые он считал самыми основными, самыми важными. А самым важным делом для Эррио всю жизнь была Франция и благо Франции. И он всегда верил, что это неразрывно связано с делом мира в Европе, дружбой с Советским Союзом, борьбой против возрождения германского милитаризма.

И потому премия, какую вручают Эррио в этом зале, выражает глубокое уважение к этому славному французу, представителю лучших традиций страны, являющейся страной революции, страной Парижской Коммуны, страной известнейших писателей, выдающихся ученых. Почет, оказанный политику Эррио, явился данью уважения его деятельности, которая никогда не диктовалась игрой самолюбия, не служила ступеньками карьеры, а всегда была верным и преданным служением своей стране и благу человечества. И потому одинаково взволнованно звучали выступления представителей и Франции, и Советского Союза, и Германии, прибывших сюда, чтобы от имени жюри, присуждающего Международные премии мира, вручить Эррио диплом и медаль.

В ответ говорит Эррио. О своей борьбе, о своем жизненном пути. Просто, непо-

средственно, скупо... Но в этих простых, скупых словах встает перед нами вся его славная жизнь.

Юноша, несмотря на материальные затруднения, своими силами добившийся образования. Молодой человек, от всей души выступающий в защиту Дрейфуса; в ту пору голос его звучал в унисон с голосами Эмиля Золя, Жана Жореса, Анатоля Франса. Это первое большое сражение, в котором Эррио борется за честь Франции, за справедливость и уважение к человеку.

Мэр Лиона. Годы труда, затраченного на переустройство города, его подъем, на создание человеческих условий жизни для его жителей.

Министр в 1916 году... Сенатор... Посол... Длительная борьба против официальной политики правительства: в течение пяти лет Эррио возглавляет парламентскую оппозицию. Глава правительства в 1924 году, того правительства, которое признало страну Советов и установило с ней дружественные отношения. Борьба за мир, проект, предложенный в Лиге Наций, в котором Эррио выдвигает свой «триптих»: «арбитраж, безопасность, разоружение».

Год в парламенте, затем снова — глава правительства. Борьба и уход в отставку. И в третий раз — глава правительства. С 1936 года — председатель палаты депутатов.

Немецкая оккупация... Продажная клика Виши... С возмущением отвергает Эррио предложение принять участие в капитулянтских махинациях. В 1942 году он посылает Петэну письмо, в котором публично обвиняет его в предательстве, в нарушении конституции, подавлении свобод, в измене Франции.

Ему отвечают преследованиями. Надзор. Тюрьма — одна, вторая, третья... Затем снова попытка привлечь его к участию в предательском правительстве, снова отказ — и снова тюрьма....

В апреле 1945 года Советская Армия освобождает из тюрьмы в Потсдаме Эррио и его жену, верную подругу жизни. И через Советский Союз возвращается он на родину, где неизменно верный ему Лион вновь избирает его мэром. Снова становится он председателем Национального собрания. И с новой силой начинает борьбу — за благо и счастье Франции, за мир.

— Мне уже немного осталось жить. Но я еще многое могу сделать, должен сделать и сделаю,— говорит Эррио.

Да, безусловно сделает! Грозной силой звучат его слова. И это не пустые слова.

Сверкают золотом люстры под потолком зала. Лежит тень в складках пурпурного бархата. С влажными глазами сидят люди, слушая Эррио. Факты, даты — сколько заняло бы места и времени одно их перечисление!.. Но какое же представление о жизни этого человека может дать один лишь сухой перечень фактов и дат! Сколько вихрей и бурь, сколько труда, страданий и несгибаемой воли кроется в каждом предложении, в каждом кратком определении: «руководитель оппозиции», «глава правительства», «узник»...

А ведь борьба еще не окончена.

— Я никогда не забуду тех, кто находится в этом зале. И никогда не забуду тех, кого здесь нет, хотя они должны быть...

Принятие премии мира Эдуардом Эррио вызвало бурю в реакционной печати. Он не испытывал недостатка в отвратительнейших нападках, нелепейших обвинениях, гнуснейших инсинуациях...

Он знал, что так будет. «Я выразил согласие на принятие премии, прекрасно сознавая, что́ делаю и какими это чревато последствиями»,— сказал Эррио. Нет, он не испугался лая продажных шавок, как никогда не боялся смело и открыто выражать свои убеждения и свою веру.

Вечером в Лионе большой митинг. В честь Эррио, в связи с приближающейся Ассамблеей народов в Хельсинки. Здесь весь Лион, вся Франция — настоящая Франция! — празднует торжество вручения награды своему славному и преданному сыну.

Мы уезжаем, очарованные Лионом — живым, кипучим, полным цветущих роз на зеленых склонах, шумящим двумя своими реками. Очарованные большим человеком — таким простым, таким правдивым, таким исполненным веры и силы. Уезжаем, думая о том, что идея жизни побеждает старость, а идея мира собирает вокруг себя все лучшее, что есть у всех народов, во всех странах.

Отклики, встречи, впечатления

Ярослав Ивашкевич

Письма из Южной Америки

Публикуемые нами в сокращенном виде два очерка известного польского писателя и общественного деятеля Ярослава Ивашкевича взяты из его книги, вышедшей в Польше в конце 1954 года. Основой книги явились впечатления от поездок в Южную Америку, которую Ярослав Ивашкевич посетил дважды — в 1948 году (для участия в конгрессе Союза писателей и композиторов в Аргентине) и в 1953 году (для участия в континентальном конгрессе деятелей культуры в Чили).

I. ГОРДЫЙ ГОЛОС НАРОДА

Южная Америка — великолепный континент, пробуждающий огромный интерес у каждого, кто его посещает.

Несколько лет назад, когда я ехал туда впервые, я еще ничего не знал об этой части земного шара, не знал ни стоящих перед ней проблем, ни ее прошлого, ни настоящего.

Теперь я иначе смотрю на все эти вопросы. Многому научила меня «Всеобщая песнь» Пабло Неруды, а еще большему — конгресс деятелей культуры, в котором я участвовал. Как я благодарен тем, кто предоставил мне возможность совершить это чудесное путешествие, столь плодотворное для меня! «Век живи, век учись» — говорят русские. В самом деле, мои поездки в Южную Америку необычайно расширили мой кругозор и очень многому меня научили.

Я стал понимать граждан Бразилии, Аргентины и Чили и, кажется, уже нахожу доступ к их сердцам.

Когда в заключение своей речи на открытии конгресса я привел слова великого поэта Рубена Дарио* о «гордом голосе» Южной Америки, зал прервал меня громкими рукоплесканиями. Вот эти слова: «Со всех концов нашей пламенной земли из взволнованных сердец пробивается сегодня гордый голос...» Действительно, эта первая в истории Латинской Америки ассамблея деятелей всех областей культуры — писателей, поэтов, журналистов, врачей, юристов, художников, музыкантов, киноработников — проходила под знаком справедливой гордости великой южноамериканской культурой и стремления обсудить все, что мешает развитию этой культуры.

Для иностранца, мало сведущего в проблемах, волнующих народы Южной Америки, совершенно неожиданным является тот факт, что граничащие друг с другом страны с общим (за исключением Бразилии) испанским языком, отделены друг от друга стеной неприязни, недоверия и попросту даже неведения. Так, например, в Аргентине или Мексике не знают чилийских писателей — их книги не проникают в другие страны. Сказывается также отсутствие единого общепризнанного культурного центра.

В совершенно особом положении находится Бразилия, отделенная от своих соседей еще и различием языка. Замечательный бразильский писатель Жоржи Амаду, хорошо известный в Европе и пользующийся огромной популярностью у себя на родине, мало известен в других странах этого континента, например в Чили, хотя книги его переведены на ряд языков.

Убедительным примером и вместе с тем одной из причин изолированности южноамериканских республик является отсутствие путей сообщения между пятью небольшими центральными республиками. Это маленькие страны — Коста-Рика на-

* Дарио Рубєн (1867—1916) — известный латиноамериканский поэт, уроженец Никарагуа.

считывает 800 000 жителей, Никарагуа — 1 200 000. Каждая из них в отдельности связана пароходным и железнодорожным сообщением с Соединенными Штатами, но между собой эти республики сообщения не имеют.

В каждой отдельной, даже самой маленькой стране культурная жизнь идет своим чередом; обособленное и часто весьма жалкое существование влачат театр, кинематография, литература, живопись.

Нет сомнения, что рука империалистов умело поддерживает эту разобщенность и соперничество, которое приводит иногда к кровавым столкновениям, подобным недавней войне за Гран Чако между Боливией и Парагваем. Вследствие такой политики, направляемой извне, до сих пор были безуспешными попытки достичь взаимного понимания и подлинного сотрудничества между государствами Южной Америки.

Неудивительно поэтому, что конгресс культуры в Сант-Яго вызвал бешенство некоторых кругов в Соединенных Штатах. Издаваемая в столице Чили реакционная газета «Меркурио» уже за много недель до открытия конгресса ежедневно печатала на первой полосе статьи с яростными нападками на конгресс и его организаторов, впрочем, это заменило рекламу, к которой не сочли нужным прибегнуть его организаторы. В результате конгресс пользовался огромной популярностью: на его открытие и закрытие в городской театр столицы пришло множество жителей Сант-Яго. Столь же огромную аудиторию привлекли поэтические «речитали» Пабло Неруды и кубинского поэта Николаса Гильена, как и лекция о современной живописи, прочитанная Диего Ривера, известным мексиканским художником, автором знаменитых фресок.

Участники конгресса прекрасно отдавали себе отчет в угрозе, какую представляет для Южной Америки «импортная», как здесь говорят, культура. Огромная опасность грозит и экономике: в руках иностранных капиталистов, главным образом американских, находятся шахты, медь, селитра, нефть, плантации какао и бананов, а также все коммунальное хозяйство — электроэнергия, газ — и частично железные дороги. Во время моего пребывания в Сант-Яго широко обсуждался вопрос о введенных в этом городе ограничениях в пользовании электроэнергией. Подобные ограничения в нашей стране — вполне естественная забота граждан о государственных нуждах, экономия, необходимая для блага общества. В Сант-Яго это проводится ради выгод какой-нибудь иностранной фирмы и, понятно, не может вызвать одобрения жителей.

Прогрессивные деятели Южной Америки ведут неуклонную борьбу с неграмотностью, достигающей в некоторых южноамериканских государствах устрашающих размеров (в Бразилии 70% неграмотных). Однако местные власти, действующие по указаниям извне, отнюдь не поддерживают эту борьбу.

Все южноамериканские патриоты, заинтересованные в развитии и подъеме отечественной культуры, хотят, чтобы в основу развития культуры были положены великие традиции народов Южной Америки. Причем эти традиции понимаются ими очень широко — не только как испанские и традиции колониальных времен, но и как традиции, опирающиеся на доколумбийские культуры и уцелевшую культуру немногочисленных, вымирающих индейских племен. Особенно живы в Чили традиции арауканских индейцев. В поэзии Пабло Неруды ясно видна связь с традициями этого племени.

Во всей Южной Америке наблюдается стремление изучить, вырвать из забвения культуру туземных племен, или, как здесь говорят, «аборигенов»; там, где сохранились многочисленные следы существования бывших негритянских рабов, как в Бразилии, на Кубе, изучается «афро-американская» культура. Крупный мексиканский художник Диего Ривера в одной из своих лекций в Сант-Яго сказал:

«Индейской и доколумбийской культурами занимаются археологи. Но ведь это же XVI и XVII столетия! Какая же это археология? Это история и притом новая. Взгляните на наши лица. Ведь все мы — индейцы!»

Одним из интереснейших докладов на конгрессе был доклад профессора Александра Липшюца, крупного специалиста по гормонам и раковой болезни, биолога с мировым именем. Этот ученый наряду со своей специальностью занимается исследованиями в области антропологии, этнографии, в области культуры индейских племен Южной Америки. Майя на Юкатане, яманы и алакалуфы на Огненной Земле — его добрые знакомые. Он жил среди них, изучал их обычаи, язык, верования; собрал превосходную библиотеку по этим вопросам и может подолгу беседовать обо всем этом. Часы, проведенные в доме этого ученого, были наиболее увлекательными и поучительными за всю мою поездку.

На конгрессе Липшюц сказал: «Совершенно очевидно, что миллионы мексиканских, гватемальских, перуанских и боливийских индейцев хотят остаться индейцами... Когда мы говорим о культурных ценностях, мы имеем в виду моральные и физические факторы, облегчающие людям совместную жизнь, обогащающие их быт и помогающие им покорить природу. Мы считаем, что такие национальные группы должны найти свое место в мире... Коренное население Южной Америки со времени нашествия испанцев стояло на страже своего языка. Уже в книге племени майя «Чилим Балам» содержится предостережение об опасности соприкосновения с языком «белых бородачей»... Фольклор, народные предания и верования — вот что должно стать главным предметом общественной опеки, и всякая администрация, сознающая свою ответственность, не должна этому мешать или

противодействовать. И если мы хотим обогатить жизнь наших народов исконной энергией, которая таится в этих источниках, мы должны содействовать развитию народного искусства и культуры, оказывать государственную помощь, сполна использовать их для культурного блага всего народа».

А эта «исконная энергия» — неисчерпаема, необычайно свежа, пульсирует правдой глубоких народных переживаний. Для доказательства этого достаточно привести в пример народные песни «аборигенов», которые известная певица Марго Лойола собирает в самых глухих краях. Кто слышал в исполнении этой молодой, но уже много сделавшей для южноамериканского искусства артистки любовную песню с островов Пасхи (Рапануи) или волшебную песню арауканских индейцев в сопровождении барабана, тот понимает, какие сокровища таятся в недрах этого великолепного континента. Столь же огромным достижением в области «афро-американской» культуры является творчество кубинского поэта Николаса Гильена. Корни его поэзии следует искать в негритянских песнях, фольклоре, в импровизированных песенках. Все, что есть на Кубе народного, Гильен, благодаря своему замечательному мастерству, своему пониманию простого человека и умению проникнуться его чувствами, поднял на уровень своей высокой гуманистической поэзии. Его простые, ясные, понятные и вместе с тем мастерские стихи являют собой прекрасный пример связи писателя с народным творчеством. Они пользуются огромной популярностью во всей Южной Америке.

Данью уважения к традициям индейцев было употребление на конгрессе в качестве пятого официального языка — гуарани, то есть языка, на котором говорит наиболее многочисленное и самое культурное индейское племя, проживающее в Бразилии, Боливии и Перу...

Деятель бразильского кино Хосе Ортис Монтейро привел цифры, поразившие не только меня, но и некоторых жителей Южной Америки. Монтейро напомнил, что Бразилия занимает третье место на рынке сбыта американских фильмов. В 1952 году было продано в одном лишь Сан-Пауло пятьдесят миллионов билетов в кинотеатры. На приобретение голливудских фильмов ежегодно затрачиваются средства, равные стоимости двух миллионов мешков кофе, то есть одной трети всего урожая кофе в штате Сан-Пауло, являющемся самым крупным поставщиком кофе в Бразилии.

«Мы бы не стали отчаиваться по поводу такого расточительства, — сказал Монтейро,— если бы эти фильмы были поучительны, помогали нам воспитывать молодежь, расширяли ее кругозор. Но в нынешних условиях мы должны призывать к созданию отечественных фильмов, основанных на нашей прекрасной истории. Мы хотим, чтобы в наших кинотеатрах демонстрировались фильмы, отражающие своеобразие наших стран, нашу жизнь и наши обычаи, показывающие наших людей и наши прекрасные пейзажи...»

В великолепном патетическом стихотворении, адресованном несколько десятков лет назад президенту Соединенных Штатов — Теодору Рузвельту, поэт Рубен Дарио с большим достоинством и темпераментом выступил (уже тогда!) против попыток Северной Америки воздействовать на судьбу Юга. Это стихотворение подтверждает слова, что «поэт предчувствует больше, чем знает мудрец». В те времена оно отразило главным образом личные чувства Дарио; теперь оно звучит как весьма актуальный призыв. Граждане Латинской Америки слышат в нем свой голос, видят в нем призыв к защите древней культуры свободолюбивых республик.

Страны Южной Америки прекрасны и богаты, многое в них достойно любви и одобрения. Огромная Бразилия, простирающаяся от широкого русла Амазонки до Ла Платы, со своими девственными лесами, богатейшими плантациями кофе, хлопка, какао, страна, воспетая поэтами, описанная в великолепном «какаовом» эпосе Жоржи Амаду, изображенная в картинах отлично го художника Кандидо Портинари, который, как никто другой, подметил ее своеобразие! Аргентина — со своей величественной столицей; причудливый облик залитого солнцем Чили с его цепями гор, со стоящим на страже белоснежным Аконкагуа! А маленькие республики Центральной Америки! Иоакин З., костариканец, поселившийся в Чили, наш большой друг, неутомимый собеседник и превосходный писатель, часами может повествовать о «сладостном изгибе Америки», как называет эту часть своего континента поэт Неруда. Иоакин рассказывает мне о городе Сан-Хосе, столице Коста-Рики, о змеях, трясинах, непроходимых лесах, замечательных плодах.. И во всех этих странах живут трудолюбивые люди, энергичные, способные, но подавленные и жестоко эксплуатируемые. Чилийские рабочие медных и селитровых рудников, батраки на бразильских плантациях кофе и какао, добыватели перуанского серебра, боливийские животноводы, выводящие шерстоносных лам,— все это нищие, изнуренные эксплуатацией, обреченные на прозябание и живущие в таких бытовых условиях, каких не знают рабочие даже самой отсталой европейской страны. В таком же положении находятся туземцы — потомки великолепных когда-то майя на Юкатане, кабокли и гуарани в Бразилии, арауканцы в Чили и, наконец, остатки каких-то океанских племен, прозябающие на Огненной Земле...

Негритянские жилища в Рио-де-Жанейро расположены на взгорье, возвышающемся над лучшими пляжами мира; они, по крайней мере, окружены прекрасными лесами, где так своеобразно шелестят или шепчутся широкие пальмовые листья, ра-

стут банановые деревья и пламенеют красные цветы гибискуса. Что же касается хижин из фанеры или картона, которые жители Сант-Яго или Вальпарайсо сколачивают для себя по ночам (днем полиция запрещает это делать), то эти хижины просто потрясают своим ужасным видом. А ведь из таких домиков состоят целые районы! Какой контраст по сравнению с красивыми особняками богатых обитателей Сант-Яго, расположенными посреди садов, полных цветов и экзотических фруктов, или с изящными виллами городского типа в приморской местности столь красиво названной «Винья дель мар»—«Морской виноградник»!..

Население нищенских районов в городах, а также примитивных деревень чрезвычайно талантливо. Деревенская керамика окрестностей Сант-Яго (поселок Помайре), серебряные и медные изделия, нежнейшие цветы, сплетенные из конского волоса, наконец, ткани и бронзовые украшения арауканских индейцев говорят о высокой степени одаренности этих бедняков, в большинстве своем неграмотных, но верных традициям древнего южноамериканского искусства. Я говорю здесь о районах, где не сохранились памятники старинной, доколумбийской культуры. Там же, где они имеются, как, например, в Мексике, они оказывают сильное влияние на художественное творчество и наравне с современным фольклором способствуют рождению таких замечательных явлений, как расцвет стенной живописи, которой с успехом занимается группа художников во главе с Диего Ривера и Сикейросом.

Но прежде всего нужно сказать о музыке и песнях. Музыка сопровождает южноамериканского рабочего и крестьянина всегда и везде, от колыбели до гроба; в ней звучит веселье танца и грусть тяжелой доли простого человека, затерянного в пампасах, горах и рудниках. Песни под гитару, столь характерные для Южной Америки, по-своему звучат в каждой республике, в каждом уголке. Одни особенности у них в аргентинских степях (с этими песнями я познакомился еще раньше, в Европе), другие — в жаркой Бразилии. Меня знакомит с ними Зелия Амаду, жена писателя, превосходная исполнительница песен своей родной страны. Огненная «венецуэляна», которую танцует на народном гулянье Иоакин, звучит совсем иначе, чем изящная и живая, полная неожиданной импровизация «куэка», которую пляшут чилийцы, позванивая огромными серебряными шпорами...

Какие несметные богатства культуры таит в себе этот могучий и запущенный континент, объект беззастенчивого грабежа и подлых интриг империалистических держав, где за всякого рода кровавыми дворцовыми переворотами всегда скрывается рука какой-либо крупной компании или могущественного акционерного общества.

> Вот президент убит
> за каплю нефти,
> вот ипотека на мильоны
> гектаров, вот расстрел поспешный...

как говорит в своем стихотворении «Стандард Ойл Компани» Пабло Неруда.

Перед южноамериканскими патриотами стоят огромные задачи, но перед ними открыты и огромные возможности. Они понимают величие этих задач и стремятся создать культурное единство всей Южной Америки — от Мексики до Патагонии и Огненной Земли. Несколько десятков лет назад голос Рубена Дарио был голосом вопиющего в пустыне, одиночество привело несчастного поэта к отчаянию. Он умер непонятый, всеми покинутый и нищий. Теперь деятели, взявшиеся за почетную задачу — пробудить национальное самосознание южноамериканских республик и противопоставить отечественную культуру поверхностной культуре комиксов и гангстерских фильмов,— уже не одиноки. Они пользуются могучей поддержкой народов, все сильнее осознающих свое значение. Гордый голос южноамериканской интеллигенции уже не теряется в девственных лесах, пампасах и горных ущельях. Ему отвечает столь же гордый голос народа: «Мы здесь! Мы бодрствуем!»

II. О ПОЭЗИИ ПАБЛО НЕРУДЫ

Во время моей поездки мне случалось довольно часто встречаться с поэтом Пабло Нерудой. Удивительный человек! Поэт большого таланта. Его новые поэтические произведения, посвященные стихиям, как и недавно изданные поэмы о европейских странах, среди которых и Польше отведено поэтом почетное место,— это поистине что-то необыкновенно прекрасное, сильное, рожденное подлинным вдохновением. Неруда любит говорить о своих стихах. Я быстро обнаружил эту черту и вызываю его на очень интересные беседы.

Живет он в отдаленном районе, в доме с прелестным садиком, откуда, конечно, открывается вид на Анды; есть нечто трогательное в окружающих дом старых деревьях, благородных каштанах и «пальтос», в поздних цветах и плодах. У Неруды большая библиотека и еще бо́льшая коллекция раковин.

Как это характерно для человека, воспевшего Великий океан!.. Он собрал тысячи раковин — от самых крошечных до самых крупных. Какие здесь краски и формы! Создавая эти чудеса, природа словно изощрялась, как самый искусный художник. Одни раковины цвета зари, другие

цвета фиалки, а формы — самые причудливые. С этими раковинами, как со стихами Неруды, можно провести много чудесных часов.

Я пытаюсь объяснить Неруде, с какими трудностями мы столкнулись при переводе его большой поэмы «Всеобщая песнь».

Коллектив переводчиков, решивших перевести эту поэму на польский язык и дать польскому читателю образ и подобие великолепного творения южноамериканской литературы, поставил перед собой нелегкую задачу.

Пробую объяснить Неруде, что это вопрос принципиальный, касающийся вообще перевода стихов.

Уже не раз задумывались над тем, переводимы ли стихи. Можно ли передать на другом языке комплекс понятий и звуков, ритмизованный в той манере, которая присуща данному языку? Могут ли вполне соответствовать подлиннику ритм и созвучие определенных, выраженных в стихотворении понятий? Не каждому дано свершить такое трудное дело, как русский перевод древнеисландской «Эдды», выполненный профессором Свириденко. Как известно, версификация «Эдды» основана на аллитерации. Профессор Свириденко стремился сохранить в своем переводе аллитерации этой северной поэмы даже на те же звуки, причем в большинстве строф это ему удалось!

Мне лично такого рода рассуждения о возможности и целесообразности стихотворных переводов представляются ненужными, умозрительными. Я привык считаться с фактами, а бесспорным фактом является наличие ряда превосходных стихотворных переводов, вполне соответствующих подлиннику и отражающих его, как в зеркале, причем переводы эти сделаны зачастую на язык, весьма отличающийся ритмическими и звуковыми формами от языка оригинала. Я не говорю здесь о тех исключительных случаях, когда сам переводчик — гениальный поэт и когда возникают такие шедевры, как «Стойкий принц» Кальдерона в переводе Словацкого или пушкинский перевод «Будрыса и его сыновей» Мицкевича. Близкие к совершенству переводы нередко встречаются и у средних поэтов; их оригинальное творчество ничем не замечательно, но они наделены тонким чувством слова. У нас такими переводчиками были Мириам и Порембович. Мириамовские переводы «Пьяного корабля» Рембо или «Чудесного клоуна» Теодора де Банвилля* являются неопровержимым доказательством того, что переводы поэтических произведений не только имеют право на существование, но вполне оправданы и глубоко обоснованы.

Мы говорим с Нерудой о сложности перевода эпических поэм. Ведь эпос — это целый мир, полный не только мыслей и звуков, но и весьма конкретных образов. Каждая эпическая поэма насыщена реалиями. Они-то и служат камнем преткновения даже для самых лучших переводчиков. Представим себе, например, испанский перевод «Пана Тадеуша». Как справился бы поэт, воспитанный на Гонгоре* или Кальдероне, с нашим, столь далеким для него, шляхетским миром? Даже значительно более близкий нам немецкий переводчик шедевра Мицкевича не преодолел специфики известной строки:

Литовский холодец в молчаньи дружном ели—

и переводит ее следующим образом:

Und sprechen der Lithauersuppe schweigend und tapfer zu...**

А между тем перевод «Пана Тадеуша», выполненный Липинером, можно считать образцом точности и находчивости!

Перевод «Всеобщей песни» представлял огромные трудности; в этой поэме лирика соединяется с эпикой, и польский переводчик вынужден был не только пробираться сквозь дебри совершенно чуждых ему реалий, но и передать специфический лирический тон, столь характерный для чилийского поэта.

«Всеобщая песнь»— произведение весьма своеобразное. Подобно неизвестному материку, вырисовывается в нем весь огромный южноамериканский континент со своей географией, природой, со своей столь драматической историей, и, наконец, со всей своей современностью и, как сказал великий предшественник Неруды Рубен Дарио, «гордым голосом» Латинской Америки, требующим равноправия среди народов мира. В этой поэме Неруда вводит героев своей родины и континента в Пантеон и делает это во всеоружии многовековой литературной и культурной традиции, не только исторической, но и общеевропейской, не только европейской, но и чисто американской, доколумбийской и индейской...

Начиная с географического пейзажа этой прекрасной земли, нашествия испанцев и покорения первобытных государств до последних политических событий и заключительной главы «О себе», являющейся поэтической автобиографией Неруды, эта поэма-река течет с неослабевающей силой. Она написана свободным, нерифмованным стихом, своеобразным звучным «нерудовским стихом», подчиняющимся собственным правилам. Этот, казалось бы, «освобожденный» стих насыщен огромной поэтической традицией. Опытный слух различит в нем эхо поэзии Кальдерона, Гонгоры и Рубена Дарио. Польские переводчики, хорошо знакомые с французской лирикой, об-

* Теодор де Банвилль (1823—1891) — французский поэт, чье творчество характеризуется изысканностью формы.

* Гонгора-и-Арготе Луис де (1561—1627) — испанский поэт. Стихи его отличались крайней изощренностью и вычурностью.

** И молча, бодро ели литовский суп.

наружили в нем не один отголосок Виктора Гюго и Жерара де Нерваля*... Менее знакомые с традициями испанской поэзии, они, несомненно, проглядели не один отзвук неизвестной нам испанской литературы...

Я говорю Неруде о непреодолимых трудностях, таящихся в реалиях. Так, например, понятие юга, связанное для нас с понятием тепла, для чилийского поэта отождествляется с понятием холода. Это ловушка, из которой невозможно выбраться. Для Неруды южное море, южный ветер, астральное дуновение ассоциируются с холодом. Когда же мы говорим «южное море», то перед нашим умственным взором возникает средиземноморская или крымская лазурь, мы чувствуем веяние Черного моря...

То же самое можно сказать о растительном и животном мирах. Там, где Неруда пишет «бабочка музо», мы вынуждены добавить «голубая бабочка музо», где он пишет «великолепное дерево хакаранды», мы должны добавить «фиалковое дерево хакаранды». Дело в том, что для поэта привычны и яркоголубая бабочка музо, и осыпанное фиалковыми цветами дерево хакаранды: само название говорит ему о цвете. Неруда, например, говорит «коричное дерево», но текст не объясняет нам этого сложного образа поэмы. Я понял его лишь после одной из бесед с Нерудой. Коричное дерево было у инков королевским деревом, символом их власти; одновременно ветка этого дерева была ветвью мира, вроде нашей оливковой ветви. Нужно хорошо вжиться во все эти понятия (с которыми, как я убедился, и не всякий чилиец знаком), чтобы само название дерева вызывало в нас настроение, отвечающее настроению поэта.

Название «араукария» вызывает у поэта, как, впрочем, и у каждого чилийца, совсем другие представления, чем у нас. Для нас — это скромное растение, которое нередко можно увидеть на окне провинциальной квартиры; для Пабло Неруды — это высокое, могучее дерево, одиноко растущее в диких горах южного Чили, как мшистые лиственницы на швейцарских утесах...

Название этого дерева связано со страной арауканцев, сильного индейского племени, единственного не покоренного испанцами. Араукания — родина Неруды, в его жилах течет кровь мужественных ее обитателей. Понятно, какую огромную эмоциональную нагрузку заключает в себе само название, самый образ одинокого дерева, часто повторяющийся в поэме.

То же самое относится к историческим личностям. Трудно передать эмоциональные ассоциации, возникающие у жителей Южной Америки в связи с фамилиями Боливара, О'Хиггинса, Сан-Мартина**. Уже одни имена таких гнусных диктаторов, как Росас в Аргентине или Франсиа в Парагвае, вызывают у них чувство отвращения и ужаса...

Мы не осознаем ввиду своей неосведомленности всей силы революционного порыва и всех социальных, национальных и экономических факторов, которые приводили к войнам за освобождение от испанского ига. С другой стороны, нам недостаточно известна история так называемой конкисты, то есть завоевания американских континентов и островов «белыми бородачами», как прозвало захватчиков напуганное их появлением местное население. Теперь трудно даже представить себе размеры этой катастрофы, напоминавшей, если говорить образно, нечто вроде нашествия марсиан на Землю, описанного в «Борьбе миров» Уэллса.

Оголосок этой истории можно легко обнаружить в поэме Пабло Неруды, притом не только в песне, названной им «Конкистадоры».

Будучи человеком из народа, другом народа, защитником народа, Неруда всем сердцем на стороне истребляемых, преследуемых, уничтожаемых индейцев. Его герои — араукапец Лаутаро*, убийца Вальдивии, основателя Сант-Яго, или последний потомок инков — Тупак Амару**. С другой стороны, все творчество Неруды основано на испанских образцах, испанскими являются его язык и культура. Поэтому отражение некоторых исторических процессов в поэме вызывает впечатление диссонанса, как бы слышится звук надтреснутого колокола. Он еле уловим, но, несомненно, придает определенную окраску всей огромной поэме.

Следуя традициям испанской поэзии, Неруда часто играет звуками и созвучием слов. Передать это на польском языке невозможно. В музыке звук «ля» на виолончели отличается от «ля» на рояле благодаря обертонам, созвучным основному тону. У каждого слова имеются обертоны, но

---

* Жерар де Нерваль (1808—1855) — французский поэт.

** Боливар Симон (1783—1830) — один из виднейших борцов за независимость испанских колоний в Центральной и Южной Америке; О'Хиггинс (1776—1842) — чилийский патриот, генерал, борец за независимость Чили; Сан-Мартин Хосе (1778—1850) — выдающийся генерал, один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Южной Америке, провозгласил независимость Перу и Чили и отменил там рабство.

* Лаутаро — вождь арауканцев в их освободительной войне против испанских колонизаторов; Вальдивия Педро де — испанский конкистадор, первый губернатор Чили. Убит восставшими индейцами в 1569 году.

** Кондорканки Тупак Амару — вождь самого крупного крестьянского восстания конца XVIII века в Перу. Восстание потерпело неудачу, и Тупак Амару был казнен в 1781 году.

для испанского языка они одни, для польского — другие. Когда Неруда называет море «саль сальвахе» — «дикая соль», то эта необычная метафора продиктована музыкальным сочетанием двух слогов «саль». Перед такими сочетаниями переводчик бессилен, а их у Неруды множество. Любой перевод, как, например, «горькая глубина», не передает такого сочетания. Впрочем, иногда мы ошибаемся, принимая нерудовские выражения за словесную игру. Так, например, в известной «Куэка», танцевальной песне, посвященной памяти партизана Мануэля * (я слышал ее в Сант-Яго в сопровождении гитары), перечисление деревень, через которые проезжал партизан, можно принять за словесную игру поэта, за любование комбинацией чарующих звуков. Между тем здесь я узнал, что эти деревни — Мелипилья, Помайре, Ранкагуа, Талаганте — поселки, расположенные поблизости от Сант-Яго, и их выбор продиктован отнюдь не любовью Неруды к игре словами, а самой географией. Польские названия, соответствующие этим звонким словам, следовало бы искать среди местностей близ Варшавы, таких, как Блоне, Сохачев, Прушкув, Гродзиск. Как мы видим, это привело бы нас к совершенно иному, и весьма сомнительному, результату.

Мы перечисляем все переводческие трудности, в большинстве своем непреодолимые, отнюдь не для того, чтобы доказать невозможность перевода «Всеобщей песни» на польский язык. Все это детали, тонущие в чаще великой поэзии. Переводчиков захватило, как, несомненно, захватит и польских читателей, великолепное поэтическое русло, проходящее через всю грандиозную поэму. Поэзия Пабло Неруды непрерывно мчится вперед то как быстрый горный поток, то как величественная, полноводная река. Хотя автор «Всеобщей песни» любуется звучанием слова, музыкальность стиха никогда не является для него самоцелью. Неруду захватывает пафос исторического развития Южной Америки и пафос сегодняшнего дня. Его поэма — величайший пеан во славу жизни, а сущность ее — любовь к свободе и миру, защита человека от эксплуатации, гуманистический идеал счастья человечества. Неруда — великий реалист, и даже в наиболее сложных, наиболее личных частях поэмы он никогда не теряет почвы под ногами. Самые лирические части его поэмы всегда означают нечто конкретное, описывают какое-то событие, отражают какой-либо факт, рассказывают о точных и ощутимых вещах. В этом отношении характерны главы «Макчу Пикчу» и «Великий океан». Эти прекрасные песни, наиболее ценимые на родине поэта, быть может, покажутся поверхностному читателю плодом буйной, хотя и великолепной фантазии певца колумбова континента. Однако при более вдумчивом ознакомлении с этими замечательными поэтическими текстами обнаружится, что в их основе — вполне реальные и конкретные факты.

Один из наших писателей в статье о «Всеобщей песне» упомянул о фантастическом городе Макчу Пикчу, созданном воображением поэта. Между тем Макчу Пикчу — реально существовавший город, история которого является одной из удивительных «правдивых сказок» мира. В 1572 году часть жителей города Куэка — столицы инков — ушла в горы и на высоте четырех тысяч метров, на неприступных вершинах построила город-убежище, куда испанцы так и не проникли. Спустя несколько сот лет население этого города вымерло, а развалины были обнаружены лишь в 1910 году и изучены в наше время.

Знание этих исторических фактов позволяет хорошо понять ту часть поэмы Неруды, где он размышляет о тайнах Макчу Пикчу. А таких тайн много. Неизвестно, как был построен этот громадный город, каким способом полировались огромные глыбы камня, плотно прилегающие друг к другу без какого-либо связующего вещества, как нагромождались они один на другой, как из них создавались стены, лестницы, храмы и жилые дома, чем питались жители, каков был социальный строй города и, наконец, как город вымирал. Были ли причиной этого голод, болезни, уход жителей? Эти вопросы ставит перед собой поэт, раздумывая о месте, где в первозданной форме сохранилась культура его предков. Он призывает восстать из мертвых «своего брата», память о котором воскрешается устами поэта. Лишь вооружившись таким комментарием, мы сможем оценить поэтическую транскрипцию действительности, выполненную Нерудой. Лишь узнав великую тайну Макчу Пикчу, мы можем полностью отдаться поэтическому очарованию этой песни.

«Вершины Макчу Пикчу» — та часть поэмы, которая снискала себе наибольшую популярность на родине поэта. С каждым днем растет там интерес к древней культуре Южной Америки. Эту песню о покинутом городе поэт записал на пластинку, и прослушивание ее стало неким ритуалом чилийцев, больших знатоков и любителей поэзии.

Те же замечания относятся к другой части «Всеобщей песни», озаглавленной «Великий океан». Неруда воспевает в ней океан, на берегу которого (на Исла Негра) * находится его деревенский дом. Он рассказывает о моряках, подводных растениях, китах, о жителях Огненной Земли, плавающих по холодным и бурным волнам в своих лодках, выдолбленных из стволов древних деревьев, о таинственном Рапануи, острове Пасхи, с его огромными скульптурами неизвестного происхождения, оставленными здесь вымершим народом, о котором мы тоже ничего не знаем, но

* Родригес Мануэль — участник борьбы за независимость Чили в начале XIX века.

* Черный остров — остров в Тихом океане.

удивительное творчество которого живо по сей день, вызывая изумление ученых и поэтов.

Однако наиболее волнующее в поэме, наиболее животворное — это чуткость к современному человеку, к его борьбе и достижениям. Наряду с любовно очерченным образом президента Балмацеда, свергнутого и доведенного до самоубийства английскими колонизаторами, со страниц «Всеобщей песни» перед нами встают образы южноамериканских народных вождей, таких, как Рекабаррен * и Престес **. Крупнейшие современные революционеры Латинской Америки выступают в поэме Неруды как носители и продолжатели великих революционных традиций освободительной борьбы начала XIX века; таково их действительное историческое значение. Неруда дарит им любовь и слово поэта, как букет красной индейской повилики «копихуэс», любимого цветка чилийского народа. Столь же горячую любовь питает большое сердце поэта к простым людям, рабочим меднорудных и селитровых шахт, океанским рыбакам, крестьянам из пампасов, к морякам, сумевшим организовать отъезд Неруды из Вальпарайсо, когда преследуемый поэт вынужден был скрываться. Поистине кровью сердца написаны те строки поэмы, где Неруда говорит об их труде, нужде, борьбе и вспоминает павших в этой борьбе. Словно выписанные кистью образы работниц и рабочих в песне «Землю зовут Хуан» — шедевры простоты и поэтического реализма. Правдиво показанные рабочие (среди них Калеро, герой романа костариканского писателя Фальяса), которых Неруда встречал на дорогах и бездорожье Америки, живут на этих страницах осязаемой, нищенской и мучительной жизнью, преисполненной, однако, надежды и веры в грядущее торжество справедливости.

Взор этих униженных и эксплуатируемых, как и взор самого поэта, обращен с большой любовью и доверием к Советскому Союзу — символу, дорогому для угнетенных всего мира. Самые яркие строки посвящает Неруда организаторам и певцам Октябрьской революции, стране Советов и Сталину. Жгучую ненависть питает чилийский поэт ко всему темному, реакционному, тормозящему движение человечества вперед; редко можно встретить в поэзии такие острые, пылкие, сильные и смелые строки, направленные против империализма, против фашизма, против американского капитала, опутывающего своими искусными сетями прекрасные земли Латинской Америки. Памфлет на Гонсалеса Виделу, «диктаторишку» Чили, посмевшего преследовать великого писателя, своей резкостью напоминает филиппики Демосфена. Какая сила и уверенность в этих разящих, как клинок, словах Неруды!

Нет такого человеческого чувства, которое не отразилось бы в пламенных строфах чилийского поэта. Пользуясь любимым образом Неруды, его поэму можно сравнить со стеблем кукурузы, корнями глубоко зарывшимся в родную землю и рождающим питательный, полный золотых зерен початок. Взращенный в мирных условиях, он предназначает для мира свой колос, полный светлых жемчужин. «Всеобщая песнь» выросла из глубокой, страстной любви к жизни, к родине, к простому и честному человеку, из любви к миру и из ненависти ко всякому злу, насилию, рабству. Она пробуждает уважение и вызывает восхищение...

---

* Рекабаррен Луис — основатель и вождь Коммунистической партии Чили; предательски убит в 1925 г.

** Престес Луис Карлос — генеральный секретарь Коммунистической партии Бразилии.

Леония Яблонкувна

„Выпускники“ в варшавском театре „Атенеум“

Когда смотришь пьесу Здзислава Сковронского «Выпускники» в театре «Атенеум», поражает и вызывает удовлетворение реакция зрителей. Мы, к сожалению, несколько отвыкли от такого живого, непосредственного отклика публики на реплики, звучащие со сцены, от такой заинтересованности зрительного зала. Правда, поднятые пьесой проблемы для всех нас являются животрепещущими. Идейное воспитание молодежи, методы воспитания — ведь это не только задачи сегодняшнего дня; от их решения зависит и наше будущее; их значение огромно для грядущих поколений. Достоинство пьесы заключается в том, что она пробуждает большой интерес, искренне волнует нашу не чуждую скептицизма публику.

Герои пьесы — подростки Бернацкий и Вуйцик, ученики одиннадцатого, выпускного класса городского лицея. Каждый из них имеет все данные для того, чтобы стать полноценным человеком. Оба активные и убежденные члены ЗМП (Союза польской молодежи). Бернацкий уже давно состоит в Союзе, а Вуйцик — всего год. Однако и за год он настолько «преуспел», что не только стал фактическим руководителем организации, но даже приобрел кое-какие диктаторские замашки.

Виновником происшествия, с которого начинается пьеса, является Бернацкий, по определению преподавателя Орлинского, парень «кристальной чистоты». Не желая мириться с методами «работы» комитета ЗМП, и прежде всего с диктаторскими замашками Вуйцика, а также с косной, формалистической позиции преподавателя Палюшкевича, Бернацкий написал «боевую» статью в молодежную газету «Штандар млодых». В своей статье Бернацкий разоблачил все эти недостатки и назвал имена товарищей и учителя. В лицее создается два лагеря. Одни (в том числе часть учеников, Палюшкевич и отец Вуйцика — председатель родительского комитета) считают статью клеветнической, «раскольнической». Другие во главе с преподавателем Орлинским расценивают выступление Бернацкого как проявление смелости, непримиримости и принципиальности. В глазах этого лагеря и, повидимому, автора Бернацкий вырастает в местного героя.

Автор подчеркивает, что педагоги неправильно воспитывали обоих учеников. Они не разобрались в недостатках Вуйцика, в его политической незрелости, позволили развиться его властолюбию.

В то же время принципиальность позиции Бернацкого, смелость, проявленную им при вскрытии недостатков, педагоги именуют «раскольнической деятельностью» и возмущаются всем этим. Чем объяснить такую позицию? Педагоги плохо знают молодежь, мало общаются с ней, обладают недостаточным умением вникнуть в ее психологию. Конечно, в пьесе эти претензии предъявляются педагогам. Собственно говоря, ошибочной позиции придерживается лишь один преподаватель — классный руководитель Палюшкевич, которому было поручено по партийной линии руководство молодежной организацией. Палюшкевич — формалист, любитель заседаний и, что хуже, человек с ограниченным кругозором, черствый, сухой. К счастью, есть и другие учителя — глубоко человечные, умные, всей душой преданные своему делу. Они-то и спасают положение, предотвращают грозившую обоим мальчикам опасность. Однако, по мнению автора, сам факт возможности такого конфликта говорит о поверхностном подходе к молодежи, о погоне за внешними показателями, о невнимании к тем сильным переживаниям, каким подвержена наша молодежь и вне стен школы. Оба героя пьесы переживают моральный кризис — кризис доверия к родителям; у Вуйцика, в частности, он проявляется в очень острой форме.

Автор поставил важный вопрос, сумел

От редакции. В театрах Варшавы, Софии, Братиславы состоялись три очередные премьеры, которым и посвящены помещаемые ниже три критических отклика.

Каждый из них содержит разбор одной пьесы и, естественно, не претендует на глубокие обобщения. И все же любая из трех рецензий и особенно все они, вместе взятые, свидетельствуют о том большом тематическом разнообразии, какое присуще драматургии в странах народной демократии.

Вместе с тем по прочтении рецензий становится также ясным, что театры в этих странах останавливают свой выбор на пьесах, не только разнообразных по теме, но и затрагивающих важные, злободневные проблемы, способные взволновать зрителя.

найти для него драматургическое воплощение, интересную сценическую форму и прежде всего сумел заразить зрителей своей неподдельной озабоченностью. Это положительный факт, он располагает нас к пьесе. И все-таки в ней есть кое-какие сучки и задоринки, есть некоторая легковесность. Более того, при всей правильности отдельных положений, столь живо воспринимаемых зрителем, это не до конца смелая пьеса!

Одним из наиболее положительных и привлекательных ее персонажей является старый учитель Орлинский. Он-то и выражает чаще всего мнение автора. Вот с ним — благородным, гуманным беспартийным человеком — нам и хочется поспорить. Нам представляется, что этот любимый молодежью и прекрасно ее понимающий воспитатель совершает грубую педагогическую ошибку.

Дело в том, что Бернацкий и Вуйцик — закадычные друзья. Об этом непрестанно твердят все. Сам Вуйцик подчеркивает, что это искренняя, глубокая дружба. Бернацкий оказывает на него влияние. Правда, год назад, когда Вуйцик решил вступить в ЗМП отнюдь не по убеждению, а только по корыстным соображениям, Бернацкому не удалось убедить его, что так поступать не следует, что это нечестно, нужно раньше уверовать в идею, чтобы затем иметь право отстаивать ее. Тогда Вуйцик не внял его советам, однако в течение последующего года он действительно изменился и под влиянием Бернацкого стал убежденным зетемповцем. Бернацкий часто бывал у своего друга в доме, где его радушно принимали, и вдруг, без всякого предупреждения, он бросил «бомбу на всю Польшу» (дело нашло отклик даже в Варшаве): поместил свою нашумевшую статью, в которой, между прочим, сообщил, что такой активист, как Вуйцик, получил две неудовлетворительные отметки!

Если мы, старые скептики, не слишком потрясены таким фактом, то для школьника это действительно серьезное обвинение и, помимо всего прочего, несправедливое. Когда статья появилась в печати, Вуйцик уже исправил свои отметки. В статье содержалось и другое сомнительное утверждение: Вуйцик — «сын председателя родительского комитета, имеющего в школе большое влияние; это придает еще больше наглости товарищу Вуйцику и укрепляет в нем сознание собственной безнаказанности».

Мы отдаем себе отчет в том, что старый Вуйцик — карьерист (непонятно только, как такие умные педагоги, в том числе директор лицея и секретарь партийной организации Доманская, не раскусили его раньше), тем не менее возмущение даже такого человека в данном случае как-то объяснимо.

Ибо нам кажется, что Бернацкий, при всех его достоинствах, поступил некрасиво. Почему он не повлиял на товарища, не помог ему исправить свои плохие отметки до того, как разгласил об этом «всем и вся»? Вуйцик, видимо, не был отъявленным лентяем: когда статья его приятеля Бернацкого появилась в газете, у него двоек уже не было. Мало того, статья Бернацкого не появлялась в течение двух месяцев, а за это время Вуйцик исправился. Почему же автор не попытался забрать ее из редакции или, по крайней мере, не предупредил товарищей и учителей о своем выступлении в печати? Если он отрицательно относился к Вуйцику-отцу, почему он бывал у них в доме и восседал за их столом? Можно даже не особенно настойчиво упрекать его самого в этом — ведь семнадцатилетнему юноше свойственно ошибаться. (О тяжелом детстве этого поколения, пережившего войну, лаконично и выразительно говорит в пьесе учитель Буяк.). Но мы вправе упрекнуть благородного и опытного педагога Орлинского. Вместо того чтобы разъяснить подростку неправильность его поведения, он некритически восхищается непримиримостью и воинственным духом своего любимца. Бернацкий — действительно юноша боевой, но какими методами он пользуется?

Можно было бы возразить, что в общем контексте пьесы аргументация статьи Бернацкого не столь существенна. В любой другой пьесе это действительно так, но не в этой. Как раз здесь автор выступает против «травли», именно здесь он показывает, как убеждение в вероломстве чуть не искалечило жизнь героя — того же Бернацкого.

Если даже Бернацкий со всей его «боевой непримиримостью» сегодня прав в отношении старого Вуйцика, то завтра в отношении кого-либо другого он может ошибиться, а такой метод отношения к людям может войти у него в привычку. А ведь и для Орлинского и для секретаря партийной организации Доманской, как и для самого автора пьесы, важно прежде всего изменить, улучшить нормы поведения (тем более, что прекрасный пример этого дает сам Сковронский в тяжелой сцене признания Вуйцика в третьем действии).

В результате такого оправдания всего поведения Бернацкого пьеса пострадала и с драматургической точки зрения. Одним из ее недостатков является излишняя сентиментальность, слащавость некоторых образов и сцен. Это относится в первую очередь к жене Вуйцика, частично и к Орлинскому, но прежде всего снижает психологическую достоверность характеристики обоих главных героев. Пьеса выиграла бы не только в смысле моральной целенаправленности, но и композиционно, если бы автор меньше идеализировал Бернацкого, если бы Бернацкому разъяснили, что в существовании того клубка несправедливостей, с которыми ему приходится бороться, есть и доля его вины. Лучше всего, если бы его отчитали свои же товарищи, причем на сцене, а не за кулисами (как это обычно происходит в пьесе, едва только дело доходит до дискуссий и споров среди молодежи). Может быть, автор на-

шел бы тогда и более правдивую, убедительную концовку вместо нынешнего «благополучного финала» с целованием рук учителю, со слезами, объятиями и прочим. Хотя в этом повинна и режиссура, но текст, во всяком случае, подсказывает именно такую трактовку финала. Эта претензия к автору вполне обоснована, так как в ряде сцен он проявил большое умение правдиво и живо строить драматический сюжет.

Постановку пьесы в целом следует признать удачной. Молодому режиссеру Здзиславу Тобяшу удалось «попасть в тон». Часто случается, что режиссер правильно поймет пьесу, найдет подходящих исполнителей, и все же спектаклю недостает чего-то трудно уловимого, а именно «тона». Ведь важно не только, кем являются люди, которых мы видим на сцене, но и как они говорят, двигаются, падает ли на них яркий или затемненный свет, выступают ли они на фоне пастельных красок или сильных цветовых контрастов (буквально и фигурально). В данном случае найден верный тон, особенно в отношении «учительской». Верится, что люди на сцене хорошо знают друг друга и хорошо друг к другу относятся, иногда надоедают один другому, иногда даже возмущаются друг другом, но вместе с тем и оказывают друг другу поддержку... В общем все происходит так, как это часто бывает среди учителей.

Очень хорошо, тепло, просто, углубленно (быть может, даже по сравнению с авторской концепцией) играет роль Орлинского Владислав Сташевский. Сташевский неповинен в том, что поведение Орлинского нас иногда не удовлетворяет или что он раздражает своей чрезмерной склонностью все идеализировать, своей сентиментальностью. Простота и «юность» Сташевского—Орлинского настолько покоряют зрителя, что сомнения начинают появляться лишь после спектакля.

Исключительно удачный образ преподавателя Буяка создал Мариан Троян. Во многом ему помог автор. Троян не только сохранил привлекательность этого прямолинейного, несколько грубоватого учителя, но и сумел в небольшой роли создать законченный психологический образ. К концу пьесы мы уже хорошо знаем Буяка, легко можем представить его себе в самых разнообразных жизненных ситуациях. А ведь это и есть лучший критерий правдивости сценического образа.

Ришард Керчинский справился с довольно трудной задачей исполнения и индивидуализации схематической и банальной роли карьериста и приспособленца — старого Вуйцика. Моментами в характере Вуйцика ощущаешь какое-то жалкое бессилие, растерянность, полную психическую и умственную неприспособленность к суровой действительности, в которой Вуйцик, как ему казалось, так хорошо ориентируется. Думается, что в этом заслуга исполнителя, ведь у автора Вуйцик дан неглубоко — в двух измерениях.

Самая трудная задача выпала на долю главных героев — Вуйцика (Мариан Рулка) и Бернацкого (Ежи Фельчинский). Игра обоих исполнителей отличается простотой, у обоих чувствуется стремление к правдивости. Жаль, что автор показал их лишь в моменты огромного напряжения. Основные этапы их внутренней борьбы и столкновения с окружающими проходят за сценой (это касается главным образом Бернацкого).

Замысел художника должен быть тесно связан со стилем всего спектакля. Если одни декорации строятся на обычной реалистической основе, совпадающей в данном случае с реалистическим текстом, то непонятно, почему эта манера внезапно нарушается в том акте пьесы, где показана самая заурядная мещанская квартира. Сами по себе декорации довольно интересны, но они не только не помогают раскрытию «среды» — что в этом акте имеет особое значение,— а скорее усложняют задачу актеров.

Несмотря на все оговорки, «Выпускники» заслуживают положительной оценки. Достоинства и преодоление недостатков этой пьесы могут стать исходным пунктом для новых, подлинно значительных успехов. И все потому, что эта живая пьеса, написанная со страстью, рассказывает нам правду о людях.

(Журнал «Театр» № 12, 1955 год. Варшава.)

Николай Парушев

„Вера“ в софийском филиале Народного театра

Рассказать о тех не забытых нами годах, когда по улицам наших городов маршировали фашисты; когда в тиши тревожных ночей раздавались выстрелы и сдавленные крики; когда не хватало воздуха, чтобы дышать; но и когда, несмотря ни на что, тысячи людей поднимались как один, сплоченные великой идеей, и сражались не на жизнь, а на смерть за свободу и грядущее счастье,— рассказать обо всем этом отнюдь не легко.

Страницу таких грозовых будней и попытался раскрыть в своей драме Тодор Генов. Избранная автором тема взята из неписаной книги жизни многих безымянных коммунистов. Жизни, полной исключи-

тельного драматизма, невиданной стойкости, несокрушимой воли, закалявшейся в решительных кровавых схватках с врагом; жизни, исполненной безграничной веры в справедливость и правоту дела нашей партии. Эта вера хранится глубоко в сердцах у тысяч рядовых борцов-героев, она озаряет героическую историю нашего народа и нашей партии.

Пьеса Тодора Генова «Вера» задумана как героико-драматическое произведение с острым конфликтом. Два мира, враждебные и ненавистные друг другу, встречаются в ожесточенной схватке. И мир будущего побеждает в силу неизбежной исторической закономерности.

...Старому, закаленному коммунисту Найдену Барову предъявляется обвинение в том, что он — провокатор, что он передал партийный документ полиции. Цель этого клеветнического маневра, хитро задуманного «обер-жандармом» Пепеляшкой, состоит в том, чтобы попытаться дезорганизовать сплоченные партийные ряды в трудные дни решающих боев, посеять в них панику и недоверие. Такова сюжетная канва пьесы.

Казалось бы, вся сложность драматургической ситуации должна раскрыться через поступки главного героя — Найдена Барова.

Однако если в первом действии, наиболее динамичном и, пожалуй, наиболее логически обоснованном, Найден Баров раскрывается действительно как яркая и волевая личность, то последующие действия вызывают недоумение — автор как бы спасается бегством от своего главного героя.

Тодор Генов словно боится своего героя, начинает сторониться его.

Вместо того чтобы предоставить герою возможность раскрыть свой характер в поступках и столкновениях, иначе говоря, дать ему возможность жить и действовать на сцене, автор, отдавая дань некоей злосчастной традиции, заставляет остальных персонажей пьесы с усердием ревностных биографов рассказывать о герое, разъяснять его характер, сообщать факты о его образе жизни, его борьбе и т. п. Так, от Пепеляшки и Груева мы узнаем, что Баров служит примером для всех коммунистов, которые глубоко верят ему; Яна и Богдан сообщают нам, что Баров был их учителем, воспитал их как смелых и самоотверженных борцов за дело рабочего класса; от посланца ЦК Виктора нам становится известно, что Баров, несмотря на трудность положения, в которое он попал, продолжает действовать, бороться.

Вдобавок все эти динамические страницы из полной тревог жизни Найдена Барова раскрываются не на глазах у зрителя, а где-то за кулисами. Публика только слышит обо всех этих событиях, но не воспринимает их непосредственно, не имеет возможности вникнуть в психологическую сложность всего облика героя, оценить его поступки и действия во всей их конкретности.

Слов нет, все сведения, почерпнутые из рассказов о Барове, соответственно настраивают и подготавливают зрителя и держат его в напряжении. Автор не скупится на средства, он нагромождает на пути своего героя всевозможные препятствия. Тут и клевета, и похищения, и неожиданные звонки, и еще более неожиданные избавления от опасности. Все это опять-таки не на сцене, а за сценой.

Уже после первого действия замечаешь, что главным действующим лицом становится не живой образ Найдена Барова, а тот самый злополучный документ, который якобы передан им полиции.

Роль Найдена Барова хорошо задумана и сценически раскрыта до того момента, когда ему предъявляют обвинение в провокационной деятельности. Сразу вслед за этим у автора как будто истощились силы и он уже не смог показать нам глубокие переживания Найдена Барова, его тревожные сомнения и догадки, лихорадочные поиски выхода, трагичность испытанного им огромного внутреннего потрясения, которое все же не сломило его, не ослабило его преданность партии, его любовь к жизни. Если бы все это удалось показать — каким прекрасным предстал бы тогда перед нами в пьесе этот образ!

Тодор Генов умеет создать внешнее напряжение. Но в этом кроется и слабость автора. Внешней интриге у него подчинен весь драматургический материал.

Несмотря на серьезные недостатки пьесы Генова, зрителя все же волнует судьба его главного героя Барова и его семьи. С ненавистью и гневом следит зритель за предательской сделкой между Пепеляшкой и адвокатом Станоевым — действительным провокатором, пробравшимся в партию. Тревога и напряжение тех дней возникают в нашем воображении, жизненные ассоциации помогают заполнить пустоты, имеющиеся в пьесе. Все это в большой степени определяет успех, которым пьеса пользуется.

Нам хочется коснуться еще двух вопросов: вопроса о ярком и действенном сценическом языке и об эмоциональной насыщенности драматургического произведения.

Старая истина гласит: язык на сцене должен быть эмоционально действенным. Невыразительность языка в пьесе Тодора Генова снижает и эмоциональную яркость его героев.

Многие реплики звучат излишне патетично, местами декларативно, публицистично.

Не в громких фразах, не в славословии следует искать ключ к раскрытию самых глубоких и волнующих человеческих переживаний. Проблема звучного, действенного, богатого сценического языка — проблема первостепенной важности, стоящая перед болгарской драмой.

Овладение этими средствами драматургии могло бы в значительной степени приблизить героев к зрителям, раскрыло бы с еще большей силой вдохновенную поэзию их жизни, которой они жертвуют во имя тор-

жества самых человечных и благородных чдей.

В тесной связи с вопросом об эмоциональной насыщенности драмы находится известное высказывание В. И. Немировича-Данченко о драматургическом творчестве: «В природе театра, в так называемой «сценичности», есть еще не раскрытые тайны. Есть особое чувство театра, чувство театральной эмоции, чувство природы театра, без которого нет драматурга!»

В дальнейшем Тодор Генов как драматург должен стремиться овладеть этим искусством воплощения и выражения жизненно правдивой сценической эмоции.

Перед режиссером Стефаном Сырчаджиевым стояла трудная задача. Он уловил главное в пьесе, нашел для нее удачное сценическое решение и сумел создать на сцене филиала Народного театра им. Василя Киркова оптимистический и волнующий спектакль.

В интересно найденных и хорошо разработанных мизансценах, в Пепеляшке с его как бы подстерегающим взглядом и характерной походкой, в малоподвижном, гордом и самоуглубленном коммунисте Барове, в согнувшемся, как будто приросшем к креслу предателе Станоеве — во всех этих фигурах Сырчаджиев стремился найти точное сценическое выявление их психологического состояния, с тем чтобы сосредоточить внимание зрителя на остром, идейно насыщенном конфликте пьесы.

Рельефностью и глубиной, мастерским, творческим раскрытием драматургического материала отличается созданный народным артистом Владимиром Трандафиловым образ Пепеляшки.

Владимир Трандафилов тонко и остро раскрывает омерзительную сущность «интеллектуального» фашиста, охотно прибегающего к низким, изощренным приемам, характерным для полицейского.

Среди многих образов, представленных Тодором Геновым в его произведении, образ Пепеляшки выделяется сценической яркостью. И нужно с сожалением отметить, что в пьесе «Вера», как и в ряде других пьес, главный отрицательный герой написан наиболее удачно, наиболее сценично. Это, естественно, сказалось и на актерском исполнении.

В образе адвоката Станоева, интересно задуманном и действенно воплощенном на сцене, показан скрытый и коварный враг партии, которому случайно удалось войти в доверие; дрожа за свою собственную шкуру, он стал сначала отвратительно и гнусно двурушничать, а затем и прямо действовать против интересов партии.

Кузман Станоев в исполнении заслуженного артиста Л. Бобчевского — стройный, элегантный, живой человек, который, однако, никогда не смотрит прямо в глаза собеседнику. Он покорен, робок перед всесильным Пепеляшкой, с Найденом Баровым он старается держать себя агрессивно, цинично и нагло; с Яной, дочерью Барова,— безразлично и высокомерно.

Народный артист Константин Кисимов с большим сценическим обаянием сыграл роль Найдена Барова. Неутомимые искания актера, его стремление сценически обогатить и детализировать этот образ, чтобы сделать более близким зрителю, увенчались успехом.

Когда Найден Баров — Кисимов еще в самом начале пьесы входит в полуосвещенный кабинет Пепеляшки и останавливается перед массивным бюро начальника политического отделения полиции, зритель ощущает, что этому сухощавому человеку с высоким умным лбом и проницательным взглядом присущи огромная моральная чистота и стойкость. В ожесточенной словесной схватке с Пепеляшкой в первом действии проявляется смелая и находчивая мысль Найдена Барова — Кисимова, спокойно и точно отражающего выпады Пепеляшки. «На удар — ударом» — вот смысл сцены, которую проводит Кисимов.

Весь внутренний драматизм, все страшное напряжение этой сцены Кисимов раскрывает в предельно скупом, но точно рассчитанном сценическом действии.

Большим теплом, глубоким внутренним чувством насыщена игра Найдена Барова — Кисимова во втором действии, где герой, показанный в кругу своей семьи, впервые узнает о тяжком обвинении, которое выдвинуто против него. Мучительно переживает Баров оторванность от своих товарищей. В усталых шагах, какими он пересекает комнату, в согбенной, словно под огромной тяжестью, спине, в обращенных скорее к себе, чем к собеседнику, словах: «Что-то другое здесь, Горан, другое...»,— во всем этом отражаются трудности, связанные с поиском выхода из страшного тупика. И когда жена задает ему прямой вопрос: верно ли, что он — провокатор, Найден Баров — Кисимов, ошеломленный известием, цепенея, застывает на месте и едва удерживается на ногах.

Эту сцену режиссер Сырчаджиев разработал тщательно, продуманно, выразительно; он умело построил мизансцены, не отвлекая нас деталями, которые могли бы заслонить основную мысль.

Следует, однако, сразу же оговориться: после этой сцены, когда Баров — Кисимов обращается к жене и дочери и просит их верить ему, несмотря ни на что, в его прерывающемся от сильного волнения голосе совершенно неправомерно слышатся ноты отчаянной мольбы. Это неверная интонация. Баров не умоляет. Наоборот. Он начинает схватку, решительную битву за правду, в торжестве которой убежден. И в этой битве нет места для колебаний, хныканья и мольбы.

С проникновенным чувством жизненной правды и художественной силой Константин Кисимов ведет сцену встречи с дочерью. Во всей его фигуре, в умном, строгом и одновременно теплом взгляде отцовских глаз отражены боль и надежда.

Нужно сказать, что если в спектакле образ коммуниста Найдена Барова полон

обаяния и значительности, то это объясняется главным образом вдохновенным исполнением роли народным артистом Константином Кисимовым, его стремлением согреть роль большим чувством, избежать сухой, голой фразеологии и донести смысл слова до зрителя, взволновать его.

Яркими и экономными красками рисует актриса Магда Колчакова образ Райны Баровой — жены и верного друга Найдена Барова.

М. Колчакова сумела изобразить сердечную женщину, прямую по отношению к своим друзьям, к семье, стойкую в страдании, строгую и взыскательную, когда речь идет о ее доверии к Найдену, страстную и воинственную, когда нужно бороться за попранную честь семьи Баровых.

Образ Яны — дочери Найдена Барова, молодого партийного работника — поставил перед исполнительницей Ив. Димитровой трудную задачу. Борьба за реабилитацию отца — в этом для Яны основной стимул, основное побуждение, руководящее всеми ее поступками.

Образы Богдана и посланцев ЦК Марина и Виктора неудачно написаны автором. Тут почти нет углубленного проникновения во внутреннюю жизнь персонажей, нет и попытки многогранного раскрытия характеров. Все это — действующие лица, бесчувственно, сухо и тезисно излагающие свои мысли.

Вообще эпизодические образы в драме Тодора Генова носят чисто служебные функции: они введены либо с целью разъяснения какого-нибудь события, либо для того, чтобы ускорить действие при помощи внезапного известия.

Спектакль «Вера» с интересом встречен нашим зрителем. Он вызывает самые разнообразные мысли, в первую очередь мысль о роли и назначении писателя, о его ответственности за избранную им тему, о мастерстве наших драматургов.

Мы можем радоваться отдельным писательским и актерским достижениям, можем от всего сердца благодарить автора и театр, но если в произведении налицо ряд недостатков, снижающих его художественную ценность, то первым обязан задуматься над этим сам автор. Будем же надеяться, что он сделает это.

(Журнал «Театр» № 4, 1955 год. София)

Рудольф Мрлиан

„Кристина" в братиславском Национальном театре

Неудовлетворительное положение, создавшееся в нашей современной драматургии, дает нам основание особенно радостно приветствовать первую пьесу Магды Матуштиковой «Кристина». Наша радость объясняется не только тем, что среди драматургов появился новый молодой автор — ведь молодых авторов за последние десять лет, прошедшие со дня освобождения нашей страны, было немало,— но прежде всего тем, что Матуштикова обнаружила талант, и притом зрелый талант, несмотря на ряд слабостей, имеющихся в ее пьесе.

В «Кристине» Матуштикова поставила себе задачу раскрыть общественные противоречия, проявившиеся в последнем году существования так называемого «Словацкого государства», в период подготовки и начала Словацкого народного восстания 1944 года, в период освобождения нашей родины славной Советской Армией. Все эти противоречия Матуштикова намеревалась раскрыть средствами драматургии и прежде всего создать художественную основу пьесы, не подменяя сценического решения тех или иных общественных конфликтов простым их описанием. В сущности, речь идет о стремлении к типизации характеров и обстоятельств, без чего вообще невозможно создать драму в духе социалистического реализма.

Прежде всего рассмотрим пьесу с точки зрения ее основной идейной установки. Можно с удовлетворением отметить, что в «Кристине» представлены убедительно обрисованные типы людей, принадлежащих к одной мелкобуржуазной семье, корыстолюбивых, жадных, огрубевших, морально разложившихся, исполненных ненависти ко всему прогрессивному. Таких верных жизненной правде образов (к ним прежде всего нужно отнести старую Валухову) мы не встречали еще в нашей современной драматургии.

Выведенные в пьесе сыновья Валуховой также типичны для данной общественной среды, причем важно то, что автор показывает их со всеми присущими им индивидуальными особенностями.

В пьесе по одну сторону стоит семья Валуховых, которая во всем руководствуется соображениями корысти, а по другую — Ондрей, рабочий и возлюбленный Кристины, сама Кристина, мать Ондрея, Маришка и Мишка-партизан. Следует, правда, признать, что отрицательные персонажи, с точки зрения выразительности драматургического изображения, намного

превосходят положительных персонажей. Автору не удалось достаточно убедительно показать положительного героя. Ондрей должен был бы занять в пьесе более важное место, он должен был решительнее вести борьбу с семьей Валуховых, и тогда победа прогрессивных сил была бы показана в пьесе более убедительно. Ведь не нужно забывать, что Кристина идет на борьбу, веря в силы Ондрея.

Победа Кристины, то есть ее уход из семьи Валуховых, мотивирована лишь тем, что она хочет новой жизни для своего сына. Этого недостаточно. Решимость Кристины порвать с семьей своего мужа и жить новой жизнью была бы более обоснованна и понятна, если бы она нашла в Ондрее бо́льшую моральную поддержку. Для этого герой должен был остаться в живых, чтобы связать ее старую жизнь с новой.

Можно возразить и против конца пьесы. Семья Валуховых по логике развития событий должна потерпеть поражение. Неправомерно поэтому такое положение, когда для нее остается возможность сразу же совершить еще больший обман, еще большее мошенничество, чем прежде.

Понять и проанализировать образ Кристины можно лишь после того, как основной конфликт пьесы станет для нас до конца ясным.

В чем же суть этого конфликта, тесно связанного с личной судьбой Кристины? Он возникает на широком фоне борьбы семьи Валуховых за сохранение своих экономических выгод, за укрепление частнособственнических семейных традиций, против «чуждого» влияния Кристины и некоторых других персонажей. Однако реально и, так сказать, практически конфликт начинает ощущаться в тот момент, когда Кристина после всех ее мытарств в семье Валуховых, куда она согласилась войти, чтобы спасти от нищеты родных, осознает свое большое чувство к Ондрею, от которого у нее будет ребенок, и идет на разрыв с мужем. Рождается сын, и Кристина сознается в том, что отец ее сына — Ондрей; противоречия между Кристиной и семьей Валуховых достигают кульминации, тем самым достигает высшей точки и драматургический конфликт пьесы. Но здесь и проявляется существенный недостаток в раскрытии образа Кристины. Это относится прежде всего к двум первым действиям; Кристина здесь совершенно пассивна. Автор удовлетворяется лишь одним голым сообщением о том, что она страдает на протяжении нескольких лет. Потому и дальнейшие поступки Кристины являются малоубедительными. Уже в самом начале пьесы Кристине следовало бы более активно реагировать на различные нечестные махинации ее родственников, решительнее протестовать против них. Ее намерение уйти из семьи Валуховых должно было бы являться следствием этой борьбы. Тогда стало бы еще более понятным и ее желание иметь ребенка от Ондрея, более обоснованным стало бы и ее стремление помогать партизанам и, наконец, ее осознанная классовая позиция по отношению к семье Валуховых. В пьесе все это несколько приглушено. Лишь в виде отдельных намеков показано, как страждущая и протестующая женщина превращается в борца, решительно выступающего против подавления человеческого достоинства.

Матуштикова и всей своей пьесой в целом, и многими отдельным эпизодами доказала, что владеет специфическими средствами драматургии. Однако в пьесе нередко чувствуется и недостаток профессионального мастерства, автору не хватает умения добиться того, чтобы поступки его героев были всегда естественны и психологически оправданы.

Есть в пьесе несколько мест, где такого рода мотивировка является надуманной, поскольку она не вытекает из взаимоотношений между персонажами. В начале второго действия, например, Ондрей в разговоре с Кристиной вспоминает случай с ребенком, которого переправили через границу. Этот эпизод никак не раскрывает характера ни Ондрея, ни других действующих лиц. Не проливает он света и на конкретную ситуацию. А потому, на наш взгляд, является неорганическим, лишним.

Ряд возражений вызывает и язык пьесы. Прежде всего одно замечание общего порядка: речь идет о пристрастии автора к недосказанным предложениям, пристрастии настолько сильном, что оно становится чем-то вроде творческого принципа. Почти в каждом большом диалоге встречаются многоточия, которыми автор стремится то заменить последующие слова, то подчеркнуть таинственную многозначительность сказанного. Нам это представляется неправильным приемом. Такого рода недомолвки свидетельствуют скорее всего лишь о том, что автор не всегда умеет пользоваться богатейшими средствами языка. Персонажи обычно характеризуются ведь не тем, чего они не договаривают, а именно тем, *что* они говорят, *как* говорят и *кому* говорят. Матуштиковой не следует опасаться того, что ее стиль станет описательным, если она будет выражать мысль ясно, остро, просто. Судя по большинству сцен, автор имеет возможность доработать пьесу и тем самым надолго продлить ее сценическую жизнь.

О режиссерской работе Юлиуса Пантика, поставившего «Кристину», в целом можно отозваться положительно. Основная идейная линия пьесы не только не была нарушена, но, более того, во многих местах содержание ее раскрылось полнее, а воздействие усилилось.

Но самая большая заслуга режиссера состоит в том, что он сумел заинтересовать зрителя, взволновать его, дал ему возможность, в конечном счете, испытать удовлетворение. Достигнуть всего этого Пантику удалось потому, что он стремился сценическими средствами оживить текст пьесы,

найти такой способ воплощения, при котором зритель не только воспринял бы идеи, более или менее четко выраженные автором (как это бывает во многих постановках), но и стал сочувствовать личным судьбам людей, борющихся за лучшую жизнь.

Работа художника Шуйяна очень родственна характеру пьесы. В интерьере ему удалось передать атмосферу дома Валуховых. Однако совершенно неубедительно выглядит натуралистическая кухонька, крытая соломой. В наших постановках мы нередко приходим к натурализму именно в результате механического копирования действительности. И в данном случае не следует забывать о специфическом, образном ее отражении.

Актерское исполнение не просто воспроизводит текст пьесы, но во многих случаях даже подсказывает автору, как можно было бы доработать с этой стороны отдельные образы. Стоит присмотреться к игре артистки Меличковой, исполнительнице роли Валуховой. С первого появления на сцене и до конца пьесы она подчеркивает прежде всего властолюбие старухи. У современного зрителя эта черта вызывает иной раз даже смех. Но происходит это вовсе не потому, что на сцене создается комическая ситуация: зритель просто воочию убеждается в том, как невозвратно исчезает из нашей жизни этот тип, лишенный у нас всякого влияния.

При помощи множества средств Меличкова раскрывает типические черты характера Валуховой. Вы просто испытываете к ней чувство ненависти при виде того, как она обманывает Кристину, как она жестока с Маришкой, как фарисейски относится к страдающей матери Катрене. Родной сын Валуховой Адам очень похож на нее, но еще более жесток и властолюбив. Карол Сковай в этой роли хорошо передает черты характера Адама. Он даже движется, словно какой-то хищник, выследивший свою жертву и лишь поджидающий подходящего момента, чтобы схватить ее.

Полнокровный образ создает Алоиз Крамар, исполняющий роль второго сына Валуховой, Палё (мужа Кристины). Образ этот в значительной мере психологичен, но мы бы его не поняли, если бы актер не сумел передать этот психологизм верно найденными средствами, в том числе и внешними.

Кристину играет Мария Банцикова. В ее исполнении эта простая словацкая женщина, впервые появившаяся в качестве героини нашей драматургии, становится ею потому, что, борясь с собой, вместе с тем отважно борется с окружающей ее средой; она выступает против всех, кто делает жизнь мучительной, невыносимо трудной. Она не только ищет путь к счастливой жизни, но сама завоевывает для себя эту счастливую жизнь, сама решает порвать со старым и начать жить заново. Все, вплоть до меняющихся интонаций голоса и выразительно сдержанных жестов, способствует раскрытию сложного образа Кристины в исполнении Банциковой.

Побольше бы таких героинь в наших пьесах! Ведь их так много в жизни! И было бы очень хорошо, если бы мы увидели на сцене рядом с такими фигурами, как Кристина, и таких персонажей, как Ондрей, которого играют Махата и Дурдик. Махата и в этой роли показал, что он обладает неистощимым темпераментом. В некоторых спектаклях актер даже злоупотребляет им, утрачивая чувство меры. Дурдик своей более скромной игрой добивается большего контакта со зрителем. Однако было бы желательно, чтобы созданный им образ, правильно понятый и доходчиво сыгранный, обогатился за счет тонких внешних деталей, которыми столь изобилует исполнение Махаты.

На зрителей пьеса Матуштиковой «Кристина» производит сильное впечатление. У них перед глазами проходит схватка двух противоборствующих сил — новых, нарождающихся, со старыми, обреченными на гибель. Побеждает новое. Зритель симпатизирует положительным героям пьесы, его живо интересует их судьба.

В заключение следует повторить, что мы имеем дело с талантливым автором, которому нужно всячески помочь. Выражаем надежду на то, что в будущем мы дождемся от Магды Матуштиковой новых, еще лучших пьес.

(Журнал «Дивадло» № 5, 1955 год, Прага)

Карло Лидзани

НА ПУТИ К РЕАЛИЗМУ

Карло Лидзани — итальянский режиссер и сценарист. Один из авторов сценариев к кинокартинам Де Сантиса «Трагическая охота», «Горький рис», «Нет мира под оливами». Лидзани поставил художественные фильмы «Внимание, бандиты!» и «Хроника бедных влюбленных», а также документальный фильм «Кое-что изменилось на юге».

Мы печатаем с некоторыми сокращениями заключительную главу книги Карло Лидзани «Итальянское киноискусство».

Что представляет собой новая итальянская кинематография? Почему она обладает такой жизнестойкостью? Почему интерес к ней не ослабевает? И почему, с другой стороны, путь ее столь тяжел и столь неуверен? Какова истинная основа ее успехов и причины скрытого кризиса, не перестающего ее терзать?

Бегло анализируя произведения нашего киноискусства и сопоставляя их с прежними достижениями, мы можем подвести некоторые итоги, попытаться дать себе отчет в том, какими творческими кадрами мы располагаем, и ответить на поставленные выше вопросы.

Нет ни одного значительного режиссера в Италии, который не мог бы рассказать о всевозможных трудностях, связанных с его работой. Нет ни одной итальянской кинокартины, начиная от фильма «Рим — открытый город» и до «Похитителей велосипедов», «Шуши», «Дороги надежды», «Бандита» и «Трагической охоты», которая вышла бы на экран, не преодолевая тысячи рогаток, не встречая недоверия или враждебности в определенных кругах кинопромышленности. Нет ни одного замысла нового фильма, который не был бы обречен на нелепые мытарства, прежде чем стать законченным произведением.

Долгой, мучительной была борьба, какую вели и сами артисты — вплоть до публичных выступлений, — для того чтобы добиться принятия хотя бы минимальных мер защиты от вторжения американских фильмов, наводнивших нашу страну.

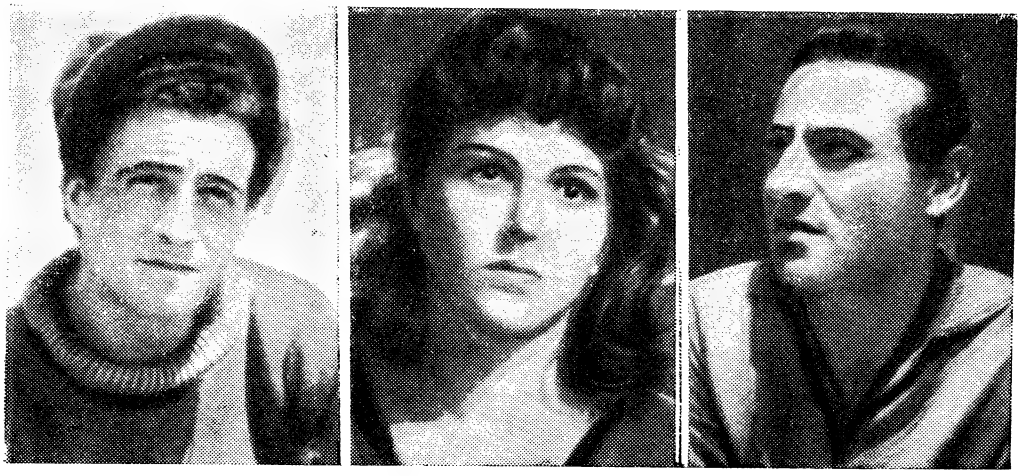
И тот факт, что наши мастера воздвигают здание итальянской кинематографии, невзирая ни на какие трудности, объясняется тем, что все они, в большей или меньшей степени, стремятся рассказать нечто правдивое о наших нравах, хотят продолжить дело культурного обновления, которое было мужественно начато еще в период фашистской диктатуры и благодаря участию в общественной жизни новых социальных слоев населения развивалось одновременно с рождением демократического режима.

Мы видим, насколько глубока и естественна для всей итальянской культуры потребность в том, чтобы вновь укрепить связь с жизнью народа и навсегда отчалить от берегов риторики, условности и формализма, к которым хотели бы ее приковать наиболее реакционные слои нашего общества.

Для нас ясно, что киноискусство, будучи раньше простым статистом, стало теперь главным героем тех разногласий и споров, в ходе которых издавна в нашей стране противопоставлялись старая и новая культура.

Современное итальянское киноискусство с его презрением к традиционно академическим формам, с его мужественной правдивостью («веризмом») глубоко задевает жрецов риторики, консерваторов, всех тех, кто не понял нового хода событий в нашей стране.

Люди, не уяснившие себе глубоких причин кризиса, последовавшего после первой



„Трагическая охота" — фильм, поставленный Джузеппе Де Сантисом. На снимках (слева направо): режиссер Де Сантис, исполнители главных ролей Карла дель Поджо, Витторио Дузе.

мировой войны, еще верят, что наши недостатки, наши серьезные и глубинные исторические пороки, наша реакционность могут быть преодолены вульгарным и легкомысленным оптимизмом, поверхностными суждениями о вещах, невежеством или же импортными формулами чужой культуры.

Наше киноискусство все это изобличило. Оно заклеймило в глазах всего мира авторов картонных империй, некромантов, которые хотели бы оживить прославленных болтунов; оно ликвидировало наследие Д'Аннунцио; оно показывает, какие замечательные и вполне реальные перспективы откроются перед людьми доброй воли, когда они смогут установить прочные узы постоянной, скромной, но надежной солидарности и воздвигнут леса для построения нового, подлинно человеческого общества.

Итальянская кинематография подвергнется опасности, если она вновь отойдет от намеченного конкретного пути и перенесет центр внимания от народной действительности в сторону темных призраков и ложных мифов. Вот почему лучшие художники итальянского кино, несмотря на все перипетии, твердо держатся намеченной цели и продолжают следовать по пути поисков реализма.

Священный долг итальянской интеллигенции сегодня состоит в том, чтобы новая кинематография Италии осталась верна прославившим ее на весь мир темам.

«Этот Страшный суд, без трубного гласа, без небесного вмешательства, совершаемый человеком над человеком, начатый в нашей кинематографии сейчас же после войны,— заявил Дзаваттини в своем выступлении на международной встрече киноработников в г. Перудже в 1949 году,— не может быть приостановлен. С нашим киноискусством, с нашей демократией было бы покончено, если бы наши картины вновь стали по-старому отражать жизнь, которую многие считают нормальной, но которая в действительности означает обман... Итальянцы прилагают немалые усилия для того, чтобы видеть вещи такими, каковы они есть, и делают это с решимостью, могущей дойти до жестокости. Это важно вне всяких соображений, связанных с искусством, и даже более важно, чем само искусство».

«Неореализм в кинематографии,— писал Альберто Моравиа в своей критической статье о фильме «Дорога надежды»,— далеко не исчерпал весь свой потенциал творческого вдохновения и актуальных тем. В плане киноискусства он отвечает интересам народа, стремящегося после войны дать себе отчет в бесчисленных причинах, приведших страну к поражению и национальному бедствию.

...Италия не знала или почти не знала настоящего романа или настоящей драматургии. Это является признаком того, что итальянское общество никогда не старалось познать себя или критиковать себя, оно не хотело стать лучше. И в самом деле, нужна была таких размеров катастрофа, как события 1943 года, когда Италия была разделена на две части и очутилась между двумя иностранными армиями, воюющими на ее земле, для того, чтобы вызвать у многих итальянцев подлинный интерес к реальным событиям, происходящим в их стране.

Надо признать, что в смысле удовлетворения хотя бы в некоторой степени этого законного интереса киноискусство по сравнению с литературой заняло первое место. Безработные и бедные люди, составляющие большую часть населения Италии, появились на киноэкранах, где до недавнего времени показывались личные секретарши, белые телефонные аппараты и «треугольники» адюльтеров. Однако не все довольны новым киноискусством. Мне вспоминается

разговор в одном римском салоне с дамой, которая много путешествовала. Она жаловалась на то, что неореалистические фильмы покрывают нас позором в других странах, представляя Италию как страну нищих. «В Италии столько прекрасных пейзажей,— говорила эта дама,— почему бы не заснять все эти пейзажи и не сделать из них фильм?» Само собой разумеется, что я ответил ей: «Добиться прекращения выпуска фильмов о бедных людях можно только после того, как бедные люди исчезнут и превратятся в людей обеспеченных». Но для встреченной мною дамы такой ответ не был убедительным».

Сегодня лучшая часть нашей критики твердо придерживается того мнения, что сила итальянского киноискусства заключается не в его внешних, формальных приемах: «внешняя» достоверность, актер-непрофессионал, использование диалектов в диалогах или же воспроизведение во всей реальности эпизодов «внутренней» жизни людей. Подлинная сила, которая его питает и вместе с тем определяет сущность нашего киноискусства,— это характерное для его творцов сознание драматизма того положения, в каком находится наша страна, стремление отобразить это положение в своих произведениях, а иногда и наметить пути выхода из этого положения; наконец, это их «любопытство» по отношению ко всему, что их окружает.

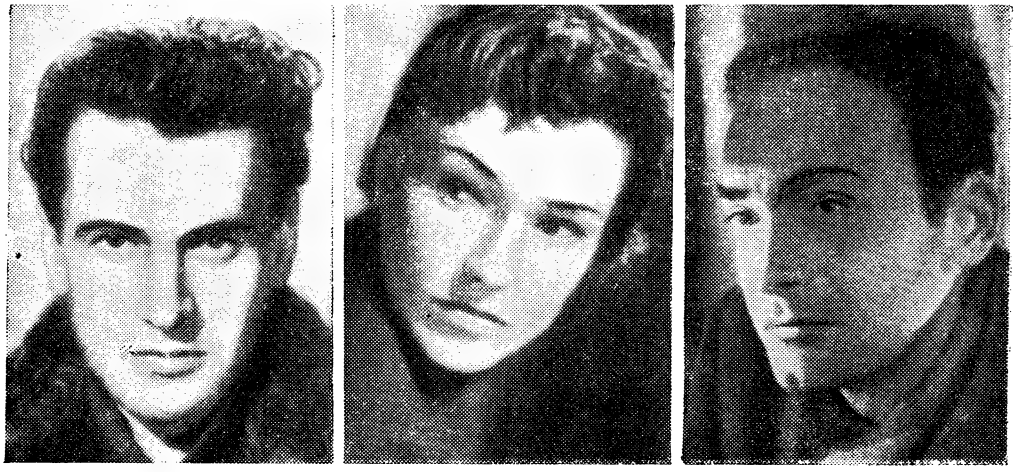
Неореализм — это правильная формула, если понимать под ней общее направление группы мастеров кино, объединенных стремлением постичь и выразить душу и разум нашей страны. Это течение — неореализм, как таковое, началось не сегодня, его зарождение относится к тому периоду нашей истории, когда культура, как это было на протяжении десяти последних лет, проявила повышенный интерес к жизни человека.

Неореализм не только «далек от того, чтобы исчерпать весь свой запас вдохновения и энергии» (как утверждает Моравиа), но он также еще очень далек от своего полного воплощения. Он представляет собой скорее цель, какую надо еще достигнуть... Если мы вправе утверждать, что итальянское киноискусство развивается в неореалистическом направлении, то нельзя еще сказать, что режиссеры, выдвигаемые этим направлением, подлинные реалисты.

Реализм — это умение четко видеть действительность в развитии, во всех ее противоречиях. Этим он отличается от фотографичности и натурализма... Поэтому и фильм на историческую тему может быть реалистическим фильмом.

Приход к господству консервативных сил, стремившихся втиснуть итальянское общество в замкнутый круг, привело к тому, что ряд наших режиссеров совершил сделку с собственной совестью. В итоге их произведения содержали лишь слабые потуги на реализм, но реализм не являлся для них конкретным методом выражения.

Ветер кризиса распахнул окна и двери, открыв человеческий и общественный пейзаж; этот пейзаж содержал в себе, с одной стороны, элементы уже истощенные и отжившие, а с другой — живые силы и направление исторического продвижения. Хлынувшим через эти окна и двери светом воспользовались итальянские кинорежиссеры в большей степени, чем другие художники (по крайней мере для начальной ориентации и для осуществления первых шагов к р е а л и з м у). Однако и им было еще трудно расширить эту брешь и глубже за-



„Трагическая охота". Исполнители главных ролей (слева направо): Массимо Джиротти, Виви Джои, Андреа Кекки.

глянуть в мир, чтобы исследовать дальние горизонты и, вдохнув полной грудью ветер свободы, всесторонне воспроизвести картину нашей жизни и нашей истории.

* * *

До сих пор мы говорили о старых и новых режиссерах, об их начинаниях и усилиях. Посмотрим, чего достиг каждый из них.

Режиссером, переживающим наиболее глубокий кризис, является, безусловно, Росселини. Его фильм «Германия, нулевой год» снова показал как присущие ему достоинства, так и те опасности, какие стоят перед ним и в скрытом виде проявились в поставленной им картине «Паиса».

Призвание документалиста и почти физическая способность к пониманию страстей и мгновенных душевных состояний — способности, которые развивались, утверждая и стимулируя друг друга,— позволили Росселини осуществить самые смелые дерзания и реалистические раккурсы в фильмах «Рим — открытый город» и «Паиса». Сильнейшее впечатление, произведенное на Росселини германской действительностью — самой трагической в Европе,— привело его к созданию фильма, проникнутого безысходным отчаянием.

...Росселини почувствовал, что в своем немецком фильме он дошел до предела; с этого момента он начал искать возврата к дорогам, ведущим к надежде. Теперь путь стал для него труднее. Особенности таланта, ранее позволявшие ему достичь ясности для себя самого, ныне давят на него, как тяжкое бремя, и, кажется, нагоняют на него тоску. Поиски твердой почвы отражены в его «Стромболи» и «Франческо Джулляре ди Дио».

В последнем из этих фильмов познание действительности привело Росселини к вере; в первом же он показывает чистый и наивный мир, который должен успокоить тоску земного человека, потерпевшего крушение в результате катастрофы, порожденной войной.

По этому ли пути следует идти?

Не является ли это скорее бегством от более позитивных поисков новых реальных человеческих отношений — иных отношений, чем те, какие показаны в картине «Рим — открытый город»,— в качестве возможного выхода из кризиса, вызванного войной?

Самому Росселини еще предстоит ответить на этот вопрос.

Более прямой дорогой идет Де Сика. Своим фильмом «Похитители велосипедов» он сделал шаг вперед в открытии народного мира и коснулся язвы современного общества — безработицы. «Похитители велосипедов» подтверждают намерение Де Сика углубленно изучать реальные условия жизни обездоленных. Наиболее драматические мысли, рожденные в первый период после освобождения страны, ставшие традиционными персонажи Италии 1945 года исчерпали себя, ткань итальянского общества обветшала. Постоянные черты нашей глубокой дезорганизованности, хронические болезни общества проявляются с такой очевидностью, что выводы напрашиваются сами собой.

Кадр из фильма „Чудо в Милане" (режиссер Де Сика)

Де Сика и Дзаваттини пытаются все свести к основной проблеме: человек, бывший в течение нескольких месяцев безработным, находит место расклейщика афиш. Для работы ему необходим велосипед. Его собственный велосипед у него крадут. Тогда, чтобы сохранить работу — единственное средство к существованию,— он в свою очередь крадет велосипед. Его изобличают и избивают. Но те, кто его поймал, не выдают его полиции — здесь можно обойтись без вмешательства закона. Создавшееся положение, считают они, позорно для всех, для всего общества.

Фильм «Похитители велосипедов» вызвал нападки тех, кто боится сурового голоса неореализма. И вся вина Де Сика заключается в том, что он обратился к проблеме, которая не только порождена несчастной и постыдной эпохой, но остается неразрешенной на протяжении всей нашей новой истории, и ни одно из десятков сменявших друг друга правительств не могло ее решить, — к проблеме права на труд.

Кадр из фильма „Под солнцем Рима", поставленного Ренато Кастеллани.

«Чудо в Милане» было встречено еще более ожесточенными нападками.

В этом фильме Де Сика рассказывает в форме сказки историю одного славного парня, вынужденного действовать в самой гуще противоречий современного общества. Кое-кто утверждает, что все «хорошее» в этом фильме — сердечность и утонченность в изображении чувств, создание правдивых образов обездоленных и беспокойных людей окраин — принадлежит Де Сика, а все «плохое» — трюкачество, балагурство,

Фильм „Земля дрожит" поставлен режиссером Лукино Висконти и посвящен жизни небольшого рыбацкого поселка. На снимке кадр из этого фильма.

наиболее дешевые юмористические находки — Дзаваттини. Такая оценка мне кажется совершенно несправедливой и поверхностной. Она игнорирует тот факт, что Де Сика и Дзаваттини давно работают совместно над созданием своего собственного поэтического стиля и издавна разделяют ответственность за все, что создают.

Стиль нового итальянского киноискусства находится в стадии формирования, и нужно понять, что художники-кинематографисты, в особенности те, кто заложил основы этого стиля, имеют право экспериментировать, вести поиски новых путей в направлении реализма и совершенствовать свой стиль. Важным в наших глазах является то, что Де Сика не использовал форму сказки для «бегства», для того, чтобы пуститься в дилетантские метафизические искания.

Де Сика и Дзаваттини, без всякого сомнения, не были испуганы критиками, и мы уверены: борясь за преобразование итальянского общества, люди доброй воли придут к выводу, что их надежды — одна из причин развития искусства.

Опыт «Умберто Д.» знаменателен в этом отношении. Этот фильм (о нем до сих пор все еще так много спорят) является одним из самых смелых произведений новой итальянской школы. Дерзкий уже по самому своему замыслу, по стилю и выбору темы, «Умберто Д.» свидетельствует о том, что итальянским художникам необходима свобода деятельности и мысли, которую наша общественная жизнь, организация нашего киноискусства допускают пока только в крайне ограниченных рамках.

Сотрудничество с Дзаваттини побуждает также и Блазетти двигаться в направлении той проповеди мира и умиротворения, какой он придерживается, как мы видели, со времени «Железного венца».

Вновь и вновь пытается Блазетти достичь этой цели, следуя двумя диаметрально противоположными, но одинаково дорогими для него путями: это исторический «эпическо-аллегорический» фильм и «современная сказка». «Фабиола» и «Господин Дюпон» говорят об одном и том же, утверждают одно и то же: мир и терпимость среди людей, иногда даже достигаемые ценой согласия с таким положением вещей, которое не совсем справедливо

расценивается как нормальное положение. Безоружное доброжелательство должно победить несправедливость.

Де Сантис исходит из других убеждений: в «Горьком рисе» и в «Нет мира под оливами» он вновь критикует современную организацию общества. Он пытается указать путь к победе над разложением и несправедливостью — он видит его в объединении и эффективном действии простых и честных людей.

Его фильмы постоянно развивают одну и ту же мысль: сильные угнетают одинокого человека, однако затем жертвам удается, осознав силу коллектива и объединившись, одержать над ними победу.

«Рим в одиннадцать часов» — самый удачный фильм Де Сантиса, потому что в нем образно воплощены подлинные факты, внешне незначительные и в то же время чрезвычайно красноречивые, способные удовлетворить требовательность такого режиссера.

Но главное затруднение Де Сантиса заключается в неумении класть в основу своих фильмов наиболее очевидные и типичные конфликты нашего общества.

Кто, отбросив политические предрассудки, может отрицать драматическое значение некоторых всем известных эпизодов современной жизни, таких, как стачки, захват земель и заводов? О них сообщала пресса, но их, однако, невозможно было перенести на экран. Кто может остаться равнодушным к такому неисчерпаемому источнику вдохновения, как столкновение общественных сил, являющихся сегодня важнейшим элементом нашей повседневной жизни, сил, которые, какого бы мнения о них ни придерживаться, вообще игнорировать нельзя? Эти силы не могут не иметь своих поэтов.

Тем не менее ясно, что Де Сантис — не единственный человек, для кого границы, поставленные современным обществом, кажутся все более узкими и тесными. Об этом свидетельствуют фильмы Джерми: «Дорогу надежды» режиссер кончает нарушением закона, предварительно показав, что закон не защищает от безработицы, голода и нищеты и что даже полицейские, когда они хотят быть человечными, вынуждены обращаться к здравому смыслу, а не к закону.

О том же говорит и Латтюада, когда от простого разоблачения в фильмах «Бандит» и «Без жалости» он переходит к еще более свободному от всяких предрассудков исследованию нашего общества в «Мельнице на По».

К сожалению, именно это же доказывает и неудача Висконти, который не смог осуществить «Хронику бедных влюбленных».

Наконец, именно о том же свидетельствуют искания всех честных режиссеров, всех тех, кто стремится к более свободной и чистой атмосфере и требует от публики активной поддержки и широкого участия в их усилиях для того, чтобы новое итальянское киноискусство укрепилось и отразило всю жизнь нашей страны, со всеми ее контрастами, всеми целительными ферментами брожения и всеми надеждами.

«Неореализм — два гроша надежды для итальянского киноискусства»,— сказал кто-то, то ли иронизируя над несбыточностью надежд, возлагаемых неореализмом на свое будущее, то ли, быть может, желая этому направлению еще большего успеха, чем тот, какой выпал на долю фильма Кастеллани во многих странах мира.

Неоспоримо одно: итальянское киноискусство сегодня («Два гроша надежды», и «Рим в одиннадцать часов» подтвердили это) не нуждается в новых сказках и в новых абстрактных «грезах». Напротив, воображение поэтов жаждет реальности.

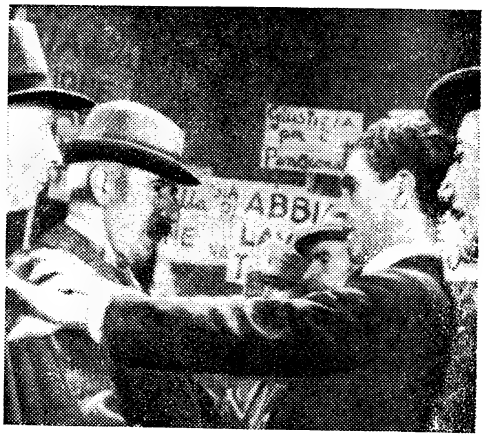
Долгий период голодного воздержания в итальянской культуре только-только подходит к концу, и никто не сумеет заставить итальянскую интеллигенцию, итальянских режиссеров отказаться от завоеванных позиций.

Кадр из фильма „Под солнцем Рима".

Кадр из фильма „Умберто Д.“
(постановка Де Сика)

На эти позиции нужно смотреть, как на базу подлинно реалистического киноискусства, для которого не только наше настоящее, но и наше прошлое сможет быть объектом поэтического изображения; такого умного и тонкого изображения наше традиционное академическое искусство не знало и до сих пор не могло нам дать.

Столь новое явление, как все растущая солидарность зрителей, та горячая заинтересованность, с какой лучшая часть критики следит за развитием и борьбой нового итальянского киноискусства, являются хорошим предзнаменованием для его будущего.



Кадр из фильма „Умберто Д.“

Невысокое мнение о стандартизованной заокеанской кинопродукции еще недавно разделялось лишь немногими; теперь оно стало распространенным настроением умов; в то же время высокий уровень лучших итальянских фильмов помог верно оценить выдающиеся кинопроизведения всех стран мира. Вкус публики стал тоньше, и каждый кинематографист может извлечь из этого пользу, показывая в нашей стране фильмы, проникнутые достоинством и высокими чувствами.

Эти перемены в общественном мнении, вызванные итальянскими режиссерами и операторами, продолжаются, и сегодня все итальянцы призываются с еще большей убежденностью защищать культурное достояние, накопленное десятилетиями исканий и труда.

Режиссеры, актеры и операторы, все киноработники все полнее и полнее отдают себе отчет в том, что без помощи публики в наши дни трудно сопротивляться все еще сильному натиску заграничного кинобрака, так же как и атакам косвенной или прямой цензуры.

Наше киноискусство может быть спасено не игрой случая, не глупой прихотью моды и тем более не стандартизацией находок и сюжетов, а лишь предоставлением наибольшей свободы деятельности режиссерам, поощрением связи с жизнью нашей страны, когда речь идет о тех из них, кто уже вступил на этот путь, и помощью молодым режиссерам, блестяще дебютировавшим в эти годы.

Наши режиссеры верят в человека. Они нашли в себе силы проповедовать солидарность и мужество в переживаемое нами тяжелое время. Они горячо поднялись, чтобы разоблачить войну и ее последствия. Они сумели мужественно отвергнуть соблазны декаданса, изощренные призывы этого духа самоубийства и ренегатства, пессимизм, который в течение десятков лет культивировался романтиками в умах буржуазной интеллигенции.

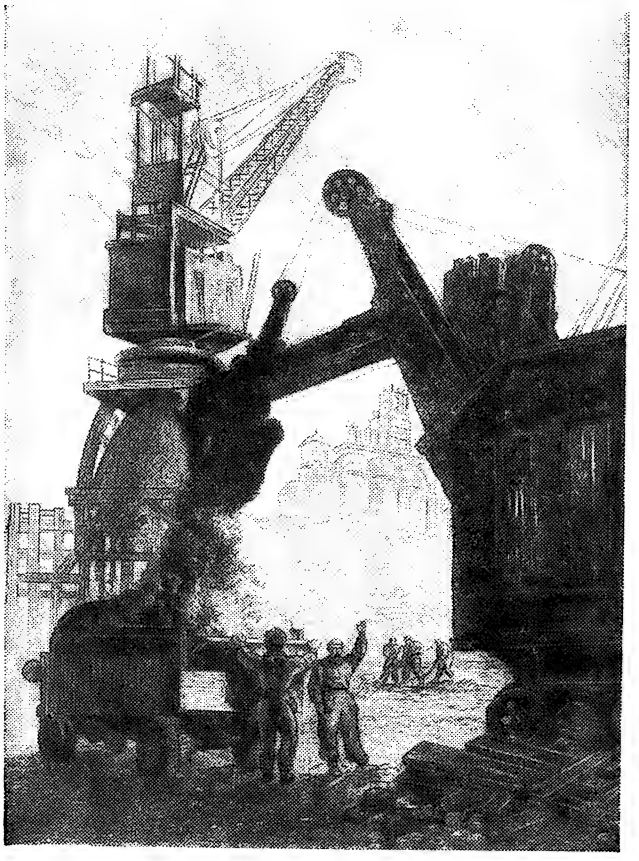
Тем, кто вне Италии спрашивает себя, чего хочет итальянское киноискусство и что может обеспечить ему длительный успех, мы ответим, выражая общее мнение всех наших режиссеров:

киноискусство нашей страны связано с судьбой итальянского общества, с его прогрессом. Оно требует свободы черпать свое вдохновение в итальянской действительности, такой, какой она является в настоящее время, свободы отвечать великим стремлениям к социальному и моральному обновлению, ныне все шире распространяющимся в нашей стране.

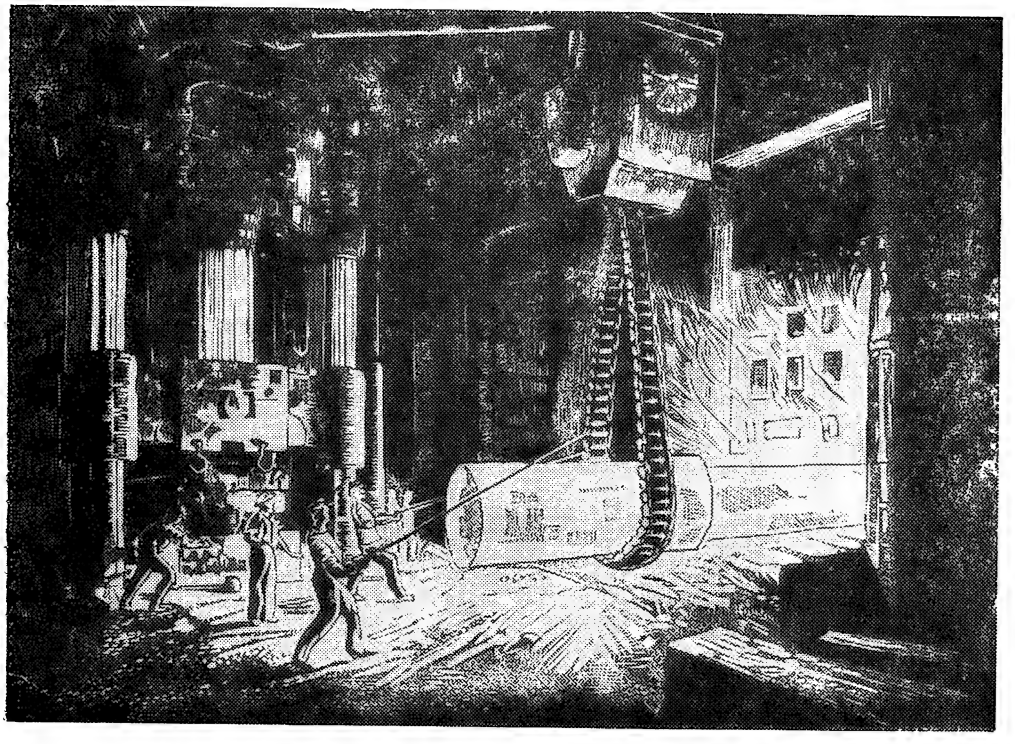
СОБРАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ГРАФИКИ

Всевозможные виды печатной графики обладают тем преимуществом перед живописью или рисунком, что позволяют создавать значительное количество почти равнозначных, адекватных по своей художественной качественности вариантов одного и того же произведения.

Именно это создает возможность для народов самых различных стран безболезненно по отношению к национальным культурным ценностям продавать подлинные произведения собственных мастеров графики или взаимно обмениваться такими произведениями.

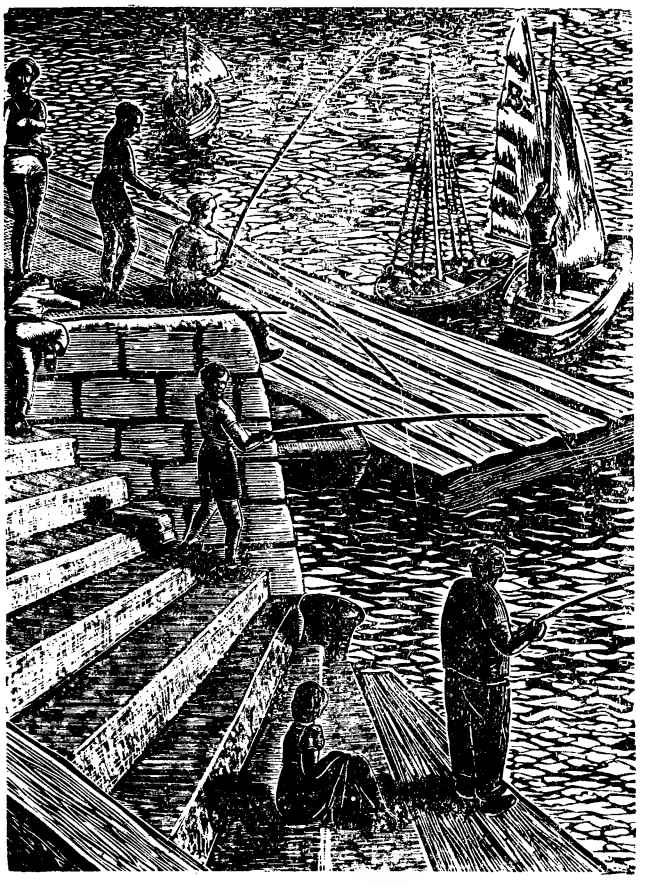


Е. Кучинский. „Индустриальный пейзаж".



Б. Новицкий. „В заводской кузнице".

М. Пухальский. „Пейзаж".



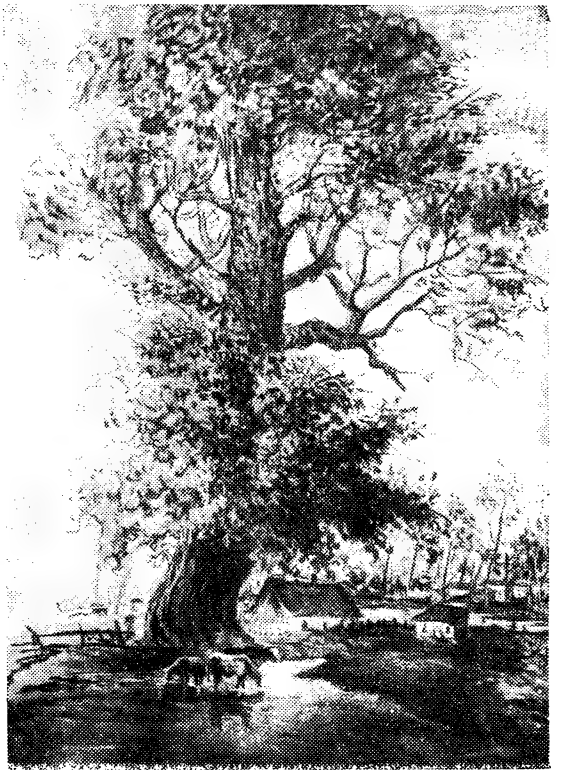
Б. Новицкий.
„Рай для удильщиков".

Современная графика представляет в этом смысле богатые возможности.

Можно только приветствовать приобретение Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы содержательной и ценной коллекции произведений современной польской графики. Получено около 200 листов станковой гравюры, офорта и книжной иллюстрации. Основная часть нового собрания — это работы, созданные в последние годы (1951—1954). Но есть среди них и листы, относящиеся еще к тридцатым годам.

Произведения новой коллекции не могут дать полного представления о состоянии современной польской графики, но знакомят с некоторыми ее характерными сторонами.

Пейзаж и качественно и количественно наиболее выразительно



А. Салтан.
„Тополя в Марымонте".

и многообразно представлен среди работ польских графиков. Пейзажные листы с конкретной убедительностью и точностью воссоздают перед нами типичные мотивы польской природы.

Чувство восхищения родным краем, его обновляющимся пейзажем, любовь к рекам, лесам, полям родины, привязанность к поэтическим уголкам старинных польских городов пронизывают работы А. Салтана, Б. Томесского, И. Покульского, И. Тома, М. Габриель-Ружицкой и других художников.

В лучших работах польских пейзажистов-графиков наглядно ощущается благотворное воздействие традиций классического польского искусства, сохранившихся в период засилья формализма в области графики намного последовательнее и богаче, чем в живописи.

М. Габриель-Ружицка. „Забытая башня в Бече".

Одноко традиции программного идейно-тематического искусства были почти целиком утеряны и в национальной живописи и в графике первой трети XX века.

Поэтому характеристика людей, их жизни, труда, быта несомненно представляет для любого художника задачу гораздо более сложную, чем установившийся традиционный жанр изображения природы; трудна она и для польских мастеров. Но они не уходят от решения этой задачи, хотя и справляются с ней пока еще менее удачно, чем с задачами пейзажной графики.

Среди гравюр и офортов, приобретенных Библиотекой иностранной литературы, имеется множество листов, посвященных самым различным явлениям в жизни новой Польши: и индустриализации страны, и труду рабочих и крестьян, и созданию сельскохозяйственных кооперативов, и восстановлению разрушенных польских городов. Они обладают большой познавательной и определенной художественной ценностью. Подобные произведения знаменуют собой начало овладения польскими графиками новой современной тематикой, освоения ими мастерства сюжетно-тематической композиции.

Б. Томеский. „Улица в старой Варшаве".

Нужно отметить совершенное профессиональное мастерство польских графиков. Они пользуются самой разнообразной графической техникой: от гравюры на дереве до цветной литографии. Причем владение сложной графической техникой сочетается у них с тонким умением использовать специфически выразительные средства каждого вида техники.

На страницах журнала мы воспроизводим некоторые из произведений польской графики, приобретенные Библиотекой иностранной литературы.

Э. Бартломейчик. „Пейзаж".

АВСТРАЛИЯ

РОМАН, ПРИЗЫВАЮЩИЙ ПОКОНЧИТЬ С УГРОЗОЙ ВОЙНЫ

В Сиднее вышел новый роман известного австралийского писателя Эрика Ламберта «Ветераны». Действие происходит в годы второй мировой войны. Рассказ ведется от первого лица. Роман повествует об испытаниях, выпавших на долю одного пехотного подразделения. По отзывам прогрессивной печати, Ламберт с большой реалистической силой показывает переживания человека, товарищ которого погибает рядом с ним в бою.

Многие страницы книги посвящены критике отдельных представителей агрессивных военных кругов США; одного из них Ламберт изобразил в лице полковника Фэруэя.

Отмечая полноту, убедительность и блеск, с какими дан образ Фэруэя в романе, «Трибюн мэгэзин» вместе с тем указывает, что книга в целом недостаточно глубоко обнажает социальные корни милитаризма.

Давая итоговую оценку нового произведения Эрика Ламберта, «Трибюн мэгэзин» пишет:

«Ни один человек, который прочтет эту книгу, не сможет сослаться на то, что ему незнакомы все ужасы войны, и таким путем оправдать свой отказ от участия в борьбе за мир».

АВСТРИЯ

ДИСКУССИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ И РОЛИ ЛИТЕРАТУРЫ

«Новые возможности искусства и литературы в свободной Австрии» — так была сформулирована тема большой дискуссии, развернувшейся на собрании одной из секций Союза австрийских писателей и журналистов. На этой дискуссии, вызвавшей, по сообщению газеты «Эстеррейхише фольксштимме», большой интерес в литературных кругах Вены, были обсуждены многие актуальные проблемы австрийской культурной жизни.

В основном докладе главное внимание было уделено новым возможностям, раскрывающимся перед писателями в результате подписания Государственного договора.

В ходе дискуссии отмечалось, что теперь пришло время, когда австрийская литература может и должна покончить со своей зависимостью от потребностей западногерманского рынка.

Выступавшие высказывались за полную независимость австрийской литературы, перед которой стоят свои, специфические задачи. Для того чтобы суверенитет и нейтралитет стали реальностью, указывали они, все подлинно национальное в литературе и искусстве должно развиваться широко и свободно. Это возможно лишь в том случае, — подчеркивали участники дискуссии, — если государство проявит бóльшую заинтересованность в развитии литературы и искусства.

В связи с этим был поднят давнишний вопрос о необходимости открыть общественные библиотеки в городских районах и общинах, что поможет повысить тиражи книг и оживит интерес к литературе.

АНГЛИЯ

ЭЛОБОДНЕВНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Лондонский театр «Юнити» после пьесы «Русское «да», посвященной теме англо-советской дружбы и встречающей весьма теплый прием у зрителей, поставил обозрение эстрадного характера под названием «Поштучно». Оно состоит из ряда отдельных сценок-скетчей. По отзывам печати, —

это самый веселый спектакль Лондона за последнее время и безусловно лучшее из эстрадных представлений. Обозреватель «Дейли уоркер» советует: «Если вы хотите увидеть что-либо оригинальное, актуальное и остро-сатирическое, идите смотреть обозрение «Поштучно» в лондонском театре «Юнити».

Наиболее остроумной и пользующейся наибольшим успехом является, по мнению печати, сценка, высмеивающая тех, кто опасается укрепления дружбы с Советским Союзом и кому всюду мерещатся «коммунистические заговоры». Называется она «Ньюмаркетский кошмар». Действие происходит на знаменитых скачках в Аскоте; здесь, в графстве Беркс, находится известный во всей стране ипподром. Скачки происходят ежегодно в Троицын день и посещаются всей аристократией.

«Кошмар», изображенный в скетче, состоит во внезапном возникновении «красной опасности»: в скачках будет участвовать лошадь из Советского Союза! А вдруг она выиграет?! Это уже будет нечто вроде «коммунистического проникновения». Возникает страшный вопрос: не придется ли заменить традиционный золотой кубок Аскота самоваром?

Как подчеркивает «Дейли уоркер», эта остроумная сценка написана с большим чувством юмора и отличается остротой диалога. Английский зритель по достоинству оценил ее злободневное политическое звучание.

Успехом пользуется также скетч «Наиболее срочная операция»; в нем идет речь об установлении дружбы и сотрудничества между всеми народами и ослаблении международной напряженности.

Успех обозрения «Поштучно», как и рост популярности театра «Юнити», объясняются тем, что пьесы, посвященные защите мира и написанные в любой форме, близки зрителям Англии и горячо ими одобряются.

„ОСОВРЕМЕНЕННЫЙ" ШЕКСПИР

Голливудская киноактриса Рут Ромэн выехала в Англию для участия в съемках фильма «Макбет», осуществляемого — как сообщает «Бритиш Юнайтед Пресс» — на «сексуальной основе». По словам Рут Ромэн, фильм «Джо Макбет» явится попыткой «осовременить» трагедию Шекспира, превратив ее в ...захватывающую гангстерскую историю.

«— Я буду играть разбитную девку — Лили Макбет, а Поль Дуглас — самого Макбета. Король Дункан станет «Большим Дунканом». Три ведьмы превращены в одну гадалку, ворожащую на картах».

Ряд сцен «модернизированного» «Макбета» будет сниматься в Шотландии, где происходит действие шекспировской трагедии.

БОЛГАРИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЭЗИИ 1954 ГОДА

В Союзе писателей состоялось творческое обсуждение болгарской поэзии за 1954 год. С докладом выступил главный секретарь Союза Христо Радевский.

Докладчик отметил, что для поэзии в минувшем году было наиболее характерно появление эпических произведений, оживление жанра сатиры, а также разработка новых тем в лирике. Положительной оценки заслуживают, по мнению докладчика, сборник Валерия Петрова «Там, на Западе», цикл стихотворений Г. Джагарова «Мои песни», стихи молодых поэтов Усина Керима, Марко Ганчева и других.

Вместе с тем, как подчеркнул докладчик, оторванность от жизни привела некоторых поэтов к творческим неудачам. Недостатком поэм «Город строится» Ламара, «Сквозь бурю» Алеко Пламенова и других эпических произведений является, по утверждению Христо Радевского, их композиционное несовершенство; часто в больших по объему поэтических произведениях заключено весьма незначительное содержание.

Христо Радевский призывал поэтов упорнее работать над повышением художественного мастерства.

В обсуждении доклада Христо Радевского приняли участие поэты и критики Иван Рудников, Божидар Божилов, Младен Исаев, Борис Делчев и другие; они также анализировали недостатки, присущие современной болгарской поэзии: отсутствие драматизма в сюжетах эпических поэм, неубедительность в раскрытии внутреннего мира героев.

В заключение секретарь Союза болгарских писателей Веселин Андреев подчеркнул всю важность активного участия поэтов в созидательной жизни народа и укрепления чувства ответственности перед читателем.

ОТКРЫТИЕ ДОМА-МУЗЕЯ ЛЮБЕНА КАРАВЕЛОВА

75-летие со дня смерти писателя-реалиста и революционера-демократа Любена Каравелова (1837—1879) было ознаменовано открытием дома-музея «Любен Каравелов» в Копривштице — городе, где он родился.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Болгарский библиографический институт «Елин-Пелин» опубликовал подробные данные о книгах, изданных в Болгарии в 1954 году. Всего за год было выпущено в свет свыше 3 300 названий книг общим тиражом около двадцати миллионов экземпляров. Это означает, что за год в среднем на каждого человека в Болгарии приходится три новых книги. Столь значительные цифры впервые фигурируют в болгарской статистике и свидетельствуют о несомненном росте народной культуры в стране.

ВЕНГРИЯ

„НЕДЕЛЯ КНИГИ"

Традиционная «Неделя книги» всегда проходит в Венгрии, как настоящий праздник. Преображается внешний вид улиц, на которых пестреют празднично украшенные ларьки различных издательств. Только в одном Будапеште во время последней «Недели книги» было открыто 58 уличных книжных базаров. Возле них всегда толпился народ. Происходил оживленный обмен мнениями с писателями, неизменно участвующими в этих ежегодных праздниках книги.

На многих будапештских предприятиях, на сотнях заводов, фабрик, во многих сельскохозяйственных производственных кооперативах страны также открылись книжные ларьки и палатки.

В связи с «Неделей книги» состоялись литературные вечера, концерты, читательские конференции и т. д. «Неделя книги» наглядно показала, как возрос интерес венгерского народа к художественной литературе, к печатному слову. На прилавки книжных базаров поступило более 130 новых изданий общим тиражом приблизительно в один миллион экземпляров (из них 18 произведений венгерских классиков и 44 — современных венгерских писателей).

Какие же книги пользовались наибольшим спросом? К таким относятся новые произведения современных венгерских писателей: Пала Сабо, Петера **Вереша**, Бориш Палотаи и других, а также стихи поэтов-классиков Петефи, Ади. Охотно покупали произведения детской и юношеской литературы. Венгерская печать, уделявшая много внимания «Неделе книги», отметила, что большим спросом пользовалась также «Антология советской поэзии» (2-е издание), «Анна Каренина» Л. Толстого и недавно вышедшие «Журбины» Кочетова. Велик был также интерес к двухтомнику избранных рассказов и «Будденброкам» Томаса Манна и книге итальянского писателя Пратолини «Хроника бедных влюбленных», недавно переведенной на венгерский язык.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЕНГЕРО-СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Венгеро-советское общество в июне 1955 года вступило в одиннадцатый год своего существования. Со времени своего основания общество, как подчеркивает газета «Иродалми уйшаг», проделало большую работу по укреплению венгеро-советских культурных связей, распространению опыта социалистического строительства, популяризации достижений советской науки, советского искусства и литературы.

В настоящее время общество насчитывает полтора миллиона членов.

ФИЛЬМ О РЕВОЛЮЦИИ 1919 ГОДА

На экраны вышел новый фильм «День гнева», воскрешающий героические дни венгерской пролетарской революции 1919 года. Сценарий этого фильма (автор — писатель Калман Шандор) является переработкой одноименной пьесы, которая с большим успехом была в свое время (1952 год) поставлена венгерскими театрами. По отзывам журнала «Мювельт неп», режиссер фильма Мариашши и коллектив занятых в нем актеров создали интересное произведение киноискусства.

Венгерские писатели — участники „Недели книги".
На снимках (слева направо): Пал Сабо, Эмиль Гранпьер и Тамаш Барань у ларька издательства „Ифьюшаги кёньвкиадо"; пионерка приветствует писательницу Жужу Тури на книжном базаре; Силард Дарваш подписывает свою книгу.
(Журнал „Мювельт неп")

Кадр из нового венгерского фильма „День гнева".
(*Журнал „Мювельт нап"*)

КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ

В Будапеште состоялась вторая конференция Союза работников изобразительных и прикладных искусств. В работе конференции приняли участие видные представители искусства и культуры.

С отчетным докладом о деятельности Союза выступил его секретарь, лауреат премии имени Кошута Иожеф Шомоди.

Он отметил необходимость организации высокоидейных дискуссий по принципиальным проблемам изобразительного искусства.

В прениях выступили многочисленные художники и скульпторы, в том числе Андраш Бек, Ласло Бенце, Янош Кмети, Лайош Немет, Шандор Эк и другие. На конференции выступил министр культуры Иожеф Дарваш. Говоря о достижениях венгерского искусства за десять лет и о нездоровых, натуралистических, формалистических явлениях последнего времени, Дарваш особо остановился на вопросе о национальном характере искусства, на необходимости развивать прогрессивные традиции венгерской живописи.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

65-ЛЕТИЕ ПИСАТЕЛЯ ГАНСА МАРХВИЦА

Немецкому писателю Гансу Мархвица исполнилось 65 лет. Эта дата была тепло отмечена общественностью Германской Демократической Республики. Министр культуры ГДР Иоганнес Бехер послал юбиляру поздравительную телеграмму, в которой говорится: «...Выйдя из среды рабочего класса, вы остались ему верны и дали в своих произведениях художественное изображение его жизни и борьбы. Мы уверены, что вы создадите еще много книг, и особенно таких, которые будут посвящены труду рабочих Германской Демократической Республики...» Ганса Мархвица приветствовали также Немецкая академия искусств, Союз немецких писателей и другие. В приветствии Союза писателей подчеркивается, что книги, созданные писателем, — это «история достижений, страданий, поражений и побед немецкого рабочего класса в нашем столетии...»

Шахтер по профессии, Ганс Мархвица начал свою литературную деятельность в качестве рабочего корреспондента. Вначале появились его очерки, стихи, а затем и такие его романы, как «Штурм Эссена», «Моя юность». Недавно Мархвица закончил свой новый роман «Чугун». В этом произведении, по отзыву газеты «Нейес Дейчланд», автор стремится показать «свободный творческий труд, в результате которого возникают не только новые фабрики и заводы, доменные печи и машины, но и новые люди».

ГАСТРОЛИ НЮРНБЕРГСКОЙ ОПЕРЫ В ГАЛЛЕ

Нюрнбергский оперный театр совершил гастрольную поездку в Галле. Гастроли эти состоялись в ответ на поездку оперного театра Галле в Нюрнберг, где он показал оперу Генделя «Эцио».

«Нюрнбергские мастера пения» начали свои выступления оперой современного немецкого композитора Хиндемита «Художник Матис». Либретто написано самим композитором. В нем рассказывается о художнике Маттиасе Грюневальде, жившем в середине XVI века. Он был активным участником Крестьянской войны в Германии, но затем отошел от движения и замкнулся в мире искусства.

Немецкий музыковед профессор Зигмунд-Шульце в статье, посвященной гастролям Нюрнбергского оперного театра в Галле, подчеркивает, что они «имеют значение, выходящее за

рамки искусства», и наглядно доказывают возможность «расширить и углубить культурные связи между разделенными частями Германии».

ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» В ДРЕЗДЕНЕ

В Дрездене состоялась премьера балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, поставленного балетмейстером Эрвином Хансеном. В рецензии, помещенной газетой «Теглихе Рундшау», отмечается, что постановщику удалось передать драматическую напряженность и проникновенный лиризм этого произведения. Положительно оценивается искусство молодых исполнителей главных партий, а также слаженность всего ансамбля. Как сообщает газета «Нейес Дейчланд», Дрезденский театр намерен показать эту новую работу в Берлине.

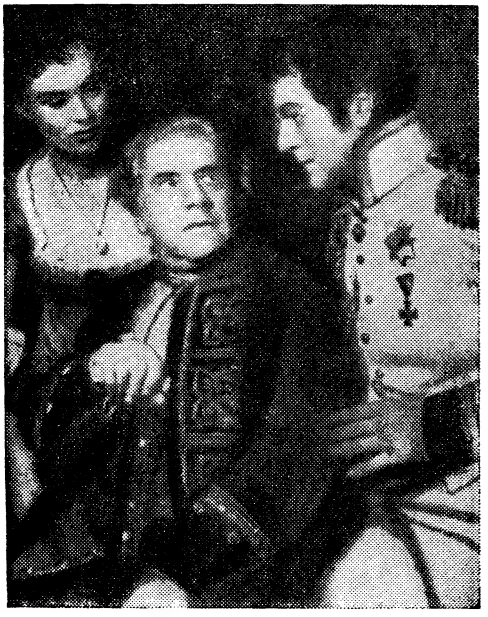
ГЕРМАНСКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

ИНТЕРЕС К РУССКОЙ КЛАССИКЕ И СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В обширной переводной литературе, издаваемой сейчас в Германской Федеральной Республике, классики русской литературы и современные советские писатели занимают довольно скромное место. В «Недельных обозрениях немецкой библиографии» содержатся красноречивые статистические данные о всех переводах с иностранных языков, вышедших в Федеральной Республике в 1953 году. Согласно этим данным, с русского языка было переведено всего 33 книги, то есть на одну больше, чем с норвежского. В то же время количество книг английских и американских авторов, переведенных в том же году, составило 633.

В последнее время ряд издательств, идя навстречу требованиям читателей, выпустил в свет сочинения классиков русской литературы — романы Достоевского, прозу Пушкина, «Мертвые души» Гоголя. Это произведение Гоголя, вышедшее в издательстве Кезеля в Мюнхене, было отмечено прессой как одно из лучших изданий прошлого года. Книга иллюстрирована 104 рисунками. Переводчик «Мертвых душ» Сигизмунд Радецки назвал их «поистине современной «Одиссеей» и современным «Дон Кихотом» одновременно...» Отдельный том произведений Гоголя должен выйти в издании «Курт Деш-Ферлаг» в Мюнхене. Романы Достоевского выходят серией в издательстве Рейнгарда Пипера. Отдельным изданием вышли письма Достоевского.

Такие писатели, как Лесков и Мамин-Сибиряк, фактически лишь теперь «открытые» в Федеральной Республике, очень быстро приобрели большую популярность. К 60-летию со дня смерти Лескова в марте этого года издательство «Бидерштейнферлаг»



Режиссер Эрвин Пискатор поставил в „Шиллер-театре“ (Западный Берлин) инсценировку романа Льва Толстого „Война и мир“. На снимке слева: Наташа Ростова, Николай Болконский и Андрей Болконский. На снимке справа: Пьер Безухов и чтец от автора.

(г. Мюнхен) выпустило второе издание сочинений русского писателя в шести томах.

Большой интерес вызвал изданный в Федеральной Республике и в Швейцарии в немецком переводе роман Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы». Вскоре после выхода романа в свет в Цюрихе (Швейцария) пресса и радио Федеральной Республики посвятили ему множество откликов. Радио Штутгарта отметило, что этот русский писатель был «несправедливо утаен от нас». Гамбургская газета «Зоннтагсблат» писала, что роман «Приваловские миллионы» оставляет «самое сильное впечатление из всего прочитанного за последние три года».

В западногерманской прессе все чаще проскальзывает недовольство всем тем, что мешает ознакомлению с советской культурой и русской классической литературой.

«В Германии на рубеже веков (XIX и XX. — Ред.) знатоки иностранной литературы предпочитали русскую литературу всем другим... А сегодня? О современной русской литературе, даже о Горьком, мало что известно», — писал выходящий во Франкфурте-на-Майне журнал «Бёрзенблат фюр ден дейчен буххандель», касаясь положения на книжном рынке.

ГОЛЛАНДИЯ

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ

Не так давно на киноэкранах Парижа можно было увидеть американский документальный фильм, показывающий гибель «экспериментального городка» в США, специально выстроенного для того, чтобы служить объектом при испытаниях атомной бомбы.

Этот американский фильм демонстрировался не только во Франции, но и в других странах Западной Европы. Случилось так, что в Голландии его показывали одновременно с польским документальным фильмом, посвященным восстановлению Варшавы. Реакция зрителей на одновременный показ этих двух фильмов была совершенно ясной: аплодисменты в защиту мира и возгласы против угрозы новой войны.

Буржуазная голландская газета «Альгемейне Гандельсблад» озаглавила свою рецензию на оба фильма следующим образом: «Восстановление Варшавы и разрушение опытного городка в США».

Подчеркивая символический контраст между обоими фильмами, автор рецензии дал положительную оценку одному из них. В данном случае эту оценку получил фильм, в котором показано строительство, созидание, а не разрушение и уничтожение.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

В ТЕАТРАХ ХАНОЯ

Репертуар театральных коллективов Ханоя расширяется с каждым днем. Театр «Сонг Хонг» («Красная река») подготовил две программы, куда вошли оперы, пьесы в стихах и прозаическая пьеса драматурга Фан Таи. Театр «Донг Фыонг» («Восточное зеркало») закончил подготовку спектакля «Ночь в Лао-Кае» Хоанг Кама.

Недавно созданные театральные коллективы «Белый голубь», «Звезда Вьетнама», «Освобождение» также готовятся к выступлениям перед жителями столицы.

Народный театр классического стиля «Лак Вьет» («Вьетнамский Союз») сейчас выступает со спектаклем «Плуг», текст которого, написанный поэтом Вьет Зунг, был инсценирован драматургом Ту Мо.

Более десяти раз, сообщает газета «Ван Нге», коллектив театра «Лак Вьет» выступал с этой пьесой в Ханое, неизменно вызывая горячее одобрение зрителей.

УКРЕПЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ С ФРАНЦИЕЙ

Более года назад на древней земле Вьетнама умолкли пушки. Ныне Демократическая Республика Вьетнам стремится к тому, чтобы ее культурные и экономические связи с Францией ширились и укреплялись. Это выразилось, к примеру, в таких фактах, как создание Общества вьетнамо-французской дружбы или в сердечном приеме, оказанном общественностью делегации французского движения сторонников мира, побывавшей во Вьетнаме.

Вьетнамский комитет защиты мира и Общество вьетнамо-французской дружбы организовали вечер, посвященный двухсотлетию со дня смерти великого французского мыслителя Монтескье. Выступивший на вечере профессор Нгуен Мань Тьюнг познакомил собравшихся с жизнью и творчеством выдающегося просветителя.

Интеллигенция Ханоя устроила встречу с двумя профессорами Парижского университета Безансоном и Вале. Профессор Безансон выступил в университете и в клубе «Единство» с лекциями по медицине.

Отношения между обеими странами, напоминает газета «Ван Нге», омрачались неравноправным положением Вьетнама как колонии Франции. В новых условиях созданы возможности для установления постоянного, равноправного и полезного культурного контакта между обеими странами.

ЕГИПЕТ

В ПЕРЕВОДЕ НА АРАБСКИЙ ЯЗЫК

Правительство Египта ассигновало, по сообщению газеты «Муслим Уорлд», 50 тысяч фунтов на перевод лучших произведений мировой литературы на арабский язык. Всю работу по изданию переводов поручено возглавить писателю Таха Хусейну.

ИЗРАИЛЬ

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В Тель-Авиве создано «Общество друзей прогрессивной арабской литературы»; по сообщению выходящего на арабском языке журнала «Аль-Джадид», оно ставит своей целью ознакомление читателей Израиля с лучшими произведениями прогрессивной арабской литературы и содействие культурному сближению между евреями и арабами. В состав общества вошли прогрессивные арабские и еврейские писатели.

ИНДОНЕЗИЯ

ТАНЦЫ ОСТРОВА БОРНЕО

Большим событием в культурной жизни Индонезии явился показ народных танцев острова Борнео, происходивший недавно в Джокьякарте (о-в Ява). Из различных районов Калимантана (так в Индонезии называют Борнео) в Джокьякарту приехало сорок танцовщиц и танцоров, чтобы продемонстрировать здесь свое искусство.

В отличие от танцев, распространенных на островах Яве и Бали, танцы народностей, населяющих Калимантан, сравнительно мало известны в стране. Неудивительно, что эти выступления были встречены с огромным интересом.

Индонезийский журнал «Сиасат» подробно рассказывает о танцах народности кутэй, живущей в долине реки Махакам (Восточный Калимантан). Река эта очень обманчива. Если взглянуть на нее издали, она кажется величавой и спокойной. Но стоит рыбачьему челну немного отплыть от берега, как он тотчас же попадает в бурные водовороты. «Характер» реки как будто отразился в танцах кутэй. Ритму их свойственны резкие переходы от спокойной, величавой грации к бурным, резким движениям. В каждый из них вложено определенное сюжетное содержание, и все они исполняются в масках.

«Тари Патих» — это история придворного, на которого уехавший в долгий путь раджа возложил все свои полномочия. Пантомима развертывается под аккомпанемент ударных инструментов: генданга, саронгбонанга и демонга.

«Тари Келана» — законченная сказка в пластических образах. Раджа по имени Келана Свандоно, беседуя со своим верным слугой Тогоком, засыпает в тронном зале. Во сне к нему является прекрасная принцесса, которую зовут Диах Галух Чандра Кирана. Раджа весело шутит с девушкой и забывает о всех своих тревогах. Проснувшись, он впадает в тоску — ему жаль, что все это только сон. Келана Свандоно решает во что бы то ни стало найти девушку и отправляется странствовать по белу свету в поисках прекрасной принцессы.

Журнал «Сиасат» рассказывает также о танцах народности бахау (тоже Восточный Калимантан). «Джунг джулунг» — обрядовый танец, он исполняется во время погребальной церемонии. «Сапек» и «Бади тианг» — веселые, жизнерадостные танцы. Их исполняют на свадьбах, в честь дорогих гостей, по случаю хорошего урожая риса и при других радостных событиях.

ИТАЛИЯ

„ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ"

В Италии хорошо знают героя Сопротивления, сенатора-коммуниста Серени. Имя Марины Серени, его жены, стало известно итальянскому народу после выхода в свет в начале 1955 года книги «Дни нашей жизни».

Марина Серени умерла в 1951 году. Перед смертью она привела в порядок свои дневники, написала последние письма. Это составило небольшой томик, изданный под названием «Дни нашей жизни».

Книга Марины Серени — история прекрасной любви, полной взаимного уважения, любви, ради которой люди идут на любые лишения и жертвы. Но не об одних лишь сугубо личных отношениях узнаем мы из этой книги. После встречи с Эмилио Серени Марина вступила в коммунистическую партию.

Она всегда была рядом с мужем. Когда Эмилио Серени арестовали фашисты, она, постоянно рискуя жизнью, поддерживала связь между ним и ЦК партии. Она помогла организовать побег Эмилио из тюрьмы накануне того дня, когда его должны были расстрелять.

«Партия, — пишет она в дневнике,— тесно, неразрывно слилась для меня с личной жизнью. И это всегда придает мне уверенность в том, что я частица той необъятной силы, которая ведет мир вперед. Это дает мне огромную радость...»

ЧАПЛИН И КРИТИКА

О Чаплине написано очень много. Умело отобрать и систематизировать этот необъятный мате-

риал — дело чрезвычайно трудное. Эту задачу поставил перед собой известный филолог и историк Глауко Вьяцци. Его книга, выпущенная в 1955 году и озаглавленная «Чаплин и критика», содержит наиболее значительные статьи, посвященные всей творческой деятельности артиста.

В большой вводной статье Г. Вьяцци охарактеризовал главные направления, существующие в литературе о Чарли Чаплине в различных странах. В сборнике помещено выступление В. Пудовкина (в московском Доме кино в 1944 году), проникнутое чувством горячей симпатии и восхищения замечательным художником-гуманистом.

Почти одновременно с книгой Вьяцци в Италии вышел сборник нескольких киносценариев Чаплина. Однако комедии Чарли Чаплина не всем, очевидно, пришлись по вкусу. В напечатанном сценарии комедии «Эмигрант» цензура, как сообщил «Календарио дель пополо», вырезала центральные эпизоды, в которых замечательный художник показал характерные черты буржуазной демократии.

ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ ГОРЬКИМ И ЧЕХОВЫМ

Недавно итальянское издательство «Ринашита» выпустило в свет переписку между Горьким и Чеховым. В книге собраны письма, относящиеся к периоду 1894—1904 годов.

В рецензии, посвященной этому изданию журналом «Контемпоранео», отмечается большой интерес в Италии к письмам великих русских писателей; по мнению журнала, это в значительной степени объясняется тем, что вопросы, которые затрагиваются в переписке Чехова и Горького, звучат весьма актуально и для современной итальянской литературы.

КИТАЙ

ПОВТОРНЫЕ ИЗДАНИЯ ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

По сообщению газеты «Гуанминжибао», издательства «Народная литература» и «Писатель» систематически переиздают лучшие произведения новой китайской литературы.

Издательство «Народная литература» с 1951 года до начала текущего года выпустило 38 оригинальных и переводных произведений общим тиражом более чем в три миллиона экземпляров. Сочинения Цюй Цю-бо за два года вышли тиражом свыше 280 тысяч экземпляров. (Цюй Цю-бо — выдающийся писатель и публицист, известный популяризатор советской литературы в Китае, член ЦК Китайской компартии, друг Лу Синя, погибший двадцать лет назад от руки гоминдановских палачей). Переи-

„Гимн миру" — коллективное произведение четырнадцати китайских художников: Ци Бай-ши, Чэнь Бань-дина, Хэ Сян-нина, Юй Фэй-аня, Ван Шэнь-шэна, Ли Жуй-лина, Ма Цзиня, Сюй Янь-суня, Ян Миня, Ван Сюэ-тао, У И-гэ, Чжан Ци-и, Тянь Ши-гуана и Дуань Люй-цина.

В верхнем правом углу картины — три крупных иероглифа, означающие „Гимн миру". Эта надпись сделана председателем Всекитайского народного комитета защиты мира, писателем Го Мо-жо, являющимся одним из выдающихся каллиграфов современности.

История создания этой картины такова: А. Варела, ведающий вопросами культуры в постоянном комитете Всемирного Совета Мира, обратился с телеграммой в адрес Всекитайского комитета мира; в ней сообщалось о том, что известный американский художник А. Рефреджер предложил прогрессивным художникам мира преподнести в дар Ассамблее в Хельсинки свои картины.

Воспроизводим картину, созданную коллективом китайских художников. Подаренная ими картина написана цветной тушью.

Размеры этого произведения — 398 см × 201 см.

даны романы Мао Дуня «Перед рассветом» и «Распад», Ба Цзиня «Семья» и «Осень», Лао Шэ «Рикша», а также избранные произведения других писателей. Начата работа по подготовке к печати собрания сочинений Го Мо-жо.

ШЕКСПИР И ДИККЕНС, БАЛЬЗАК И МАРК ТВЭН

Наряду с многотиражными изданиями русских классиков, произведениями советской литературы и литературы стран народной демократии в Китае получает широкое распространение и западноевропейская классическая литература. Так, двенадцатитомное издание Шекспира было недавно выпущено тиражом в 210 тысяч экземпляров. Спрос на произведения Диккенса, Фильдинга, Харди, Байрона, Шелли, Бернарда Шоу очень велик. Характерна следующая цифра: «Овод» Войнич, вышедший в переводе на китайский язык в июле 1953 года, к июлю 1955 года был распродан в количестве 700 тысяч экземпляров!

Из американских писателей, как сообщает газета «Пиплз уорлд», особенно популярен Марк Твэн. Охотно читают Драйзера, Джека Лондона, Говарда Фаста, Альберта Мальца, поэтов Лонгфелло и Уолта Уитмена.

Что касается французской литературы, то более тридцати романов Бальзака переведены на китайский язык. «Евгения Гранде» и «Отец Горио» вышли даже в трех различных переводах. Пользуются успехом Мольер, Ги де Мопассан и Ромен Роллан.

МИЦКЕВИЧ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Отмечая столетие со дня смерти А. Мицкевича, издательства и периодическая печать народного Китая знакомят читателей с литературным наследием поэта.

Еще в 1954 г. вышли в издательстве «Цзоцзя Чубаньшэ» его «Избранные стихотворения». В этом году опубликована поэма «Пан Тадеуш» в переводе на китайский язык Сунь Юна. Он же 5 мая 1955 г. в газете «Женьминьжибао» поместил биографическую статью «Жизнь великого польского поэта Адама Мицкевича» и опубликовал в журнале «Веньибао» статью «Величайший поэт Польши Мицкевич».

Перу Люй Цзяня принадлежит статья «Памяти Мицкевича» в журнале «Женьминьвэньсюэ». В этом же номере журнала помещены переводы двух стихотворений Мицкевича — «Свитезянка» и «Фарис».

ПОЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В ПЕКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

24 сентября 1954 года, впервые в истории Китая, в Пекинском университете состоялась лекция на польском языке.

Лекция эта знаменовала собой создание польского факультета в университете.

ЛИВАН

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Издательство «Дар ар-Рейхани» в Бейруте приступило к изданию большой арабской энциклопедии. Из печати уже вышел первый том.

В другом издательстве — «Дар Садир» — подготовляется к выходу в свет полное собрание сочинений Джубрани Халиль Джубрана — выдающегося арабского писателя, художника и мыслителя, обличавшего в своих произведениях реакционное духовенство, боровшегося против неравноправия женщины, воспевшего природу Ливана.

В Ливане издана первая часть романа А. Фадеева «Молодая гвардия» на арабском языке.

МЕКСИКА

«В ДРУГОМ МИРЕ»

«В другом мире» — так озаглавлена книга прогрессивного мексиканского журналиста Луиса Суареса, в которой он описывает свои впечатления от поездки по странам народной демократии. Как отмечает газета «Ла Вос де Мехико», в книге ярко отражена повседневная борьба народов Чехословакии, Румынии и Польши за мир и социализм.

Автор подробно описывает, как после долгого пути, идущего через страны капиталистического лагеря, он попал в «другой мир», то есть в мир социализма.

«Насколько отлична жизнь, проявления которой я видел в труде и отдыхе людей, на фоне строгих стен Праги или на фоне фресок новых зданий, от той жизни, какую стремится изобразить лживая пропаганда!», — пишет в своей книге Суарес.

ПОЛЬША

СОЧИНЕНИЯ Г. СЕНКЕВИЧА В 60 ТОМАХ

В Варшаве закончено издание полного собрания сочинений Генрика Сенкевича в 60 томах. В него вошли не только все художественные произведения выдающегося польского писателя, но и его публицистические и литературно-критические работы. В последних томах дана подробная хроника жизни писателя, а также библиография его произведений, их переводов и литературы о его творчестве.

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ МОНОГРАФИИ

Начато издание небольших по объему, популярных по изложению, богато иллюстрированных монографий об известных деятелях польского театра. Уже вышли две такие монографии: одна из них посвящена «отцу польского театра» Войцеху Богуславскому (XVIII век), другая — известному современному польскому актеру Каролю Адвентовичу.

380 НАУЧНЫХ КНИГ ЗА ОДИН ГОД

Польское научное издательство наметило выпустить в этом году 380 научных книг и 300 номеров научных журналов, посвященных различным отраслям гуманитарных наук, математики, биологии, естествознания и техники.

По данным, приведенным в газете «Трибуна люду», план издательства по своему объему вдвое превышает план 1953 года и в шесть раз план 1952 года.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ НА СЕЛЕ

В последнее время в Польше организован ряд передвижных выставок изобразительного искусства, обслуживающих жителей небольших городов и сел. Эти выставки знакомят жителей с творчеством старых мастеров и достижениями современных польских художников. Так, в частности, с картинами великого польского художника Яна Матейки получило возможность ознакомиться сельское население Ольштынского и Белостокского воеводств; передвижная выставка посетит также ряд местностей в Жолковском, Люблинском и Келецком воеводствах.

РУМЫНИЯ

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ЖОРЖА ЭНЕСКУ

Румынский народ глубоко чтит память своего соотечественника — выдающегося композитора, дирижера и скрипача Жоржа Энеску, скончавшегося на 74 году жизни. Президиум Великого Национального Собрания РНР издал указ, по которому имя Жоржа Энеску присваивается Государственной филармонии в Бухаресте и селу Ливень, в котором он родился. Одна из улиц Бухареста должна быть названа именем Жоржа Энеску. Совет министров РНР принял решение об организации каждые три года международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей. Министерство культуры объявило конкурс на памятник и бюст композитора. Принято решение о реставрации и превращении в музей дома, где родился Ж. Энеску. Устанавливается также пять персональных стипендий его имени для студентов последних курсов консерватории по классу композиции и исполнения.

КОНКУРС „ЛЮБИТЕ КНИГУ!"

«Любите книгу!» — эти слова А. М. Горького стали девизом конкурса, проводимого среди молодежи Румынской Народной Республики. Конкурс объявлен Центральным комитетом Союза трудящейся молодежи. В его организации и проведении принимают участие Министерство культуры, Министерство образования, Центральный Совет профсоюзов и Союз писателей Румынии. «Цель конкурса, — говорится в статье, помещенной в «Газета литерарэ», — заключается в широком распространении книги среди молодежи, в стимулировании интереса к чтению и в расширении культурного горизонта».

В конкурсе может принять участие каждый юноша и девушка в возрасте от 14 лет. Для получения значка «Друг книги» и права его ношения каждый из записавшихся участников конкурса должен в течение года прочесть книги, указанные в списке как обязательные, и, кроме того, одну книгу по своему выбору. С целью оказания помощи участникам конкурса при каждой библиотеке организуются читательские кружки. Для лучшей популяризации книги среди молодежи будут организованы вечера коллективных рецензий, встречи с писателями, литературные вечера и выставки.

НОВЫЙ ПЕРЕВОД „МЕРТВЫХ ДУШ"

В Румынии издан новый перевод поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

Первые переводы произведений Гоголя стали появляться в Румынии в конце 90-х годов прошлого века; но задолго до этого времени его творчество, ставшее известным по французским и немецким переводам, уже завоевало любовь и признательность читателей. С восхищением отзывались о великом русском реалисте румынские писатели-классики Эминеску, Караджале, Одобеску. «Я уже давно был очарован высоким искусством Николая Гоголя, — писал Михаил Садовяну, — его украинские «Вечера», «Сорочинская ярмарка», «Тарас Бульба», «Мертвые души» доставили мне огромное удовольствие. Его книги были для меня хлебом и солью в те времена, когда я был совершенно лишен этих благ, столь необходимых для моего физического существования».

«Мертвые души» не раз переводили в Румынии. Впервые они были напечатаны на румынском языке в 1905 году в газете «Кроника», а затем в отрыв-

ках — в газете «Эпока» в 1910 году.

Новый перевод поэмы Гоголя, вышедший недавно в издательстве «Русская книга» («Картя русэ»), сделан известным поэтом Тудором Аргези, Ионелом Цэрану, Николае Д. Гане и Р. Доничем.

Оценивая качество перевода, «Газета литерарэ» пишет: «Перевод этот легок и читается почти везде как оригинальное произведение, что является важнейшим достоинством любого хорошего перевода». Далее в статье подчеркивается, что, несмотря на некоторые стилистические недостатки, перевод достоин всяческих похвал, так как «он дает в распоряжение румынского читателя блестящую сатирическую поэму Гоголя в достойном оригинала облачении».

«ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»

Вышел второй том романа Камила Петреску «Человек среди людей». Газета «Контемпоранул», сообщая об этом, подчеркивает, что «появление этого тома представляет собой значительное явление в румынской литературной жизни». Роман К. Петреску посвящен жизни и деятельности одного из вождей революции 1848 года, революционного демократа Николае Бэлческу. Автор воссоздает широкую социальную картину того времени, на фоне которой протекает яркая, полная вдохновенной борьбы за счастье народа жизнь Бэлческу.

Первая часть романа, впервые напечатанная в 1953 году в журнале «Вяяца ромыняскэ», повествует о детских и юношеских годах Бэлческу, о его участии в тайном обществе «Братство». Второй том охватывает короткий, но бурный, насыщенный событиями период самой революции, июнь 1848 года.

В связи с выходом в свет второго тома романа состоялась встреча писателя, академика Камила Петреску с читателями. Отвечая на многочисленные вопросы, К. Петреску сообщил, что в третьем, заключительном томе он расскажет о деятельности «временного правительства», продолжавшейся до осени 1848 года, о жизни Бэлческу в изгнании.

США

ЖГУЧАЯ ТЕМА

Судьба честного интеллигента в современной Америке — тема, затронутая во многих произведениях, появившихся в США за последнее время. После «Сайласа Тимбермена» Говарда Фаста и романа Марты Додд «Лучом прожектора» вышла в свет книга писательницы Мей Сартон «Раны, которые не заживают».

Американская критика дает высокую оценку этому роману, посвященному острым проблемам, стоящим перед современной американской интеллигенцией. История и обстоятельства смерти учителя Эдварда Кэвана, говорит рецензент, напоминают о трагической гибели прогрессивного критика и профессора литературы О. Маттисона, который покончил с собой в 1949 г., подавленный атмосферой антикоммунистической истерии и травлей демократических деятелей культуры.

Однако центральное место в книге Мей Сартон занимает не сама смерть Кэвана, а воздействие этого трагического случая на судьбы различных людей, связанных с ним. С большой убедительностью рисует автор нескольких преподавателей, причем каждый по-своему воспринимает гибель товарища. Самые правдивые и мужественные обретают в этой утрате новую силу и стойкую веру в то, что, как пишет «Пиплз уорлд», «интеллигенция призвана защищать рубеж свободной мысли, особенно в такое время, как наше, когда рубеж этот с каждым днем делается все у́же и у́же».

КНИГА, ВПОЛНЕ УСТРАИВАЮЩАЯ КОЛОНИЗАТОРОВ

Книга сотрудника газетного треста Скриппс-Говард Роберта Рюарка, вышедшая в Нью-Йорке под названием «Нечто ценное», в течение короткого времени была разрекламирована буржуазной печатью в качестве «бестселлера». Действие этого романа происходит в Кении в наши дни. Автор начинает с душераздирающих описаний «кровавых обрядов племени мау-мау» с тем, чтобы в дальнейшем попытаться найти оправдание для всех зверств белых колонизаторов, совершаемых ими в Кении.

В романе Рюарка, как отмечает «Пиплз уорлд мэгэзин», речь идет о «черном континенте», заселенном «зловредными дикарями», которых желательно истребить, чтобы они не мешали колонизаторам «насаждать культуру».

Описываемая Рюарком плантация Маккензи выглядит у него примерно так: все белые плантаторы — люди смелые, храбрые, благородные. Все африканцы — ленивы, глупы и созданы самим богом в качестве объекта для эксплуатации своими хозяевами. Добрые жены плантаторов из жалости лечат этих дикарей, а они, негодные и неблагодарные, ведут борьбу за независимость, что очень не по вкусу добрым женам и их храбрым мужьям.

Два главных действующих лица романа: сын плантатора Питер и сын старшины племени кикуйу Кимани — сверстники. По мере развития действия Кимани превращается в «преступного» вождя «мау-мау», а «герой» Питер, спасая белых плантаторов от террора «мау-мау», убивает Кимани, после чего снова воцаряется «порядок».

Как отмечает «Пиплз уорлд мэгэзин», нашумевший и буквально поднятый на щит американской реакционной печатью роман Роберта Рюарка представляет

собой литературную мешанину из кроваво-садистских творений Спиллейна и ханжеских заверений в том, что британские войска в Кении выступают в качестве «просветителей» и «цивилизаторов».

ВЫСТАВКА КАРТИН ФРАНСИСКО ГОЙЯ

Большая выставка рисунков, гравюр и картин Франсиско Гойи была организована в музее Метрополитэн (Нью-Йорк). Сто двадцать девять работ из числа экспонированных на выставке прибыли из испанских собраний Прадо и Ласаро Гольдиано; ряд произведений художника предоставила Национальная галерея Вашингтона.

Корреспондент газеты «Уоркер» говорит о потрясающем впечатлении, которое производит в наши дни творчество великого испанского мастера.

«Ужасы войны» — знаменитая серия рисунков Гойи — звучит сейчас, в наши дни, с особой, истинно трагической силой. В статье приведен отрывок из воспоминаний садовника Гойи, сопровождавшего его в ночь после кровопролитного штурма (во время похода Наполеона в Испанию), когда художник делал зарисовки убитых и раненых, оставленных на поле боя:

«...Мы увидели огромное множество мертвых тел, лежавших в лужах крови, кто на спине, кто лицом вниз; один труп стоял на коленях, словно целуя землю, другой простирал руки к небу, взывая о милосердии или возмездии... Пока, пораженный ужасом, я глядел на это страшное зрелище, мой хозяин сосредоточенно рисовал. Мы вернулись домой, а на другое утро дон Франсиско показал мне свой первый набросок, наполнивший меня смятением. «Синьор,— спросил я,— зачем вы изображаете это людское варварство?» «Чтобы доставить себе удовольствие, — спокойно отвечал он, — раз и навсегда сказать людям, что они не должны быть варварами».

ТУРЦИЯ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

Свыше года назад в Стамбуле скончался известный турецкий прозаик-реалист, тонкий мастер новеллы Саид Фаик. Его творчество проникнуто гуманностью и стремлением к прогрессу.

Место Саида Фаика в современной турецкой литературе и популярность его произведений в читательских массах настолько значительны, что с этим вынужден считаться и образованный в начале марта текущего года Союз турецких литераторов. Неудивительно, что правление этого союза вынесло решение об организации торжественного чествования памяти Саида Фаика. К этой дате было приурочено также вручение литературной премии его имени, учрежденной издательством «Варлык».

Однако самый факт чествования памяти Саида Фаика, санкционированный руководством союза, отнюдь не отличающимся прогрессивностью своих взглядов, вызвал все же недовольство у такого реакционера, как Пеями Сафа. По иронии судьбы, именно он был назначен основным докладчиком на вечере. Ему нетрудно было, таким образом, сорвать вечер при помощи... своей неявки. Пеями Сафа так и поступил. А спустя несколько дней он же напечатал очередную статью, в которой обвинил Саида Фаика в «крамольной левизне взглядов».

Явно провокационное поведение и чересчур грубая «работа» Пеями Сафа, во что бы то ии стало стремящегося очернить творчество такого писателя, как Саид Фаик, вызвало недовольство даже у «Джумхуриет». Эта газета сообщала, что поведение Пеями Сафа «подняло волну возмущения среди членов союза». Пеями Сафа, отвечая на упреки «Джумхуриет», пытался в специальном письме «оправдать» свою позицию и замять весь «инцидент». Тем не менее он, как утверждает «Джумхуриет», «по решению большинства был выведен из состава правления и исключен из членов союза». Видимо, даже с точки зрения многих буржуазных литераторов Турции Пеями Сафа в данном случае явно «перестарался».

ФИНЛЯНДИЯ

АНТИВОЕННЫЙ РОМАН ВЯЙНЕ ЛИННА

Еще не так давно Вяйне Линна если и был кому-нибудь известен, то главным образом в качестве скромного слесаря-наладчика из города Тампере. Во всяком случае даже в наиболее подробных литературных справочниках за 1954 год имя его отсутствовало. Сейчас он приобрел широкую известность как автор романа «Неизвестный солдат».

Роман этот посвящен изображению финской армии в годы второй мировой войны, а еще точнее — в годы существования пресловутого «братства по оружию» между Финляндией и гитлеровской Германией (1941—1944 гг.). Ход войны Линна изображает в своем романе сквозь призму боевых действий одной пулеметной роты.

Реалистически показывая недовольство рядовых солдат чуждой им войной за «Великую Финляндию», писатель, как утверждает демократическая печать, ограничивается изображением людей пассивных; владеющее его героями недовольство ие мешает им вполне исправно нести службу и послушно воевать. Нет в романе ни одиого образа фин-

ского патриота, который открыто выступил бы против участия страны в агрессивной, захватнической войне.

Правдиво и жизненно даны автором сатирические образы офицеров, представителей военного духовенства, женщин — участниц военизированной профашистской организации «Лотта-свярд». В то же время, по мнению финской демократической печати, в романе не дается глубокой и социально осмысленной оценки войны, которую автор называет «глупостью всего человечества».

Роман Вяйне Линна «Неизвестный солдат» вызвал многочисленные и различные отклики финской печати. Реакционная пресса встретила роман открыто враждебно. В такой оценке, как отмечала демократическая печать, нашла свое отражение «точка зрения военных кругов».

Однако небывалый успех в Финляндии книги Линна заставил реакционную критику искать иного выхода. В результате буржуазная печать начала расхваливать роман как раз за те его стороны, какие, по мнению демократической прессы, являются самыми уязвимыми.

Демократическая печать — «Тюэкансан саномат», «Вапаа сана» — считает роман В. Линна «Неизвестный солдат» значительным произведением современной финской литературы; в отзывах этих газет подчеркивается, что речь идет по сути дела о первом произведении, реалистически отображающем участие Финляндии в войне. Вместе с тем та же печать обращает внимание на слабости этого романа, вызванные главным образом недостаточно последовательной позицией автора.

ФРАНЦИЯ

„ОБРАЗЫ ЖЕНЩИН"

В парижском издательстве «Эдисьон Сосиаль» вышла книга французской прогрессивной писательницы и журналистки Доминики Дезанти «Образы женщин». В этой книге даны в форме литературно-биографических портретов образы Луизы Мишель, Надежды Константиновны Крупской, Розы Люксембург и Этель Розенберг. Говоря о своей книге, Доминика Дезанти пояснила корреспонденту «Юманите»: «В моем представлении каждая из этих женщин олицетворяет важный момент продвижения своей страны по пути прогресса».

В рецензии на книгу Доминики Дезанти, помещенной газетой «Юманите», говорится: «В годы между двумя войнами в большой моде были романизированные биографии. Этот жанр ублюдочен, так как автор романизированной биографии обычно дополняет, перекраивает, приукрашивает историю, а читатель не в состоянии отличить в его книге действительное от выдуманного... Доминика Дезанти не вступила на этот ложный путь. Ее правдивая и интересная книга построена на фактическом материале... Дезанти сумела приблизить к читателю великих женщин, не канонизируя и вместе с тем не снижая их образа. Писательница знакомит читателей с ними в их будничной, повседневной жизни. Не прекраснее ли всевозможных волшебных сказок действительность, описанная Дезанти?»

НОВОЕ ИЗДАНИЕ „ДЕЛА АРТАМОНОВЫХ"

Прогрессивное издательство «Эдитер франсе реюни» недавно выпустило в переводе на французский язык роман А. М. Горького «Дело Артамоновых».

«Дело Артамоновых» является очередным томом полного собрания сочинений А. М. Горького, выходящего в том же издательстве под редакцией исследователя советской литературы Жана Перюса.

Бюст Льва Толстого, установленный в сквере, носящем имя великого русского писателя, на бульваре Сюше в Париже.
(*Газета „Юманите"*)

Ранее уже вышли: «Мать», «Жизнь Клима Самгина» (в двух томах), «Фома Гордеев», три тома рассказов и сказок (1892—1895 гг.) и «Сказки об Италии».

Жан Перюс в предисловии к «Делу Артамоновых» знакомит французского читателя с творческой историей романа.

Писатель и критик Пьер Гамарра в статье, помещенной на страницах журнала «Эроп», обращает внимание на то, что А. М. Горький посвятил свой роман Ромену Роллану.

ВЕЧЕРА ПАМЯТИ МИЦКЕВИЧА В ПАРИЖЕ

В Париже состоялся посвященный памяти Мицкевича вечер встречи Национального комитета писателей с артистами Краков-

ского театра, выступавшего во Франции.

«Летр франсез» опубликовала текст приветственного слова, произнесенного на этом вечере Арагоном. В своей речи писатель воссоздал образ Мицкевича, автора «Оды к молодости» и современника французских романтиков, друга декабристов и провозвестника той свободы и дружбы народов, в защиту которой неизменно выступали лучшие люди Франции.

Та же газета сообщает о торжественном собрании в Сорбонне, где профессор Фабр выступил с докладом о месте и значении А. Мицкевича в литературе и в революционном движении XIX века.

ЖЮЛЬ ВЕРН — ДРАМАТУРГ

Мало кому известно, что в молодые годы Жюль Верн писал пьесы. Ряд интересных фактов о Жюле Верне — драматурге были приведены в еженедельнике «Ар». В 1848 году Александр Дюма открыл «Исторический театр». В 1850 году здесь состоялась премьера пьесы в стихах Жюля Верна «Сломанные соломинки», выдержавшей всего 12 представлений.

Несколько месяцев спустя Жюль Верн сочинил трехактную «комедию наблюдений» «Ученые», затем водевиль «Кто надо мной смеется» и либретто мимодрамы «Жмурки». За ними следует новая пьеса «Замки в Калифорнии»—история пресыщенного золотоискателя, который возвращается к своему очагу. Она прошла сорок раз.

В 1860 г. была поставлена фантастическая оперетта Жюля Верна «Господин Шимпанзе», а в 1861 г. комедия «Одиннадцать дней осады», написанная совместно с Шарлем Валлю.

На этом драматургическая карьера Жюля Верна закончилась; опубликовав в 1863 г. «Пять недель на воздушном шаре», он больше к пьесам не возвращался.

* * *

В Париже, в музее «Франс д'утрмер», была открыта выставка, посвященная Жюлю Верну, пятидесятилетие со дня смерти которого широко отмечалось во многих странах.

На выставке были собраны разнообразные материалы о жизни и творчестве писателя, переводы его произведений на восьмидесяти языках. Воссозданы также модели многочисленных машин, снарядов, механизмов, описанных в его научно-фантастических романах.

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА В ПАРИЖЕ

Выставка рисунков негритянских детей — учеников школы в Питоа (Камерун) — открылась в Педагогическом музее в Париже. Пабло Пикассо поставил свой автограф на некоторых из этих рисунков, выражая тем самым свои симпатии и сочувствие юным негритянским художникам.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КНИГА ЭМИЛЯ БУРИАНА

Эмиль Буриан — широко известный в Чехословакии театральный деятель и один из крупнейших режиссеров. Однако написанная им книга воспоминаний к искусству прямого отношения не имеет. В данном случае Буриан выступает как бывший узник нацистского концлагеря Дахау.

Книга состоит из восьми рассказов, принадлежащих перу очевидца страшного быта и чудовищных порядков, существовавших в этом застенке. Но в центре внимания Буриана — вовсе не кровавые ужасы Дахау. По сообщению газеты «Литерарни новины», автор сосредоточил все свои творческие усилия на том, чтобы показать «величие и красоту международной солидарности», проявлявшуюся в отношениях между заключенными. «Почти в каждом рассказе, подчеркивает газета, мы встречаемся с морально сильными и красивыми людьми, создавшим коллектив, который не смогли сломить эсэсовцы». В этом, по мнению «Литерарни новины», и состоит ценность книги, написанной Бурианом и озаглавленной «Восемь рассказов оттуда».

ПАМЯТНИК БОЖЕНЕ НЕМЦОВОЙ

В Праге, на Славянском острове, был торжественно открыт памятник классику чешской литературы Божене Немцовой (1820—1862). Автор скульптуры лауреат Государственной премии имени Готвальда К. Покорный изобразил Немцову в расцвете её творческих сил. Высокая, стройная фигура писательницы с благородными чертами лица как бы идет по дорогам Чехии, которые ей так хорошо были знакомы.

Немцова принадлежит к числу наиболее любимых и дорогих сердцу каждого чеха и словака писателей.

В своих повестях и рассказах она изобразила широкую картину современного ей общества. Герои ее произведений — простые люди, крестьяне, слуги и служанки, ремесленники. Писательницу глубоко волнуют их судьбы. Все книги Немцовой проникнуты горячей любовью к родной Чехии, ее природе, которую она изображала с подлинной художественностью.

Немцова часто бывала также в Словакии, писала много и с большой теплотой о ее народе, укрепляла своими произведениями дружбу между чехами и словаками.

Божена Немцова была не только выдающимся писателем, но и передовым общественным деятелем своего времени, страстным, неукротимым борцом за счастье и лучшее будущее своего народа, за права угне-

Памятник
Божене Немцовой.

генной женщины. Недаром одну из своих статей, посвященных творчеству писательницы, Юлиус Фучик назвал «Божена Немцова — борющаяся».

Клемент Готвальд говорил, что Божена Немцова вместе с Яном Нерудой и Алоисом Ирасеком являются творцами великих ценностей в литературном наследии чешской нации, ценностей, которые сегодня следует сделать достоянием всего народа.

ЮГОСЛАВИЯ

СЪЕЗД УЧЕНЫХ-СЛАВИСТОВ

Состоялся первый съезд югославских ученых-славистов. В работе съезда приняло участие около 200 человек — делегатов от всех республиканских и местных славяноведческих обществ.

Съезд заслушал доклад президента Сербской Академии наук Александра Белича о значении сербо-хорватского языка для общего языкознания, доклад профессора Люблянского университета Эмила Штампара о послевоенном литературоведении и ряд докладов о преподавании родного языка в школах.

Съезд выработал и утвердил устав Союза славяноведческих обществ Югославии, в задачи которого должны входить расширение научно-исследовательской работы, помощь в специальной подготовке и усовершенствовании преподавательских кадров, установление связей с зарубежными славистами.

Съезд избрал председателем союза югославских славистов президента Сербской Академии наук Александра Белича, секретарем — профессора белградского университета Радована Лалича.

ИЗДАНИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Вышел из печати первый том восьмитомной энциклопедии. Тираж издания — 30 тысяч экземпляров. Первый том содержит свыше 700 страниц; в написании статей для этого тома, по данным газеты «Борба», участвовало свыше пятисот ученых, работников культуры и общественных деятелей.

Второй том энциклопедии выйдет в начале будущего года.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Мечислав Яструн (род. в 1903 г.). Современный польский поэт, начал свою творческую деятельность с середины 20-х годов. В послевоенный период активно участвует в литературной жизни народной Польши. Наряду со стихами он пишет публицистические статьи, переводит русских поэтов, создает ряд книг о великих польских поэтах — А. Мицкевиче, Ю. Словацком, Я. Кохановском. В 1950 и в 1955 годах М. Яструн был удостоен Государственной премии I степени.

Робер Мерль (род. в 1902 г.). Один из известных представителей современной французской литературы, автор ряда романов, в том числе: «Воскресный отдых на Южном берегу» (удостоенного в 1949 году Гонкуровской премии) и «Смерть — мое ремесло» (1953 г.). Пьеса «Сизиф и смерть» была опубликована в 1954 году в сборнике драматических произведений Р. Мерля.

Альфред Коппард (род. в 1878 г.) — известный английский писатель, автор многочисленных сборников рассказов, повествующих о жизни простых людей. А. Коппард активно выступает за дело мира, за дружбу с советским народом. На русском языке вышел сборник рассказов Коппарда «Вишневое дерево»; ряд рассказов был опубликован в периодической печати. Рассказ «Во всем виноват Толстой», напечатанный в третьем номере нашего журнала, взят из сборника «Серебряный цветок».

Ёко Ота — современная японская писательница, активный участник борьбы за мир и за запрещение атомного оружия. Автор широко популярных в Японии романов «Человеческие лохмотья», «Город мертвых» и многочисленных рассказов. Ее рассказ «До каких пор?» был опубликован в третьем номере нашего журнала.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература». Телефоны Д-5-17-83, Д-5-17-10, Д-5-19-81

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. М. Королев.*

Сдано в производство 15/VIII 1955 г. Подписано к печати 17/IX 1955 г.
А-04356. Учетно-изд. листов 28,1. Бумага 70×108¹/₁₆=9,1 бум. л., 24,8 печ. л
в т/ч 1 вкл. Зак. 385. Изд. № 19/2908. Цена 10 руб.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 13-я типография, Москва, Гарднеровский пер., 1а.